

Н О В Ы Й
М И Р

Н О В Ы Й
М И Р

1961

6

1961

НОВОЫЙ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXVII

№ 6

Июнь, 1961 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

СЛОВО ПАРТИИ	Стр. 3
ВЛАДИМИР ФОМЕНКО — Память земли, роман	8
Д. САМОЙЛОВ — Сороковые... Стихи	66
ВИКТОР НЕКРАСОВ — Кира Георгиевна, повесть	70
РАСУЛ ГАМЗАТОВ — Раздумья, стихи. Перевел с аварского Н. Гребнев	127
Е. ДРАБКИНА — Повесть о ненаписанной книге	135
ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	
ПЕРЕПИСКА А. М. ГОРЬКОГО С Л. А. СУЛЕРЖИЦКИМ. Вступительная статья, подготовка текстов и комментарии А. Тарасевич	171
ПУБЛИЦИСТИКА	
Л. БЕЗЫМЕНСКИЙ — Если бы не Советская Армия...	195
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
Л. КОПЕЛЕВ — Непреодоленное прошлое	218
Б. ПЛАТОНОВ — По поводу «самовыражения»	227
<i>К 75-летию со дня смерти А. Н. Островского</i>	
А. ШТЕЙН — Перечитывая старую пьесу...	234
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Л. Лазарев. Пути, которые мы выбираем.— И. Питляр. Война вошла в твой дом.— О. Костылев. Удручающий символ.— В. Березина. Об изучении наследия Белинского.— М. Злобина. Свидетельство обвинения.	247

(См на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

Политика и наука

Стр.
266

С. Марлинский, Я. Штернштейн, кандидаты исторических наук. История уральского гиганта.— **И. Иноземцев**. Портреты наших ученых.— **М. Восленский**, кандидат исторических наук. Суд народов.— **А. Иглицкий**. Жестокие цифры.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Воспоминания внука Белинского. Публикация и вступление В. Нечаевой.	277
КОРОТКО О КНИГАХ	284
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

СЛОВО ПАРТИИ

В журнале «Коммунист» № 7 опубликована статья Никиты Сергеевича Хрущева «К новым успехам литературы и искусства», представляющая собой сокращенное изложение его выступлений на встрече с представителями советской интеллигенции 17 июля 1960 года и на приемах в честь писателей и композиторов РСФСР. Еще в прошлом году эти выступления вызвали многочисленные отклики. Сейчас же, когда они стали достоянием всей нашей художественной интеллигенции, всей нашей многомиллионной советской общественности, значение и влияние выступлений Н. С. Хрущева неизмеримо возросло.

Обращаясь в прошлом году к представителям советской интеллигенции, Н. С. Хрущев напомнил им о предыдущей встрече:

«Вы помните, какая тогда была погода — сверкали молнии, гремел гром и шел проливной дождь. Говоря об этом, товарищи, вероятно, имели в виду, что молнии сверкали и гром гремел не только в небе. Это действительно было так. Тогда между нами шел большой, откровенный и, что скрывать, острый разговор по самым насущным вопросам развития литературы и искусства.

И это хорошо, что молния сверкала. Она ярко осветила все углы и закоулки, которых страшились пугливые люди... Проливной дождь смыл все наносное, что мешало некоторым идейно незрелым людям правильно видеть действительность. Все это освежило людей, они почувствовали, что стало легче дышать, творить и бороться».

Консолидация творческих сил на принципиальной идейной основе, единое понимание общих задач художниками разных стилей, кровное родство нашей художественной интеллигенции с партией, народом — все это достигнуто благодаря политике Коммунистической партии в области литературы и искусства.

Великая Октябрьская революция, осуществленная революционным народом под руководством партии коммунистов, вывела нашу Родину на путь социализма, открыла новую эру в истории человечества. Литературу и искусство революция спасла от угрозы вырождения, от язв мелкотравчатости и индивидуализма, от распада реалистической формы, от модернистской бессодержательности. Великая революция открыла дорогу искусству качественно иного типа, искусству социалистического реализма, постоянно расширяющему свои связи с жизнью, помогающему народу строить новую жизнь.

О таком искусстве, о такой литературе мечтал Владимир Ильич Ленин.

Осенью 1905 года, в самый разгар первой русской революции, Ленин написал статью «Партийная организация и партийная литература». Он всегда придавал огромное значение идеологии, идейному вооружению и воспитанию трудовых масс в их борьбе за материальное и духовное раскрепощение, за победу социалистической революции, за социализм. Он прозорливо видел, что в этой борьбе художественная литература, искусство будут занимать далеко не последнее место.

Глубина мысли и боевой революционный дух, твердая вера в успех исторически правого дела пронизывают каждую строку знаменитой ленинской статьи. Она словно бы доносит до нас крепнущий ветер революционной бури.

«Долой литераторов беспартийных! Долой литераторов сверхчеловеков! Литературное дело должно стать частью общепролетарского дела, «колесиком и винтиком» одного единого, великого социал-демократического механизма, приводимого в движение всем сознательным авангардом всего рабочего класса. Литературное дело должно стать составной частью организованной, планомерной, объединенной социал-демократической партийной работы».

Борясь с реакционно-эстетскими теориями «искусства для искусства», с буржуазным анархизмом и индивидуализмом, прикрывающим цветистой фразеологией самое обычное лакейство и прислужничество перед властью имущими, Ленин формулирует новые задачи художественного творчества, определяет новые связи литературы с обществом. Он видит литературу будущего действительно свободной, служащей самым благородным идеалам на земле — идеалам народа.

«Это будет свободная литература, потому что не корысть и не карьера, а идея социализма и сочувствие трудящимся будут вербовать новые и новые силы в ее ряды. Это будет свободная литература, потому что она будет служить не пресыщенной героине, не скучающим и страдающим от ожирения «верхним десяти тысячам», а миллионам и десяткам миллионов трудящихся, которые составляют цвет страны, ее силу, ее будущность».

Ленинский принцип партийности литературы и искусства явился основополагающим принципом развития пролетарской, а вслед за ней советской литературы, советского искусства. Равняясь на жизнь, раскрывая характерные черты революционной эпохи, черты нового человека, советские писатели создали ряд поистине классических произведений, ввели в нашу отечественную и мировую литературу новые образы, обогатили ее новыми художественными открытиями.

Художественное открытие нового человека, человека социалистической эпохи — главнейшая и поистине историческая заслуга советской многонациональной литературы.

Живыми спутниками, сотоварищами по борьбе являются для миллионов читателей наиболее яркие образы, созданные советскими писателями. Выхваченные из гущи народной и ставшие ее живым поэтическим воплощением, они вновь вернулись в нее и живут теперь своей самостоятельной жизнью. То, что они, как и вся наша молодая литература, созданы за сравнительно короткий исторический срок, подчеркивает творческую активность нашего искусства, его яркий общественный темперамент. То, что эти образы так не похожи друг на друга, свидетельствует о богатстве и разнообразии творческих устремлений советских писателей. И все это лучший и наиболее убедительный ответ ревизионистам, разного рода клеветникам, которые все еще пытаются поставить под сомнение успехи советской литературы и самый метод социалистического реализма.

Именно кровное родство советской литературы с жизнью определило и высокий творческий потенциал литературы и богатство самых разных творческих индивидуальностей. Благодаря этому родству у нас возникли и окрепли особые, невиданные ранее взаимоотношения между читателем и писателем, народом и литературой. Произведения советской литературы и искусства играют огромную роль в судьбе советского человека, через них он учится правильно понимать и изменять жизнь, через них усваивает передовые идеи, обогащает себя нравственно и ду-

ховно. Вот почему у нас интересами литературы и искусства живут не одни писатели и художники, но и миллионы читателей и зрителей. Вот почему партия и народ так высоко ценят труд писателя, художника, композитора, артиста.

«Работники литературы и искусства,— говорит Н. С. Хрущев,— всегда были и являются верными помощниками Коммунистической партии во всех ее делах. Значение их творческой деятельности особенно возрастает в настоящее время, когда коммунистическое воспитание трудящихся, формирование нового человека стало одной из самых насущных задач партии. Среди многих средств идеологической работы, которыми располагает партия, мне хотелось бы здесь подчеркнуть значение литературы и искусства, обладающих большой силой художественного, эмоционального воздействия на чувства и сознание людей. Мне хочется добрым словом отметить вашу работу, дорогие товарищи».

Добрые слова ко многому обязывают. Советская литература может гордиться своими успехами, но в сравнении с замечательными победами нашего народа эти успехи еще скромны. Все еще ждет своего полноценного воплощения в художественных произведениях образ современника: у нас есть отдельные удачи, хорошие книги, в которых выведены герои наших дней, но образов современных Корчагиных и Давыдовых в литературе пока еще нет.

Жизнь щедро дает художникам материал для создания таких образов. Вместе со своим социалистическим государством советский человек вступил в пору могучей зрелости, когда любая задача и любое дело ему по плечу.

Давно ли мы услышали слово «Братск», а сейчас уже не за горами пуск этой мощнейшей гидроэлектростанции, еще одной в ряду гигантов электроиндустрии.

Давно ли прозвучало слово «целина» в применении к сибирским и казахстанским степям, а сейчас там уже поднято чуть ли не сорок миллионов гектаров — целая страна!

Давно ли мы услышали слова «Черемушки», «Юго-Запад», и уже полным ходом по всей стране осуществляется невиданная по размаху программа жилищного строительства.

И всего лишь три с половиной года назад весь мир облетело слово «спутник», а ныне мы уже свидетели бурного штурма космоса, осуществляемого волей, умом, талантом советских людей. 12 апреля 1961 года навсегда войдет в историю человечества как дата одной из самых величайших побед. Подвиг Юрия Гагарина еще раз явил всему миру величие советского народа. В этом подвиге воедино слились и беспримерные достижения нашей техники, и блистательный взлет нашей науки, и мужество, героизм советского человека.

А что готовит нам завтрашний день? Можно не сомневаться, что энтузиазм советских людей проявится в новых реальных делах, выльется в новые славные подвиги. Сколько же замечательных тем для художника открывает современность! Какое же волнение должен испытывать писатель-современник! Ему дано быть свидетелем великих свершений, и за ним — первое слово.

«Нам нужны такие книги, кинофильмы, спектакли, произведения музыки, живописи и скульптуры,— говорит Н. С. Хрущев,— которые воспитывали бы людей в духе коммунистических идеалов, пробуждали в них чувство восхищения всем замечательным и прекрасным в нашей социалистической действительности, рождали бы в людях готовность отдать свои силы, знания и способности беззаветному служению своему народу, желанию следовать примеру положительных героев произведений...» Вместе с тем писатели и художники должны беспощадно би-

чевать все отживающее, косное в нашей жизни, вызывать «непримиримость ко всему антиобщественному, отрицательному в жизни».

Создание полнокровных образов героев, строителей новой жизни всегда было генеральной задачей советской литературы, именно на этом пути она и одерживала свои самые значительные успехи. Но это совсем не значит, что дорожка уже проторена и идти теперь будет легко. Советская действительность богата и разнообразна, жизнь повседневно показывает во множестве проявлений разные характеры, разные людские типы. Воссоздать их в целостных художественных образах — значит всегда решать новую задачу, словно до тебя не было никаких предшественников.

Забота о современной теме — это и забота о качестве ее воплощения в литературе. Художественное отражение действительности несовместимо с упрощенчеством и конъюнктурщиной, с легковесным, поверхностным отражением жизненного материала. Примитивные, скороспелые произведения только компрометируют важные темы. Отражение современности в литературе ничего общего не имеет и с пассивной регистрацией жизненных фактов и наблюдений, даже если они сами по себе точны и основательны. Жизненное правдоподобие является необходимым условием, но еще не достоинством произведения. «О достоинстве,— писал Н. А. Добролюбов,— мы судим по широте взгляда автора, верности понимания и живости изображения тех явлений, которых он коснулся». Поэтому от писателя, работающего над современной темой, требуется умение увидеть смысл факта или события, его значение и место в ряду других жизненных явлений. Только тогда конкретность изображения обретет глубину, свою философскую, идейную направленность и целеустремленность. Только при этом условии художественное произведение будет отвечать целям коммунистического воспитания.

Народ, свершающий чудеса во всех областях жизни, ждет и от художников оригинальных, мастерских, совершенных произведений. «Нужны такие талантливые, яркие книги, которыми люди зачитывались бы, нужны такие фильмы, которые люди смотрели бы с удовольствием, нужна такая музыка, которую слушать было бы наслаждением» (Н. С. Хрушев).

Создание таких произведений — дело сложное, нелегкое. От писателя требуется и серьезное знание жизни и мастерство. При этом знание жизни, глубина постижения ее — главнейшая, решающая сторона мастерства. Чтобы отобразить нашу современность во всем ее величии, нужно находиться в гуще жизни, зорко вглядываться в жизнь народа, чутко улавливать и верно понимать новое, определяющее в нашей действительности. Нужно не на словах, а на деле быть активным участником общенародной борьбы за коммунизм. Хорошие книги, произведения любого жанра, любого вида искусства — это ведь тоже вклад в общее дело.

Велика при этом роль литературно-художественной критики в осмыслении процессов действительности и литературы, в заботе о повышении качества книг, о росте мастерства писателей. Подробно, обстоятельно останавливается на задачах критики Н. С. Хрушев. Критика в том случае выполнит свое назначение, напоминает он, если в ней полностью будут устранены встречающиеся еще предвзятые, необъективные суждения об отдельных произведениях и вместе с тем она останется взыскательной в отношении художественных достоинств произведений.

Важно, чтобы нашу критику отличал заботливый, вдумчивый подход к писателям, к их работе. Критика должна быть беспощадной и непримиримой, когда речь идет о попытках протащить чуждые нам взгляды и

представления. И в то же время необходима бережность, внимательность к писателю, который споткнулся, ошибся или просто, как говорят, «не дотянул». Учет сильных и слабых сторон произведения, понимание индивидуальных особенностей таланта художника, вообще специфики художественного творчества — это те элементарные качества, без которых немислима плодотворная работа критики. Тот, кто занимается критикой, должен уметь анализировать произведения, творчество писателя, художника, изучать и чутко слышать живой ход литературного процесса. В этом и состоит мастерство критика. Не надо забывать и о том, что лишь при глубоком изучении творчества художника критик сможет помочь не только самому художнику, но и читателю, зрителю правильно понять произведения, обогатить свои эстетические представления.

Без доброжелательности, бережности, объективности оценок не может развиваться и сама критика — составная часть литературы. Необъективность, отсутствие широты взгляда — скользкая дорожка, ведущая в болото групповщины. Сейчас же, как никогда, важна консолидация всех творческих сил: перед советским народом стоят новые задачи, и роль литературы и искусства в решении этих задач, как подчеркивает партия, особенно возрастает.

В своих выступлениях Н. С. Хрущев дал развернутую характеристику ленинского принципа партийности литературы и искусства в современных условиях. «Быть партийным в художественном творчестве — это значит посвятить себя, свои силы, свой талант великому делу борьбы за коммунизм, за претворение в жизнь политики Коммунистической партии, а следовательно, делу народа. В этом суть вопроса, а не в том, носит ли человек партийный билет или его не имеет».

Советские писатели, художники, работники кино и театра находят в политике партии неисчерпаемый источник вдохновения. Идеи партии они воспринимают как собственные идеи. Они видят свое истинное призвание в том, чтобы не по приказу, а от всего сердца, по собственному убеждению защищать марксистско-ленинские идеи, бороться за их осуществление. В этом выражается ленинское понимание свободы творчества, выдвинутое им еще много лет назад и ныне воплотившееся в жизнь.

«Его отношение ко мне было отношением строгого учителя и доброго «заботливого друга». Так писал М. Горький о Владимире Ильиче. Это ленинское отношение к писателю стало отношением партии ко всем деятелям литературы и искусства, ко всей нашей советской интеллигенции. Статья Н. С. Хрущева «К новым успехам литературы и искусства» — свидетельство неустанной заботы партии о том, чтобы все советские литераторы, художники еще более возвеличивали нашу культуру, помогали народу строить коммунистическое общество — самое лучшее из лучших, самое благородное из благородных.

Советские люди идут сейчас навстречу большому историческому событию в своей жизни — XXII съезду Коммунистической партии Советского Союза. В преддверии съезда советская художественная интеллигенция получила замечательный партийный документ — статью Н. С. Хрущева. Народ, партия ждут от деятелей советской литературы и искусства новых вдохновенных произведений о нашей славной, героической эпохе.

К новым успехам литературы и искусства!



ВЛАДИМИР ФОМЕНКО

★

ПАМЯТЬ ЗЕМЛИ

Роман

Глава первая

1

В декабре 195* года в донском хуторе Кореновском гуляли свадьбу. Еще не выпившие и потому чинные гости стояли в кузове мчащейся полуторки, держа украшенные бумажными розами четверти с вином, невестину зеленую подушку и высокое трюмо, в котором, будто на экране, когда рвется лента, мелькали то глаза и носы едущих, то вдруг далекое небо с зимним солнцем, окошко, вылетающие из дворов собаки.

Невесту — беленькую, русоволосую Любу Чирских — оттиснули от жениха, она стояла между чьими-то плечами и, стараясь держаться весело, смотрела на незнакомые лица. Хоть и родилась здесь, она была чужой в хуторе. С детства жила в районной станице, кончала там десятилетку, потом техникум, оставалась в райцентре даже на каникулы, зарабатывая себе на одежду, а своей единственной родственнице — старой деве, вечно болезненной тетке Лизавете — на прожитье.

В станице же познакомилась с Василием Фрянсковым. Случайно была с ним в кино, а год назад, когда он вдруг прислал ей с военной службы письмо и фотокарточку, стала отвечать, все больше думать о нем. Люба много читала, знала, что в мире существует любовь — чудесное всесильное чувство; такое, как у Веры Павловны из «Что делать?», как у Вали Борц из «Молодой гвардии». Люба давно была готова к совместной борьбе и жертвам, преданным, полным любви словам, которые открыто, без колебаний скажет еще не известному ему. С того дня, как она получила от Фрянскова письмо и его фотографию (суровый воин в шинели и в пилотке), она на вечерах в техникуме отказывала ребятам в танцах, ходила с необыкновенным ощущением, что на свете есть человек, который живет для нее и для которого живет она... Сейчас ей хотелось протиснуться ближе к Василию, улыбнуться ему или — еще лучше — чтобы он сам улыбнулся ей, но ее зажимали, в грудь ей больно упирался чей-то острый локоть, а в плечо — повязанная лентой бутылка водки.

Жених, Василий Фрянсков, крупный, глазастый, с крутыми, квадратной формы скулами, стоял впереди, возле кабины. Полхутора было его родней, вино, надавленное с осени в каждом дворе, не все еще было попито, и народ, довольный случаю погулять, справлял свадьбу пышно. Любе свадебная суматоха была и радостна и совершенно непонятна. Как это вдруг из-за них двоих все едут по хутору и громко — прямо на улице! — говорят о том, что всегда было секретным, только лишь их-

ним — ее и Василия, о чем Люба ни за что не решалась сказать даже самой близкой подруге.

Снег на горбыле улицы, возле углового дома Фрянковых, был сдут до земли. Грузовик, треща скатами по смерзшимся колеям, на всем газу пролетел мимо взвизгнувших женщин, лихо затормозил в сантиметре от крыльца. Задние пассажиры навалились на Любу, Люба уперлась в передних, прямо над перилами замер парующий радиатор.

Люба видела: на ступенях стояли встречающие. Они, едва знакомые ей люди, уже ее родственники... Четкие, как в объективе, они словно застыли на крыльце. Отец Василия, тяжелоскулый, с крошечными, точно у сомика, глазками, был выбрит и свежеподстрижен в парикмахерской, на пиджаке — медали «За оборону Кавказа», «За победу над Германией». Здоровенными, неловкими в таких делах руками он держал поднос, уставленный налитыми доверху рюмками водки.

Мать Василия в летнем, в цветочки, платье, с потным несмотря на мороз лицом — видно, только от печки — стояла рядом. Здесь же, в пионерских галстуках и начищенных ботинках, круглоголовые, коренастые Гришка и Ленька — младшие братья Василия — и с ними Любина тетка Лизавета.

Позади — явившийся со своей старухой дед Василия, отец хозяина дома, Лавр Кузьмич Фрянсков, на ореховой, зеркально отполированной ноге собственной искусной работы. Родоначальник кряжистой породы Фрянковых, Лавр Кузьмич тоже скуласт и ширококостен, но сухонький, низкорослый, бойкий, как малец.

Люба знала: Лавр Кузьмич специалист на все руки — столяр, шорник, скорняк и даже выделяет птичьи чучела, а главное, он прибауточник, умеющий говорить в рифму. Он беззуб, шепеляв, и это ему явно нравится — получается забавней, когда он говорит. От него на людях всегда ждут шутки, и он, сгорая от нетерпения показать себя, стоял, будто весь на пружинах. Ворот гимнастерки в сверкающем неотреханутом нафталине, реденькие усы гвоздиками кверху.

— Эх,— слышит Люба, шепелявит он бабке,— Васька-то подкатил, как маршál.

— Чего? — переспрашивает та.

— Васька, говорю, как маршál!

— А?

— Черт тебе уши зажал! — ловко ударяя на рифму, рыкает Лавр Кузьмич.— Хоть громом по ее перепонке бей!

Гости прыскают, нарушая строгость церемонии. Отец Василия досадливо оборачивается.

— Вы бы трошки потерпели, папаша...

Любу и Василия вели к крыльцу. Руководил этим опытный свадебный «шляфёр» Мишка Музыченко. На нем черный с ясными пуговицами бушлат военного Черноморского флота, на рукаве негнушееся вафельное полотенце, через плечо аккордеон. Не только «шляфер» на свадьбе, но и шофер полуторки, он оставил мотор невключенным, бросал на ходу помощнику:

— Пеца! Как зайдем, отгонишь машину в гараж. На когтях!

«Так на свадьбе и полагается», — думала Люба, поглядывая на Василия. Василий — копия отца. Те же мощные плечи, те же скулы, только глаза огромные, как у матери, с влажными и свежими зрачками, похожими на мокрый терн. Он в армейской ушанке с не снятой еще звездой, но уже в бобриковом пальто, в желтых, только что из сельмага, туфлях. Не умея освоить роль становящегося на семейную тропу человека, он глуповато, будто извиняясь за свое женатое положение, улыбался

товарищам, что строили ему из толпы рожи и кричали: «Дуй, Вася, до горы!», «Не боись, Вася!»

Любе стало обидно, неловко за Василия, и она подняла голову как можно выше. Кожушок на ней приношенный, пятна, старательно оттертые бензином, лишь подчеркивали ветхость, но зато Люба знала, что ее ненадежные боты, купленные еще на стипендию, сверкают, что стройные девичьи ноги обтянуты модными прозрачными чулками — заранее продуманными, присмотренными, еще с осени привезенными из Ростова. И это придавало ей силы.

Фрянков-отец водочным подносом загромождал ей и Василию дорогу, говорил сиплым от родительской расстроганности, от торжественности минуты голосом:

— Ну, выпейте, значит, за порядок в доме.

— За совет, семейную любовь, — заплакала Фрянчиха.

— Чтоб Люба народила деточек: мальчиков, девочек, — подсказывал Мишка Музыченко, играя на публику всей своей длинной, как живая жердь, фигурой, большегубым, крупнозубым лицом.

— Давай пей, Люба, — уже как свою, подбадривали замужние женщины, — теперь все одно, считай, уж не барышня...

Люба, подчиняясь всему, глянула, как Василий берет с подноса рюмку, взяла свою и выпила. Из машины понесли ее приданое.

Сестрицы, подружки,
Беритя падушки,—

затянула соседка Фрянковых, Мария Зеленская, уже пьяным голосом, хотя еще только предвидела выпивку. Бумажная красная роза, такая же, как на четвертях с вином, как на грузовике, на пробке радиатора, была в ее волосах, прикрытых на затылке кокетливо наброшенным шарфом.

Сестрицы Арины,
Беритя перины.
А вы, девочки, пейте,
На ледочек ни лейте.
Ледочек растаить,
Нашей девочки не станить...

Зеленская притопывала, разводила над головой руки и в знак того, что гулянка уже началась, подмигнула Фрянчихе, полезла целоваться к Фрянскову. Из миски, в которой выносят гусям корм, на головы Любы и Василия сыпанули пшеницей, гривенниками, желто-стеклянными зернами кукурузы. Патефон в растворенных дверях заиграл марш Дунаевского, и гости, обивая сапоги ошметком веника, докуривая, нарочито задерживаясь, чтоб не показать друг перед другом поспешности, двинулись в сени. Люба уже несколько раз заходила в этот дом, но впервые — молодой хозяйкой... В райцентре, где она училась, дома были почти все такие же, но этот в ее душе отличался ото всех, потому что здесь жил Василий.

Дом Фрянковых, как большинство хуторских домов, — на две половины. Первая от входа — черная, а следующая за ней, именуемая на Дону «залом», — парадная. В черной, предназначенной для стирки, стирки и каждодневной жизни, хранился плотницкий и сапожный инструмент, на стене висел недоплетенный бредень, койки — под простыми солдатскими одеялами, для сидения — табуреты. Зал, как сверкающее небо от земли, отличался от черной. В зале — гнутые венские стулья, крахмальные скатерочки, комод, крытый лаком, украшенный вазами; на подоконниках фикусы, варварин цвет и под перевернутыми стакана-

ми — отводки пандануса. Деревянные потолки крашены светлым маслом, пересечены во всю длину опорным брусом, отчего этот зал всегда напоминал Любе каюту парохода. На стенах, почти до потолка, непреходящие в каждом казачьем доме фотографии. Люба уже знала, где в ряду краснозвездных, застывших с шашками конников отец Василия в свои молодые годы; где родные, двоюродные и четвероюродные дядья; где снятый еще на Карпагах, в бравой папаше и с пышными усами на молодом лице, дед Лавр Кузьмич. Среди галереи воинов — карточка Василия, такая же, как полученная Любой в первом письме...

Одежду вешать некуда, наваливали на сундук к стенке, обклеенной обложками и цветными страницами журналов «Огонек» и «Советский Союз».

— Кидайте, гостёчки! — кланяясь, просила Фрянчиха. — И шинелечки кидайте и шалечки, они не подерутся. Где чье, после разберемся.

Женщины оправляли волосы возле только что внесенного, запотевающего с мороза трюмо, мужчины сбрасывали кожухи, куртки, и на каждом — орден или красно-пестрая, обернутая целлофаном колодка. Были здесь ордена и не на лентах, а старые, на серебряном винтике. Люба знала: это за гражданскую еще войну, и поблескивают они на красногвардейцах самого Матвея Щепеткова.

Имя легендарного Щепеткова, своего же хуторянина, носит здешний колхоз; с Матвеем Щепетковым и с Любиным отцом ставили эти люди здесь на хуторах Советскую власть.

И в Отечественную войну, как один, громко показали себя, свою лихость щепетковцы — кто в Донском корпусе у Селиванова, где и погиб отец Любы, кто — в Кубанском у Кириченко.

Мужчины улыбались Любе — дочке своего полчанина, вынимали из карманов бутылки, несли их к столу, пошучивали, наступая на просыпанные при встрече молодых зерна кукурузы.

— Фураж-то, товарищи колхозники, разбазариваем!

— Да, Ваську женим по всему уставу. Небось у невесты и плаканки играли?

— Плаканки! Нонче девчонке выйти, так не плаканки, а раданки устраивай. Женихов же черт ма: курсы, подкурсы, фезео, мезео! Где бы ни летать — лишь бы от плуга подальше.

— Во-во. А тут и остатние на стройку коммунизма полыхнулись. Говорят: «Первенец мирной индустрии». А мы, значит, последушки задрипанные.

— Ничего, построим море — будем баб на русалок менять.

— Так русалка ж, она, сосед, для семейной жизни не приспособлена — А ему, твоему соседу, это уже без интереса. Лишь бы она ему борщ варила...

Мишка Музыченко, не сняв еще сверкающего перламутром и никелем аккордеона, расшаркивался перед Любой.

— Разрешите ваше пальто.

«Так вот как выходят замуж», — думала Люба. Она по-другому представляла себе этот первый шаг. Всегда рисовался именно шаг. Они идут с мужем по высокой траве лицами друг к другу, глаза в глаза. Он ведет ее за руку, говорит об их будущей жизни, о своей любви, и она верит каждому его слову, сама обещает ему все, что он хочет. Вслух она не говорит, это не нужно. Он и без того видит ее мысли, как видит ее лицо, траву с ромашками, с кузнечиками и это просторное, невозможно синее небо!..

— Разрешите ваше пальто и платочек, — настаивал Музыченко. — А уж боты нехай с вас скидает молодой муж, чтоб у нас с ним не случилось конфликта.

Люба, пытаясь избавиться от приставаний «шлафера», отворачивалась, не замечала, как из-за ее спины выглядывала Мария Зеленская, делала знаки хозяйке. Жена колхозного веттехника Константина Ивановича Зеленского, погибшего лейтенантом еще на Курской дуге, Мария была авторитетным знатоком свадебных правил, и, когда ее звали на гулянки, все шло под ее руководством заведенным ходом.

Фрянчиха поняла ее кивки, шагнула к снохе.

— Чья такая?

— Чирских, — неумело вступая в игру, улыбнулась Люба.

— Тю! И слыхом не слыхала. Нема таких у нас.

— Чирских, — повторила Люба.

— Чего-о-о? — Показывая нарастающее возмущение, ловко представляя перед гостями «свекровь-гадюку», Фрянчиха вытянула шею к снохе. — Цыть, занемей!.. Говорю, нема.

— Не-ету! — зашумела женихова родня, довольная действительным смущением Любы. — Не было и не будет. Бей! Гони! Чья эта выискалась? Чья она?

Стараясь не торопиться, чтоб это не получилось смешно, Люба заложила за ухо прядь волос, одернула платье и четко, как на экзамене, сказала наконец ожидаемое:

— Фрянскова.

Зеленская сунула в руки Фрянчихе заранее приготовленный старый горшок из-под фикуса, и та с размаху хлопнула его о пол, просяив, обняла Любу.

— Вот же она наша! Ну чего вы на молоденькую расшумелись? Пожалуйте, доченька, пожалуйста, сыночек, к столу.

— В президиум, в президиум! — проталкивал их Музыченко в голову стола.

В дом вошло начальство: председатель колхоза Настасья Семеновна Щепеткова — сноха самого Матвея Щепеткова, легендарного героя, имя которого присвоено колхозу. Рядом, неся в одеяле грудного ребенка, секретарь парторганизации, грузная, рыжая красавица Дарья Черненко с мужем — колхозным бухгалтером; и с ними какой-то интеллигент-командировочный, утром только приехавший из области проверять сельские библиотеки. Будто извиняясь в том, что нарушил тесный круг, он деликатно задерживался у порога, протирал квадратные стекла пенсне на тонкой золотой пружинке.

— Давайте, — бесцеремонно подталкивала его Дарья, оправляя свои червонные, мелко завитые волосы. — Знакомьтесь с хозяином. Лучший в районе полевод-опытник, вроде бы наш Мичурин... А на невесту гляньте! Вы ж хоть пожилые, а небось интересуетесь посмотреть на молоденьких казачек?.. Вот она вам — настоящая казачка! Секретарь нашего хуторского Совета. Покажись, Люба!

— Хватит тебе девчонку выставлять, — сказала Щепеткова, отводя Любу в сторону, даря ей сложенную по-магазинному газовую косынку.

— А для тебя, Василь Дмитрич, — по отчеству повеличала она жениха, — подарок за мной. Получишь, если в город не сбежишь, останешься в колхозе.

Настасье Семеновне, худощавой смуглой женщине, было лет тридцать восемь — сорок, но держалась она пожилой: может, по своей должности, может, по давнему уже вдовству. Ее девичьи заостренную небольшую грудь обтягивала шелковая кофточка. Темные брови, плотно сросшиеся на переносье на одну линию, делали лицо мужским, строгим; волосы с пробором посередине были черны и тоже строгі, и эту строгость не нарушали ни маленький привздернутый нос, ни две пунцовые родинки — одна слева, в уголке губ, другая на щеке, ближе к виску.

Щепеткову почтительно окружили мужчины, заговорили о колхозных правленческих делах.

— Гостёчки, да хай оно все горит, после обсудите! — суетилась Фрянчиха.— Настасья Семеновна, проходите к столу! Гостёчки, проходите!

Дарья Черненкова положила младенца на парадную кровать в зале, кинула своему тшедушному мужу стеганку вместе с шалью, осталась в блестящем бордовом платье, открывающем круглые плечи, полную, молочно-белую, как у всех рыжих женщин, шею. Она ладонями оглаживала на себе платье, показывая ахающим женщинам фасон, и, довольная впечатлением, поворачивалась крутым боком и спиной...

На столе миски с холодцом, мочеными арбузами и маринованным белым виноградом в ржавчине неотмытой маринадной горчицы. В эмалированном тазу — горой вареные яйца, вдоль стола между винными бутылками — тарелки горячего киселя из домашней сушки, сало, нарубленная отварная гусятина.

Начальство усадили рядом с молодыми. Гостям растянули по коленям чистые полотенца. Щепетковой отдельное.

— Ну! — торжественно встал Фрянсков-отец, взялся за припотелую бутылку и осторожно, чтоб не задеть тарелок, приподнял от стола.

В минутной тишине, булькая в горлышке бутылки, пошло по стопкам вино.

Как Любаша воду черпала,
Про семейку расспрашивала,—

сразу в голос запела Зеленская, кивая женщинам, и те, хоть уже бесцельно после собственной свадьбы пели эту песню, но мгновенно переключились, вспомнив свою давно отыгравшую молодость, собственное девичье волнение, когда пели им, невестам, эти слова. Женщины подняли постаревшими, огрубелыми пальцами полные стопки, тоже, как и Зеленская, сразу в голос взяли:

Я свекрови угожу, рано печку затоплю,
Я свекору угожу, бычат в Дону напою.
Тибе, Вася, угожу: постель мягку постелю,
Постель мягку постелю, на ручиньку положу.

— О! — специально дождавшись в песне этого момента, вскочил дед Лавр Кузьмич, выдернул из-под гимнастерки крахмальную простыню, развернул на ширину рук.— Бери, Люба, на мягку постель! Тебе с Василием неделимый хвонд.

Люба подхватила кинутую через стол простыню и, не зная, что же с ней делать, чувствуя, что мучительно краснеет, глядела на тетку Лизавету, на хохочущие лица мужчин и женщин. Щепеткова перестала улыбаться, подняла на невесту глаза, засиненные понизу сеткой мелких, жатых морщинок.

— Не красней, Люба,— вздохнула она,— бери, девка, на счастье. Сколько там его — нашего, бабьего?..

Она провела ладонью по лицу, по своим черным, туго зачесанным к затылку волосам, снова улыбнулась.

— Так что? — спросила она.— Значит, за молодых?

— Правильно! — забалабонил Музыченко.— Выпьем и начнем, товарищ председатель, а также члены правления и рядовые колхозники, дегустировать витамины. Сальцё,— ударял он на «це»,— мясцё, маслицё..

К вечеру гулянье кипело. Все уже целовались, галдели, когда с улицы вошел вдруг рослый, с плавной горбиной на носу мужчина в хромовом пальто и полковничьей папаше. Первым шагнул навстречу заведующий молочным пунктом Ивахненко, знавший в лицо все районное руководство.

— Та-а-авариш Орлов! — изумленно-радостно воскликнул он. — Откудова у нас в хуторе?

Услышав фамилию председателя райисполкома, подбежала Фрянчиха, затарахтела в тихой от оборвавшихся голосов комнате:

— Вот же дорогой гостёчек! Вот спасибо! Раздевайтесь, давайте пальто, шапочку.

— Здравствуйте, товарищи. Что это у вас?

— Сыночка женю,— прочувствованно сказал Фрянсков и, подходя, качнулся.— Первого моего, старшенького.

— Ну-ну,— одобрительно кивнул Орлов.— Семья — великое дело. Поздравляю.— Он поднял большую мускулистую руку, помахал всем.— А мне бы вас, товарищ Щепеткова. Дело есть...

Но его раздели, усадили рядом с Настасьей Семеновной, налили вина.

— И вы, гостёчки! Еще перекусим, садитесь с дорогим гостем,— суетилась Фрянчиха, несла в особой тарелке холодец из гусиных потрохов.— Кушайте, товарищ Орлов, это нежное, само раз под вино.

— Да чего там с тем вином чертоваться? — Дарья Черненкова подскочила, двинула по столу к Орлову полную до краев, плеснувшуюся кружку водки.— Пейте! Я баба, и то сколько выпила!

— Сколько же? — брезгливо морщась от водочного запаха, спросил Орлов.

— А я и не сосчитаю! Нема же высшего образования! — смеялась Черненкова рыжими, золотыми глазами.

— Легче ты с водкой, Даша,— стоя за ее спиной, шепотом просил муж-бухгалтер.— Тебе ж дите кормить...

— Нехай. Оно у нас казачье, трехпробное,— басом хохотала Дарья, совала кружку Орлову.

— Ну!

— Товарищ Орлов! За нашего жениха выпейте,— просительно прижимал Фрянсков руку к лацкану пиджака.— Это же спирт, медицина.

— А то величать будем, тогда грóши выложите! — загудели, подталкивая друг друга женщины и, решительные, вождельно оглядывая статного Орлова, начали обступать его. Мария Зеленская схватила из миски с соусом ложку, повелительно взмахнула над головами.

— Пой, девчата, величанье!

— Маруська, черт, ложкой обкапаешь!

— Красивей будете, на то свадьба. Пой!

Виноград расцветать,
А ягодка поспеивать,—

тонко завели женщины. Зеленская быстро нагнулась к Щепетковой и та шепнула: «Борис Никитич».

Виноград наш Боричка,
Виноград наш Никитьевич.

— Бабы! — как молоденькая, пискнула Фрянчиха.— Виноград-то наш пришли без жинки. Кого ж им петь ягодкой?

— А меня! — крикнула Черненкова. — Тю! — Она махнула рукой на мужа. — Нехай не ревнует к начальству.

А его ягодка Дашенька,
А его ягодка,
А его ягодка
Тимофеевна.

Выдернув из-под хлеба блюдо, женщины двинулись к Орлову.

— Бросьте, бабы, — заикнулся было Фрянсков, но его отпихнули, защебетали перед Орловым:

— Борис Никитич, за величанье.

— Что за величанье? — не понял Орлов.

— Посеребрить.

— Бросьте же! — опять вмешался Фрянсков, но его опять оттиснули, окружили Орлова хохочущим, агрессивным кольцом.

— Нам, девчатам, на конфеты, товарищ председатель райисполкома.

Недовольный шуткой, Орлов достал кошелек и, замешкавшись, белыми пальцами вынул десятирублевую бумажку, положил на блюдо.

— О-ой!.. — разочарованно заохали кругом. — Такой кавалер, а за ягодку скупится.

Орлов вынул еще двадцать пять рублей.

— Во! — одобрили женщины. — А теперь целуй свою ягодку.

Орлов недоуменно вскинул брови, но Черненкова сама обхватила его, смачно чмокнула в губы, и все, с полным уже основанием, потребовали:

— Теперь пей!

Вконец опешивший Орлов оттолкнул водку.

— Мужчины пошли... — сожалеюще-презрительно сощурилась Черненкова. — Глядите, руководители, как мы, бабы, гуляем!

Она единым духом осушила кружку, вскочила ногами на застонавший под ней табурет.

— Девочки, гопака!

Никто мигнуть не успел, как Зеленская и сама Фрянчиха очутились на горячей плите в кухне, затопали туфлями, осыпая кирпичи с кусками белой глины.

Са-ма разва-лю,
Сама складывать бу-ду! —

выкрикивала Фрянчиха под одобрительный свист гостей и напирющих из коридора любопытных. А под Дарьей Черненковой табурет ходил, точно живой; над людьми вспрыгивали в танце Дарьины плечи, грудь, могучие, обтянутые шелком бока и бедра.

— Давай, давай чем бог послал! — подбадривали снизу.

— У нас, товарищ председатель исполкома, — кричал на ухо Орлову дед Лавр Кузьмич, — бабы как разойдутся, так если летом, на дворе дело, и на крышу танцевать лезут, сатанюки! Ей-богу. А какая, вроде Дашки Черненковой, гладкая, вёрхи вскочит мужчине на шею, зажмет ему этими вот местами мордасы и выкаблучивается там для смеху — не скинешь. Станичное гулянье, товарищ председатель!..

— Умеет повеселиться русский народ, — без большой уверенности заметил Орлов почтительно подсевшему к нему Ивахненко и поднялся, отыскивая глазами папаху и пальто.

— Выйдемте на пару минут, — официальным тоном сказал он Щепетковой, — у меня к вам разговор есть.

Глава вторая

1

Из Сталинградской области, от Потемкинской и Верхне-Курмоярской станиц, Дон течет вниз, к Цимле, широкой долиной — займищем. Ее целиком занимает веснами взбухающий Дон, разбрасывается шириной на десять, а то и на пятнадцать километров. Будто в искупление нищенской сухости степей, обступивших займище с востока от Сталинграда, а с северо-запада — от Средне-Русской возвышенности, все здесь до поздней осени зелено, до отказа напоено водой оставшихся после разлива озер, ериков, проток, не пересыхающих ни в какую жару лопатин.

Староказачьи, теперь колхозные и совхозные, станицы лежат и по левому низкому берегу, но чаще оседлывают высокий правый, сплошь покрытый виноградниками и садами яблонь, жердел, слив, алычи, тютины. Домá в большинстве двухэтажные. Первый этаж — «низы» — каменный; второй — «верхи» — деревянный, обшитый шелевкой, опоясанный балкончиками на тонких столбах. В половодье там, где улицы лежат в низинах, первые этажи до самых потолков заливают вода, а когда разлив спадает, освобожденные низы снова обживаются. Они все лето хранят запах Дона, похожий на запах разрезанного арбуза, и в палящий августовский полдень хорошо там — в сырой сумеречной прохладе — переспать вернувшейся из садов хозяйке.

Каждый год перед Первым мая верхи обязательно мажут охрой, а чаще синькой или присиненным мелом, отчего весь дом приобретает весенний, небесно-голубой вид.

За послевоенную пятилетку улицы переполнились стрекотом мотоциклов. Всякий хозяйственный мужчина, особенно из рабочих МТС, ездит на «ИЖ-2» на работу, и в контору заверить справку, и даже на огород, устроив позади себя на резиновом сиденье супругу с ребенком, повесив на руль ведра, отсвечивающие на солнце блестящими цинковыми боками.

Казак здесь еще с первых лет коллективизации смешался с приезжим народом, давно приобрели новые слова, привычки и одежду: в праздники городскую, в будни любую, удобную для фермы или трактора. Конь вороной и девушка у плетня присутствуют только в стихах членов Союза писателей, редко когда доезжавших дальше станицы Кочетовской. Синие фуражки с красными околышами увидишь здесь лишь на артистах Ансамбля донской песни и пляски, когда ансамбль приезжает на уборочную в клуб передового района. Само слово «казак» выветрилось из официального обихода, так как нигде никаких преимуществ не имеет, ни в одном служебном документе не отражается.

И все же крепко живет в этой богатой части Дона особенный, станичный дух. Легче работается здесь вновь прибывшему секретарю райкома или директору виноградарского совхоза, если он казак. Даже не определишь, откуда узнают, а только обязательно явятся к нему через день-два какие-нибудь местные работники заготбазы или семфонда, переминаясь у стола, как бы между делом, спросят:

— Это ваш папаша — Петро Ильич Гуров — в хуторе Богатыревом учитель?

— Он.

— А мамаша ниже-терновская?

— Терновская...

— Ага! А мы ж думаем: какой это до нас Гуров прибился? Ну, значит, мы, собственно, так.— И попятятся из кабинета. А через неделю

весь район знает, кто такой Гуров, и любой старожил изо всей силы старается не подвести человека. «Наш!..»

И не только природные рядовые станичники или районное, среднего полета начальство уважает свой родовой корень. Нередко какой-нибудь ученый мелиоратор из Новочеркасска, а то и приехавший со студентами на промеры Дона профессор гидрологии, если зайдет разговор, не без гордости сообщит о себе:

— А как же? Казак! — И, поправляя на ветру пенсне, явно шеголяя, добавит: — Потемкинский юрт, хутор Чаусов. На виноградах вырос...

О виноградах говорится не зря. Одно слово — цимлянские! На десяти-километров тянутся они вверх и вниз от Цимлы — и над Доном, по обрывам правого берега, и возле отдаленных хуторов, вдоль многочисленных речушек, что спадают к займишу.

Колхоз имени Щепеткова стоит у Лебяжьего ерика. От Лебяжьего, четко видные с хуторских бугров, водяными тропами отходят к Дону еще три ерика: Зеленков Большой, Зеленков Малый и Голубенков. Разливаясь к апрелю, Дон накрывает собой ерики, вплотную обступает колхоз Щепеткова. От стариков до пионеров все тогда на баркасах. Словенные баграми, темнеют вдоль берега коряги, стволы верб, груды камышового плава. Это работа женщин и девчонок; мужчины на рыбалке. С десяти — двенадцати лет каждый малец здесь рыбак. Не у берега, а черт-те где на быстринах орудует с отцом или сам, один, накидной сеткой, чтобы насолила мать подледной рыбы, вывесила под застрехой дома, покамест погоды для малосола в самый раз холодные и муха не садится на рыбу.

Валом идет разлив. Мутно-рыжая, густая от размытых почв вода с шорохом, всхлипами несет на себе ледяные площади, острова камыша, смытые в верховьях копицы сена, а то и собачью будку с уцепившейся на крыше собакой...

Перед спадом Дон успокаивается. Густая муть становится илом, оседает на луга, огороды, и даже стволы зацветающих в воде яблонь стоят, как в сапогах, в налипшем черноземе.

Говорят: река напоит, река и разорит. Насчет разора произносится так, для складности. Крепко живет здесь, на воде, народ. Вековой завистью завидуют кореновцам соседи «хохлы» — жители степных засушливых хуторов. На языке райкомов-райисполкомов хутора те аварийные. Несмотря на упорный труд, на самую высокую агротехнику, систематически остаются степняки без урожая; через два года на третий держатся одним энтузиазмом...

А возле воды, даже произойди любая неполадка в колхозе, каждый человек обернется и на своем приусадебном участке. Плюс к трудодню всегда водится у него копейка, на чердаке — сушеная «фрукта» для базара, под полом — собственной давки вино. И не одного, а двух-трех сортов, чтобы с толком обмыть и семейное торжество и всякий праздник, помеченный в календаре красной цифрой. Под Октябрь, под Восьмое марта женщины, изменив старине, приурочив гулянки к новым датам, устраивают рядины. Жженой пробкой малюют себе усы и в мужниных брюках и фуражках, в вывернутых шубах высыпают на улицу, поднимая вверх дном хутор, наводя панику на собак. Толпой вваливаются в любую хату, еще за калиткой отплясывают, заводят песни. Поют не абы как горланя... В пении тут понимают, на строгом учете лучшие голоса: альты, тенора, подголоски. Пьют тоже здорово, с душой — и мужчины и равно, если не больше, их жены; особенно на хорошей, на широкую ногу размахнувшейся свадьбе.

Председатель райисполкома Орлов едва протолкался со Щепетковой из хаты в сени, забитые шумной, грохочущей толпой. В сенях темно, не разобрать, где свои, где начальство,— и народ, как на рубке дров, кричал, насмерть зажимал выходящих, а навстречу, во всю силу работая спинами и животами, протискивались с улицы новые, мели полами кожухов по расставленным на сундуках мискам с холодцом, с жареным и вареным мясом. Толпились и на морозе, на балконе, облепляли окна. пихались, разглядывали сквозь стекла гуляющих, а если кто в зале заслонял спиной окошко, ему барабанили, и он, как положено, отодвигался. Для всех же свадьба!..

Вырвавшись, Орлов передохнул. Он оправил скрипучее пальто, перекрученное на нем, как хомут на упавшей в кювет лошади, прошел до конца квартала, остановился, ожидая дежурившую на той стороне дороги, рванувшуюся к нему «Победу». Шофер откинул дверцу, и в кабине ярко вспыхнул свет. Настасья Семеновна зажмурилась, чувствуя, что у нее кружится голова, что ей весело стоять на морозе в распахнутом кожаном пальто, в неповязанном, брошенном на плечи шарфе. На ее ногах были не валенки, а лаковые тесные туфли на высоких тоненьких каблуках; под ними остро хрустел лед, а когда нога залезла в снег, Настасья Семеновна по-женски, по-праздничному свободно оперлась о руку Орлова и, смеясь, стала отряхивать чулок варежкой.

— Мне председателя сельсовета вашего надо,— не отвечая на смех, строго сказал Орлов.— Между прочим, что ж это он? Хозяин Советской власти, а на свадьбу не явился!

— Болеет наш Конкин,— ответила Настасья Семеновна.— Пришел в Совет записать молодых и опять лег.

— Все бы мы лежали, но работать надо,— заметил Орлов.— И много, с большевистской душой работать! Следовало бы и вашу Черненкову вызвать сюда, да у нее настроение сейчас очень уж легкомысленное. У Конкина учится...

«Чего это он цепляется к больному человеку?.. А к Дашке? Или, может, ей протоколы писать на свадьбе?» — сама себе улыбнулась Настасья Семеновна, не отпуская крепкий локоть Орлова, выковыривая снег, попавший в туфлю. Снег покалывал через тонкий чулок, охлаждал ногу. Щепетковой было хорошо дышать морозом, не думать о колхозных хозяйственных делах, слышать, как в ушах переливаются далекие свадебные крики.

— Получено решение сносить ваш хутор,— без предисловий сказал Орлов.— Это в связи с великой стройкой... Давно уже все ждем.

Он подобрал хромовые желтые полы своего пальто и, садясь к шоферу, спросил:

— У вас в плане ничего нет на четверг?

— Правление намечалось,— ощущая, что говорит чужим, охрипшим вдруг голосом, ответила Настасья Семеновна.

— Ну вот,— кивнул Орлов,— сегодня воскресенье, в четверг и проведем у вас общее собрание. А правление отставьте. Переселяться будете в степь. Землеустроители определяют вам места, а из них сами выберете.

И пошутил:

— Хватит вам комаров тут, в низине, кормить, поживете на ветерке.

Щепетковой хотелось закрыть лицо руками, крикнуть, что это неправда, что неужели действительно, на самом деле, можно сносить такой хутор, как Кореновский?.. Вместо этого она деловито кашлянула. Обыкновенное дело: решение, которого все давно ждали, которого и она

ждала, пришло. Орлов вынул блокнот, раскрыл на странице, где мелко, в длинный ряд были вписаны названия станиц и хуторов, подлежащих сносу, и против записи «Хутор Кореновский, колхоз им. Щепеткова» пометил авторучкой: «Четверг».

Скрипя пахучим, свежим хромом на широком плече и рукаве, откидываясь, Орлов опять положил блокнот в нагрудный карман и распорядился, чтобы к собранию были подготовлены две-три рядовые колхозницы для выступления от масс. Он объяснил, что эти колхозницы должны осветить перспективы, политическую важность стройки и также личные свои выгоды показать на бытовых, житейских примерах. Председателю сельсовета Конкину и парторгу Дарье Черненковой обо всем передать, и пусть Конкин подъедет завтра в районный центр.

Орлов надел перчатки, обтянул каждый палец. На прощанье предупредил:

— О переселении разглашать не стоит, чтоб не началось гнилых разговорчиков. Сообщим на собрании.

3

Щепеткова поглядела вслед «Победе», медленно воротилась на свадьбу.

— Не обижайте, гостёчки,— перекрикивая голоса, упрасивала Фрянчиха,— пейте.

— Да где ж его пить, когда поганое! У тебя в четвертях хины не было?

— Хи-и-на! Подсладить.

— Василь, Любка, слади!

— Дела у товарища Орлова. Велел извиняться, всем доволен,— сообщила хозяйевам Настасья Семеновна.

— Слади, Вася, выполняй план! — вопили гости, и жених вставал, оправляя непривычный галстук, наклонялся к губам Любы.

— Засакай время! — Музыченко хватал из миски моченый помидор, поднимал его, точно хронометр: а когда жених, чуть лишь поцеловав, садился, Музыченко под хохот женщин болезненно обхватывал голову, стонал: — Эх, неграмотный еще. На курсы б тебя по этому делу, Вася...

Тот, недовольный шутками, досадливо-смущенно вынимал портсигар, закуривал, и Щепеткова слышала, как в сенях сразу обсуждали:

— Это ж они дарилась!.. Портсигар-то Любка ему покупала.

— А он же?

— А он ей крепдешину, только пошить еще не успели, она в своем сидит. А набирали на три платья.

— Иде там на три? — возмушались сбоку.— Лидка Абалченко была в сельпо, видела. Набирали на одно несчастное платьишко и то грусились: «Грощей нема».

— Мама родная, нема!.. Да Фрянчиха сколько гусаков продала в Ростове! Десятков пять! Сына женил, а даже на вине экономится, мускату и не ставит.

— Может, не давили?

— Что ж я, ихнего вина не знаю?.. Несет, гляди, гляди, на кожурках этстоенное.

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,—

истощно вопили женщины над головой командированного по делам библиотек товарища, робко держащего двумя пальцами гусиную ногу в колышках недоощипанных перьев. Старший брат покойного мужа Настасьи Семеновны, Андриан Щепетков — крупноносый, как все муж-

чины Щепетковы, — в приступе гостеприимства отбирал у командировочного рюмку и огромной жилистой своей лапой совал стакан.

— Вот вам самое водочный стаканчик!

— Что вы? Это ж чайный...

— То кацапы говорят «чайный»! На Дону чай не в привычку. Попали до нас — пейте.

Все шло, как положено. Настасья Семеновна словно со стороны смотрела и на себя и на все вокруг, понимая, что люди должны веселиться на свадьбе, и думала о разговоре с Орловым. Еще совсем не представляя как, она уже знала, что решение будет выполнено, а вернее, как принято в стране со всякими серьезными решениями, перевыполнено. Знала, что она, председатель колхоза, сделает для пользы дела все, что от нее потребуется, пойдет, если надо, против этих гуляющих сейчас людей. Они, как и год назад, балагурят о выселении, а команда уже дана, скоро станет для них фактом.

Вскипа-а-а-ает, как волна,—

в шаге от Щепетковой подтягивали женщинам девчата, разомлевшие, бордовые, будто из бани. Пухленькая Мила Руженкова, такая же свеженькая, как и Люба, отбивалась от ухаживаний пожилого черноусого красавца Ивахненко, супруга которого, по-соседски помогая Фрянчихе, поминутно отлучалась из зала. Под жгучим взглядом Ивахненко Мила испуганно и счастливо хихикала, толкала локотками соседок, визжащих при каждом движении спрятанных под стол рук отчаянного на выдумки Мишки Музыченко.

Щепеткова переводила глаза на бригадиров, определяла, кто из них окажется настоящим ее помощником, кто вздумает кобениться и его надо будет ломать, портить с ним отношения, а кто — ни рыба, ни мясо — попросту растеряется. До своего председательствования Настасья больше, чем теперь, уважала мужчин, находилась под общим гипнозом, который заставлял при слове «мужчина» представлять что-то решительное, прочное. Теперь же она знала, что сила человека не в широкой спине, не в хриповатом басы. Сейчас все они герои, эти выпившие, потому лихие бригадиры. Сидя уже отдельно от жен, они в полное свое удовольствие наливали друг другу, закусывали вяленным чебаком.

— Правильный у тебя, Митрий Лаврыч, чебачок! Это ж ты еще в марте сподо льда ловил?

— Не трожь Митрия Лаврыча, пей.

— Нет, нехай скажет — сподо льда этого красавца?

— Пей, построим море — не такого уловим! Поставишь вентирь — и тяни готового балыка, а хочешь — копченку, консервы с картиночкой... Только там на стройке девчат богато — оглядайся, еще чего не слови!..

Дарья Черненко презрительно глянула на осоловевших бригадиров.

— Ловить бы вам... тьфу! Развезло их, хоть по домам уже волоки.

Раздвигая могучим животом их головы, она потянулась через стол к Мишкиному аккордеону, рванула его со стены, зыкнула мужчинам:

— А ну, ловители, вставай! Ну! Михайло, сербиянку. Гриша, — крикнула она мужу, — глянь, рѳднй, дитѳ на койке раскуталось!

Сдернув с табурета плечистого Ивахненко, она толкнула его на середину зала, затопала вокруг. Ивахненко, выжидая в музыке такта, едва пошевеливая приподнятыми руками, стоял, точно перед набирающим ход поездом, будто примеряясь, как вскочить на подножку. Зеленская с места, как запущенный мотор, пошла перед Дарьей, отбивая кавалера; обе навывередки шли перед ним, но он все стоял, поглаживая под музыку вправо и влево усы над красной сочной губой.

— Работать надо! — всерьез раздражаясь, кричали ему мужчины.— Ишь, баб выпаривает.

— Эт им соревнование,— подмигивал Ивахненко в толпу Миле Руженковой.— Ихнее дело такое.

Зеленская умерла бы, но Дарье не уступила. В старом, латаном-перелатанном платишке, мать четырех детей, она танцевала не только ногами, но и раскрытыми ладонями, шеей, бумажной розой, ожившей в ее волосах, летящей по воздуху.

— И-и-го-го! — подражая взывавшему вдруг жеребцу, заржал Лавр Кузьмич, под хохот зрителей скакнул вперед. Выстукивая деревянной ногой, он двинулся на Зеленскую по-стариковски чопорно и галантно. Мария отцепила от волос, кинула ему розу, поднырнула под его расставленные для объятия руки и выхватила на круг невесту. Та попятилась, но ее пнули сзади.

— Выходи, а то, может, хрбмая.

— Покажись им, Люба, какая хрбмая,— подбежала тетка Лизавета и, толкая племянницу перед собой, длиннолицая, как лошадь, посыпала с носка на каблук.

— Лизавета, ходи! — рванулся Андриан Щепетков, затопая кирзовыми чугунными сапогами.— Ходи, мы тебя еще замуж выдадим!

— Я б за деда Фрянскова пошла, да он, дьявол, женатый.

— А я назло сто лет еще не помру,— смеялась захмелевшая бабка Фрянскова, отмахиваясь желтой, точно куриная лапка, рукой.

— Лично выдам! — гремел Андриан.— И Зеленскую, пусть не жутится, выдам. За них вот! — Он показывал на командировочного, который, ничего уже не понимая от выпитой водки, кивал, блаженно жмурился сквозь стеклышки пенсне, пятаясь от Дарьи и Зеленской, уже минут двадцать шедших вприсядку.

— Хватит, чертовы бабочки. Изойдетесь же! Да остановите их, пропадут! — лотошился Лавр Кузьмич, а сам в такт аккордеону во всю силу колотил деревяшкой об пол.

Двери распахнуты, поверху валил наружу пар, вход до отказа запрессован любопытными, а с мороза, как в клуб, пробивались новые.

— Проходите, проходите, пожалуйста! — кланялась Фрянчиха.

И все проходили, но сами знали, кому за порог, кому к притолоке, а кому и просто в сенях, в давке. Не примешь же весь колхоз в хату.

По Дону гуля-а-а-ет,—

затянул за столом отставший от танцев Андриан, приглашая глазами голосистую Настасью Семеновну. Отдышавшийся Ивахненко, а с ним дед и отец Фрянсковы запасли воздуху, низко загудели.

— Трошки ниже,— шикнул Лавр Кузьмич на Дмитрия Лаврыча, подтолкнул Щепеткову: — Давай, Настасья Семеновна, не обижай.

Зеленская и Дарья, отирая пот, протискивались к поющим. Андриан закинул назад голову, его мутные от вина глаза будто светлели, из груди все гуще текла октава. Андриан не разворачивал еще полного запаса, расчетливо сдерживал себя. Включались новые мужские басы, тоже пока что на четверть лишь мощности, но уже задавлены в зале разговоры и перестук. Точно всполошенные с крыши голуби, верткие, чистые в синеве воздуха, начинали взлетать женские подголоски. Песня затевалась всерьез, с каждой секундой все слаженней шла сквозь двери, сквозь стены на улицу, к просторному небу в звездах.

По Дону гуляет,

По До-ону гуля-а-ет,

По До-о-о-о-о-ону гуля-а-а-ет казак молодой!..

Глава третья

1

В первое утро новобрачные спали под огромным ватным одеялом, шитым из синих и красных обрезков ситца. Свое семейное многолетнее одеяло дала им Фрянчиха, укрывшись на кухне с мужем снятой с сундука рядниной. Новобрачным отвели зал.

За окнами было еще темно, когда Люба увидела в кухне свет копилки. Фрянчиха разводила на листе дикта глину, вмазывала в печь кирпичи, выбитые в танцах. Гора свадебных мисок и кастрюль была уже составлена для мытья. Рядом с Любой дышал во сне человек. Василий. Люба всегда видела его лицо осмысленным, живые твердые губы говорящими, а сейчас все это было смято, сдвинуто вбок подушкой, тупо. Обрадованная, что надо помочь в уборке и, значит, можно немедленно встать, Люба соскользнула с кровати, вольнее вздохнула. Она достала из чемоданчика старую юбку, рабочую блузку с билетом в кармане. Люба была из тех комсомольцев, что обязательно носят комсомольские билеты.

— Чего не зорюешь? — шикнула на нее Фрянчиха.

— Посуду банить, мама, — в первый раз назвала так свекруху Люба. Сразу обмякнув, Фрянчиха зашептала:

— А прибираешься чего? Дома ведь...

Но Люба быстро заплела и заложила косы, застегнула доверху блузку и принялась помогать Фрянчихе, раздувать в печи кизяк под трехведерным чугуном с водой. Мать Любы умерла давно, отец погиб еще в начале войны, сестра отца, обиженная судьбой старая дева тетка Лизавета, когда приходилось жить с племянницей, по неделям угрюмо молчала; и сейчас Люба ясно вдруг почувствовала себя в семье.

Проснувшиеся братишки Василия — Гришка и Ленька — крутились возле Любы, заглядывали ей в лицо, и она сама, освободив край стола, кормила их перед школой вчерашним пирогом.

Человек, который раньше был просто Дмитрием Лавровичем, а теперь сделался свекром, сидел в исподнем белье, тянул из миски арбузный рассол, вытирал деревянные с похмелья губы о тыл руки. Потом свернул сигарку, оделся и уже на выходе сказал:

— Шумни, Люба, мужу, выходи с ним и с матерью до сарая.

Люба пошла в зал. Брошенный на спинку кровати, висел праздничный костюм Василия, на полу стояли его новые желтые туфли, и с их шнурками играли два полосатых крупных котенка; падали набок, толкали туфлю задними лапками и вскакивали, горбатили спины, делая вид, что пугаются. Василий, не видный Любе из-под толстого, натянутого выше головы одеяла, спал, подбив под себя простыню и обе подушки. Вчера он боялся показаться несамостоятельным, до дна пил с каждым, кто подходил к нему с налитой стопкой: в начале и в середине свадьбы — с заздравной, к концу, к отбытию гостей, — со стремной, и когда все разошлись и Фрянчиха, уже босая, притворила за новобрачными дверь, Василий сосредоточенно стянул с себя пиджак, штаны и, не помня, что сегодня зарегистрировался, что перед ним молодая жена, плюхнулся на постель, враз уснул каменным сном, точно в казарме на своей койке после учебного трехсуточного похода.

Сейчас Люба стояла над ним, чувствуя, что краснеет, и не зная, что сказать, когда разбудит: с добрым утром или сразу, что зовет отец? Она слегка потрогала Василия за плечо.

— Вася...

Тот не просыпался, дышал глубоко и ровно. Она потрогала сильнее,

потом приподняла одеяло над головой мужа, коснулась пальцем его виска.

— Вася, Вася... Да Вася же, наконец! — Она качнула его спину обеими руками.

Разыгравшиеся котята взлетели на одеяло, метнулись один за другим, проскакали всеми лапами по лицу Василия, но он только пошевелил ноздрями. Люба, чуть не плача, стояла над ним.

— Чего он там? Не просыпается? — крикнула из кухни Фрянчиха.

Подмигивая Любе, дескать не все еще свадебное веселье кончилось, она подхватила цибарку с водой, на цыпочках проследовала в зал.

— Ишь, разнежился со сладкой ноченьки!

Она пригоршней черпнула из цибарки воды, плеснула сыну в лицо, потом за спину, под солдатскую бязевую сорочку.

Василий хлопнул красными веками. Догадка, что уже утро, ошеломила его.

— Так это ты, Люба?.. — спросил он и двумя руками в страхе уцепился за одеяло, которое тянула с него мать.

Во дворе он и Люба избегали встречаться глазами, держались далеко друг от друга. В плетеном из тала, обмазанном глиной сарае, где помещалась корова с годовалой беломордой и белоглазой телкой, Дмитрий Лаврыч прошел к яслям. Он смахнул рукавом полосу с мягкой, по-зимнему курчавой спины телки, строго отпихнул от себя ее потянувшуюся ласковую морду и сказал:

— Вот тебе, Васька, и тебе, Люба. На хозяйство. Та -- купленная, — пояснил он снохе, указывая на корову, — а эта домороска. Она с теляток у нас... Весной до быка сводите.

Потом Дмитрий Лаврыч, за ним жена и следом молчаливые молодые перешагнули через загородку из кизяка к овцам. Здесь на полке лежали вошины и стояли бутылки, заткнутые кукурузными початками. На вбитом в столб штыре висели сработанные шестерни от комбайна или трактора, велосипедное колесо, несколько ржавых подков, одна из них вместе с копытом, даже с клочком рыжей запыленной шерсти. Люба понимала: при нужде подкову можно отодрать, сделать из нее скобу на дверь или крюк. Овец было шесть. Дмитрий Лаврыч рукой отделил снохе и сыну светленького барашка и старую большую овцу, горбоносую, черную, с фиолетовыми в полутьме глазами.

На дворе Дмитрию Лаврычу загородили дорогу ожидающие корма гуси. Фрянсков пошел через них по снегу в сад, обернулся к жене:

— Выделишь молодым гройку гусок, нехай к маю сажают на яйца.

Хотя в доме на самом деле всем руководила Фрянчиха, она для общего порядка и крепости предоставляла мужу право указывать, говорить и распоряжаться, как положено главе семьи.

В саду, на берегу ерика, Дмитрий Лаврыч сел на перевернутый днищем вверх, поставленный на чурки баркас. Ни молодые, ни сама Фрянчиха не сажались, стояли перед Дмитрием Лаврычем.

— Мы с матерью, — посмотрел он на Любу и Василия, — так обговорили: усадьбы вам резать четвертую часть. Гришка с Ленькой повырастают, женятся, тоже, может, здесь жить будут... Режем план повдоль, чтоб и садика захватить и огорода.

Он поднялся с баркаса, стал на протоптанную в снегу тропу.

— От этой стежки на правую руку — ваше. Тут вам, вот они, одиннадцать корней яблони, восемь сливы и старая жердель. Виноград вот закопаный. Семнадцать кустов. Семь Буланого, десять Красностопа золотовского. А Пухляка или еще чего подсадишь, Васька. И под ериком вам тот вон угол — капусту сажать.

— Моркошку, петрушечку на борщ,— вставила Фрянчиха.

— А строиться,— переждав жену, заключил Фрянсков,— можете хвасадом на улицу, а еще складней — здесь.

— Ясно, здесь,— энергично, как все, что она делала, заговорила Фрянчиха.— Вот же они,— пошла она шагами отмерять,— окошечки будут, три штуки. Тут, Любаша, смотри, трюмо поставишь, сюда — койку по-над стеной; стена ж тут от печки будет нагретая. А здесь получится крылечко, около этих двух яблонь. Они его в жарюку как раз веточками притенять будут!..

2

Сегодня Люба на работу не ходила. Ее начальство, председатель Совета Конкин, записав вчера в книгу браков ее и Василия, разрешил ей целых три дня заниматься своими делами. Свекор отправился в бригаду, Василий, едва лишь позавтракал, пошел с отцовской рулеткой и куском мела за сарай, к штабелю бревен, выделенных ему на постройку, и Люба вдвоем с Фрянчихой осталась в хате.

— Мама,— каждый раз со смыслом произносила она это новое для нее слово,— а куда сухие миски ставить?

Ей хотелось как нельзя ловче почистить золой ножи, латунный ручкомойник над лоханью, самой снять на пол чугуна с кипятком. Все вещи здесь имели особенное значение. Среди них родились Василий и его братишки, жили его родители, ставшие вдруг ее отцом и матерью. Люба вытирала пыль с запаянного оловом и медью ружья Дмитрия Лаврыча, с клеенчатого ковра над кроватью. На клеенке, размалеванной масляными красками, была изображена рыжая грудастая дева. Грудь ее была как два розовых холма, а тонюсенькая талия как ножка рюмки. Дева опиралась о вазу, одновременно кормила лебедей и нюхала букет фиалок. На ее шее был медальон, на руках — браслеты, а на коротких, красных и толстых, как сардельки, пальцах — перстни с нарисованными сияниями. Люба улыбнулась. Но ковер висел в семье Василия и, значит, хранил в себе значение.

— Это я в Ростове, на толчке, за сапетку груш выменяла,— довольная вниманием невестки, объясняла Фрянчиха.

Забегала Зеленская — узнать, что у новобрачных, снять с Любы мерку на платье. Набрав в губы булавок, обсуждая вчерашнее гулянье, она вместе с Фрянчихой поворачивала Любу, прикладывала к ней новый, пахнущий магазином материал.

— Фигуристая ты! Потрогать — как слитая! — завидовала Зеленская, оглаживая на Любе материю.— Здоровая жена что чувал пшена.

Приходил опохмелиться дед Лавр Кузьмич, поглядел на Любу, протирившую фикусы, и тоже изрек истину:

— С вечера — девка, с полночи — молодка, а утром — хозяйшка.

Был Лавр Кузьмич уже на другой, «будничной», ноге, вытесанной без особых художеств, а вчерашняя — тонко отструганная, лакированная — стояла, должно быть, дома, в шифоньере, до следующего торжества. Осторожно, чтоб не взбаламутить осадки, он выцеживал со дна четверти вино, пил, прополаскивая голые десны, неторопливо докладывал Фрянчихе:

— Ну, Васька твой — хозя-яин. Прямо куркуль! Зову посидеть — даже не глянул. Аж сопит, сукин сын, над батькиными бревнами!.. Чего ж, там ему на курень подхожалые четыре латвины выйдут, да еще матка.

И Любу больше, чем платье, радовало, что для дома есть уже какие-то латвины и матка...

Днем, когда Василий пошел к деду за разводкой для пилы, а свекровь на час прилегла, Люба побежала через сад на место будущего дома. Никогда не знала она ничего своего. Распоряжалась лишь одежкой, иглой с нитками для штопки и тетрадами. Теперь она рассматривала подаренные свекром яблоны. Она поглаживала на них зеленоватую кору, аккуратно трогала пальцами острые зимние почки.

«Стволы,— решила она,— весной побелим. Отсюда вот, от низу и до самых веток. По бокам порога посадим георгины. И ноготков побольше. И под окнами тоже. А трюмо в зале, конечно, не здесь станет, а вот так...»

Поднимая над коленями юбку, шагая по снегу, она начала по-своему планировать окна и вещи в хате, хмурясь при затруднениях и кивая себе, когда вещь устанавливалась. Становился и ящик с инструментом Василия (как раз возле Любиного шкафа), и стол, и напротив стола дубовая скрыня — приданое еще Любиной бабки, потом матери и теперь Любы. Скрыню не перевезли еще от тетки Лизаветы. Обита скрыня медными почернелыми полосами, их надо начистить нашатырем с мелом, чтоб горели, а сколотую на крышке доску исправит Василий. Он и дерево обкопает, пока Люба будет белить стволы... Кончит обкапывать, спросит: «Любаша, куда лопату?» — «Обскобли, и в угол».

Люба улыбнулась, забралась с ногами на перевернутый баркас, на котором утром сидел свекор. Борты, законопаченные вдоль щелей паклей, покрытые присохшей на морозе тиной и накрапами смолы, были шершавыми, а днище — гладкое, обтертое добела. Видно, свекор, приставая на рыбалке к берегу, всегда вытягивал баркас на сухое, волочил днищем по песку и ракушкам. Летом, решила Люба, обязательно поедет она с Василием. Ночью. Когда месячно. Она будет грести, а Василий пусть сидит напротив и рассказывает. Или просто молчит, держит на руке ее жакетку...

Со стороны площади долетало радио, где-то на дальней улице громыхла автомашина, а в садах стояла замороженная лесная тишь, никто не мешал разговаривать с собой и даже обхватить сук, подтянуться до подбородка, как на турнике в техникуме. Люба подошла к старой жерде, которая с сегодняшнего утра принадлежала ей. На стволе желтел летний натек клея. Засахаренный, окаменелый на морозе, он просвечивался насквозь, точно бы янтарем светился изнутри на сухом зимнем солнце. Люба поскребла ногтем, попробовала откусить, прижимаясь носом и озябшей щекой к шершавой коре, и вдруг глубоко — что даже остановился в груди воздух — вздохнула, вспомнив, что сегодня последний день ее девичества. Неизъяснимо грустно, совершенно непонятно было то, что произойдет этой ночью. С детства стеснялась родной тетки, девчонок на реке, даже самой себя, своих плеч, ног, — и вдруг все уже не твое, и никто теперь не заступится, даже, наверно, рассмеется, если скажешь... Не об этом, жутком, говорили высокие переживания Вали Борц и Татьяны Лариной, совершенно не это складывалось и в Любе, в ее давних мечтах о друге жизни. Люба пригнулась, посмотрела понизу между рядами стволов во двор — не вернулся ли Василий, этот страшный сию минуту человек, — потом глянула на солнце, сбегующее к закату, а значит, к ночи, — и сердце толкнулось с такой отчетливостью, что Люба растянула на шее узел платка. «Да люблю ли я своего мужа?.. Господи, что за ерунда, конечно же люблю! Разве иначе мечтала бы, разве вышла бы замуж?»

Заледенелый ерик загибался в конце сада коленом, на изгибе темнели из полыни колья вентиря. Такие же вентиря стояли против других садов, и к каждому из хат тянулись по снегу тропки. Люба подошла к

своему, остановилась перед сугробом, наметенным у берега. Гребень сугроба, отточенный, отшлифованный поземкой, был острым, походил на огромный лемех перевернутого плуга. На его пологом краю густо наотпатали зайцы, прибежавшие ночью в сады, а там, где нетронутым лежал обрывистый, вогнутый внутрь откос, снег казался синим, жестко и чисто отблескивал холодными крупцами. Стараясь не задеть гребня, Люба перешагнула. Она обколола каблуком молодую наледь вокруг колев и, обжигая водой руки, напрягаясь, вытянула набухший прутняковый вентирь, открыла днище. Круглый, как блюдо, лещ, серебряный, с черно-зеленой могучей спиной, шлепнулся на лед, на секунду замер с растопыренными, железно напряженными плавниками. Вывернувшись вдруг на голове, он захлопал по льду всем плоским мокрым телом — громко, будто кто-то забил в ладоши. Люба прижимала его дрожащими от азарта руками, от него пахло теплом речного дна, он бил хвостом, а Люба, оскользаясь ладонями по чешуе, боясь, что рыба вырвется, уйдет, цепляла пальцами под жесткие живые жабры...

3

Вечером на кухне Фрянчиха вынимала из печи на стол сковородку с запеченным лещом, хвастливо говорила умывающемуся после работы мужу:

— Сношенька вот добыла тебе свежака.

Дмитрий Лаврыч шевелил бровями и ушами, ел, смотрел на Любу, которая вынимала из чемодана, раскладывала свои карандаши, бумагу, стопки учебников.

— Редкостная у тебя канцелярия, — усмехнулся он. — Богатая.

Люба съезжилась. Заговорила сиротская привычная ущемленность, мгновенно заработали мысли: «Это он потому смеется, что явилась я на готовое, ничего не принесла в дом, кроме «канцелярии»... Отчего бы еще ему смеяться?.. Раз так, часу здесь не останусь. Хоть к тетке Лизавете, хоть на улицу, а уйдем с Василием». Она подняла от чемодана голову, с вызовом сказала:

— Я еще и в институт поступлю!

— А нам вот, — перестав жевать, опять усмехнулся Фрянсков, — не светит с институтами. Я, Люба, насчет личной подготовки дубок дубком. Туго, брат, мне... Беру почитать литературу по своей агрономии — селекцию или почвоведение — и не охватываю. В особенности если теория — будь она, черт ее матери, проклятая! — когда и так ее всю повернуть можно и вовсе навыворот, совсем на противоположное... Здесь же в ее главной сути надо разобраться, а я на другое битый час трачу — на простую грамотность.

Он отер тряпкой масляные пальцы, погнал от стола Гришку и Ленку.

— Ты, Любаша, посидела б когда со мной. Взяла бы шефство, а?.. По дружбе, по-соседски, — попытался он шуткой прикрыть смущение и не казаться просительным перед слушающей Фрянчихой. — Практика у меня ничего, — кашлянул он. — К ней бы образование... Не такое уж, как у тебя, а хоть бы мало-мальское.

Василий в праздничном костюме, снова надетом к вечеру, правда без галстука, шагал здесь по кухне и незаметно для отца подмигивал жене: вот, мол, Любаша, как старые хрычи у нас просятся. Когда он снял с гвоздя кружку, пошел в сени напиться, Люба выскочила за ним, неожиданно для самой себя обхватила его за шею, целуя, не попадая в темноте неумелыми губами в губы.

Глава четвертая

I

Председатель райисполкома Орлов был по своей деловой хватке, по складу воли работником широких, по крайней мере областных, масштабов. Как же попал он в район на тесную, незначительную для него должность?

Двадцать с лишним лет назад, на заре первой пятилетки, Борис Орлов был долговязым смешливым пареньком — наборщиком крупнейшей ростовской типографии. В его анкете стояло: «Из служащих». Он по-мальчишески остро страдал, что не «из рабочих» или хотя бы «из крестьян-бедняков», и по принципиальнейшей убежденности носил армейский ремень, сильно измятую, распахнутую на всю грудь косоворотку, а вместо туфель лосевые бутсы на шипах. Он был секретарем комсомола, режиссером драмколлектива «Синяя блуза», членом профкома, председателем Осоавиахима, МОПРа и многого другого.

Орловы (отец — бухгалтер, мать — домохозяйка) имели на окраине города свою хибару с коровой и фруктовым садочком, но Борис, презиравая собственность, жил при типографии в молодежном общежитии, где в тумбочке у каждого — ворох газет, стиранные под краном, сушеные у батареи трусы; на стене — одна на комнату общая гитара, а в самой комнате — непрерывный грохот голосов. Здорово умел Борька Орлов сагитировать поголовно всех хлопцев то на запись в свой драмколлектив, то в Общество спасания на водах, то на культвылазку в село.

Через год Орлов был на освобожденной комсомольской работе, через два — на партийной. Все решения, которые он проводил в жизнь, были решениями самой партии, и как руководитель борясь за них, неся обязанностей больше, нежели его товарищи, он креп, у него наращивались мускулы вожака — человека, профессионально идущего впереди и берущего на себя больше других. Для пользы общего дела он научился придавливать личные привязанности или антипатии к подопечным, улыбаться, когда хотелось злиться; стал уметь в нужную для дела секунду зажигать себя, чтоб зажечь других.

Но если раньше, еще наборщиком в футбольных бутсах, Орлов заранее знал, кто из десятка его комсомольцев какую колбасу будет покупать к завтраку и какую кто роль будет просить на читке пьесы вечером в общежитии, то теперь, когда на Орлова навалилась ответственность за огромное множество человеческих душ и партийных билетов, формы общения стали новыми.

Быть зубастым, добиваться в месткоме денег для культмероприятий, чудить в обеденный перерыв по дороге из цеха в столовку и потому считаться своим парнем сумеют многие. Но накладывать резолюции, решать судьбы со строгим красно-синим карандашом в руке и не потерять у людей уважения, а главное, вести дело вперед — для этого нужен талант. Орлов обладал этим талантом, а все-таки три года назад — будучи уже давно и прочно в исполкоме областного Совета, в членах обкома, — споткнулся. Выдвинул на группе заводов громкий встречный план, но не вытянул, за что был послан в район.

Партийная эгика не разрешала сетовать на решение обкома, и Борис Никитич не сетовал, а трудился; знал, что его инициативная, умелая работа заслуженно оценивается, что его вернут из села в областной центр на обласную работу. Это могло случиться скоро, и Орлов подыскивал себе смену. Он выбрал Голикова, двадцативосьмилетнего молодого человека, только что присланного из Ростова в райком на должность второго секретаря. Первый был на учебе, Голиков замещал его, но было ясно, что на «постоянного первого» ему по молодости не

пройти, а исполкому — самостоятельной работе — он, безусловно, обрадуется.

Голиков нравился Орлову. И не по анкетным данным, не по деловым, а вдруг, просто так, несмотря на разность возрастов, товарищески. Даже, пожалуй, нежность, что-то отцовское испытывал Орлов к этому неопытному, чем-то новому для него человеку, присланному из Ростова.

После двухсуточной поездки по станицам, в которых, как и в колхозе имени Щепеткова, Борис Никитич готовил «переселенческие» собрания, он вернулся домой, пообедал, выспался и вечером, соскучившись по Голикову, звонил ему на квартиру. Квартира не отзывалась.

2

Телефон молчал, так как Сергей Голиков, решив спокойно почитать, придавил аппарат подушкой. Довольный, что так рано, а он уже свободен, он переобулся в шлепанцы, с подозрительностью осматривал подушку на телефоне и навалил сверху еще одеяло. «Все! — подмигнул он. — Теперь я как в доте». Жена звонила ему в райком, что вернется поздно, трехлетняя дочка Вика уже неделю гостила с нянькой у отца жены в Новочеркасске, и Сергей домовничал один.

Он обошел свое, еще непривычное ему жилье. Состояло оно из трех комнаток. Все три были теплые, чистые, но крошечные, с саманными, крестьянской мазки, стенами, с малюсенькими оконцами, выходящими на пустырь. В средней, определенной как столовая и кабинет, стояли два ящика, которые Сергей и жена обили вчера бараканом, покрыли стеклом, превратив в письменный стол. Вместо стульев были пока тоже ящики; на стене, на плечиках, — женины платья и костюм Сергея, задержанные простыней: временный шифоньер. Единственным уже основательным была дочкина белоснежная кровать с ковриком и навалом игрушек на полу, с огромным цигейковым медведем в изголовье. Рядом, на дверной притолоке, красовалась проведенная химическим карандашом отметина — рост Вики в день приезда в станицу. Сергей колупнул какой-то бугорок на стене над кроватью. Это оказалось впечатанный в глину соломенный остюк, живописное свидетельство сельской идиллии. Такие же остюки, правда чисто забеленные, были и на других стенах и на низеньком — чуть не рукой достать — потолке. Свою большую недавно полученную ростовскую квартиру Сергей, уезжая, сдал жилуправлению, хотя знал, что жена, соглашавшаяся вслух, на самом деле тяжело и глубоко страдала.

— Несоответствие между личным и общественным, — вслух усмехнулся Голиков.

Он сцарапнул со стены остюк, потом присел на корточки и, упершись ладонями в пол, с толчка подбросил ноги, стал выжимать стойку. В Новошахтинске, где он вырос, где его отец и четверо дядьев и сейчас работали в забое, каждый уважающий себя школьник умел делать стойку. Голиков по всем новошахтинским правилам оттянул вскинутые к потолку носки, пошлепал на руках по дому. Когда на днях он вбирался в этот дом, старик из райжилуправления, стекливший выбитую форточку, спросил, первый ли раз Голиков в районе, и, узнав, что первый, мрачно пообещал: «Поживете здесь — кинете и бриться и на «г» разговаривать...» В общем, для отвлечения ходить на руках не мешало. Сергей прошлепал через все три комнаты и вскочил, удовлетворенно отряхивая ладонь о ладонь. Зарядка сделана, мысли переключены с ненужных тем на нужные.

По рабочему плану руководящих работников района сегодня был вечер самостоятельной партучебы, но Сергей взял из чемодана «Кава-

лера Золотой Звезды», лег животом на стол. Скоро отодвинул «Кавалера», приоткрыл «Воскресение» Толстого. Пробежал глазами строчку, потом еще и, как всегда, когда читал Толстого, почувствовал, что сразу же, совершенно естественно, будто сам он среди них, он входит в жизнь чужих ему людей. Он очутился в зале, где судили Катюшу Маслову. Вместе с князем Нехлюдовым он в толпе заседателей робко оглядывал служителя суда — священника в торжественной епитрахили, видел его совершающую крестное знамение, приподнятую над головой руку, старчески пастозную, с ямочками над каждым пальцем. Заседатели, переталкиваясь, поводя плечами, зажатые в новые сюртуки, поднимались по ступенькам на небольшое возвышение, где дают присягу, и Сергею было аж жутко, будто ступал он собственными ногами. Он читал про то, как отлично вымытый и причесанный, отлично одетый князь Нехлюдов, когда-то соблазнивший Катюшу, теперь судил ее. Судили и другие заседатели, в сущности добрые люди; и члены суда, которые, несмотря на свой величественный, строгий вид, тоже не желали Катюше беды и знали, что эта женщина не преступница. Не имели зла ни конвоиры, ни священник. Но колесо вертелось само собой, и ничто не могло помочь Катюше, когда она кричала: «Грех это. Не виновата я. Не хотела, не думала».

— Фу, черт,— потрясенно шептал Сергей.

Он услышал, но старался еще хоть секунду не слышать, как от каютки к дому проскрипели по снегу четкие шаги Шуры, его жены. «Два слова дочитаю, успею»,— думал он.

Думать так и сидеть на месте было небезопасно. Невнимание к Шуре могло опять привести к ссоре, а ссорились они здесь много, потому что ни Голиков, ни жена ехать сюда не хотели, и нервы у обоих были взвинчены.

Правда, Шура — которую ее отец, доктор технических наук, до сих пор, как маленькую, называл «Шуренком» — вначале, в Ростове, обрадовалась переезду, с гордостью думала о себе, что она идет для Сергея на все и, если нужно, пойдет на еще большее. Но приехав на место и увидев, что уже в девять вечера свет горит только в учреждениях, а вся встающая с рассветом станица спит и что здесь, чтоб не быть смешной, ни разу не наденешь ни вечернее платье с тисненым кожаным листом на плече, ни купленные отцом замшевые туфельки, Шура потускнела. Голиков возмущался ее недовольным лицом, перестал разговаривать, несколько дней старался приходить домой поздно. Тогда Шура демонстративно направилась в райздрав, предъявила свой новенький диплом врача, оформилась на работу в больницу. В станичной районной больнице было достаточно и грязноватости, и сероватости, и равнодушия врачей, но Шура еще в Ростове усвоила, что именно это встречает и вскрывает в деревне каждый молодой стоящий специалист, сразу увлеклась, сменила унылое настроение на боевое, и в доме Голиковых начал устанавливаться относительный мир.

Шаги жены приблизились к дому, она громко забарабанила щеколдой. Сергей откинул в сенцах крюк и, бегом вернувшись к Толстому, не оборачиваясь, попросил:

— Дочитаю, Шурочка... два слова...

— Пожалуйста,— ответила Шура, наверно обидевшись, но, не теряя хорошего от мороза и быстрой ходьбы настроения и испытывая мужа, кинула на него варежку, другую, потом сумку, пахнущую морозом.

— Ох на улице и холодно! Смотри.— Она сунула читающему Сергею под подбородок, прижала к шее холодные, как ледяшки, пальцы.

— Да уйди же! — засмеялся он наконец.

Шура мгновенно воспользовалась этим.

— У нас в больнице ужасная история, Сережа,— заговорила она, отдавая ему пальто и берет.— Нажми ты на этого подлеца Резниченко. В аптеке пенициллина хоть завались, а Резниченко не желает выдавать.

Служебные дела у нее шли отлично, поэтому она была в стадии боевой, высокоидейной сознательности. Забыв, что всего лишь неделю назад квасилась из-за тоскливой жизни в районе, она возмущенно напала теперь на мужа за каждое недостаточно бодрое по поводу их быта слово.

Она была тоненькая, быстрая, с невообразимо взбитой пышной прической. Солидные жены коренных районных работников называют таких выдрами, но Сергей, отложив «Воскресение» и за тонкий локоть придерживая жену, с восхищением смотрел на нее. Привлекательность Шуры была не в деталях лица, обычных по отдельности, а в том общем их живом выражении, которое еще в студенческие годы позволяло ей — худенькой белокурой девчонке — вертеть кавалерами, как она хотела. Подбородок Шуры чуть выдвигался вперед, и нижняя губа — тугая, свежая, нежная, как у ребенка,— выдвигалась тоже, образуя на лице «бульдожинку». Сергей всегда любовался всем этим, любовался и сейчас. Правда, ему сильно хотелось есть. С отъездом домработницы и дочери он все дни был полуголоден, но, конечно, не жаловался жене, радовавшейся, что они с Сергеем вдвоем.

— Давай закусим, Шурик,— будто между прочим сказал он, испытывая могучее желание поесть горячих котлет, соуса или хотя бы борща.

Шура выскочила в промерзшие сени, долго чиркала там спичками и вернулась с баночкой простокваши.

— Как я счастлива, что нашла молоко и не надо готовить. Ты ведь любишь кислое молоко!.. А чего ты смеешься? — подозрительно посмотрела она.

Сергей отшутился, достал из шкафа две ложки и засохшую булку и начал прямо из банки есть молоко вместе с Шурой, стараясь оставлять ей верхушку.

3

За этим занятием и застал их Орлов.

— К вам дозвониться — целое дело, ребята! — оглядывая, что новое сделали Голиковы в квартире, говорил Борис Никитич, нравившийся Шуре своей словно бы маршальской осанкой, голосом, римским носом.

Шура гостеприимно подвинула Орлову чурбак, покрытый заячьей шкуркой. Чурбак в необитой коре, в лесных зеленых лишайниках был найден на чердаке; невыделанная шкурка (с ушами, усами и хвостом) по случаю куплена за углом на базаре. Шура сама приколотила ее, считала, что получилось чудесно: чуть-чуть по-охотничьи, в стиле станицы.

Орлов незаметно потрогал шляпки гвоздей — не порвать бы брюки,— похвалил вкус хозяйки, сел, начал рассказывать Голиковым о своей поездке по выселяемым хуторам. Он называл Сергея на «ты», а Сергей говорил ему «вы». Орлов расспрашивал, что случилось без него за эти два дня, и советовал, как бы следовало поступать Голикову в другой раз.

Борис Никитич наслаждался и ребячливым видом одинаково худеньких, будто подобранных один к другому супругов, и неустроенностью в их доме, и общим, позабытым уже ощущением чего-то вроде бы комсомольского, свойственного когда-то Орлову. Орлов и сам держался сейчас перед супругами молодым. Энергично двигая сильными пальцами, он вставил в папиросу желтую антиникотиновую ватку, продвинул

ее внутрь мундштука спичкой, закурил. Ему льстило внимание Шуры, нравилось уважительное и, как ему казалось, робкое отношение Сергея. Хотелось, покидая район, щедро отдать этому неоперенному пареньку все, что создано здесь собственной головой, червами, руками. Получай, миляга, в наследство. Сейчас не поймешь, а после разберешься, что тебе подарили. Борис Никитич улыбался супругам и, похлопывая крупными пальцами по отворотам своих фетровых светлых бурок, выкладывал соображения о том, как Голиков «назло врагам» поднимет район в первую же посевную, опираясь на его, Бориса Никитича, труды. Он педагогично избегал сельскохозяйственных терминов, пользовался общепотребительными словами, понятными для несведущего Голикова; старался, чтобы парень ухватил в экономических перспективах района основное — железную политическую суть.

Сергей кивал, понимал, что слова Орлова очень верны, и в то же время неотвязно спрашивал себя: «А все-таки на черта мне все это надо?..» Еще в первый день, знакомясь, он абсолютно четко сказал Орлову, что не интересуется ни сельским хозяйством, ни вообще работой в районе. Орлов тогда философски хмыкнул: «Все, кого присылают на периферию, такие. Обомнется».

Так что же Сергей добавит сейчас? Смешно же ему, секретарю райкома, пускаться в душевные излияния перед председателем исполкома, объяснять, что он, секретарь, видите ли, с самого детства мечтает быть конструктором самолетов... А если и не хватит юмора и ты в самом деле начнешь распинаться, то объяснишь ли все? Расскажешь разве, как у тебя, еще двенадцатилетнего пацаненка, холодели ноги и мокрыми делались ладони, когда пропеллер с накрученной до отказа резиной вдруг становился живым, сразу невидимым и самолет начинал бежать? Он поднимал мелкую угольную пыльцу, которой усеяны даже самые чистые дворы Новошахтинска. Он брунжал. Он был чудом. Он еще месяц назад, когда его еще не было, был уже построен тобой в мыслях. Но он пока только бежал, а еще не взлетал, и ты уже видел, каким будет новый.. От этого счастья творить не могло оторвать ничто на свете.

В 1941 году, в июле, Голиков, студент-политехник, скрыл от военкомата свою язву и желудка и двенадцатиперстной кишки, пошел на фронт. Он под пулями таскал на себе массу тяжелых предметов: винтовку, скатку, никому не нужный противогаз, лопату «малую саперную», а главное, железную катушку со ста метрами телефонного провода. Когда бежишь (с катушкой надо только бежать!), лямка жует ключицу, несмотря на гимнастерку, нательную рубаху, даже на подсунутый снизу платок. Неправда, что у собаки острые зубы. Самые острые у матерчатой лямки. Ее не передвинешь с изгрызенной ключицы. Посунь на край плеча — спадает, посунь ближе к горлу — зажимает дыхание, а дышать нужно хорошо, чтоб быстрее бежать с тысячепудовой катушкой. Сергей раздобыл еще одну и стал таскать две — простой математический расчет: вдвое больше проложишь связи.

Через год Сергея приняли в партию, назначили политруком. Он стал носить на петлицах два «кубаря», проводить читки газет и держаться уверенно, как положено политическому вожаку роты. Зная по теории силу личного примера, он и в боевой практике старался стрелять лучше подчиненных. Стрелял он на расстоянии, стрелял в упор: три раза, уже за границей, ходил в штыковую атаку; пять раз, когда занимали немецкие щели, приходилось бить ножом, коленями и головой, грызть зубами. Было туго — матерился. А совсем невмоготу — рассказывал на политинформациях про чудесный мир техники с его открытиями, мечтами, упорными поисками. Ребята в касках, загораясь волнениями Сергея, отдыхая душой от войны, слушали о замечательных открывателях, людях

разных времен и национальностей; расспрашивали политука и о нем самом, и политуку торжественно заверял, что внесет свой вклад в науку.

После победы Сергей снова дорвался до института. На фронте, вопреки медицине, вопреки воде из кюветов, наполненной лезущими в рот головастиками, язва Сергея зарубцевалась; и он, как теленок счастливый, без помех работал целыми сутками. Наверстывая упущенное, он представил в научном кружке настолько самостоятельный, смелый реферат, что о Голикове заговорили как о будущем Туполеве. Профессора, в том числе будущий тесть, Шурин отец, рекомендовали его в аспирантуру, однако сразу после института твердая рука горкома забрала Сергея в свой аппарат. Подвели отличные фронтовые характеристики и родовитое шахтерское происхождение, хотя последнее обстоятельство значительной роли теперь и не играет.

Товарищ, которого оклеветали, может оправдаться. Но кого возвысили, тот не в силах отвертеться, как бы жалобно или гневно он ни протестовал и даже ни грозился игнорировать решение. Сергея пригласили на бюро городского комитета, в просторный, освещенный люстрами зал. Вокруг стола сидели солидные люди, заслуженные на фронте и на партийной работе в тысячу раз больше, чем Сергей. Они мягко, даже улыбочиво, однако так железно, что не возразишь и полусловом, растолковали Сергею нужду в кадрах, определили в промышленный отдел горкома. Через год, то есть сейчас, когда на Дону широко развернулась стройка, Сергея отправили в станицу, считая, что ему, инженеру, с руки увязывать строительство с колхозными делами. Но если в промышленном отделе Сергей хоть относительно был занят производством, техникой, то здесь, на Волго-Доне, никто ни капли не нуждался в инженерской помощи секретарей райкомов. Здесь, рядом с заснеженными крестьянскими полями, шло великое строительство. Оно не касалось этих полей, нисколько не замечало в своей великости ни их, ни их хозяев. Уделом Голикова оказались сельские вопросы, которых он не любил и абсолютно не знал, так как, лишь приехав сюда, впервые в жизни увидел в глаза деревню.

4

Сергей стоял перед благодушно сидящим Орловым, рассматривал его белоснежные бурки. Он только делал вид, что слушает Орлова. Борис Никитич говорил о молокозаготовках. Говорил увлеченно, звучно.

«Корова»,— запало отдельное звучание в ухо Сергея. Какого лешего ему, Сергею, известно о корове? Что это сельскохозяйственное животное с рогами, которое доится. Больше ничего. Он перебил, спросил Бориса Никитича, нарочито коверкая:

— А как у нас с этими кормами... с мокрыми?

— Сочными,— поправил Борис Никитич, в своей увлеченности не замечая иронии.— Скверно с сочными. Но надо обойтись грубыми — соломой — и все равно выходить по молоку хотя бы на второе место. Как ты считаешь?

Сергей молчал. Он сощипывал ворсины с рукава своего физкультурного свитера, сдувал их, далеко оттопыривая губы, и вдруг спросил:

— Борис Никитич, вы давно читали Толстого? Толстой ведь между прочим первоисточник, зеркало революции. Или молоко заслоняет у нас всех Толстых даже в день партучебы?

Орлов озадаченно уставился на Голикова, но Шура, которая готовила чай и уже в третий раз переставляла стаканы с места на место, засмеялась:

— Это с ним, Борис Никитич, бывает.— И повернулась к мужу, держа в пальцах измазанные простоквашей чайные ложечки, возмущен-

но раздув ноздри, сказала: — Сергей, ты закрываешься Толстым от хозяйственных разговоров, потому что боишься. Так надо и говорить, что боюсь, а не ходить обходными кругами.

Голиков сохранял вежливое лицо, необходимое хозяину, когда в доме чужие.

— Обходными кругами,— повторила Шура, желая разозлить мужа, вызвать на разговор при Борисе Никитиче.

Планы Шуры были простыми. Шура любила мужа и мечтала о научном его будущем. Она выросла в семье, где всегда как о важнейшем в жизни говорили о диссертациях, о блестящих защитах, и таким образом ее честолюбие в отношении Сергея было подготовлено заранее, а после замужества расцвело пышным цветом. Но коль уж Сергея забрали с научной работы на партийную, то появилось новое обстоятельство. Заключалось оно, по Шуриному рассуждению, в том, что ссориться с начальством глупо, потому что плетью обуха не перешибешь. Сергей должен потрудиться руководителем, а после вернуться к науке. А коль уж приехали в деревню, да еще на то место, где строится все-союзное сооружение, то здесь возникло еще одно обстоятельство, чисто душевное. Перестрадав в несколько дней неудобства сельской жизни, Шура, как и все вокруг нее, стала патриоткой Волго-Дона, хотела теперь видеть в муже настоящего руководителя — волевого, спокойного, а не такого, что брюзжит и несолидно, словно перед кем-то пыжась, презирает окружающее. Поэтому она и нападала сейчас на мужа.

— Отвратительно смотреть на тебя,— бросила она ему и взглянула на Орлова, как на союзника.

Сергей, не реагируя, стоял в своих мягких шлепанцах, добродушно покачивался с носка на пятку.

— Удивительная вещь,— сказал он Орлову,— сколько у вас внештатных инструкторов. Даже моя супруга, полюбуйтеся, инструктор-бодряк. Если у нее в больнице оттяпают, например, палец какому-нибудь трактористу, не говоря уж экскаваторщику с гидроузла, она будет с ножом к горлу требовать от парня, чтоб у него не только веселые глаза были, а чтоб энтузиазм из него струями бил. Как фонтан. Поскольку палец влип не куда зря, а в шестерню отечественного экскаватора. Шагающего. Лучшего в Европе.

— Ты что, Сергей Петрович, работаешь на Би-би-си? — поинтересовался Орлов. Сбитый с деловой темы о молоке, которое должен сдавать район, посмеиваясь над чудачеством своего подшефного, он произнес: — Твоя супруга, между прочим, если и скажет такое пострадавшему экскаваторщику, то не ошибется. Действительно, техника у нас стоящая. Научились. И экскаваторщики — народ ничего себе, не последний. А перед нами с тобой, голубок, ясная задача — снабжать этих экскаваторщиков хлебом. Да и молоко! Кроме того, мешающие Волго-Дону станицы переселить и не мудрствовать.

— Конечно! — взмахивая ложечками, обрадовалась Шура поддержке. — Любые твои рассуждения и настроения, Сергей, заранее безобразны, если они не на пользу стройке. При всех обстоятельствах ты не имеешь права отворачиваться от стройки. Она — твой долг перед обществом, если хочешь!

— Спасибо,— поклонился Голиков,— растолковала про общество.

Он поддернул под свитером брючный ремень, ухмыляясь, спросил у жены, будет ли наконец чай.

— Как всегда, увилываешь от разговора, когда тебя прижмут,— ответила Шура и пошла за чайником. Приостановясь в дверях, добавила: — Великое одолжение делаешь, что ступаешь по грешной нашей

земле. И пусть Борис Никитич слушает, он свой человек, а я скажу. Мне не за себя, а за тебя стыдно, что ты, например, сегодня не дослушал меня насчет пенициллина и нашего дуба Резниченко,— есть тебе захотелось!.. И брось брюки поддегивать, неприлично.

Выйдя наконец из комнаты в другую, она увидела на телефоне подушку с одеялом, рядом «Воскресение» и театрально распахнула дверь.

— Пожалуйста, Борис Никитич! Во всем он так от живого отгораживается.

Орлов улыбался, а Сергей, уязвленный и улыбкой Орлова и предательством жены, отвернувшись от нее, заговорил с Орловым уже серьезнее:

— По-вашему, подушка на телефоне и Толстой, ради которого я телефон закрыл,— отгораживание? Ошибаетесь. Толстой — граф этот! — он пытается человеческие вопросы решать. Вы не догадываетесь, как важно решить их? А я догадываюсь. Я свои разобрать не могу.

— Какие же? — снова улыбнулся Орлов.

— Многие. Например, что я — такой же хозяин страны, как и любой из ста девяноста миллионов,— позволяю насиловать себя. Мое убеждение — быть там, где я нужен, и единственное для меня правильное — уехать, что мне колхозы? Но такое — «что мне колхозы?» — даже взрывается у вас в ухе. Это по выражению вашего лица видно... Ведь мы все еще с пионеров с хорошими стишками о Родине, с хорошими песнями впитали любовь к раздольным широким полям, к колхозам... И вот пользуются этим нашим чувством, забывают принцип, что место коммуниста там, где он полезнее, а не там, куда его засунули. Уворуй пять рублей — преступление; а убей в человеке убежденного инженера и сформируй средненького партдеятеля — это выдается за проявление мудрой общественной воли!

5

Орлов, честно проработавший всю свою жизнь, презирал тех, кто едва лишь прикоснулся к труду и уже бойко, свободно громит всё и вся. Но Голиков был фронтовиком, техническим специалистом, а по своей новой должности человеком его круга, и Орлов глядел смеющимися глазами — понимающими и извиняющими молодость Сергея. Щуплый, с очень большеглазым, подростково худым лицом, на котором почти не пробивалась растительность, с круглым, с ямкой посередине, подбородком и маленькими крепкими кистями рук, Сергей напоминал ученика ФЗУ.

— Что еще скажешь? — подтрунивал Орлов.

— То, что противно работать вхолостую. Ездил я вчера в Краснокутскую эмтэс уговаривать, чтоб закончили ремонт до срока. Еще дома подбирал всякие убедительные доводы. И в дороге готовился. Попросил шофера минуту подождать, отошел в снег и вслух, будто я перед эмтэсовской массой, прорепетировал,— привирая для красочности, усмехнулся Сергей.— Нет, действительно, Борис Никитич, испытывал как бы трепет... Ну а там, в Краснокутской, думаете, понадобилось это? Все за всё «за», все всё принимают. Сонно, безразлично. Оно, мол, сто лет уже заведено — голосовать; каждый раз то же. Так зачем, интересно мне, я — конкретный Голиков — здесь нужен?

— Брось! — категорично отрезала Шура, появляясь с чайником.— Подумаешь, принц Датский. Все ему не так вокруг.

Сергей округлил глаза.

— Да в конце же концов имей, Шурка, совесть. Сама аскофен глоташь, что здесь театра нету.

Шура положила ложку, которую мыла в баночке из-под простокваши, решительно вздернула подбородок, но Орлов шутливо отгородил ее рукой.

— Ну а еще, Сергей Петрович?

— Еще? Пожалуйста, еще. Не уважают нас с вами колхозники. Не составляем мы с ними одного коллектива, не дружим, а только командуем. Их жизнь и наша — разные жизни, — постепенно разойдись, говорил Сергей.

Говорил он так оттого, что его волновал вопрос, и оттого, что здесь находилась Шура, при которой ему, невзирая на ссору, несмотря на четыре года супружества, по-прежнему было приятно быть героическим.

— Противно мне, — говорил он Орлову, — что заезжал я в Краснокутске на ферму, а там сплошь одни женщины — все горбом работают, все по ступицу в навозе. А я, мужчина, в хорошем пальто, с чистыми белыми руками, остановился в проходе и рассуждаю с ихним бригадиром — тоже здоровенным, как я, мужчиной, — как им, этим теткам, еще интенсивней бы работать... Не беспокойтесь, понимаю и насчет разделения труда, и что не к чему мне из солидарности тоже руки измазывать. А не привыкну. Не согласен, что они с фермы домой среди ночи по снегу, по дождю пробиваются пешком, тогда как у нас с вами машины. По штуке на каждого. Собираемся мы ехать и, хоть нам полтора квартала до гаража, не идем туда, а звоним шоферу: «Подъезжай».

— И еще скажешь что-нибудь? — морща в улыбке энергичный римский нос, спросил Орлов. — Сразу видать инженера-проектировщика!.. Что ж, брат, давай перестроимся по твоему проекту. Закрепим твою машину за дояркой; она утром проедет два километра на ферму и вечером обратно. А ты, вместо того чтобы поработать в десяти концах района, будешь до Краснокутской эмтээс пешком трюхать. Возможно, до вечера и дотрюхаешь, если, как на кроссе, шагом с бегом. Приятное занятие: и нафизкультурничался на воздухе, и за все дела в районе ответственность с себя снял. Пусть другие отвечают. Они — грубые, а коммунист Голиков — нежный.

Слова Бориса Никитича действовали на Сергея, как трезвая, свежая вода из крана. Сергеем было отрадно быть битым, потому что били по его сомнениям. Любые чувства Сергея Орлов именовал популярными терминами — «нытье», «интеллигентщина», — объяснял все удивительно ясно. Была в логике Орлова та же конкретная правда, что и после института на бюро горкома. Орлов, по-прежнему морща нос, простодушно интересовался, отчего «товарищ Голиков» столь тяжело вздыхает по своей квалификации, когда мог бы заниматься вечерами, оформиться в заочную аспирантуру. Доярки, например, которых он так жалеет, работают и учатся, как и вся страна учится в послерабочее время. Относительно совещания в МТС, поразившего Сергея своей унылостью, Орлов и совсем издевался, спрашивал: чего именно хотел там Голиков? Оваций, что ли? Совещание повседневное, и Голиков выполнил на нем задание райкома — провел деловое решение.

6

Сергей не всему верил в словах Бориса Никитича, но отмахивался от неубедительных мест и с готовностью (это было проще) поднимал в себе хорошее настроение. «С деталями потом разберусь, — слабохарактерно рсшал он, — а сейчас и так ладно».

Действительно, вокруг было ладно. В углу уютно лежали автомобили и резиновые звери его дочки (скорей бы уж возвращалась!), в смежной комнате мирно стояли покрытые толстым стеклом два ящика, так остроумно приспособленные им и Шурой под письменный стол. Сейчас на этом стекле Шура расстелила скатерть, решив поить чаем там, в кабинете, и, выходя за стаканами, незаметно для Орлова крепко сдвинула маленькими пальцами плечо Сергея: не сердись, мол, Сережка, я погорячилась. Хозяйственные дела у нее, как всегда, не ладились, но она не расстраивалась, а, наоборот, демонстрировала это — весело вертела в пальцах сахарницу, не зная, куда ее поставить, встряхивала кудрявой головой на тоненькой длинной шейке, и Голиков любовался женой.

— А ложек не хватает,— смеялась она.— Ничего. Будет как на пикнике, ладно? Борису Никитичу, так и быть, дадим уж! — Она совала в стакан Орлова свою ложечку.

Орлов благодарил, однако чаю категорически не хотел. Он проболтал с супругами весь вечер, отдыхал, сидел на «заячьем» чурбаке, который притащила ему Шура в кабинет. Прощаясь, Борис Никитич отечески щипнул в передней свитер на груди Голикова, посоветовал все-таки браться за дело. Хоть Голиков, мол, и обижается, что ему, его райкому, уделена незначительная роль в Волго-Доне, а оно не так. В этом Голиков убедится, когда возьмется за основное, то есть поедет в «береговую» часть района, в переселяемые станицы.

— Только,— предупредил Борис Никитич,— будешь на собраниях, смотри!.. Пока решение не вынесено, не показывай там своих эмоций. После решения покажешь.

— Почему? — спросил Сергей.

— Потому что твое слово — инструкция. Точнее, по смыслу если,— приказ. Ты высказал мнение за переезд в хутор Подгорнов, а сложится, что они поедут в Задонск. Вот и ошибся. А руководителю это смерть. Ему, голубок, запрещено ошибаться.

Глава пятая

1

В четверг в колхозе имени Щепеткова состоялось общее собрание.

Настасья Семеновна и Дарья шли домой последними. В небе, прокаленном сухой стужей, вокруг луны мерцал обруч — на еще больший мороз. Было поздно, но вдоль улицы светились щели ставен — видно, пришедшие с собрания люди растолкали сонных домочадцев, рассказывали новости...

О переселении, о том, что здесь будет дно моря, говорилось давно. Сотни раз передавало об этом радио, печатали газеты, докладывали приезжающие лекторы. Разговоры в Кореновском, как и в других подлежащих выселению хуторах, то утихали, то — после очередных официальных сообщений — начинались опять. Всплывали слова, пугающие непонятностью: «зона затопления», «переноска берегов» и памятное с войны, тревожное «эвакуация»; но что это коснется их, захватит в числе других ихний хутор, все-таки не верили.

Сегодня Орлов зачитал решение, поздравил колхозников с будущей счастливой жизнью на новых местах. Поднимая над головой руку, он громко говорил о сбывшейся вековой мечте людей-мыслителей, о новых, неизвестных тут прежде растениях, что зацветут теперь на орошенной земле, о великом торжестве человека над природой.

Переселение срочное. Завтра же начнется опись домов, даже заборов, погребов и колодцев. Прибрежные левады, сады, леса на берегах и островах — рубить. Все снести, сдать весной государству чистое дно.

«Ясно,— шагая рядом с грудастой, высоченной Дарьей, в уме прикидывала Щепеткова работу.— Создадим бригады, с эмтээсом договоримся насчет тракторов. Снесем».

Настасья Семеновна шагала, смотрела на дома, на деревья, черневшие за каждым домом, уходившие в глубь дворов. Хоть ветви голые и на небе луна, не проглядеть — сплошным лесом спускались сады к невидному отсюда заледенелому ерику. Там, на берегу ерика, против каждой усадьбы нарезаны огороды. Грядки низкие, сырые, в самую жару не надо поливать ни капусту, ни темные на солнце, скипидарно-пахучие кусты помидоров, ни синелистые тугие баклажаны.

Огороды — оставлять... Настасья Семеновна шагала, смотрела на дома, белевшие под высокой луной. Срезы толстых камышовых крыш бросали на стены резкие, как шнуром отбитые, тени, и под ними, над окнами, ясно виднелся каждый деревянный накладной завиток, долбленный долотом хозяина, вырезанный его пилой, тщательно обструганный. Словно крупной солью отблескивали изморозью каменные низы. Прочно — не пошевелить — стояли дома, которые надо будет ломать, поднимая известковую, кирпичную, меловую пыль; разбирать по бревнам, валить на машины, на тракторные прицепы.

Жителей каждого дома знает Настасья Семеновна в лицо и по характеру. Эти — родичи, те — кумовья, третьи еще с ребячества, со школы, потом с техникума — товарищи покойного Настасьиного мужа, Алексея. В сорок первом всех их, молодых мужчин, вместе с Алексеем вызывал военкомат; с их женами изо дня в день ждала Настасья писем. Приткнувшись у калиток, рассказывали женщины одна другой свои сны; как умели, утешали одна другую, когда уходили от немцев из хутора, гнали скотину и тракторы, увозили хозяйство. А когда вернулись, когда еще через год начали съезжаться из-за границы мужья, — вместе отстраивали колхоз, семейно гуляли то в одной, то в другой хате, с баяном, с песнями. Не отставали от фронтовиков, пили дождавшиеся бабочки за победу, что завоевали их мужья глубокими ранами, а какие и собственной жизнью... Сколько помнит Настасья еще со времен своего детства, люди всегда клали здесь головы. Гибли и хуторяне-красногвардейцы и хуторяне-беляки. В Отечественную войну гибли патриоты, гибли и предатели — первые на светлом пути, вторые на подлых, кривых тропках, а каждый по-своему за свой Дон в лугах и виноградных кручах, за свои зеленые, привольные, как в раю, сады.

Проходя площадь, Настасья Семеновна остановилась у памятника, обнесенного оградой. Глянув на нее, остановилась и Дарья.

Памятник — вкопанный стоямя высокий камень-ракушечник. Он торжественно стоял под луной в головах нескольких могил, сравненных снегом.

В разные годы погребал здесь своих героев революционный хутор Кореновский. В двадцатом ночью (в хуторе стояли тогда денкинцы) был украдкой похоронен в брошенном окопчике пятнадцатилетний Азарий Щепетков, связанной в полку отца. Вдвоем с соседкой зарывала его мать, живая и сейчас свекровь Настасьи — бабка Поля. Через месяц, уже открыто, всем народом, хоронили здесь второго сына Щепетковых — Романа, начальника штаба стцовского полка. Шестью санями привезли тогда из степи убитых. Романа — на одних санях с зарубленной женой Ксенькой. Как и Романа, хоронили Ксеньку при шашке, при всем ее оружии, в головах папах с красной лентой. Доставили и Виталия Черненкова — старшего брата Дарьиного мужа, бухгалтера, и еще восьмерых заледенелых уже щепетковцев — казаков соседних станиц, которых повезли дальше.

В тридцать первом, с музыкой и цветами, с великим почетом погребали беззаветного борца, первого председателя хуторского Совета — самого Матвея Григорьевича Щепеткова, заколотого на виноградниках кулацкими вилами. Держал тогда речь вызванный телеграммой из армии его младший сын, муж Настасьи, Алексей. Настасья сжимала локоть омертвелой над покойником бабки Поли, а Алексей громко, чтоб всем было слышно, говорил о колхозной земле, политой кровью, о том, что будет на этой земле счастливая жизнь. Под ногами лежали выдернутые кресты, которые ставили в двадцатом году, а сбоку подвозили на бричке камень-ракушечник, что стоит сейчас в ограде.

И еще легли здесь люди. В сорок третьем — четыре неизвестных молоденьких курсанта, павших за освобождение хутора; в сорок шестом — муж Настасьи, председатель колхоза Алексей Щепетков. Год после победы мучился он ранами, но не ложился, поднимал и огороды и широкую славу Кореновского — старые виноградники.

— Что ж, и погибших, как огороды, бросать?.. — спросила Настасья Семеновна.

— Не дури! — Дарья передернула озябшими плечами. — Пошли, что ли?

Дарья давно, несколько лет уже — парторгом, потому что, хоть баба веселая, даже шальная, но в решении вопросов не гнется, чувствует и говорит точно так, как пишут в газетах. Даже с Настасьей, с подружкой, если разговор не о чем-нибудь житейском, а о деле, рассуждает жестко, считает, что раз установка — надо по ней действовать.

За площадью, со стороны гаража, взлетела вдруг девчачья, сразу в небо поднятая частушка. Слышно по скороговорке, девчина плясала, смело выкрикивая веселые, отчаянные слова. На концовке, от которой даже бывалая Дарья крикнула, она не понизила голос, а во всю свою силушку бахнула, как было. Взрывом зазвенел на морозе хохот, донесло визги: «Я тебе пихну, я пихну!..» Наверно, девчата боролись, покатались в сугроб. «Пусти, Анька, Аничка-а-а!.. Ой, мама, ребрушко!»

— Жируют, и холод их не берет, — с завистью вздохнула Дарья. — Это они ребят вызывают... А как твой постоялец?.. — Она вдруг пнула грудью Настасью, открыто, белозубо улыбнулась. — Дело твое, солдаточка, еще молодое!

Настасья Семеновна удивленно, неприязненно подняла на Черненко-ву грубые, по-мужски сросшиеся брови и пошла. У калитки молча расталась с Дарьей, заглянула в сарай к корове, что не сегодня-завтра должна телиться. Потом поднялась на балкон. Доски балкона даже сейчас, зимой, вымыты, добела выскоблены песком и кирпичом. У дверей белые стиранные мешковины. На другом конце проулка, слышно, Дарья растворила свои сени, и петли пронзительно завизжали на морозе. Мороз брал крепкий. В лицо потягивало чугунное открытое дыхание Дона, сухо обжигало кожу. Настасья тоже взялась за шеколду, но дверь не толкала, смотрела на белеющее внизу займище.

Вот там, в августовские полдни, возвращаясь по воскресеньям с охоты, останавливался Алексей, на той стороне ерика, у кустов, громко кричал:

— Настёнка-а! А ну беги сюда!

И она шла, а скрывшись за вишняками из глаз свекрови, бежала к нему вниз.

Алексей вброд шел через ерик. Вода до подмышек, пояс с патронами на шее, чтоб не намок, в высоко поднятой руке двустволка, за спиной, вплавь по воде, битые связанные утки и лысухи. Увидев жену, Алексей останавливался на середине ерика, счастливо улыбался. Кепка на его голове сидела горбом, под ней папиросы и спички. Глаза красные от

бессонья, губы, искусанные комарами, оттопыренные, не слушались. Гимнастерка, даже шея и скулы — в иле, в зеленой тине.

— Дьявол!.. — ахала Настасья.

Алексей смеялся, выходил по колено, бурля водой, хвастливо протягивал связки измятой птицы.

— На! Говорила — не убью. Скуби теперь! — И, уцепив Настасью мокрой рукой за шею, тянул в воду.

— Пусти, Леша, люди на огородах..

— Ну и что! Завидки у них? Помогай штаны отмыть.

— Дай хоть разуюсь, — оглядываясь, просила Настасья и, стряхнув на берег чувяки, шла в воду.

На этот вот карагач, поднявшись к дому, вешала она уток и лысух, на высоко вбитый в кору гвоздь, чтоб не допрыгнула кошка; и с мокрой птицы падали в песок капли, сворачивались пульками.

А еще раньше, девушкой, приходила она сюда, во двор к Алексею, не боясь ничьих разговоров, ни о чем, ни о ком, кроме Алексея, не думая, часами шепталась с ним под карагачом. Теперь карагач рубить..

Настасья чувствовала, как озябли в варежке ее пальцы, державшие железную щеколду. С площади, где гуляли девчата, доносило песенку из фильма:

Потому что, потому что мы пилоты,

Небо наш, небо наш родимый дом.

Первым делом, первым делом — самолеты!..

Щепеткова смотрела на займище. Будто отпечатанные, рисовались под луной далекие вербы, памятные с тех пор, когда, детскими босыми ножонками наступая на колючки, ойкая, бегала она по ежевику, собирала ее с цепких, царапающих кожу кустов... Правее, у озера Зеленкова, — где летом ребята ловят раков и когда-то ловила Настасья, — проступали закованные в лед сухостой-камышы; угадывались на снегу бегущие от них стежки, по которым зимой волокут хуторяне битый камыш в свои двсры. Все было видно под-дневному четко. Даже пятна на лугах, на месте скирд, свезенных теперь санной дорогой к фермам.

«Завтра же надо возить и от Бирючьих лиманов, — подумала Настасья Семеновна. — А то начнем ломать хутор — тогда не оторвешь на сено ни подвод, ни быков».

Хозяйский ум Настасьи Семеновны работал сам собой. «Часть народа, — решала она, — надо послать на сено, остальных — на вырубку леса. В степи и палка согдится. Бригадирам дать распоряжение — каждого человека на порубку. Поснимать даже с мастерской и кузницы. Шоферам горячее выполучить, чтоб не стояли из-за нехватки бензина, пока дорога — весь лес перебросили бы на гору!»

Займище с гребенкой Конского леса, с заснеженными песками и болотами лежало внизу, видимое до самого Дона, а далеко за Доном, километрах в сорока, опять на морозе светилось небо. Это великая стройка. Каждую ночь теперь непривычно светится тот край. Несмотря на луну, отчетливо стояло над горизонтом вытянутое в линию на десятки километров зарево прожекторов. Оно то пригасало, то вдруг, высоко взлетая, отрываясь от земли, вспыхивало в вершине огнями.

Оттуда пойдет сюда море, затопит и покосы, и Конский лес, и самый колхоз, где председательствует Настасья Семеновна. Огни переливались, их отблески играли на стене дома, на крашенных балконных перилах. Ставил перила на место старых Алексей, и было это, казалось Настасье, совсем недавно... Несколько дней подряд, заезжая на час пообедать, строгал Алексей заготовки, но болел уже, через минуту всегда сбрасывал китель. Боясь показать, что это от слабости, деловито говорил:

— Настёнка! Подшила б подворотничок, чего ж ты?! — И оглаживал ладонью отструганный брусок, любовно обдувал и, вскинув в руках, при-
мерял ровизну глазом, точно целясь.

«Перила б не сломать, когда разбирать будем», — вздрагивая от холода, подумала Настасья. Она вошла в дом. Маленькие черные валенки сняла на полovice у двери, в носках прошла к припечке, поставила валенки на горячие беленые кирпичи.

— Не спите, мама? — спросила она.

Мать Алексея, бабка Поля, рослая, надвое согнутая в пояснице старуха, — чистая, как и всё в доме, — жилистыми цепкими руками поставила на стол тарелку, хлеб, сняла с печи кастрюлю.

— Я, мама, не буду есть, — почувствовав к свекрови острую жалость, сказала Настасья и, избегая внимательных глаз старухи, зашла в комнату-боковушку.

На сундуке спала дочь Раиска, на койке — старший любимый сын Виктор. Она наклонилась к густобровому Витьке, носатому, как Алексей, как все Щепетковы. Лицо Витьки было прыщавым, лезущими от здоровья прыщами. На подушке, у щеки, лежала его большая рука, от приоткрытого рта пахло табаком. Мужчина... На двери залика, раздражая нарушением порядка, висело чужое пальто-реглан, из карманов торчали перчатки и зеленое кашне. Уже пять дней живет в залике квартирант Солод, приехал начальником каменных карьеров, открытых за хутором для стройки.

«Черт губатый! — подумала Настасья. — наших колхозников позабирал на карьер. А нам самим теперь позарез руки нужны рубить лес».

Она подошла к детям, постояла около них, переложила Витькин пиджак, расправила кинутые комом брюки, но тянуть с объяснением было нечего, и она вернулась в кухню, сказала, будто только что вспомнив:

— Нас, мама, переселять будут. Дело такое — все станицы переселяют...

2

Перед утром Настасья окончательно раскрыла глаза, не зная, спала она или нет. Ей хотелось, не двигаясь, лежать, но на кухне уже возилась бабка Поля, и Настасья, чтоб не говорить с ней, решила идти взглянуть на корову. Не любила Настасья свою свекровь. Не поделили они Алексея. С первого дня жизни молодых считала старуха, что сын благодетельствовал неприметную, всегда исподлобья, из-под сросшихся бровей глядящую девчонку, что красавец сын, который с молодых лет ходит в начальниках, молча несет крест. А Настасья, отдавшая Алексею всю душу и мысли, никогда не подумавшая о чем-то своем, отдельном от мужа, по-женски безошибочно знала, что никто, тем более мать, не отдаст столько ее Алексею и что поэтому он безраздельно принадлежит ей. Бабка Поля на людях всегда расхваливала невестку: дескать, «у Щепетковых все самое лучшее», но в семье не прощала ей сына. Может, если б Настасья хоть теперь уже поплакала перед свекровью, повинилась, все бы между ними наладилось; но она не делала этого из гордости за свое чувство к Алексею.

Настасья тихо оделась и вышла. В хлеву отдавало теплой прелой сыростью, было темно и спокойно. Зойка стукнула о стену рогом, вздохнула навстречу хозяйке. Сытая красавица, драчливая, с пригнутой к глазу кривым рогом, сбитым в драке, она была черно-пегой, рослой и гладкой, каких рисуют на плакатах. В темноте ее не было видно; Настасья наугад протянула руку, погладила голову Зойки, на ощупь любуясь, чувствуя под ладонью мигающий большой глаз. Она потрогала раз-

дуть, с набрякшими венами живот коровы, вымя и села на чурбак у непритворенной двери. День предстоял тяжелый. Нужно будет неторопливо, спокойнее, чем всегда, решать вопросы в конторе, на фермах и просто среди улицы, где паникующие люди будут останавливать, требовать ответов и немедленных решений.

Настасья сидела не шевелясь. Она впервые со вчерашнего вечера отдыхала, была без свекрови, без членов правления и Дарьи, молча смотрела перед собой. Борзая сука Пальма просунулась со двора в дверную щель, терлась о руки, и под ее высокими лапами радостно крутился на снегу куртёк, прыгал неловко и мягко, точно в валенках.

В щель было видно: сонная Раиска выскакивала на мороз, мелькая рубашонкой, шкрябая огромными на ее ногу Витькиными сапогами. Потом у двора вспыхнули и погасли фары, засигналил самосвал, приезжающий теперь по утрам за квартирантом. Пальма зарычала, но Настасья погладила ее возле уха, придержала за шерсть. Квартирант — большой, закряжевший — сошел с крыльца так привычно, точно и крыльцо и двор были теперь его собственностью. Кашлянул, отщипнул с яблони веточку прочистить мундштук, спросил шофера:

— Как дорога в степи?

— А я не знаю, я в хуторе ночевал, — весело зазвучал молодой пьяный тенор. — Вот, Илья Андреевич, бабцы тут! Каз-зачки!.. У каждой сметана, курочка, что пожелаешь, — с радостной откровенностью выпившего, непривычного к выпивке человека смеялся парень. — Тут бабеночка одна... на ходу подметки рвет! Ох же она и... — Голос понизился, зашептал что-то доверительное, горячее.

— Цыть, кобель соплячий! — оборвал квартирант и приказал: — Пусти баранку, убирайся с кабины в кузов! Проветривайся. Ну!

Слышно по скрежету, замолкший парень громоздился в железный кузов, срывался ногами. Взвыл стартер, машина поехала. «Из монахов он, этот Солод, что ли?» — презрительно усмехнулась Настасья, потому что квартирант был ей противен и потому что хуторяне-казаки отродясь не выпускали случая. Другое дело, что подзаборные бабенки — дряни, но мужчине — ему положено быть мужчиной.

В приотворенный хлев текла понизу стужа, схватывала изморозью земляной пол. За площадью прогрехотали еще самосвалы, лязгая на всем ходу железными кузовами. Никогда в хуторе не бывало столько машин, а сейчас, как сорвавшись с цепи, день и ночь мчались с Волго-Дона и на Волго-Дон.

Светало. Вышли индейки, зябко, точно брезгливо вытягивая шею, начали выжидающе топтаться у балкона. К ним стали слетать с чердака лохмоногие Витькины голуби. Трещали крыльями со сна, разминались в полете, а на посадке взметывали воздухом с земли недоклеванное вчера просо. Любимый Витькин голубь, старый, крутобокий, топал багровыми лапами по ступеням крыльца, отблескивал бронзовым — то зеленым, то розовым — отливом на шее. Настасья поднялась, вывела корову, чтоб почистить сарай, посыпала индейкам.

С улицы вошел Андриан Щепетков в тулупе, заиндевавшем на груди и на углах поднятого воротника. Хмуρο пожелал доброго утра, показал глазами на корову.

— Это у тебя четвертым телком?

— Четвертым.

Андриан не начинал разговора во дворе, дожидаясь Настасьи, чтоб идти в комнаты. В кухне за руку поздоровался с матерью, понял, что она уже все знает, спросил о здоровье и в шапке сел за стол. Бабка Поля лет десять уже не разгибала больную спину; для согреву носила на поясице заячью шкурку мехом к телу. Стирала и стряпала она на специаль-

но прилаженном низком ящике, а по двору ходила с двумя коротенькими, как чурки, вырезанными еще Алексеем посошками, каждой рукой опираясь на посошок. Сейчас она стояла перед сидящим сыном, снизу вверх смотрела на него.

— Раздевайся. Подзакусишь? — сказала она.

— Не беспокойтесь, мама. Уже.

Он, как две вещи, положил на стол длинные рабочие руки с длинными и широкими, вылезшими из-под рукавов голяшкамн. Лицо — носатое, в редких оспинах — было сонным, не умытые с ночи глаза смотрели устало.

— Председатель! — Он поднял глаза на невестку. — Объясни мне про наши дела. Только, — он, словно отгораживаясь, приподнял ладонь, — за Советскую власть не агитируй. Я за нее как-нибудь крови не жалел. Скажи мне правительство, что так требуется, — своими руками хутор подпалю. Понимаю, переселяться нужно. Только чего языками трепать, что это радость для нас? Прямо и говори, что жертва!

Андриан смотрел на мать, на сидящую Настасью, из-за спины которой настороженно выглядывала Раиска. С полминуты он поскребывал выпуклым, копытис-желтым ногтем доску и вдруг шархнул по столу.

— А сорок тысяч кустов винограду — это что? Чтò я — харкнул на них и забыл? Да им по двести лет, это петровское еще, им на всем Дону цены нема, не сложишь! Кинули — и тоже радоваться?.. Кулачье недаром на них батьку закололо, знало, чтò у них отнимали!

Из комнаты-боковушки вышел заспанный Витька в белой сорочке и в трусах, по-мальчишески розовый, недовольный.

— Вы, дядя Андриан, думали б, когда говорите! — Голос Витьки зазвенел. — Здесь генеральный план, индустрия, а вы с своего закутка, с виноградника смотрите. Смешно даже.

Андриан повернул на Витьку измученные, в мгновение бешено прояснившиеся глаза. Настасья Семеновна приподнялась, заслоняя собой Витьку от деверя, сказала:

— Уйди, Виктор! И ты иди. — Она дернула за тонкое плечо Раиску, вытолкнула обоих из комнаты.

Витька остановился перед матерью, вскидывая на нее такие же, как у нее, сросшиеся брови, заговорил нарочито громко, чтобы слышали в кухне:

— А что он, мама, тут агитирует? Чего он? Здорово важно — кто мне дядя, а кто нет, когда высказывает черт-те что. Видала, еще и намеряется здесь!..

Витька не сходил с места, заметно подрагивал круглой голой коленкой. В хату без стука оживленно влетела соседка — молоденькая, три месяца как замужем, смазливая Лидка Абалченко.

Желтоглазая, рослая, с припухлыми, точно от комариных укусов, губами, вся возбужденная, Лидка, казалось, бежала на танцы, боялась опоздать. Уже вскочив, спросила:

— Можно? — и кокетливо, вроде напугавшись, полуотвернулась от Виктора, стоящего в трусах, певуче заговорила, растягивая губы: — Настасья Семеновна, представители приехали. Хутор описывать.

Она огляделась.

— Ой, здрастье, кого не видала! Привет. Андриан Матвеич, здрастье, бабушка. Вас, Настасья Семеновна, товарищ Конкин вызывают в Совет. И представители там приехали. Прибыли райкомовскими машинами.

— Иду, — сказала Настасья Семеновна и повернулась к деверю. — Зря ты обижаешься, Андриаша.

Но тот не ответил, положил бабке Поле на спину руку.

— Ничего, мама. Нехай описывают, нехай что хотят...

Виктор демонстративно, вплотную прошел мимо дяди, взял мыло, подкатал на розовой шее примятую за ночь сорочку, громко толкнул тылом руки сосок умывальника, и Андриан шагнул из хаты, швырнув дверью, не оборачиваясь на улице к вышедшей за ним Настасье.

Глава шестая

1

Просторно зимой в степи. Даже опытным глазом не сразу определишь, где заснеженный пережат перевалил за горизонт, где он кончился и начался новый. На телеграфных столбах тускло блестят изоляторы, провисают в ледяной наледи провода. Ни деревца, ни кустика... Пройдет человек, а за следом валенок струятся змейки снежной пыли, нигде не задерживаются на гладком, словно выстроганном, поле.

Километр за километром отщелкивает спидометр машины, мчащейся по отшлифованному профилю, окропленному бензином и маслом. Пронесется тракторная бригада с флагом, закаменелым от зимнего дождя, с забытой стенгазетой на вагончике, мелькнут кирпичные постройки МТС, хаты — и снова мертво. Лишь степь во всем мире, телеграфные провода да небо без голубизны, без единой птицы в белесых пустых просторах.

И только когда взметнется наконец шоссе на вершину последнего двадцатикилометрового пережата, — откроются глазам живые придонские станицы. Веселые дымки над крышами — голубые от кизячной топки, серые от соломенной; высоченные вербы с красноватым лозовым подлеском — молодельником; бойкие «легковички» и грузовики на дорогах; бесчисленные точки — рыбалки на каменно-зеленом зеркале Дона. А совсем спуститься к берегу — тут и домовитый лай собак из садов, и шустрые пацанята, что наперебой объясняют дорожку; запахи ивового леса и близкой реки, смешанные с запахами сена и скота во дворах. За заборами перебранка индюков, звуки радио из растворенной хаты, квохтанье курицы, снесшейся в теплом сарае. Возле сельмагов толкуются голосистые тетки, вечно полные, точнее — переполненные брызжущей активностью, если собрались они вместе. Поставив на снег кошелки, натягивая на лоб сползающие от жестикуляции шали, наклоняются к уху одна другой, отгоняют ребятишек, мешающих откровенному разговору. И упаси не приведи не только ребятишкам, а и взрослому послушать разбитных бабочек, когда берут меж собой на зубок какого-нибудь неудалого («мать его курица!») директора совхоза — дурноеда и дурочкина полюбовника! А заодно «задрипу, каких и не найтить», его супругу вместе с шибко интеллигентной свояченицей!.. Это — Дон.

Комиссия, приехавшая описывать колхоз имени Щепеткова, состояла из четырех инженеров и девушки-техника. С ними вместе прибыл секретарь райкома Сергей Петрович Голиков. Приехавшие сидели в сельсовете. На дощатой стене, на гвоздях, висели их пальто, на подоконнике лежали кашне и портфели. Председатель сельского Совета Степан Степанович Конкин стоял на своем хозяйском месте, за столом, ободряюще улыбался инженерам, будто ребятам-студентам, которые прибыли в колхоз на уборку и нуждаются в теплой поддержке.

— Ну что ж, товарищи, — говорил он, — работайте! Списки домовладельцев мы вам дадим; жилье приготовим, чтоб было вам где отдыхать, кушать. Послали насчет квартир? — обернулся он к Любе Фрянской.

— Уже, Степан Степанович, — подтвердила Люба, настороженно поглядывая на необычных гостей.

По всему, Конкин заранее готовился к встрече. Он был в шевиотовом темно-синем костюме магазинной вытютюжки, в тугом галстуке. Из рукавов виднелись манжеты, сияя жесткой крахмальной белизной, и парадность вида нарушалась лишь вставленной в мундштучок огромнейшей махорочной сигаркой, скрученной из газеты.

— Поозябли небось в дороге? — усмехнулся он, открыл дверцу печи и, подтянув рукава с манжетами, по-женски умело стал подбрасывать совком подсолнечную лузгу. — Натопим — повеселеете, — объяснял он, продирая немецким штыком колосники, отчего в поддувало сыпался жар, а в борове гудело, точно в форсунке. Огонь освещал коротенькие волосы председателя — смоченные, причесанные от виска на пробор, его хрящеватые уши, острый нос и острый подбородок. Продолговатое живое лицо было настолько худым, что каждая перебегающая мышца — четкая, ребристая — виднелась под тонкой кожей, когда он улыбался.

Он захлопнул печку, посерьезнел, выпрямился. Отколол двойную булавку на внутреннем кармане пиджака и достал из кармана ключ на стальном натертом колечке. Потом отпер сейф, вынул конторскую книгу, положил ее на столе перед секретарем райкома.

— Вот так! — сказал он, будто подвел итог прежней жизни хутора.

Книга была прошита по корешку шпагатом, и концы шпагата припечатаны к жесткой обложке круглой сургучовой печатью. Здесь были записаны жители хутора — от недельных младенцев до стариков, указано место и время рождения каждого человека, его занятия, имущество, семейное положение. Против иных фамилий стояло «убыл», против некоторых — «умер».

Сергей Голиков подвинул книгу крутолобому мужчине в массивных пластмассовых очках и объяснил Конкину:

— Инженер Петров назначен ответственным за инвентаризационную комиссию.

Петров взял раскрытую книгу, провел пальцем по развороту, чтоб не отгибались страницы. Сергей смотрел на его пальцы спокойным, контролирующим взглядом начальника, хотя на самом деле стеснялся быть главным во всей этой «деревенской работе», в которой не смыслил. Он, как говорится, не отличает ячменя от морковки. Какое же право имеет он управлять колхозниками — мастерами земли, — заниматься, в частности, их переселением? Но, натренированный армейской и горкомовской руководящей работой, Сергей держал себя соответственно своей должности, то есть внушительно. Его лицо было невозмутимым; научиться командовать лицом легче, чем командовать хуторянами.

В комнату вошла Щепеткова.

— Председатель колхоза, — представил ее Конкин.

Настасья Семеновна спустила на плечи шарф, поздоровалась. Инженеры ответили и смотрели на нее.

— Ваш колхоз этой весной должен быть убран отсюда, — сказал ей Петров, вынул сложенный носовой платок, развернул, высморкался и опять сложил вчетверо. Прodelав это, опять повернулся к Щепетковой: — Дайте распоряжение вашей бухгалтерии поднять баланс — статьи, где у вас помечена стоимость артельных строений: животноводческих, общественных и жилых домов, принадлежащих колхозу. А также лесонасаждений, садов и прочего. Мы с вами будем уточнять эти ваши данные на местности.

— Государство, — добавил Голиков, чтобы Щепетковой все было ясно, — полностью оплатит вам за все, до единой палки и камня... А вы обязаны по-партийному помогать комиссии. Вы ведь член партии?

— Нет,

— Ну... все равно — беспартийный большевик!.. Кстати, кто у вас секретарь бюро?

— Черненкова Дарья Тимофеевна, — ответила Щепеткова.

Сергей записал фамилию, посоветовал инженеру Петрову связаться с Черненковой, чтоб она выделила в комиссию представителя от колхоза. Затем снова повернулся к Настасье Семеновне.

— Вы должны постараться подготовить не только документы и хозяйство, но прежде всего жителей.

— Сделаем, — сказала Настасья Семеновна так, будто она каждый день переносила колхозы.

— Вот и хорошо. Действуйте, — оживился Голиков, довольный, что все обошлось так просто, и, встав, протянул ей руку.

Настасья Семеновна неторопливо надела шарф, пошла в правление.

Около правленческого дома, необычно для рабочего времени, толпились люди, стоял колхозный грузовик. Увидев Щепеткову, все затихли.

— Приехали сваточки? — издали крикнул Настасье заведующий молочным пунктом Ивахненко, подмигнув в сторону сельсовета.

Маруся Зеленская, стоявшая вместе с Ивахненко, подбежала к Настасье. Она уронила рукавицу и, не замечая, что уронила, сдвинула Настасьину руку:

— Ну? Как же там?..

— Чего ты волнуешься, Маруся? Комиссия как комиссия. Рукавицы подними. Дурочка! — Настасья похлопала ее по плечу, подошла к грузовику, возле которого курили мужчины, опирались спинами на радиатор.

— Почему солому не возите?

Мишка Музыченко вылез из кабины и улыбнулся.

— Настасья Семеновна! А разве теперь нужно? Дело ж ясное, что дело темное.

— Простой машины, Михайло, — оборвала Настасья, — отнесем за твой счет. А вечером, как перевозишь солому, явишься ко мне в контору.

У крыльца протирал пенсне командировочный, с которым Щепеткова познакомилась на свадьбе у Фрянских.

— Я хотел сообщить, — кашлянул он, — что закончил с библиотекой. Вам бы заключение подписать. Я понимаю, сейчас вам не до библиотеки...

— Отчего же не до библиотеки? — громко, с расчетом на окружающих, спросила Настасья, проходя в правление мимо женщин, дающих ей дорогу. — Одно другого не касается. Заходите, глянем, что там у вас.

2

Инженер Петров разложил на столе Конкина бланки, с которыми при описи хутора будет работать комиссия. Это были отпечатанные в типографии акты с чистыми, не заполненными еще графами, ведомости и нумерованные таблицы малых и больших форматов.

— Будем начинать, товарищ Голиков? — спросил Петров.

Работник комиссии Клава Сергиенко, девушка с тонкой шеей, с заложенными за большие уши волосами, молоденькая, только что окончившая техникум, сидела робко и тишком поглядывала в окно. По хуторской площади по снегу ходили гуси. Они были похожи на диких, потому что вытягивались на цыпочках к небу, махали размашистыми крыльями. У себя в Москве Клава не видела гусей на воле, никогда не видела и женщин с ведрами на коромыслах, а встречала все это лишь на картинках и фотографиях. Она не слушала Петрова, завороченно смотрела в окно. Через площадь шел по дороге трактор, волочил за собой на полозьях гору соломы, громадную, как двухэтажный дом, а навстречу двигалась

подвода, запряженная быками. Быки были с широкими курчавыми лбами, белые от инея, на их мордах висели сосульки. Возчик забегал быкам наперед, пытаясь своротить их, дать дорогу трактору, но быки не шли в глубокий снег, и здоровенный возчик со всего маха — раз, другой, третий — стал бить их сапогом прямо в морды. Трактор спокойно ехал навстречу, спокойно — будто так и надо было бить животных! — глядел из кабины тракторист, а надо всем простиралось огромнейшее небо — бесконечное, равнодушное, совсем не такое, как в родной Москве. Чужой мир, в который привезли Клаву и в котором она обязана теперь жить. Клаве очень захотелось домой.

Под окном девчонка с голыми на морозе коленками и бородатый дед загоняли во двор выскочившего кабана. Кабан тряс широкими, как лопухи, багровыми ушами, обнюхивал и пихал рылом снег. Он был с такой страшной пастью, такой грузный, каких Клава не представляла иначе, как в прочной вольере сельхозвыставки. Клава ни за что на свете ни на шаг не приблизилась бы к нему...

Она оглянулась и встретилась с насмешливым взглядом Конкина. Он наклонился и тихонько сказал ей:

— Ничего, дочка, обойдется. Первый раз уехала от мамки?

— Первый.

— Молодец! Не надо бояться.

— Так я и не боюсь, я так просто.

— Вот и правильно, — легко согласился Конкин и пошел к двери на деликатный стук из коридора.

В дверях стояла Лидка Абалченко, рослая, уже принарядившаяся, в лиловой беретке, закрепленной на одном ухе, с голубым газовым шарфиком на шее. Она громко, возбужденно зашептала:

— Степан Степанович, инженеров никто на квартиры пускать не желает. Протестуют. Мол, чтоб и духу ихнего поганого тут не было.

— Ишь ты! — Конкин поднял брови. — А ну заходи, выкладывай.

Сергей Голиков с интересом смотрел на председателя сельсовета, который не пытался сгладить неловкость своего положения, тянул сюда эту деваху.

— Рассказывай, — повторил Конкин.

— Ой, Степан Степанович, — замылась Лидка, игриво и смущенно поворачиваясь то к нему, то к Голикову и к членам комиссии. — Что рассказывать? Ну, Фрянчиха, например, говорит: «Что ж я — переберусь до коровы, а им зал отдам, паразитам? Приснились, говорит, мне эти квартиранты!»

— Вы, надеюсь, сообразили растолковать ей, что ей заплатят? — спросил инженер Петров, густо краснея.

— Да разве успеешь? Она ж и в хату не пустила! — Лидка обиженно поворачивала на всех свои круглые желтые глаза с намазанными черными ресницами. — Называется культурная... прямо на улице разорвалась: «Я, говорит, тебя так с порошков турну, что аж внизу хвостом накроесси».

— Хвостом? — переспросил Конкин. — «Накроесси»? — Он задумчиво покрутил головой и вдруг в голос расхохотался. — Черт, а не Фрянчиха. Умеет же, проклятушная, сказать! Во, Любаша, свекруха у тебя! — полмигнул он секретарше и повернулся к Лидке. — Ты не сердись, Лида. Ты ж наш актив, умная девушка... Скажи лучше, что у Гуцковых и Сочневых?

— У Гуцковых замок. И овчарка отпущенная, — не сразу ответила Лидка, не зная, на чей счет принимать смех Конкина. — А Сочниха извиняется, говорит: «С удовольствием бы, только негде. У меня, говорит,

сын приезжает с армии». А Зинка, Степан Степанович, с ним гуляет и мне лично письмо его читала, что он аж весной приедет. Сочниха тоже в хату не пустила... Вот они шли с маслозавода, видели.— Лидка показала на входившего в двери Ивахненко.

Красный с мороза, дородный, черноусый Ивахненко стукнул заснеженным сапогом о сапог, по-армейски разгонисто, полушутя, козырнул Конкину, вежливо кивнул инженерам.

— Я к тебе, Степан Степанович. Насчет прибывших. Тут вроде жилищный кризис, так прошу до меня. Чем богаты, по-колхозному...

— Ох и хитрограмотный! — Конкин прищурился.— По-колхозному... Ладно, ладно, не объясняйся уж. Вали, готовь хату.

— А что? — спросил Голиков, когда Ивахненко оскорбленно вышел.

— Ничего. Инженерам у него хорошо будет,— ответил Конкин, снова улыбнулся Лидке Абалченко: — Мотнись, рódная, еще раз к Гуцковым, они уже замок отомкнули.

Петров не одобрял улыбок председателя Совета. Он дождался, пока закончатся посторонние разговоры, предложил подчиненным вернуться к работе и стал объяснять, что основное свое внимание комиссия должна уделить описи общественного сектора.

— С общественным ерунда,— заметил Конкин.— А вот с частным — это действительно вопрос сложный.

— Вы считаете, что частный сектор важнее? — сухо осведомился Петров.— Частный, по-вашему, в социалистическом сельском хозяйстве имеет больший вес?

— Бросьтешивать, — дружелюбно отмахнулся Конкин.— Уже ведь не модно.

Петров опустил глаза к бумагам, сказал:

— Извините. Здесь не место, и дискутировать не будем.

Конкин удивленно выпрямился, посерьезнел.

— То есть как не будем? — спросил он, оправляя ладонями пробор, таким жестом, каким перед дракой натягивают шапку.— Будем. И как раз здесь! А там, на описи, не допустим мутить колхозников. Понятно?

Он повернулся к Голикову.

— Вы, как секретарь райкома, объясните, пожалуйста, это товарищам. И Петрову, инженеру, в отдельности, раз до него не доходит.

— Чего вы хотите? Конкретно,— спросил Голиков.

— Чтобы каждый понял: домохозяйке даже паршивенький, источенный червем подоконник в ее хате — как воздух. Она родилась — подоконник был, и замуж выходила — был, и сыновей на фронт провожала — тоже был; а теперь его долой. Надо ж, товарищ Петров, хоть чуть сообразать это и все внимание при описи как раз им уделять, колхозникам!

Конкин подозрительно глянул на Голикова, готовый схватиться и с ним.

— Так я говорю? — спросил он.

Сергей не торопился. Вместо ответа спросил сам: считает ли все же Конкин, что опись общественного сектора менее важна?

Конкин смешливо, как на маленького, посмотрел на Голикова.

— Напугались, что про общественный меньше говорим? Нормы не выговорили? Так его ж описывать — техническая работа. Поднял бухгалтерский баланс и сверяй с объектами. Ей-богу, товарищ Голиков, подскажите товарищам, чтоб думали. К примеру, не очень бы официально разговаривали с жителями. Зайдут во двор, пускай сперва пошутят с хозяйкой, поболтают о жизни, о детишках, а потом уж и насчет описи...

«Что он за фрукт, этот Конкин? — думал Сергей.— Орлов отзывался о нем скверно, говорил: «Мелкий скандалист, великий лемагог». Пожалуй, прав. Конкин всего лишь сельсоветчик, а держится секретарем

обкома минимум. С ним даже, с Голиковым, об этих самых секторах вот с какой издевочкой...»

Но вопрос, поднятый Конкиным, Сергей считал верным и, приняв его сторону, начал здесь же обсуждать с комиссией детали будущей описи, вызывая на разговор Петрова и других инженеров и даже пытаясь втянуть техника Клаву Сергиенко. Как ни молод был Голиков в делах руководства, но уже освоил многие верные способы влияния на людей. Он то молчал, кивками поощряя очередного правильно говорящего инженера, то репликой направлял его — внешне абсолютно мягко, товарищески, но очень твердо по существу, как это умеют профессиональные партработники; и выступающим казалось: как раз то, что они теперь высказывают, они думали и раньше, а сейчас просто сходились во взглядах с секретарем райкома. Не поддавался лишь Петров. Он спросил:

— Это установка — туры разводить вокруг подоконников? Прикажете целоваться с домовладельцем, чтоб дух его держать на высоте?

— Целоваться не обязательно, — ответил Голиков. — Но должен сообщить: моральную сторону переселения правительство считает такой же важной, как постройку судоходного канала. Так что внимательное отношение к жителям извольте принимать как установку.

Конкин переводил глаза с одного говорившего на другого и желтоватыми от курева, крупно-клыкастыми, как у волка, зубами покусывал мундштучок. На Сергея производил хорошее впечатление этот неказистый мундштучок. Был он составлен из прозрачных цветных кружков плексигласа вперемежку с кружками темного алюминия, на который, видать, пошел в свое время черенок солдатской казенной ложки. «Фронтальная работа. Безусловно, — теплея душой к хозяину мундштука, определил Сергей. — Интересно, сам Конкин вытачивал или дружок мастеровал в окопе и подарил?» Сергей замечал, как азартно делал все Конкин, даже курил. Не дотянув еще одной сигарки, сворачивал очередную, присматривал от старой, затягиваясь так, что на конце, на толстой газетной бумаге, вспыхивал огонь. Сергею все больше нравился этот человек — злой на Петрова, неприятного и самому Сергею. И Конкин, считая теперь секретаря райкома не только по его должности, но и на самом деле старшим, несколько раз во время совещания с признательностью взглядывал на него. Голикову льстили признательные взгляды этого резкого, угловатого с другими человека. Голиков, сам не замечая, вел себя круче, чем обычно, старался заслужить внимание Конкина, тем более, что их точки зрения на характер описи совпадали. Итог совещанию Сергей подвел твердой фразой:

— Значит, зарубим у себя на носу: мы здесь не только инженеры. Мы и политики.

3

Перед вечером, когда Люба повела приезжих по квартирам, Конкин вышел проводить Голикова до колхозного гаража, где оставили райкомовскую машину. Гость старательно шел между сугробами по узкой траншее. Он был в туплях и мелких галошах, и Конкин, чтоб он не набрал снега, придерживал его под локоть, сам залезая в сугробы. Высоко по небу, все в одну сторону, на оранжевый закат, проносились вороны, должно быть к лютному морозу.

Хутор спускался к займищу, залитый коренастыми, густыми даже зимой садами. Они затопляли бугры, на которых четко и живописно, точно швейцарский поселок на картине, раскинулся хутор. Сады были всюду. Деревья сбегали по уступам и откосам вниз, сливались далеко внизу, в займище, с сухостоями-камышами. Над каждым забором, сложенным из камня-ракушечника, поднимались ветви. Сизые, с мутнова-

той вошеной прозеленью — яблонь и груш, коричневые — жердел и абрикосов, ярко-красные, гибкие и тонкие, как ивовый прутняк, — ветки вишен. Из дворов доносились голоса, бляение овец, выкрик гуся, резкий на морозе.

Голиков оскользался, и рука Конкина, что проталкивала его между сугробами, только мешала ему. Навстречу попадались женщины, идущие от колодца с обледенелыми ведрами. Давая дорогу, они перед лицом Сергея отворачивали на сторону коромысла, и в их ведрах, чтоб не расплескивалась вода, плавали струганные деревянные крестовинки. Женщины уважительно здоровались с Конкиным, враждебно обмеряли глазами Сергея.

— Замечаете настроение? — спросил Конкин. — Приехали б вы прочитать лекцию про любовь-дружбу или даже о госзаиме — бабочки б ласковой на вас смотрели.

— Конечно, — согласился Сергей, — тяжело расставаться с таким редкостным местом, как ваше. Вы небось сами жалеете?

— Да ну! — Конкин щелчком зашвырнул сигарку. — Вы думаете, я об этих садах да виноградах жалею, о такой ерунде? Да наоборот, хочу поскорей на их месте голую степь видеть, сдать ее под море. Мне лично сады эти хоть в золу, в пепел. Другие вырастут, и — боже мой — такие разве?! Ведь, понимаете, мы начнем перестраивать планету!..

Сергей остановился, внимательно поглядел, приподняв пальцем козырек кепки.

— Чего удивляетесь? — озлился Конкин. — Что я про планету?! А вы ответьте: мы Ростовскую, нашу с вами конкретную область начали перестраивать? Пусть небольшое еще море, но создаем! И у соседей, в Сталинграде, наметили создать, и в Куйбышеве! Мы, конечно, не знаем, когда начнется перестройка всех степей по Советскому Союзу, по Китаю, по Индии. Может, через тридцать лет, через сорок даже. Наверняка в том, что уже строится, пооткапываем тыщу ошибок. Да пусть хоть десять тысяч, но главное — почин есть! Наступление объявлено! А дальше, через эти сорок лет, смотри, Соединенные Штаты подклячатся, Австралия. Ведь капитализм-то невозможен до бесконечности.

Сергей отчего-то заволновался, тиснул Конкина за талию.

— Слушайте, вы не под Нагульнова работаете?

— Нет, под Маркса, — ответил Конкин.

Он требовательно, раздраженно смотрел в зрочки Голикова, объяснял:

— Кто, кроме партии, поднял бы все это? Не оправились с войны, знаем, что нам еще худшее готовят — атомную. И строим! На счастье людям, уже вперед на ихнюю жизнь в коммунизме. А такая слизня собачья, как ваш Петров, заявится и начнет гундосить: «Согласно постановлению за таким-то номером, от такого-то и растакого-то числа описываем вас, нижеследующих...» Это домохозяйке, для которой бы, как в стихах, излагать про всю высоту!

— И про планету? — спросил Сергей.

— Конечно! Вы поймете, а Фрянчиха не поймет? Поймет!

Сергей шел молча и десять и сто шагов. В бытность политруком он встречал таких царапающих душу солдат, обычно пожилых старшин, как этот Конкин. Они имели много наград за безотказность в боях и обязательно уйму взысканий за неуживчивость и чересчур уж принципиальную прямооту с командирами. Их прямоота граничила с нарушением дисциплинарного устава, но это не останавливало ни одного из них, готовых хоть на смерть, хоть головой в кипяток за торжество справедливости. Политрук Голиков никогда не умел кривить с таким солдатом или старшиной, когда лоб в лоб сидел с ним, бывалым, немолодым челове-

ком, в какой-нибудь щели, а на спину сыпались с бруствера ошметки земли. Не хотелось врать и сейчас.

— Знаете что,— сказал он Конкину, пытаясь произносить это вроде с усмешкой. — Не совсем ладно получается у меня с вами. Вы в поход на мироздание Фрянчиху организовываете и ту деваху покрашенную — Лидку, а я здесь в роли наблюдателя. Ну, не совсем наблюдателя, а, скажем, поверяющего... Смотрю я на этих несущих ведра женщин-переселенок, за которых вы ратуете, на ваш красавец хутор, что завтра начнут описывать и весной сносить, а мысли мои и, так сказать, генеральные планы не здесь. Вот вы послушайте...

Сергей, как фронтовик фронтовику, выкладывал Конкину неудачные обстоятельства своей биографии, продолжая посмеиваться, иронизировать над собой, как и положено, когда старший начальник решил вдруг излиться подчиненному. Конкин шел, злобно покусывал мундштучок, и Сергей постепенно отбрасывал перед этим угловатым, в сущности неудобным человеком наигранность, говорил все откровеннее. Видя живой интерес Конкина, он делился так раскрепощенно, как ни разу не разговаривал даже с Орловым, единственным своим приятелем в районе.

— Говорите, коммунизм? — досадливо спрашивал Сергей. — Так ведь не пустят меня туда, у входа задержат за руку. Надо, чтоб каждый считывался перед коммунизмом делами, не занимал чужого места, где коэффициент его полезности ноль целых, а стоял на своем посту, всю кровь отдавал делу!

Конкин слушал, и Сергей выдвигал все новые доводы.

— Если мы поступаем в институт,— объяснял он,— мы держим экзамены. Идем в какую-нибудь спецшколу — тоже держим. Кроме того, нас там на все лады проверяют, чтоб и дыхание было самое наилучшее, и сердце, и зоркость. А разве в коммунизм допустимо идти с тупым зрением? Я в вашем хуторе близорук. Я не даю здесь того, что могу дать обществу в другом месте. А я обязан заниматься тем же, чем вы,— работать на коммунизм в полную свою мощность!

Сергей говорил страстно, как когда-то в окопах. Неважно, что был он сейчас в гражданском пальтишке, а не в стягивающей шинели и ремнях. В сущности, в чем бы советский человек ни был, зачем придумывать обходные маневры, почему люди не должны объясняться по серьезным вопросам совершенно открыто?

Самовозжигаясь от ощущения, что он, вопреки всем условностям и служебным рогаткам, правильно и смело решает наконец свою судьбу, Сергей говорил:

— Я хочу быть в строю. Понимаете? И я буду в строю.

Конкин в знак согласия кивнул.

— Да, освободить место секретаря вам придется,— сказал он. — Для секретарства вот тут требуется,— ляснул он себя по лбу и для большей ясности объяснил: — Быть секретарем — соображать надо.

Сергей опешил. Он ожидал, что его признание, полное доверия к этому Конкину, абсолютно откровенное, вызовет сочувствие, может, даже восхищение. Кроме того, он уже привык за последние годы, чтобы с ним обращались по-другому, почтительнее. Конкин же, точно человек, которому на базаре вместо купленного поросенка подсунули в мешке кота, разочарованно говорил:

— Эх, безобразие. А ведь казалось, вы чего-то стоите. Щегол вы. Легонький щегол...

Не зная, ответить ли резкостью, промолчать ли или попросту прикрикнуть, Сергей спросил наконец:

— Как это — щегол?..

— Обыкновенно. Порхаєте. Сверкнули крылушками и тикать. Оформили все идеей: борюсь, мол, за принципиальность. Будто неясно, отчего пятки намазали.

— Отчего?

— В кишке слабо. Да еще красуетесь: вот, дескать, как страдаю без любимого дела. Вроде не знаете, что секретарь обязан охватывать все, в том числе технику. В вашем районе сейчас этой техники больше, чем было во всем Союзе в первую пятилетку, а вы будто не соображаете!

Да, «старшина-правдолюбец», так подкупивший Сергея, оказался даже для него, настроенного было на прямоту, чересчур уж прямым.

— Вас,— отчитывал он Голикова,— и сию минуту видать насквозь. Слушаете и взвываетесь, что какой-то сельсоветчик вас раскладывает. А помните вы, что у него и у вас одинаковые партбилеты? Петров ваш забыл. Хоть не примет, ни, упаси боже, не поцарапает, заворачивает в целлофанчик!..

Снег под ногами Конкина похрустывал звучно и ровно, точно кто-то умелой сердитой рукой резал капусту. Без всякого логического перехода Конкин сказал:

— Не обижайтесь. Я потому ведь, что у вас, кроме глупостей, уйма людского. Его секретарю прежде всего надо.

И еще мягче:

— Бросьте злиться.

И через несколько шагов совсем товарищески:

— Конечно, если действительно не выдержите, тогда что ж... Но ведь и вы про коммунизм говорили. Как же целый район, четырнадцать тысяч народа, в такой момент намереваетесь бросить? Или вы по пословице: сбрыхнул и отдохнул?

Сергей давно высвободил локоть из руки Конкина, шагал далеко впереди. Почему он должен выслушивать грубости этого человека? «А Орлова,— спросил он себя,— выслушивал бы?» И обязан был ответить: «Не бы, а уже много раз выслушивал. Так что же, выходит, прав Конкин? Не по рангу сельсоветчику раскладывать Голикова?..»

За поворотом улицы лежала акация, сбитая, должна быть, проезжавшим пьяным бульдозеристом. Комель вывернуло с песком, с красно-охристой глиной; дерево перегородило проезжую дорогу.

— Пацаны-ы! — закричал Конкин играющим в конце улицы ребятишкам.

Они примчались, явно не рассчитывая на работу.

— Чего, дядя Конкин? Дядя Степан Степанович, кино будет сегодня? Нас пустят?

— Будет. А пустить не пустят,— засмеялся Конкин, навинул передним шапки.— Хватайтесь за акацию, пихнем с дороги. Федор, чего стоишь?

— Была охота,— процедил коренастый губатый Федор, заложил руки в карманы.

— Ух ты...— изумился Конкин и под общий хохот стукнул по шее мальчика вроде в шутку, но на самом деле крепко. — Берись!

Мальчишки и председатель Совета облепили ствол. Сергей тоже взялся (глупо же стоять в стороне), и под запев Конкина «Ра-азом!» акация пошла к краю дороги, вспахивая ветками снег.

— Точка,— остановил Конкин ребят.— Теперь дуй отсюда, у нас разговор с товарищем.

Он глядел вслед ребятам, шумно дышал.

— Поймет Фрянчиха про планету! — с убеждением сказал он.— Безусловно, трудно ей расставаться с двором. Кровное. Оно ж от отца-матери, от пупка.

«Ишь,— подумал Сергей,— от пупка!.. Развел тут собственное поместье и подбивает психологию». Не без ехидства спросил:

— Какое хозяйство у вас лично?

— Козу держу. С медицинской целью.

— То есть как?

— Для молока. Туберкулез у меня, ну его к...

Конкин жестко выругался, опять стал скручивать папиросу, зажимая мундштук тонкими, бледными даже на морозе, даже после физической работы губами.

— Курить бы бросили,— с неловким мужским участием посоветовал Сергей.

— Не выходит. И так все оставил. На свадьбу пригласят — не иду. Ружьишко забросил. Гимнастику даже! Я ведь,— он подмигнул и, оживляясь, ухарски выставил грудь,— первые места в крае держал по турнику. У нас Северо-Кавказский край был, так мы, Лензавод, забирали все кубки.

— Вы пролетариат, значит?.. А в деревню как?

— Из Ростова. Верней, с КВЖД. Мы тогда в цеху, четверо нас дружок было, перешли с комсомола в кандидаты и в подтверждение «комсознательности» — на фронт. Вы-то не помните, в двадцать девятом конфликт был на Востоке. Оттуда уже на парткурсы — и в степь. Кулундинская, Голодная, Сальская.

— И все время в степи?

— А как же? Правда, отрывался на Хасан. И на Халхин-Гол. Да и на финскую. Ну и Великая Отечественная, конечно.

— А сюда, на Дон, как?

— По здоровью. Совет маленький, легкий. Было уж охреновело, а сейчас мы — передний край. Правда, наркомовских ста грамм не дают, мимо,— ухмыльнулся Конкин,— а так все чин по чину. Вот-вот «воздух» объявят, начнут бомбить с Волго-Дона — держись!

Он поглядел вверх, будто летят самолеты, и опять царапнул Сергея.

— Так что вы уж не дезертируйте. Совестно приличному человеку бросать товарищей.

Глава седьмая

1

Комиссия совместно с сельсоветом и представителем от колхоза — Марией Зеленской — разбила хутор по числу инженеров на четыре участка. Сделали это на карте параллельными полосами, прочерченными поперек главной улицы вниз, к займищу. Четыреста семьдесят семь дворов хутора и все артельные сооружения было решено описать за два месяца плюс десять дней на оформление документов и составление отчета.

В первое утро описи техник Клава Сергиенко вышла на закрепленный за нею участок, зажимая под мышкой новехонькую, выданную ей папку. Для инструктажа с Клавой пошел инженер Петров. Начали с углового дома Фрянсковых. На стук Петрова в калитку разъяренно залаяла привязанная у гусятника овчарка, но никто из дома не выходил. Петров стучал долго; овчарка крутилась на привязи вокруг себя, хватала и грызла чурбак, лежащий у гусятника. Наконец в дверях дома показалась Фрянчиха, видимо все это время выжидавшая в сенцах.

— Чего еще? — будто только услышав, крикнула она.

— Инвентаризировать ваше хозяйство,— стараясь быть корректным, мягко ответил Петров.

Фрянчиха постояла, потом пошла к калитке, впустила Петрова и Клаву, но на овчарку не прицкнула, молча разглядывала вошедших.

— Нам бы,— сказал Петров,— в дом пройти.

В доме Клава развязала тесьму своей папки, выложила на стол резинку, заточенный карандаш, большой чистый бланк и со всей аккуратностью вывела в верхнем левом углу:

«Колхоз имени Щепеткова.

Улица Сталина».

— Дом — номер, пожалуйста,— попросила она Фрянчиху.

— Нема у нас номеров.

— Как же это — дом и без номера? — простодушно удивилась Клава.

Петров, стоя за ее спиной, сказал:

— Пишите: «Угол улицы Сталина и проулка...» Как именуется ваш проулок, хозяйка?

— А бес его знает.

— Ну, а все же, как вы говорите?

— Зовут и Крутой, и Чертячий, и так, что не запишете. Карандашник обломается...

— «...и проулка Крутого», — продиктовал Клаве Петров.

С улицы вошел Фрянсков, молча остановился. Свои толстые, обшитые брезентом рукавицы он не кинул на ларь у двери, а зачем-то стал засовывать в карман. Петров спросил:

— Вы хозяин домовладения?

— Я. Фрянсков Дмитрий Лаврович.

— Мы уже адрес записали,— педагогично-ласково объяснила ему Клава,— теперь будем дальше. Вот слушайте,— и она отдельно стала читать отпечатанное на бланке: — «В присутствии гражданина...» Здесь мы ставим: «Фрянскова Дмитрия Лавровича». Значит: «В присутствии гражданина Фрянскова Дмитрия Лавровича, подлежащего переселению на другое место в связи с сооружением Волго-Донского водного пути, произвели осмотр его строений и установили следующее...»

— Вот и устанавливайте,— сказал Клаве Петров,— только не копайтесь, у вас в плане три подворья на рабочий день! И, между прочим, «Лаврович» пишется без мягкого знака на конце... Я на соседний участок пройду.

Оставшись без начальства, Клава почувствовала себя лучше. Ей было жаль хозяина и особенно хозяйку, которая складом сжатых губ и руками, сложенными на животе, походила на Клавиноу мать, оставленную в их квартирке в Москве. Клаве хотелось побеседовать с хозяевами, пошутить, как инструктировал Конкин. Она даже приоткрыла рот, чтобы произнести хорошие слова, но не нашла их и только сказала, заискивая перед молчаливыми хозяевами:

— Вот видите, у нас тут графа: «Описание элементов строения». Мы сейчас и промерим ваш дом... Может быть, вы рулетку подержите? — Она протянула Фрянчихе конец ленты с колечком.

Пахнущая лаком новая липковатая лента ложилась на стены в сенях, в зале, проходила над кроватью поверх коврика с ярко размалеванной девой и лебедями...

Когда Клава отправилась на улицу для наружного обмера, Фрянчиха как была, так и двинулась следом, без платка и стеганки, пряча на ветру под фартук голые руки.

— Оденьтесь, холодно ведь,— тронула ее за руку Клава.

Фрянчиха возвратилась в дом, вышла одетая. Клава деловито придавила ее пальцы вместе с концом ленты к углу дома и, треща рулеткой, пошла под балконом вдоль стены.

Фрянчиха держала ленту и, как минуту назад, при обмере комнат, напряженно гадала: «Что его выгодней — натягивать или, может, наоборот, попускать?.. Не знаешь же, что тут к чему, понакрутишь себе на голову...» Как назло муж — вроде его не касается, барина! — стоял далеко, спиной.

— Митрий! Митрий! Позакладывало ему, дьяволу, что ли! На себя брать чи от себя отдавать колечко-то?

Фрянсков устало обернулся, досадливо оборвал:

— Держи как надо. Весь век выгадываешь!

— А?.. Это ты мне?! — пораженная бунтом мужа, ошалело распря- милась Фрянчиха, но осеклась, глянув на приближавшуюся Клаву.

Клава позвала за собой супругов, поднялась на балкон. Ей было отрадно смотреть на стены верхов — так хозяйственно, аккуратно они содержались. Они были крашены в два слоя, вмятины над шляпками гвоздей сравнены замазкой, каждая трещинка и сучок с тщательностью зашпаклеваны. Видно, каждую осень в сухие погоды любовно ходили по этим стенам и поддира, снимая облупленную краску, и умелый упр- гий хозяйский шпадлик, а следом пахучая кисть.

И вместе с тем Клава, при всей своей неопытности, видела: дому минимум семьдесят лет. Она слезила в подпол, на чердак, обстучала коричневые перекрытия, почернелые подпоры и, убедившись, что лес всюду старый, с чистой совестью решила: можно записать шестьдесят процентов износа. Пусть хозяева получают не только выплату за пере- носку, а еще и страховую стоимость и новый материал!

Но, услышав, что ее дом изношенный, Фрянчиха назвала это брехней и грабилровкой, заявила, что никакого износу, хотя бы ее резали на ку- ски и тянули жилы, писать не допустит. Даже молчаливый Фрянсков укоризненно поглядел на Клаву, сказал, что так советские инженеры не поступают. Клава растерялась. Объяснять принципы выплаты — ее пре- дупреждали — нельзя, чтобы домовладельцы не пытались подтасовы- вать; опись должна вестись свято объективно. Согласиться же, что дом новый, и лишить хозяев дополнительных средств для устройства там, куда они поедут, Клава не могла тоже. У нее болела душа за этих взрос- лых, знающих меньше ее людей.

— Право же, — убеждала она, — ну поверьте, что дом старый.

Фрянсковы глядели на нее, как на жуличку, сказали, что будут жало- ваться Петрову.

Пошли описывать дворовые постройки. Крутобокие гуси с пряма- тым в сарае сыто-пожелтым пером топтались у погреба. Привычно ожидая от хозяйки корма, они потянулись к ней, но та со злостью замах- нулась, и стадо зашлепало лапами по льду, удивленно гогоча, а гусак с породистым костяным наростом на клюве подался навстречу, змеи- стеля шею. Клава обмеряла гусятник, свиной катух и жесткими, непо- слушными на морозе пальцами выцарапывала на бумаге абрис усадьбы. В техникуме она изучала стальные консоли, железобетон, шлакоблоки, а здесь видела и записывала просто-таки чудные и, как ей казалось, дореволюционное: «сарай плетневый», «крыша чаканная», «штaketник жердевый». Она остановилась у летней глиняной кухни, похожей на игрушечный домик — чистенький, белый, с голубым обводом вскруг оконца. Чтобы записать качество вмазанного в глину леса, нужно было посмотреть. Ее инструктировали, что в таких случаях следует отколоть два-три сантиметра штукатурки. Клава попросила:

— Надбейте здесь чуть-чуть.

Фрянчиха взяла прислоненный к двери лом, тронула им стену. По- том ударила сильнее. Глина не поддавалась, лишь по гладкой, молочно выбеленной стене от скользявшего лома прошла кривая царапина, и

побагровевшая вдруг Фрянчиха с размаху шарахнула раз, другой, на-чисто обвалила угол.

— Сдурела? — пихнул ее Фрянсков, отбросил лом.

Клава стала объяснять, что лес ей нужно было видеть самой и если она все правильно зафиксирует, то Волго-Дон правильно выплатит владельцам за все, что они будут переносить на новое место. Когда она стала обмерять колодец, Фрянчиха, все еще дрожа губами, спросила:

— А колодец я тоже-ть понесу на новое место?

— Нет. Но вы, когда рыли, труд затратили, вам за это деньги дадут.

— Догонют,— заметила Фрянчиха,— еще дадут...

Давно было время обеда, Клава хотелось есть, она сегодня проспала и даже не завтракала, но уйти к себе на квартиру из-за какого-то стакана молока было неловко, да и план она еще не выполнила, и потому, закончив с двором, направилась в сад.

Здесь оказалось гораздо труднее, чем с постройками. Клава никогда не сталкивалась с фруктовыми деревьями, не отличала яблони от груши. Висели бы плоды — тогда другое дело. Только какие же зимой плоды?.. А классификация по наличию грибка, раковых образований, каких-то трутовиков и морозобоен — все, чего требовали от нее параграфы бланков,— это было совсем ужасно. Кроме того, по инструкции, надо выявить ценные сорта, рекомендовать владельцу перенести их на новое место и, если владелец согласится,— повысить расценки. Клава стояла в снегу, ноги в туфлях на кожпропите зябли так, что она уже плохо слышала их, а щекам было жарко. Делая перед хозяевами вид, что она что-то подсчитывает, Клава вновь пробегала глазами инструкцию.

«Признаки здорового дерева,— читала она,— равномерное размещение ветвей и правильная форма». Но вокруг у всех деревьев правильная форма. И ветки размещены вроде равномерно... Клава перевернула страницу: «Признаки болезни — суховершинность». Так как была зима и ни листика не виднелось на деревьях, все они были суховершинными... Как же поступать? Может, прямо объяснить, что она ничего не знает? Но ведь ее, Сергиенко Клавдию, выделили на село помогать великой стройке! Надо за ночь еще подзубрить, закончить опись этого сада завтра, в свое обеденное время, а пока определять только возраст деревьев. Это просто — измерение диаметра на полметра от земли. Но именно здесь ожидало ее наихудшее. Фрянчиха, давно уж доведенная до белого каления, бросилась с кулаками на Клаву, когда та подсчитала, что возраст яблонь — двенадцать — четырнадцать лет. Фрянсков едва ухватил жену за руки.

— Пусти! — кричала ему Фрянчиха.— Отвека молчала, а теперь скажу... Ты в этот двор примаком босым, голоштаным пришел на мое приданое. Потому оно все тебе хоть пеплом-золой. Яблони еще батя покойный, еще дед мой собственными руками сажали, по тридцать лет яблоням!

Клава стояла бледная, выронив карандаш.

— Извините. Ничего. Она у меня скаженная,— тоже бледный, говорил ей Фрянсков.

Клава решительно заявила:

— Яблоням по двенадцать лет.

Иначе она не могла. Об этом говорили ее справочники-определители, ее рулетка и, главное, молодая, ни разу еще не запятнанная совесть. Происходило то же, что с оценкой дома. Хозяйка сама наговаривала на себя, считала: чем деревья старше, тем дороже. А техник Клава знала: как за молоденькое дерево, еще не набравшее роста, так и за старое, которому скоро терять плодоношение и умирать, начисляют гораздо меньше, нежели за полное сил двенадцатилетнее.

— Запишем по двенадцати,— повторила Клава.

С улицы входила Дарья Черненкова с Зеленой. За ними — Василий и Люба, которая шла на обеденный перерыв.

— С праздником! — издали закричала Дарья. — В садочке гуляете? Вот, девка, — тиснула она Любу, — свекор твой со свекрухой! Чуть что — парочкой, и чужая инженерша им не мешает...

Мария Зеленская была серьезной. Вчера, когда комиссия разбивала хутор на участки и выработывала методику описи, Мария не очень понимала свою роль, соглашалась с каждым, кто бы что ни говорил. Теперь она была обязана защищать интересы колхозников, и она спросила у Фрянсковых:

— Ну как? Все у вас правильно?

— Правильно, — сдерживая сипящее дыхание, ответила Фрянчиха, — надо б правильной, да некуда. Не ночью же, а среди бела дня, в открытую грабят.

— Прокурор! — засмеялась Дарья. — Талант гибнет. А за хозяйство не бойся, ты оборотистая. Постройсья коло моря — будешь осетров разводить для базара.

— Разводили, хватит! И птицу, год с году не разгибали горба, разводили, и скотиняку, и их вот, — ткнула Фрянчиха в насупленного Василия, — поразвели, чтоб они в солдаты шли, кровушку лили. И яблони эти, трижды распроклятые, развели! Возьму топор, порубаю все к черту, раз от государства такое спасибо колхознику.

Глаза Дарьи стали ледяными.

— Думай, — сказала она, — когда про государство ляскаешь. Чугь затронь тебя — враз разговоры антисоветские.

— Дарья Тимофеевна!.. — с укоризной промолвил Фрянсков, протянул руку, словно защищая от Дарьи жену, но та, обегая его руку, налезала на Дарью.

— Кого она пугает? Не пугливые.

— Да бросьте вы прискипаться, — попыталась сгладить Зеленская. — Ну сказали и сказали. Ты, милая, пиши себе, — подтолкнула она Клаву.

— Я и пишу, — обрадовалась поддержке Клава. — Решаем тут, сколько лет этим яблоням.

— Дедовы яблони! — рванулась Фрянчиха. — По тридцать лет им!

— Откудова столько, соседка? — не сообразив, изумилась Зеленская. — Ты ж сажала их, когда у тебя Ленька родился. Сколько ему? Тринадцать? Вот и яблоням столько.

— Чиво-о?..

— Ничего! Правильно! — гаркнул на жену Фрянсков. — Хватит тебе брехать людям. Молодые яблони! А то, что я сегодня насчет голоштаных примарков от тебя слышал, то нехай ты еще подумаешь...

Он плотнее насунул фуражку, зашагал на улицу. Зеленская подбежала к Фрянчихе.

— Господи, соседочка..

— Не трожься! — Фрянчиха отдернула локоть. — Вот оно когда тебя раскусил! Выпытываешь, кто родился когда, кто что сажает? С тобой, с пригретой гадюкой, хлеб-соль делили, приютали тебя. Все двадцать лет высматриваешь... по-соседски? Своего мужа нема, так чужих на-травливаешь? Иди со двора, чтоб духу твоего шпионского...

— Мама, — только сказала Люба.

— Цыть, Любка!

Дарья первая повернула из сада, потянула Марию Зеленскую, прикрикнула на нее:

— Чего опустила голову из-за этих паразитов? Трусить их надо, а не воспитывать. Тридцать с лишком воспитывали. Хватит!

2

Люба долго смотрела, как тоненькая Клава Сергиенко измеряла стволы, заносила в бланк цифры, опираясь коленкой о гладкое, отшлифованное добела днище баркаса. Клава не знала, что есть деревья старых Фрянсковых, есть — молодоженов. В саду было много рядов, и она торопилась. Пригибая голову, чтоб не стукаться о низкие ветки, она — техник Волго-Донской инвентаризационной комиссии — опоясывала сантиметром ствол за стволом: яблоню, сливу, жерделу с окостенелыми натеками клея. У Любы задрожал подбородок, и она пошла. Василий догнал ее.

— Пстой!

— На работу, Вася, пора. Вася!.. — Она ткнулась лбом в его плечо, в неспорную на шинели шлевку погона.

— Ну, ну,— говорил Василий, трогал рукой ее голову.

— А все-таки мать неправильно делает,— сказала Люба.

Василий отодвинул от плеча Любу, недобро прищуриваясь, спросил:

— Как это неправильно?..

Глава восьмая

1

Еще неделю назад Люба была счастливой. Много чудесного узнала она за время, что дал ей Конкин на устройство домашних дел. Дела, собственно, кончились в послесвадебное утро, когда она вдвоем со свекровью перемыла гору посуды и прибрала в доме. Остальное — знакомство с хуторскими родичами, жизнь в шумной семье — было длительным, особенным праздником. Смущение перед собой и окружающими, которое испытывала Люба, перестав быть девчонкой, став женой своего мужа, переключалось у нее на чувство покровительства к Василию, тоже сбитому с толку своим новым семейным положением. Это покровительство смешивалось в душе Любы с ощущением, что Василий все же старший, как муж, что он более главный из них двоих. Люба особенно чувствовала превосходство Василия, когда он рассказывал про свою службу шофером в краснознаменной танковой дивизии, про незнакомую Любе чужую страну и чужие порядки. Раньше она знала Василия только по письмам, а сейчас, слушая его рассказы о воинской присяге, об уставах, караулах, о гарнизонной службе, с радостью убеждалась, что ее Василий — герой, что он о самых суровых вещах говорит как о легком, совсем обыкновенном. Она перебивала, трогая Василия за большую, по-юношески еще припухлую руку, лежащую у нее на колене:

— И это всю ночь так и стоишь с автоматом, хоть мороз, хоть ливень?

— А как же? — отвечал Василий и снисходительно улыбался ее страхам.

Днем, когда Люба занималась хозяйственными делами, он провожал ее на крупорушку, вместо Любы вез на салазках мешок с просом, а обратно — порушенное пшено. Со встречными на улице они здоровались в один кивок, семейно; а когда идти было под горку и вокруг никого не было, Люба со смехом громоздилась верхом на мешок, и Василий подкатывал ее. Ходили вдвоем и к деду Лавру Кузьмичу — навестить, как положено, стариков, и Люба рассматривала в доме Лавра Кузьмича птичьи чучела, интересные, как и все, связанное с новой семьей и новыми родичами. Василий заходил к старикам для общего порядка, а заодно подыскать в дедовом инструменте сверло. Сверло понадобилось для

заржавленной дрели, что Василий разыскал в погребе, полдня скоблил, отмачивал в жестянке с керосином, и Люба помогала ему, терла наждаком тяжелую дрель.

В среду вечером, в последний день Любиного отпуска, разбирая ящик со слесарным инструментом, Василий наткнулся на отцовский кирзовый патронташ, набитый нестреляными патронами, повертел в руках и, вдруг загоревшись, предложил:

— Пошли, Люба, по зайцу! — Он продул на заледенелом окне кружок, прикрываясь от лампы ладонью, посмотрел на улицу. — Вон светло как, пошли!

Люба заволновалась, глянула на сидящую за шитьем свекруху.

— Ступайте, чего уж, — отозвалась та, — прохолонетесь трошки на воздухе...

Пристали было, чтоб взять их, и Гришка с Ленькой, но Фрянчиха одернула: «Вас там не было!»

Собирали Любу всем домом. На байковые армейские портянки Василия она натянула валенки свекрови, повязалась ее шерстяным платком. Дмитрий Лаврыч принес из сени шубу. Она была кожей наружу, а вовнутрь — зеленоватой овчиной, пахнувшей холодом кладовки и кислым вином. Называлась шуба донской, была тех давних времен, когда не существовало автомашин и люди отправлялись конями или быками в город, в любую стужу ехали трое и пятеро суток, натянув поверх кожуха такую шубу и улегшись в ней в сани. Рукава ее были просторны, как у поповской рясы, воротник, если его поднять, закрывал голову на четверть выше мужской папахи, а опущенный лежал на спине овчиной наружу до самой поясицы. Люба надела на свое пальто шубу, потонула в ней, запуталась валенками в полах, и Ленька с Гришкой катались у нее под ногами, с дракой лезли под овчину, как в шалаш. Василий тоже обрядился, напялил отцовский кожух, старый островерхий малахай и взял двустволку. На улице было лунно, безлюдно.

— Ставить котел, греть воду под зайца? — кричала вдогонку свекруха, загоняя в дом высокочивших Гришку и Леньку.

Дмитрий Лаврыч напутствовал с порога:

— Василь! Где пыж пробковый, то первый номер, заячий.

Мороза Люба не чувствовала. Наоборот, было даже жарко оттого, что на каждом шагу приходилось поддергивать шубу вверх, чтоб не волочилась по снегу. Настроение было взбудораженное, смешливое, сй казалось, что они ряженые, что люди, сидящие вдоль всей улицы в своих хатах за ставнями, обворовывают себя, по-обычному ужинают, собираются уже спать, а они с Василием придумали замечательное — шагать среди ночи, как привидения.

Из проулка показался заведующий животноводством колхоза Голубов — стройный, в кубанке на затылок, в блестящей на луне короткой кожанке. С быстрого хода он приостановился, начал с подозрительностью вглядываться в странные фигуры, но Люба и Василий, будто сговорясь, глубоко уткнули головы в воротники, молча прошествовали мимо и, уже отойдя, обернулись на озадаченного Голубова, стали хохотать и прыгать, дурашливо размахивая руками.

За последними хатами, где начиналась степь, Василий остановился, принялся выбирать место для заседа. Над головой сверкала резкая, словно циркулем вырезанная луна, висела в самой середине неба, и притушенные ее светом звезды едва проступали в сияющей вышине, проторно раскиданные одна от другой. Внизу же, на земле, было сумрачней и точно бы неизвестней. Смутно темнели черные пятна — то ли ямы, то ли, наоборот, какие-то бугры. Совершенно явно они потихоньку подкрадывались, шагали к Любе из степи, а чуть Люба всматрива-

лась — обманывали ее, опять становились по местам. Было хорошо и все же жутко. Но Василий уверенно подошел к первому же черному пятну, которое оказалось копицей. Наклонившись, он сказал:

— Люцерна. Нельзя садиться: обомнем, попортим. Пошли до соломы.

Говорил он теперь не так, как по дороге, а вполголоса, чувствуя себя уже на охоте, и это настороженное охотничье ощущение передалось Любе. За люцерновым полем, точно многоэтажный дом, возвышалась скирда. Надобранная с угла у ее подножия солома была разворошена. Василий передал Любе ружье, вырыл ногами в соломе яму, вроде гнезда, бесшумно, чуть лишь побряхтывая, оправил края, шепнул отсюда:

— Лезай.

Люба поддернула шубу, шагнула и, не удерживаясь валенками на скользкой соломе, со счастливым визгом покатила в яму.

— Тихо ты! Разве ж это дело! — озлился Василий.

Они сидели рядом. Люба чувствовала себя виноватой, не шевелилась. «Ведь можно же,— светло думала она,— быть во всем товарищами. Почему женщины жалуются на мужей? Рассказывают, что муж от дома бежит, что придет, как посторонний, не скажет и слова, пообедает только — и опять айда... У нас,— твердо решала Люба,— ни за что так не будет! Нужно, чтоб всегда всё вместе, как с подругой. И дела, и кто из двоих чем занимается, всё!»

Василий, оттопырив губы, вглядывался в снежную равнину, и Люба сидела тихо. Осторожно шевелясь, она сперва подтянула из-за спины воротник, потом взгромодила его над головой и принялась смотреть в небо. Из высоченного воротника, точно из глубокого мохнатого колодца, яснее, ближе виднелись звезды. Овчина, прижатая к щекам, к носу, как и дома, отдавала вином и одновременно сладким запахом овцы, по-особенному ощутимым, радостным здесь, на морозе. Пальцы Любы были затеряны в длинных рукавах, находились где-то за четверть до выхода; она протянула Василию нору рукава, шепнула:

— Давай сюда руку, погрейся.

И когда он на ощупь просунул навстречу руку, обхватила его крупные ледяные пальцы, настывшие на ложе ружья, зашептала снова:

— Вася! Как это так? Вот ты и я... Где-то ты родился, где-то я. Никогда не думали один про другого. С тобой случалось что-нибудь — я не знала. И ты не знал обо мне, не беспокоился, когда что плохое было. Чужие ведь. Какой-то Фрянсков, какая-то Чирская. И вдруг — муж и жена!.. Аж страшно: могло же и не случиться этого, так и были бы отдельно.

Василий с удивлением поглядел на Любу, и она решила, что его тоже поразили эти мысли. Морозило. Начинался ветер. На стогу пошевеливалась солома, а неизвестно откуда стали вдруг доноситься тонкие звенящие переливы, словно кто-то дул в горлышко бутылки или за несколько километров играл на флейте. Звучало то далеко, то, с порывом ветра, совсем рядом, в одном шаге.

— Что это? — испуганно спросила Люба.

— А ветер. В ружье, в концы стволов задувает.

Ветер в стволах все играл, удивительно чисто и торжественно перебирал лады. Люба зачарованно слушала, смотрела вверх. Вот небо. Оно распахнуто над нею, над ее мужем. Под этим небом жил Радищев, жил Ленин и непонятный Любе, но великий поэт Маяковский. Жил ее отец. Он отдал за Родину свою жизнь, и сейчас в разных хуторах, в городах, даже в море на теплоходах люди, которых он спас, видят это небо. Может, они, как и Люба, как раз сию минуту смотрят на эти звезды,

как и она, решают быть всегда бесстрашными, открытыми, всю жизнь шагать вперед по лесам, полям, даже по мокрой, пустой тундре. В тундре вечно холодно и противно, а люди все равно любят ее, планируют в ней города, ждут писем один от другого...

— Вася,— шепнула она,— ты не думал про нашу землю? Про всю сразу. Кто живет на ней, что с ней раньше было, когда здесь еще маонты ходили, и что будет тут, может, аж через тыщу лет?..

— Ч-ш-ш...— зловеще зашипел Василий.

— А что? — спросила Люба.

— Цыть! Чшш! — свирепо шикнул он опять и, выдергивая руку из ее шубы, поворачиваясь, больно стукнул локтем в нос: — Заяц!..

Люба всматривалась вперед и ничего не видела. На луну набежало марево, снег в пятнах стерни и каких-то кустов смешивался с небом, а далекие отблески стройки совсем путали очертания. Приподняться в своем соломенном гнезде Люба не решалась — заденешь Василия. Он стал поднимать ружье, приложился, и Люба зажмурилась, сдавила себе уши. Выстрел разорвал небо, Василий выскочил. Люба за ним. Пробежав несколько шагов, он остановился, повернул вбок, потом в другую... Он долго ходил, приседал к снегу, с недоумением распрямлялся и снова на том же самом месте искал чего-то. Люба расхохоталась, понимая, что шуметь уже можно, пихнула мужа в плечо.

— Как я рада, что он убежал! Пусть бегаёт. Такая ночь, посмотри.

— Черт его знает,— озадаченно бубнил Василий.— Порох сырой у отца. Разве с такой набивкой стрелять?..

— Конечно,— согласилась Люба, отводя глаза, сдерживая новый приступ, наверно обидного для Василия, смеха.

Она подняла из соломы ружье, вытащила дымящуюся еще гильзу и решительно сказала:

— Дай мне один патрон, я бахну.

2

Сельсовет, в котором Люба за месяц до свадьбы оформилась на работу, охватывал два хутора — Кореновский, с колхозом имени Щепеткова, с молочным пунктом и маслозаводом, и лежащий в шести километрах вверх по Дону хутор Червленов, с колхозом имени Кирова и машинно-тракторной станцией. Объединял Совет всего лишь пять тысяч жителей, поэтому его штат ограничивался председателем и секретарем.

Председателя, Степана Степановича Конкина, местное начальство побаивалось. Даже директор МТС, крутой старик Гонтарь — самодур, опытный механизатор, человек, прочно заслуженный во всех пятилетках,— разговаривал с Конкиным без обычного недовольного сопения и сонного помаргивания.

Появление Конкина в Совете около года назад явилось в своем роде знаменательным событием. Давно уже и щепетовцы и руководители колхоза имени Кирова, заваленные ежедневными инструкциями, запросами, отпечатанными под копирку бесчисленными директивами областных, межобластных и даже центральных учреждений, перестали беспокоиться вообще обо всех этих бумагах, вместе взятых. Реагировали они лишь на особо грозные — со ссылками на самих министров или хотя бы уж замминистров... Обстрелянные такой тяжелой артиллерией, они чувствовали себя закаленными под мелкой шрапнелью местных телефонограмм, считались с указаниями не ниже как секретаря райкома или председателя райисполкома. Инструктора районных учреждений веса не имели, а свой сельский Совет и подавно. Председателей величали по имени-отчеству, здоровались с ними за руку, но дать тачанку для поезд-

ки по Совету или выделить кубометр леса на клубную сцену соглашались только в благодушную минуту.

В такой обстановке был оформлен председателем вышедший по инвалидности на пенсию уполномоченный дальнего степного района Конкин. На другое же утро, выбритый и свежий, готовый к деятельности, он явился на работу к семи ноль-ноль. За весь день он никого в своем кабинете не увидел. Секретарша находилась в декретном отпуске, уборщицы не полагалось по штату. Помещался Совет в хуторе Червленовом, под домом колхозного правления кировчан, и над головой Конкина по деревянным ступеням непрерывно звучали шаги. Колхозники шли в правление по хозяйственным вопросам, личным своим нуждам и делам. В дверь Совета ни разу никто не стукнул, лишь уже к вечеру просунулась одетая в дождевик старуха с кнутом — видимо, приезжая — и, недовольно глядя на Конкина, спросила:

— Куда сдавать для колхоза пошту?

Второй день не отличался от первого, только старуха не появлялась. Конкин писал на тетрадных листках извещения, вкладывал их в конверты и заклеивал — вызывал депутатов на совещание. За полдня до совещания он с женой, Еленой Марковной, вымыл в кабинете единственное оконце, обмел веником потолок, протер скамьи и стал ждать. Прибыла только половина депутатов, и среди этой половины ни одного начальника — ни директора МТС с секретарем парторганизации, ни заведующего молочным пунктом, ни обоих предколхозов. Замаска в оконце была иссохшей, стекла позванивали от ветра, о них уныло бился головой овод.

Конкин потолковал с пришедшими об урожае, о последнем кино и после этого, пофамильно называя, кому куда направляться, обязал товарищей сегодня же обойти квартиры отсутствующих, именем Советской власти вызвать на завтра.

Назавтра, заинтересованный такой формой приглашения, весь Совет был налицо. В кабинете Конкина оказалось тесно и душно, да к тому же наверху, в правлении кировчан, шла уборка, двигали шкафы, и потолок кабинета звучал, как мембрана. Председатель кировчан хозяйским стуком застучал в потолок палкой, чтобы там, в конторе, громыхали полегче. Конкин стоял у окошка, держал в руке брошюру. Без всяких предисловий он раскрыл брошюру на ее первой странице и прочитал:

— «Вся власть в СССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов депутатов трудящихся».

Закрыв брошюру, объяснил:

— Это Конституция. Глава первая, статья третья. Конституцию никто еще не отменял. На нашей территории Советом депутатов трудящихся, в руках которого вся власть, является сельский Совет. Я, председатель сельского Совета, приглашал вас вчера, но не все со мной посчитались.

Произносил все это Конкин без подчеркиваний и нажимов, а когда сказал, что не все с ним посчитались, недоуменно почесал хрящик острого уха: дескать, вот она какая получилась оказия. Он задержался взглядом на рыхлой фигуре директора МТС Гонтаря, на его крупном, в рябинах, лице с маленькими и прямыми, властными, сонноватыми глазами, впрочем чуть оживленными тем, что происходило.

— Почему за вами, товарищ Гонтарь, — спросил он, — надо добавочно посылать на квартиру?.. Встаньте! Уважайте собравшихся депутатов!

Гонтарь поднялся. С откровенным интересом разглядывая щуплого Конкина, сообщил:

— Я, милый мой председатель исполкома, по четырем колхозам головой отвечаю за подъем зяби — раз, за заготовку кормов — два, за стрижку овец — три. Полагаю, не выпивкой (выпить я всегда выпью и закушу), а делами занимался.

— Другой раз устраивайте свои дела без урона общественным, — посоветовал Конкин и вызвал следующего: — Заведующий молочным пунктом, депутат Ивахненко.

Ивахненко встал.

— Болел.

— Понятно, — кивнул Конкин. — Вас вчера дома не застали. Ходили к врачу? Завтра принесете справочку.

Депутаты, ухмыляясь, поглядывали на ретивого председателя, а тот, опросив всех, кто вчера не был, снова раскрыл Конституцию и обстоятельно, как он пояснил, «для освежения мозгов», прочитал о том, что Совет депутатов трудящихся руководит всем хозяйственным и культурно-политическим строительством, что именно Совет устанавливает местные бюджеты, охраняет права граждан и государственный порядок.

Это было каждому известно, но применительно к своему конкретному сельсовету — занехаянному вроде колхозной библиотеки-передвижки или шахматного кружка — звучало чудно.

Конкин объяснил, что побеспокоил депутатов потому, что дела неотложные. Надо завтра перевести Совет в хутор Кореновский, в центр территории; сидеть под конторским полом полагается больше крысам, пора прекращать «подпольное существование». Следует пересмотреть и материальную базу. Не к лицу председателю клянаться насчет поганого мешка извести. А извести нужна: в червленовской школе потолок провис не хуже коровьего брюха. Требуется и лошадь с линейкой: хоть Совет небольшой, а до бригад по пятнадцати километров.

Но это, сказал Конкин, «технические ерундовины». Основное — чтоб избиратели шли сюда не справку заверить, а со всем, что у них главного. Ищут защиты от бюрократа — пусть здесь ищут; мы ему, перерожденцу, здесь, на месте, устроим Сталинград! А может, молоденькая девчонка — дурная, ясная, ребенок еще — выходит замуж. И ему тоже девятнадцать лет, прицепщик какой-нибудь. Ни угла, ни кастрюли у обоих. Да разве же не организовать им мелочь эту через Совет депутатов! Разве не обернуться нам всем на их судьбу?!

3

Начавший работать — теперь уже в хуторе Кореновском — Совет привлек к себе такое же множество народа, какое привлекал в прошлые годы сам Матвей Щепетков. Случилось это по той несложной причине, что Совет под руководством Конкина стал действительно Советом, то есть местом, где люди начали советоваться о своих государственных делах и проводить эти дела в жизнь.

Правда, большую половину из того, что Конкин выдвинул, район «задвинул».

— Видали гайдамаков-самостийников? — морща в добродушной улыбке нос, спрашивал Орлов на сессии райисполкома. — Все сельсоветы работают, как положено, а этот вроде государство в государстве. Ему и фонды и свои стройматериалы подавай, чуть ли не права казнить-миловать. Будто мы, райисполком, распорядимся глупее.

Конкин с места подтвердил, что, по его твердому мнению, глупее, коль руководящий этим Орлов называет желание действовать по-советски самостоятельностью, едва не бунтом; и с той сскунды навсегда определились отношения Орлова и Конкина.

Вернувшись с сессии, Конкин стал гнуть свою линию еще одержимее. Было в нем что-то от человека, который в девятнадцатом году — позавчерашний батрак, вчерашний красногвардеец — вдруг получил в свои руки державу и не переставал по-ребячьи радоваться: «Как же это здорово, когда труженики сами решают свою судьбу!» Отцепиться от него было невозможно. Он агитировал равнодушных так молодо, что и людям начинало казаться, будто с их плеч сброшено, развеяно, как ненужный, нудный груз, лет двадцать — двадцать пять, что, если в самом деле очень уж захочешь, все на свете достижимо. Конкин потирал руки, называл стариков комсомольской бригадой, а когда что-нибудь делалось спустя рукава, свирепел, злобно и желчно въедался в каждого.

Члены исполкома, выбранные, как практически ведется, из руководителей, клялись Конкину, что они бы и рады выполнять депутатские обязанности, да времени нет: что на одни только росписи в получении высоких приказов каждый день по полдня уходит. Даже когда спишь — перед глазами директивы. И все на тоненьких папиросных бумажках, чтобы больше их, занудливых, в конверт втискивалось... Что ж тут будешь делать?

— Бороться! — отвечал Конкин. — Думаете, если мы Советский Союз, то у нас дряни мало? Хватает. И еще сто лет хватать будет! Давайте сигнализировать в Цека, в Верховный Совет, что задыхаемся, то-пем, к ядерной бабке, в бумагах. Если от одних нас сигнал не поможет, другие, с других мест добавят!

И действительно, Конкин со всем исполкомом составил и послал письмо Верховному Совету, ЦК и, лично от себя, Сталину.

Уборщицы у Конкина по-прежнему не было. До него полы мыли сельисполнители, что выделялись из населения на общественные работы в Совете. Если исполнителем попадала женщина, то она на своем дежурстве и обихаживала председательский кабинет. Конкин ликвидировал эту «общественную работу» с тряпкой и ведрами и помещение убирал вдвоем с Еленой Марковной. Приобретенную Советом кобылку Соню он кормил и чистил тоже без помощи сельисполнителей. Соня — коренастая, веселая — была мышасто-буланой масти, с беловатыми влажными губами и хитрым, испытующим взглядом. Купленная на молочном пункте у Ивахненко, она долгое время пыталась сохранять привычки старого хозяина — упрямо останавливалась возле всех хат, где проживали молодые вдовы, подружки Ивахненко, а также в хуторе Червленовом, у входа в чайную. Народ, вечно толпящийся у чайной, покатывался со смеху, а Конкин настегивал кобылу, с яростью шептал:

— Я из тебя, сволочь, выблю пережитки!

Прежний секретарь сельсовета, Алла Никифоровна, из декретного отпуска не вернулась. Занявший ее место демобилизованный лейтенант возмущался, что Конкин гоняет его по бригадам и хатам, заставляет разбираться там во всяческих психологиях, и подал заявление об уходе. Конкину порекомендовали опытную секретаршу, которая раньше работала в райцентре на хороших должностях — и кассиром в банке и завмагом, — умеет составить любое письмо и печатает на машинке.

— Лучше неумеющую! — наотрез отказался Конкин. — Сами научим.

4

Любина работа в Совете началась с того, что Степан Степанович усадил Любу напротив себя и объяснил:

— Если ты секретарь даже римского папы, то ты секретарь, и все. Техническая, холуйская работа. Там тебе надо посетителей ставить в очередь и думать, чтоб твоему папе была к чаю хорошая колбаса с мас-

лом. А здесь ты являешься исполнительным органом Совета депутатов трудящихся. Можешь забыть переписать что-нибудь — ругаться не буду. Но забыть, что тебя утвердила сессия на твою исполнительскую работу, а до этого в депутаты Совета тебя специально выбрали — это забывать упаси бог!

Старалась Люба, как могла. Конкин брал ее в МТС, в бригады, разговаривал при ней с хозяйками о неправильном обложении инспектором ихних хозяйств, о курорте для бабки Усачихи, что сломала на птицеферме ногу, о пересчете трудодней, начисленных колхозом; а через неделю поручил Любе самой разобраться с делом червленовского мирошника, который ушел к очередной жене, бросил, мерзавец, троих ребятишек.

Месяц с Любиного оформления в секретари и до свадьбы прошел быстро, еще быстрее — коротенький отпуск. В четверг, в день, на который Орлов собирал со Шепетковой колхозников, Люба пошла на работу. Шагала весело, вспоминая о ночном походе на зайцев. Беспокоило лишь одно: за все три дня не выкроила минуты навестить Конкина, который по болезни не пришел на свадьбу. «Ох и нехорошо!» — приостановилась она. Толком еще не рассвело, в Совет было рано, и она повернула к двору Конкиных. Степан Степанович чистил в сарае Соньку. Под потолком, утепленным слоем камыша, горел фонарь «летучая мышь», в углу стояла коза, заносчиво взмахивала стариковской бородашкой и жевала бурак.

— А-а-а, Фрянскова! — нажимая на фамилию, выпрямился Степан Степанович в своем смешном, подвязанном до подмышек фартуке. — Подожди чуть, у нас физзарядка.

В его левой руке была скребница, в правой — овальная светлая щетка, которой он быстро проводил под Сонькиным брюхом; одним движением, с ходу, отряхивал щетку о зубья железной скребницы и снова размашисто запускал под брюхо. Люба с улыбкой смотрела, не зная, что наблюдает профессиональные классические приемы кавалериста, что к такой чистке не придрался б на армейской коновязи самый въедливый старшина-сверхсрочник. Жеребая Сонька, с заметно выпершими боками, поджималась, сердито ударяла в пол, всякий раз попадая подковой на вбитый в настил гвоздь.

— Не любишь умываться? — интересовался Конкин. — Привыкла у Ивахненко. Твой Ивахненко сам свинья, и ты здорово не пьешься.

Сонька, повернув назад голову, действительно пялила на хозяина свой влажный презрительный глаз.

— Стерва! — восхищался Конкин и, покончив с чисткой левой Сонькиной стороны, подошел к Любе. — Ну, поздравляю! Ни пера тебе с мужем, ни пуха. Значит, отпраздновали?

— Уже, Степан Степанович.

— И хорошо. А теперь, брат, за дело. Знаешь, для чего сегодня хутор собирают?

Рассказанное Конкиным о выселении не поразило Любу, как может поразить удар грома. Ее не охватило отчаяние оттого, что рухнул ее дом на берегу ерика, уже построенный в мыслях ею и Василием, что отняты подаренные ей рядки молодых яблонь. Люба не могла осознать все сразу. Понимала лишь, что мгновение назад была одна жизнь, а сейчас, с этой минуты, будет другая.

Степан Степанович зажал между коленями Сонькино копыто, деревянным ножом выковырнул изнутри лепешку спрессованной земли и соломы. Он проскабливал на дне копыта мягкие роговые стрелки, говорил Любе:

— Сейчас, на переселении, тебе самое и работать с народом. Дай-ка суконочку, вон на ящичке.

Люба протянула ему лоскут шинели, и он, разбирая до самой репицы, до кожи, жесткий, точно проволоочный, Сонькин хвост, энергично тер кожу суконкой и объяснял, что следует теперь делать им, Любе и ему, чтобы выполнить свои обязанности перед обществом. А она — секретарь Совета, депутат, облеченный исполнительской властью, — думала не об обществе, а о том, как рассказать про все Василию. Собственно, говорить пока нельзя. Люба знала, что ей, работнику сельсовета, не полагается трезвонить. Лучше уж не ходить домой на обед, перебыть где-нибудь до собрания. А после?.. Ведь Василий именно из-за яблонь и дома отказался от поездки в Караганду, где с руками рвут таких опытных шоферов, как он. Может, уехать туда вдвоем? Но Люба и сама уже приросла к мечте о счастливом доме в Кореновском. В ее чемодане вместе с паспортом и дипломом лежит начерченный Василием, утвержденный ею план веранды с полукруглым крыльцом, с остекленной дверью. Василий уже обтесал подаренные отцом бревна, и Люба подробно осматривала, ощупывала, сто раз хвалила работу. Василий давно уж оправил на оселке стамески и долота и тоже требовал, чтоб Люба радовалась, проверяла остроту на ноготь. Самое страшное — это Василий...

Опасения Любы оправдались. Сразу же с собрания муж замкнулся, перестал разговаривать с ней и с домашними. Когда через два дня Совету понадобилась молодежь для помощи инвентаризаторам и Люба, мобилизуя хуторских ребят, попросила и Василия, он так злобно посмотрел на жену, будто во всем была виновата она, ответил, что пускай Пушкин занимается этим делом.

(Продолжение следует)



Д. САМОЙЛОВ

★

СОРОКОВЫЕ...

Сороковые, роковые,
Военные и фронтовые,
Где извещенья похоронные
И перестуки эшелонные.

Поют накатанные рельсы.
Просторно. Холодно. Высоко.
И погорельцы, погорельцы
Кочуют с Запада к Востоку...

А это я на полустанке
В своей замурзанной ушанке,
Где звездочка не уставная,
А вырезанная из банки.

Да, это я на белом свете,
Худой, веселый и задорный.
И у меня табак в кисете,
И у меня мундштук наборный.

И я с девчонкой балагурю,
И больше нужного хромаю,
И пайку надвое ломаю,
И все на свете понимаю.

Как это было! Как совпало —
Война, беда, мечта и юность!
И это все в меня запало
И лишь потом во мне очнулось!..

Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые...
Война гуляет по России,
А мы такие молодые!

* * *

С. Ф.

Слава богу! Слава богу,
Что я знал беду и тревогу!
Слава богу, слава богу —
Было круто, а не отлого!

Слава богу!
 Ведь все, что было,
 Все, что было,— было со мною.
 И война меня не убила,
 Не убила пулей шальнойю.

Не по крови и не по гною
 Я судил о нашей эпохе.
 Все, что было,— было со мною,
 А иным доставались крохи!

Я судил по людям, по душам,
 И по правде, и по замаху.
 Мы хотели, чтоб было лучше,
 Потому и не знали страха.

Потому пробитое знамя
 С каждым годом для нас дороже.
 Хорошо, что случилось с нами,
 А не с теми, кто помоложе.

БАЛЛАДА О НЕМЕЦКОМ ЦЕНЗОРЕ

(Из поэмы «Ближние страны»)

Жил в Германии маленький цензор
 Невысокого чина и званья.
 Он вымарывал, чиркал и резал
 И не ведал иного призванья.

Он вынюхивал вредные фразы
 И замарывал тушью чернила,
 Он умы сберегал от заразы,
 И начальство его оценило.

В зимний день сорок третьего года
 Он был срочно направлен «нах Остен».
 И глядел он из окон вагона
 На снега, на поля, на погосты.

Было холодно ехать без шубы
 Мимо сел, где ни дома, ни люда,
 Где одни обгоревшие трубы
 Шли, как ящеры или верблюды.

И ему показалась Россия
 Степью, Азией — голой, верблюжьей.
 То, что он называл «ностальгия»,
 Было, в сущности, страхом и стужей.

Полевая военная почта,
 Часть такая-то, номер такой-то.
 Три стены, а в четвертой окошко,
 Стол, и стул, и железная койка.

Ах, в России не знают комфорта!
И пришлось по сугробам ползать.
А работа? Работы до черта:
Надо резать, и чиркать, и мазать.

Перед ним были писем завалы,
Буквы, строчки — прямые, кривые.
И писали друзьям генералы,
И писали домой рядовые.

Были письма, посланья, записки
От живых, от смешавшихся с прахом.
То, что он называл «неарийским»,
Было, в сущности, стужей и страхом.

Он читал чуть не круглые сутки,
Забывая поесть и побриться.
И в его утомленном рассудке
Что-то странное стало твориться.

То, что днем он вымарывал, чиркал,
Приходило и мучило ночью
И каким-то невиданным цирком
Перед ним представало воочью.

Черной тушью убитые строки
Постепенно слагались в тирады:
«На Востоке, Востоке, Востоке
Нам не будет, не будет пощады...»

Текст слагался из черных мозаик,
Слово цепко цеплялось за слово.
Никакой гениальный прозаик
Не сумел бы придумать такого.

Мысли длинные, словно обозы,
Заезжали в углы мозговые,
И извилины слабого мозга
Сотрясались, как мостовые.

Он стал груб, нелюдим и печален
И с приятелями неприятен.
Он был несколько дней гениален,
А потом надорвался и спятил.

Он проснулся от страха и стужи
С диким чувством, подобным удушью.
Тьма была непрогляднее туши,
Окна были заляпаны тушью.

Он вдруг понял, что жизнь не бравада
И что существованье ничтожно.
И в душе его черная правда
Утвердилась над белой ложью.

Бедный цензор родился педантом.
Он достал небольшую тетрадку
И с правдивостью, то есть с талантом,
Все туда записал по порядку.

А наутро он взялся ретиво
За свое... нет, скорей — за иное:
Он подчеркивал все, что правдиво,
И вычеркивал все остальное.

Бедный цензор, лишенный рассудка!
Человечишка мелкий, как просо!
На себя он донес через сутки —
И был взят в результате доноса...

Жил-был маленький цензор в Германии
Невысокого чина и звания.
Он погиб, и его закопали,
А могилу его запахали.



ВИКТОР НЕКРАСОВ

★

КИРА ГЕОРГИЕВНА

Повесть

1

После третьей или четвертой рюмки начали спорить об искусстве. О том, о сем и наконец о том, можно ли считать настоящим произведением искусства неопубликованный роман, повесть или рассказ. Тут мнения раскололись. Одни говорили да, другие—нет. И те и другие очень убедительно. Убедительней же всех Кира Георгиевна. Так, во всяком случае, казалось ей. Ну не все ли равно, напечатан рассказ в типографии или написан от руки в детской тетради. Он есть, он появился, родился — и все! Сколько у этого рассказа читателей — неважно, хотя бы один, хотя бы сам автор, важно, чтоб он был написан.

— Вот я высеку из мрамора твою, Лешка, голову.— Лешка, молодой, задиристый художник, был ее главным оппонентом.— Высеку со всеми ее вихрами во все стороны и оставлю в мастерской, на выставку не дам. Что ж, оттого, что она будет стоять у меня на Сивцевом Вражке, а не на Кузнецком, в выставочном зале, что ж, значит, она уже не произведение искусства? Ерунда!

Все это Кира Георгиевна говорила весело, как всегда напористо, не давая себя перебить. Она любила спорить. Ей доставлял удовольствие самый процесс спора, обстановка его. Прокуренная комната, художники, горящие глаза, все друг друга перебивают. Биение мысли... В этом тоже есть что-то от самого искусства.

— А вообще, дело не в этом,— продолжала она,— не в том, где и как выставлено то или иное произведение, а в том умении художника, ухватив самое яркое, своеобразное, создать обобщенный образ...

— Ну и так далее. Ясно! Точка! — перебил ее веселый, лохматый Лешка.— А что ты скажешь о Шубине, великом скульпторе Шубине? Обобщал он или нет? А? Каждый его вельможа сам по себе, индивидуален, черт возьми!

— Погоди, погоди...

Но тут все заговорили хором, Кира Георгиевна сбилась, потеряла нить своих рассуждений и потребовала коньяку. От коньяка вдруг захмелела (она больше говорила, что может много выпить) и вышла на балкон.

Внизу до самого горизонта мигала огнями праздничная Москва. Кремль и высотные здания были освещены прожекторами.

«А вот и красиво,— подумала Кира Георгиевна,— даже очень. И Кремль, и высотные здания, и как все это отражается в воде. И черт с ним, что в этих высотных зданиях нет логики. Сейчас они красивы, именно сейчас,— белые среди ночи, колючие. Вот и вся логика. И машины

бегают внизу с красными огоньками... Нет, вниз смотреть не надо... — Она отвернулась. В комнате продолжался спор. — И ребята все славные. Хорошие, славные ребята. И Лешка, и Вовка, и Григорий Александрович... Ну, этот, правда, немного болван и работать не умеет, но старик добрый, покладистый. Пил бы только меньше. И Юрочка, кстати, тоже. Он что-то там подсел к этому пьянице Смородницкому, а ему еще домой меня отвези...»

И потом, в такси, сидя рядом с Юрочкой, она думала, какой он, Юрочка, славный, какой милый и деликатный, как стесняется, вот даже сейчас, хотя бы нечаянно задеть ее рукой. «А ведь я нравлюсь ему, честное слово, нравлюсь», — подумала она, и эта мысль, что она может нравиться простому, здоровому, двадцатидвухлетнему парню, была ей особенно приятна. Она искоса посмотрела на него. Он сидел прямо, положив руки на колени, и через плечо шофера смотрел на бегущий навстречу асфальт.

— Дуешься, Юрочка, а?

Юрочка ничего не ответил. Весь вечер она слегка поддразнивала его, а он, дурачок, обижался. Сначала велела ему снять галстук (у него, мол, красивая шея и незачем этот хомут таскать), и он послушно снял галстук, расстегнул ворот, и все почему-то рассмеялись. Потом при всех стала говорить о легке его лица, о мужественной линии подбородка, о том, что начала лепить его голову, и тут он совсем смутился. Юрочка вообще всегда смущался в ее компании — он электромонтер, а Кирины друзья все художники, скульпторы. От смущения он подсел к Сергею Смородницкому, бывшему моряку, от которого только в третьем часу ночи Кира Георгиевна с трудом его оторвала. Сейчас он дулся. А ей было смешно. И приятно.

У подъезда громадного дома по улице Немировича-Данченко они выпустили такси.

— Я провожу вас наверх, — мрачно сказал Юрочка, — лифт не работает.

— Не стоит, я не боюсь, — сказала Кира Георгиевна, но он, ничего не ответив, вошел в парадное и быстро побежал вверх.

«Славный, хороший, бесхитростный парень, — подумала Кира Георгиевна. — Куда всем Смородницким и Кулявиным до него!»

Слегка запыхавшись, она поднялась на шестой этаж. Юрочка стоял, облокотившись о перила, и смотрел в пролет лестницы.

— Ну, спасибо, — сказала она и протянула руку. — До завтра. В одиннадцать прошу, минута в минуту.

Вместо ответа Юрочка решительно притянул ее к себе, неуклюже, крепко поцеловал и так же решительно ринулся вниз.

Первой мыслью Киры Георгиевны было — как хорошо, что не она это сделала, второй — как неприятен запах винного перегара, и только третьей — что завтра Юрочку надо будет отчитать.

Внизу хлопнула дверь.

Кира Георгиевна открыла ключом английский замок. Дома все спали. Она заглянула зачем-то в кухню, потом на цыпочках подошла к комнате Николая Ивановича и слегка приоткрыла дверь. Он, как всегда, сразу же включил свет и приподнялся на своем диване, моргая близорукими глазами.

— Ну как, повеселилась?

— Спи, спи. Повеселилась.

Он надел очки и стал шарить папиросы.

— А Сергей Владимирович был?

— Был, был... И зачем ты ночью куришь? Спи.

Он улыбнулся мягкой, виноватой улыбкой и вместо папиросы взял из пепельницы бычок.

— Ну разве это курение? Просто так...

— Вот это «просто так» хуже всего,— сказала Кира Георгиевна и, глядя на его слегка обрюзгшее, с мешками под глазами, доброе лицо, подумала: «Нет, ей-богу, нет на свете человека лучше его». И потом, стоя в своей комнате у раскрытого окна и вдыхая свежий, весенний, совсем не городской воздух, глядя на померкнувшую уже Москву, на четко вырисовывавшийся на востоке силуэт города, она думала, как сейчас хорошо и какой добрый, чуткий, настоящий человек Николай Иванович — ее муж.

2

Жизнь у Киры Георгиевны — или, как ее называли друзья, Кили (в детстве она долго не могла произнести букву «р») — поначалу сложилась как будто весело и легко. Родилась и жила она до войны в Киеве. Отец был врачом-отоларингологом — слово, которое Кили тоже очень долго не могла выговорить, — мать, как пишут в анкетах, домохозяйкой. Был еще младший брат Мишка — лентяй, футболист и первый во дворе драчун.

Учась в школе, Кили мечтала стать балериной и ходила даже в балетную студию, потом, поступив в скучнейшую, ненавистную ей торгово-промышленную профшколу («почему-то надо обязательно куда-то поступать»), стала мечтать о карьере киноактрисы — она была стройненькой, с веселыми глазами, кудрявой, подстриженной под мальчика, и профшкольные друзья уверяли ее, что она исключительно фотогенична (в то время очень модным было это слово). В зеркале на ее туалете появились фотографии знаменитых киноартистов тех лет. Одно время она носила даже челочку а-ля Лиа де Путти. Потом она остыла к кино и увлеклась живописью, очень левой, приводившей ее добропорядочных родителей в ужас. На экзамене в художественный институт старика швейцара, позировавшего экзаменуемым, сделала зеленым и под Сезанна. Тем не менее ее приняли — правда, не на живописный, а почему-то на скульптурный факультет.

В институте было весело и не очень утомительно. Приятно было ходить с этюдником, отмывать бензином на платье масляную краску и глину, с профессиональным апломбом рассуждать о колорите, густоте тона, прозрачности теней, восторгаться Матиссом, Гогеном, Майо́лем, скептически улыбаться, когда упоминали Сурикова или Антокольского. В институте она научилась курить. Там же она влюбилась. Сперва в Сашку Лозинского, своего однокурсника, физкультурника, певца и гитариста, потом в очкастого Веньку Лифшица, писавшего стихи. Венька ввел ее в кружок поэтов. Там оказалось еще веселее. Читали друг другу стихи свои и чужие, украинские, русские, спорили, острили, бродили ночами по надднепровским паркам, немножко пили — не столько по охоте, сколько для взрослости. Там же она познакомилась с Вадимом Кудрявцевым.

Все, что ни делала Кили, она делала, не задумываясь. Отказывать себе в чем-либо она не любила. Решение принимала сразу и тут же выполняла, родители не успевали даже пикнуть. Как-то вечером она привела в дом высокого, стройного, голубоглазого парня лет двадцати, в зеленой футболке, с копной черных, как у цыгана, волос, падавших на глаза. Представила его как талантливейшего из всех известных ей сейчас поэтов. Тут же, страшно смущаясь, он вынужден был прочесть две свои поэмы — «Муравьиные следы» и «Скучающий бумеранг». Родители, с трудом признававшие даже Блока, растерянно слушали. Кили же не сводила сияющих, восторженных глаз со своего Димки. Через три дня они поженились.

С милым рай и в шалаше. Ей было восемнадцать лет, ему двадцать. Поселились они в крохотной Димкиной комнатке на пятом этаже, которую он снимал, поссорившись с отцом, крупным инженером. Окно комнаты выходило на крышу, но за нею виднелись сотни других крыш, и об этом очень нравилось — совсем Монмартр, мансарда. «Монмартрскими» казались им и сверхлевые Килины упражнения, развешанные по всем стенам, и две черные негритянские маски с оттопыренными губами, сделанные тоже ею. В комнате всегда был дикий беспорядок, везде валялись на обрывках бумаги Димкины стихи, а одно было написано прямо на стене.

Кроме стихов, у Вадима была еще кинофабрика. Работал он там ассистентом режиссера, хотя никакого специального образования не имел, просто был молод, предприимчив и любил кинематографическую суету. Килья тоже любила суету. И артистов любила, и свет юпитеров, и ночные съемки, на которые стала ездить вместе с Вадимом, и заезды в ночной «Континенталь» — одним словом, все то, что на пресном языке ее родителей называлось страшным словом «богема».

Занятия в институте были почти совсем заброшены. Их вытеснили лепка и стройка каких-то декораций в громадном павильоне кинофабрики. Кроме удовольствия и кое-каких денег, это давало возможность познакомиться с такими людьми, как Довженко, Пудовкин, Эйзенштейн. С Эйзенштейном Килья как-то завела даже полемику на одном из его докладов. Одним словом, было весело и хорошо. Все это происходило в тридцать шестом году. Через год Вадима арестовали.

Симпатичную монмартрскую комнату опечатали. Килья вернулась к родителям. Дома царил траур. Несколько раз Килью вызывали в большой, серый дом на улице Короленко и говорили о Димке страшные вещи, которым невозможно было поверить. В институте ее тоже несколько раз приглашали на собеседование и через месяц исключили. Началось хождение по каким-то учреждениям. Отец взял отпуск за свой счет и поехал с Килей в Москву. Через год Килью восстановили, но не на ее курсе, а курсом ниже.

Первые недели и даже месяцы после ареста Вадима Килья ходила сама не своя. Все было так неожиданно, так страшно. Веселый ее Димка, бесшабашный Димка, писавший стихи о «тучках зеленых, стрелою пронзенных Амура, что отдал колчан свой в ломбард», голубоглазый ее Димка, безалаберный, легкий, все всем раздающий, всеобщий любимец, и вдруг — враг народа...

Через год или полтора после его ареста пришло от него письмо. Как и откуда оно было отправлено — неизвестно, но на конверте был штампель Москвы, и адрес написан незнакомой рукой. В письме было всего несколько строчек — жив, здоров, а кроме того, сказано, что она может не считать себя его женой, он дает ей свободу. Вот и все. «Целую. Твой Димка». Написано на обрывке бумаги, торопливым кривым почерком. Больше о нем она ничего не слыхала.

Наложили ли все эти события какую-либо печать на Килью? И да, и нет. Беспечная, жившая как бы на поверхности жизни, весело скользящая по ней, Килья вдруг поняла, что, кроме шумных вечеринок и чтения стихов, кроме милых рисуночков, развешанных по стенам, есть нечто более сложное, важное, не всегда понятное и, увы, не всегда приятное. Но у нее был завидный характер, она умела быстро забывать то, что осложняет жизнь. Возможно, это и не лучшая черта человеческого характера, но Киле самой и ее окружающим эта черта облегчала жизнь. Через три года, в эвакуации, она помогла Кире — теперь ее все реже звали Килей, — ее матери и младшему брату жить в тех не слишком легких условиях, в которых они жили, помогла пережить и смерть отца. Ко-

роче, Кира умела не унывать. Она работала в местной газете, снабжая ее карикатурами на Гитлера и Геббельса, писала лозунги в клубе, плакаты для кинотеатра, преподавала рисование в первых классах, стояла в очереди, носила пайки, а иногда по ночам растаскивала вместе с соседями деревянные заборы на дрова. Все это она делала легко, и если не всегда с удовольствием, то никогда не хныча.

О Вадиме она всегда помнила — две его карточки, одна серьезная, паспортная, другая, где он снят делающим стойку на пляже, висели у нее над кроватью, — но, что говорить, время прошло, и первоначальная острота потери притупилась. Как ни странно, чаще вспоминали о нем Софья Григорьевна, Кирина мать, в свое время называвшая его «этот тип», и младший брат Мишка, влюбившийся по уши в своего зятя или шурина (никто толком не знал, кем он ему приходится), научившего его плавать, прыгать в воду вниз головой, соскакивать с трамвая на полном ходу, а главное, курить.

Прошло еще пять лет. В сорок шестом году, в Алма-Ате, Килия познакомилась с Николаем Ивановичем Оболенским, профессором художественного института, и еще через год уехала с ним в Москву. Несколько позже перебралась туда же и Софья Григорьевна с Мишкой.

Бедные матери, как трудно им ко всему привыкать. Куда труднее, чем детям. И как не могла Софья Григорьевна сразу привыкнуть к тому, что их маленькая Килия стала вдруг женой какого-то никому не известного человека в зеленой футболке, от которого пахло табаком, а иногда и водкой, так же трудно было ей свыкнуться с мыслью, что Килия ее вышла замуж за Оболенского. Вадим все-таки был почти ровесником Кили, и, как говорили соседки, они «чудесная пара». И вообще, как вскоре выяснилось, при всем своем легкомыслии Вадим был добрый, веселый, услужливый и, главное, любил Килю. И она его. И Софья Григорьевна полюбила его тоже. А Оболенский? Седой, лысый, пожилкой вдовец с брюшком, с диабетом, всегда обсыпанный пеплом, молчаливый, тихий. Правда, известный и состоятельный. Неужели Килия позарилась на положение, на деньги, связи? Не может быть...

3

Кире Георгиевне шел сорок второй год, но, как ни странно, она этого не чувствовала. Она по-прежнему была стройна (особое удовольствие ей доставляло, когда на улице или в магазине ее называли «девушка»), по-прежнему любила пляж, плаванье, греблю (к сожалению, на это теперь оставалось очень мало времени). Она не думала, в отличие от своих приятельниц, ни о какой диете, сохраняющей фигуру, не жаловалась на сердце, головные боли. Волосы, правда, она уже подкрашивала, и, нужно сказать, довольно тщательно, чтоб не было видно седеющего пробора, но во рту были только две золотые коронки, в самой глубине, видные только, когда она смеялась, лицо было свежее, почти без морщин — посторонние давали ей никак не больше тридцати двух — тридцати трех лет. Но главное не это. Главное, что она умудрилась за эти годы не растерять то, что с возрастом обычно исчезает, — она осталась такой же увлекающейся в работе, какой была и в двадцать лет. Но, кроме того, она приобрела и нечто новое — и, скажем прямо, для друзей ее неожиданное — она научилась работать. И в этом ей очень помог Николай Иванович Оболенский.

Он был старше Кили более чем на двадцать лет. Родился еще в девятнадцатом веке. К началу революции ему минул двадцать первый год. Как и все молодые художники того времени, он с увлечением рисо-

вал гигантские плакаты с рабочими и красноармейцами, дающими в рыло Деникину, Врангелю, Пилсудскому. Потом увлечение плакатом прошло. Благодаря своему отцу, тоже художнику, учившемуся в Академии вместе с Кустодиевым и Малявиным, он попал в руки к Нестерову и к концу тридцатых годов стал довольно уже известным художником. В годы Отечественной войны удостоен был Сталинской премии. Через некоторое время он был избран членом-корреспондентом Академии художеств.

Как ни странно, несмотря на все эти звания, он по-прежнему оставался скромным, даже застенчивым человеком, любящим свою работу, кисти, мольберты, краски, своих студентов и ту общественную деятельность — он был членом всевозможных жюри и выставкомов, — которой отдавался с охотой и великой добросовестностью. Больше у него ничего не осталось: жена умерла еще до войны, а сын, лейтенант-артиллерист, погиб под Москвой в октябре сорок первого года.

Когда Кира впервые пришла к Николаю Ивановичу (это было еще в Алма-Ате, она была тогда агитатором), вид его комнаты ужаснул ее. Портреты, рисунки, невымытая посуда, кастрюли — все вперемешку, и среди всего этого первозданного хаоса мраморная копия гудоновского Вольтера, иронически поглядывавшая с высоты полуживого гардероба на весь этот развал. Возможно, этот хитрый, мудрый старец и сосватал немолодого профессора с тоже уже не совсем молодой недоучившейся студенткой.

Институт она закончила уже в Москве, поселившись в полупустой квартире Николая Ивановича. Кое-кто многозначительно по этому поводу улыбался и подмигивал, но Кира Георгиевна (теперь уже ее так называли) говорила «плевала я на это» — о дипломной работе ее, получившей отличную оценку, даже старик Матвеев сказал: «У этой шальной девицы что-то есть...» А многозначительные улыбки, переглядывания? Плевала она на это!

Да, у нее старый муж. Но она его любит. Смейтесь сколько угодно — любит. Да, он стар, он часто болеет, у него диабет, гипертония, большое сердце, он беспомощен и беззащитен во всем, что не касается его искусства, в искусстве же, слава богу, не знает никаких компромиссов. Он ни к кому никогда не приспосабливается, и если голосует «за» или «против» такого-то, то потому только, что он сам «за» или «против» такого-то, а не по каким-либо другим причинам. Студенты любят и уважают его, а они-то знают, кого надо, а кого не надо любить и уважать. Да, у него дача в Красной Пахре, но купили ее главным образом потому, что Мишка женился и совсем некстати обзавелся сразу двойней. Да, ее муж стар и не очень красив, у него лысина, брюшко, но с ним легко и просто, он все понимает с полуслова, он удивительно деликатен, он понимает, что у Кили есть свои интересы, свой круг друзей. Ну вот хотя бы Юрочка. Молодой красивый натурщик третий месяц позирует ей для скульптуры «Юность». Другой на месте Николая Ивановича не относился бы так легко к этому, а он, напротив, очень любит Юрочку, приветливо его встречает, пропускает с ним даже рюмочку-другую коньяку. Он прекрасно понимает, что для Килы Юрочка только мальчик с хорошо развитой мускулатурой, которую так приятно лепить, славный, немного неотесанный мальчик, с которым они познакомились в прошлом году на пляже, когда у них испортилась моторка. Юрочка довольно долго возился с их заглохшим мотором, и тогда же, профессионально оценив его подтянутую мальчишескую фигуру, Кира Георгиевна записала его служебный телефон — он работал монтером в каком-то СМУ. Потом подвернулся заказ для сельхозвыставки, она позвонила Юрочке и убедила попозировать ей, хотя он и сопротивлялся, считая, как и большинство

людей, что в этом занятии есть что-то недостойное. Вот и все. Теперь он ходит к ней три раза в неделю после работы и позирует ей. И Николай Иванович все это прекрасно понимает. И она понимает — ей все-таки уже перевалило за сорок, к Юрочке у нее чисто материнское чувство, а поддразнивает она его просто потому, что он всегда очень мило, по-детски смущается и обижается. Мальчишка еще. Совсем ведь мальчишка. Взял вдруг и поцеловал ее на лестнице. Что у него, своих девушек нет? И поцеловал-то, как медведь. Стиснул своими ручищами, чуть шею ей не свернул.

«Да, надо все-таки его отчитать,— подумала Кира Георгиевна и закрыла окно: становилось прохладно,— и серьезно отчитать. Мальчишка все-таки...»

4

Следующее утро было солнечным и голубым. Кира Георгиевна проснулась раньше обычного — обычно она вставала часов в девять, половина десятого — и застала Николая Ивановича еще в столовой: он встал рано и завтракал всегда один.

— Ты что-то плохо выглядишь сегодня,— сказала она, подходя к нему и целуя в лоб.

— Возраст такой,— ответил Николай Иванович, вставая.— Всю ночь чего-то ворочался. И сны всякие дурацкие.— Он закурил.— Ты работаешь сегодня?

— Работаю. А что?

— Да ничего. Просто подумал — праздник, весна... Мало мы воздухом дышим.

— Мало. Но я уже условилась с Юрочкой. А позвонить ему некуда.

— Ну, раз условилась...

Кира Георгиевна прошла в ванную.

Холодный душ согнал последние остатки вчерашнего хмеля. Все показалось сейчас смешным и забавным. И этот спор об искусстве, и восторженные Лешкины — главного ее оппонента — тосты за «творческий» и против «коммерческого» реализма, и смешной обидевшийся Юрочка, его детская выходка на лестнице. Нет, не надо его отчитывать, надо просто с улыбкой сказать, что она старше его на двадцать лет и что ей, в ее возрасте... Нет, не надо. Просто пожурить: «Ай-ай-ай, Юрочка». А может, и совсем промолчать, как будто ничего не было.

В мастерскую — она находилась на Сивцевом Вражке — Кира Георгиевна пошла пешком. Дойдя до Никитских ворот, она решила, что Юрочку все-таки надо отчитать. Собственно говоря, надо было сделать это еще вчера, но поскольку она вчера, растерявшись, не сделала этого, надо сегодня... Выйдя на Арбат, она передумала. В самом деле, смешно всерьез принимать вчерашнее происшествие. Просто глупо.

Так и не приняла она никакого решения.

Юрочка ждал ее уже около получаса. Сидел у окна на старом скрипучем диване и листал «Огонек». Вид был мрачный.

— День-то сегодня какой, настоящая весна,— весело сказала Кира Георгиевна, входя, и тут же окончательно поняла, что отчитывать его не будет, раз с этого прямо не начала.

Юрочка поднял голову и сразу же опустил.

— Настоящая,— сказал он.

— Я вот сейчас шла по Никитскому бульвару, и, знаешь, на деревьях уже почки. Ей-богу. Я даже сорвала одну и съела.

«Господи, что я несу»,— тут же подумала она.

Юрочка ничего не ответил. Курносый, коротко остриженный, с вих-

рами на макушке, он выглядел совсем мальчишкой. А руки взрослого — жилистые, ладонь широкая, грубая.

— И вообще, надо уже подумывать о лете. А то стоит моторка без дела, никто ею не пользуется. Проверил бы как-нибудь мотор. А?

— Ладно, — мрачно сказал Юрочка и, отложив журнал, направился к каморке, где он передевался. — Начнем, что ли?

— Да, да, начнем.

Кира Георгиевна стала искать комбинезон, в котором работала, не нашла, подошла к скульптуре — чему-то большому, обмотанному тряпками, — начала ее разматывать, бросила, не докончив, опять стала искать комбинезон — черт его знает, всегда куда-нибудь денется...

Сквозь большое окно-фонарь в мастерскую врвался толстый солнечный луч с дрожащими в нем пылинками. Он освещал часть пола и кусок стенки, на которой висели гипсовые маски.

«Какие они все мертвые, — подумала Кира Георгиевна. — Белые, мертвые, с закрытыми глазами. Ну их... Сниму».

Вышел из каморки Юрочка, слегка поживаясь: в мастерской было прохладно.

— Ты не видал моего комбинезона?

— Он там. — Юрочка кивнул головой в сторону каморки. — Принести?

— Не надо.

Кира Георгиевна вынесла из каморки комбинезон и с силой встряхнула его — в солнечном луче красиво закружились облака пыли. Комбинезон был старый, грязный и любимый.

— Слушай, знаешь что? — Кира Георгиевна бросила комбинезон на диван и сердито глянула на Юрочку. Он, чтобы согреться, боксировал воображаемого противника.

— Что? — Он прекратил боксировать и обернулся.

«Вот сейчас все ему и скажу. Кратко, спокойно, без лишних слов. Самое глупое — делать вид, что ничего не было... Было... А раз было, надо сказать...»

Юрочка со сжатыми еще кулаками, полуобернувшись, выжидательно смотрел на нее.

— Знаешь что? — сказала она вдруг. — Ну его к черту! Поедем за город...

И они поехали за город.

К пяти часам они вернулись, приятно усталые, голодные.

— Хочу есть, зверски хочу есть, — сказала Кира Георгиевна и заглянула в сумочку, сколько там денег. — Ты был когда-нибудь в «Арарате»?

Юрочка в «Арарате» никогда не был, и они пошли в «Арарат». Там Кира Георгиевна спохватилась, что ее ждет к обеду Николай Иванович, и тут же из директорской клетушки позвонила домой и велела Луше передать Николаю Ивановичу, который еще не вернулся, что она встретила приятельницу и обедать будет у нее, пусть Николай Иванович не дожидается.

В «Арарате» они пили сначала сухое вино, потом коньяк, потом кофе, потом опять коньяк, какой-то особенный, очень дорогой. Потом, уже около одиннадцати часов, Кира Георгиевна опять позвонила домой и, старательно выговаривая все буквы, сообщила Николаю Ивановичу, что приятельница — он не знает ее, они жили вместе в эвакуации — пригласила ее к себе на дачу и ей неловко отказать, поэтому ночевать она сегодня дома не будет.

— Ну что ж, хоть воздухом подышишь, — сказал в трубку Николай Иванович. — Смотри только не простудись. Ты, надеюсь, в пальто?

— В пальто, в пальто... — весело ответила Кира Георгиевна и повесила трубку.

5

Прошло два месяца. Наступило душное, пыльное московское лето. Тут бы и поехать куда-нибудь на юг, к морю, да не пускала скульптура — к пятнадцатому июля ее надо было сдать. Кира Георгиевна работала сейчас много и упорно. То, что она делала, ей нравилось. Она пригласила друзей и показала им почти законченную уже работу. «Юность» предназначалась для сельскохозяйственной выставки, и большинство друзей говорило, что она не стандартна, что в ней есть что-то свое, очень убедительное. Это был не безликий античный атлет с вытянутой рукой, а просто юноша с обнаженным торсом, в рабочих штанах, глядящий в небо. Даже вихрастый Лешка нашел в скульптуре кое-какие достоинства профессионального характера (уже успех!), хотя в принципе и возражал против нее, считая скульптуру если и не ярчайшим (его любимое словечко), то во всяком случае достаточно ярким образцом «коммерческого» реализма. Но это был Лешка, по любому поводу, всегда и со всеми спорящий, так что особого значения этому можно было не придавать.

Приехал как-то в мастерскую и Николай Иванович — делал он это очень редко, — долго стоял и рассматривал скульптуру с разных сторон, потом сказал: «Ну что ж, заканчивай» — и уехал. Значит, понравилось. В противном случае он похвалил бы какие-нибудь детали, а потом, вечером или на следующий день, начав откуда-нибудь издалека, под конец разнес бы в пух и прах. А сейчас он долго стоял, смотрел и сказал «заканчивай». На какую-то долю секунды Кире Георгиевне показалось, что, глядя на скульптуру, он разглядывает в ней конкретное лицо. но, когда он, прощаясь с Юрочкой, сказал ему: «Что-то давно вы у нас не были, заглянули бы как-нибудь, у меня новые альбомы», — она поняла, что ошиблась.

Тем не менее, когда Николай Иванович уехал, она сказала Юрочке: — Действительно, зашел бы как-нибудь. Раньше ходил, ходил, а за этот месяц один только раз был, когда проводку в кухне чинил. Неловко как-то.

Юрочка ничего не ответил. С того дня, когда они были в «Арарате», в его отношении к Николаю Ивановичу что-то изменилось. Раньше он приходил довольно часто. Ему нравилась и эта непривычная для него большая квартира, увешанная картинами, нравились и самые картины, хотя не все в них было понятно, нравилось, как о них рассказывает Николай Иванович.

До знакомства с Кирой и Николаем Ивановичем Юрочка, по правде говоря, живописью не очень-то интересовался. Ну, был раза два — в школьные еще годы — в Третьяковке, потом солдатом водили его на какую-то юбилейную выставку, вот и все. В картинах нравилось ему больше всего содержание: Иван Грозный, например, убивающий своего сына, или «Утро стрелецкой казни» — можно довольно долго стоять и рассматривать каждого стрелца в отдельности. Нравилась ему в картинах и «похожесть» их, «всамделишность» их — шелк, например, у княжны Таракановой такой, что пальцами хочется пощупать. Но в общем, музеи он не любил — слишком много всего, — в других же местах с живописью сталкиваться как-то не приходилось.

И вот столкнулся. И оказалось даже интересно. Николай Иванович брал с полки одну из громадных книг в красивых, с золотом, переплетах, и, усевшись рядом на диване, они вдвоем листали ее, иногда целый вечер напролет.

Кира Георгиевна тоже любила говорить о картинах. Вскочив на стул и сняв со стены нечто пестрое, в изломанных линиях, она, как всегда

громко, увлекаясь, и неясно начинала объяснять, что это должно значить и почему, хотя и талантливо, очень даже талантливо, но не годится для нашего зрителя. Юрочка покорно слушал и ничего не понимал. Когда же начинал говорить Николай Иванович, ему сразу становилось интересно, хотелось слушать, спрашивать. Они, например, два вечера просидели над одной только книгой про одного художника — Иванова, даже про одну его картину. Юрочка был просто потрясен — бог ты мой, сколько работы, какой труд, всю жизнь человек отдал ему. И как интересно картина сделана — Христос сам маленький и где-то далеко-далеко, а сфедри много народу, а вот смотришь в первую очередь на Христа. И про боярыню Морозову тоже очень интересно рассказывал Николай Иванович. И про «передвижников», взбунтовавшихся сто лет тому назад, и про французских художников, рисовавших свои картины так, что на них надо смотреть только издали. Перед Юрочкой открылся новый, совершенно незнакомый ему мир — мир искусства и в то же время мир напряженной работы, борьбы, бунтов, очень, оказывается, беспокойный мир.

И все это открыл ему Николай Иванович. Поэтому Юрочка и любил его дом.

Теперь Юрочка перестал заходить. Ему было стыдно. В последний раз, в тот день, когда менял проводку на кухне, вечером, за чаем, он старался не смотреть на Николая Ивановича. Бледный, усталый (сейчас он много работал, заканчивая групповой портрет для выставки), в расстегнутой от жары рубашке, сквозь открытый ворот которой виднелась белая безволосая грудь, тот сидел как раз напротив Юрочки, и Юрочке стало вдруг неловко за свои грубые, поцарапанные, загорелые руки, за свое здоровье, за то, что рядом сидит Кира Георгиевна и как ни в чем не бывало накладывает в блюдечки варенье, а потом — он знал, что так будет, — в передней, перед самым его уходом, прижмется к нему, торопливо откроет дверь и шутиливо толкнет его в спину. И оттого, что случилось именно так, ему стало еще неприятнее, еще стыднее. С тех пор он перестал заходить.

А как-то, когда Кира Георгиевна опять упрекнула его, почему он не заходит — это в конце концов неловко, Николай Иванович уже несколько раз спрашивал о нем, — он прямо сказал, что стыдится Николая Ивановича, что трудно смотреть ему в глаза.

Кира Георгиевна помолчала несколько секунд, потом сказала, деланно рассмеявшись:

— Ей-богу, ты в свои двадцать два года совсем еще мальчик. Или наоборот — старик, ханжа. Вот именно, ханжа. Неужели ты не понимаешь, что мои отношения с Николаем Ивановичем построены совсем на другом? Я его считаю, считала и всегда буду считать лучшим человеком на земле, заруби это себе на носу. Ясно это тебе или нет?

Все это было сказано громко и запальчиво. Потом она добавила, глядя куда-то в сторону:

— Но между нами разница все-таки в двадцать лет — деталь, с которой трудно не считаться.

Юрочка ничего не ответил. Когда она упомянула о двадцати годах, он не мог не подумать, что между ними разница тоже в двадцать лет. Кира Георгиевна, очевидно, тоже это сообразила, потому что вдруг резко и раздраженно сказала:

— А вообще, дорогой товарищ, можешь поступать, как тебе угодно, у тебя своя башка на плечах.

Он опять промолчал и вскоре ушел. Он не умел так разговаривать. Все это было ему неприятно, и обидно, и жаль старика, и неловко за Киру Георгиевну, у которой всегда на все есть убедительный ответ.

Всю ночь Кира Георгиевна не могла заснуть. Ворочалась с боку на бок, вставала, открывала, потом закрывала окно, искала снотворное, опять ложилась, опять ворочалась с боку на бок.

И зачем она завела этот idiotский разговор? И словечко-то какое нашла — деталь... Дура, болтливая дура...

Последние два месяца все было так хорошо. И работалось хорошо, как никогда, весело, с подъемом. И у Николая Ивановича все как будто клеилось, он был доволен, а это случалось редко. И вообще, эти два месяца Кира Георгиевна чувствовала себя молодой, полной сил. Ей было весело. Она перестала обманывать себя, убеждать, что Юркины мускулы ей приятно только лепить. И разве оттого, что он появился, она изменила свое отношение к Николаю Ивановичу? Ничуть. С ним ей всегда уютно, и интересно, и приятно, даже когда он просто сидит за стеной в своем кабинете и она слышит его покашливание. Вот и сейчас он покашливает. Опять, значит, работает. Когда он кончает картину, ему даже на ночь трудно с ней расстаться, он перетаскивает ее из мастерской к себе в кабинет и возит ее день и ночь...

Кира Георгиевна накинула халат, на цыпочках прошла через столовую и приоткрыла дверь к Николаю Ивановичу. Он стоял перед картиной, в полосатой пижаме, заложив руки за спину, и курил. На скрип двери обернулся.

— Чего это ты вдруг? — Он улыбнулся, снял очки и, подойдя к ней, ласково погладил по голове. — Бессонница?

— А черт его знает, не спится чего-то. Душно.

— Душно. «Вечерка» писала, что Москва не знала такой жары последние семьдесят лет. У них почему-то всегда семьдесят лет. Морозов таких не было семьдесят лет, снега — тоже. Все семьдесят лет...

— А может, ты все-таки ляжешь спать? — сказала Кира Георгиевна. — Второй час уже.

Он улыбнулся.

— Зачем же спать, когда гости пришли? Это невежливо.

— В таком случае надо угостить их чаем, — сказала Кира Георгиевна и побежала на кухню.

Потом они пили чай, разостлав салфетку на углу письменного стола. и вспоминали, как Николай Иванович угощал впервые своего агитатора чаем еще в Алма-Ате, тринадцать лет тому назад. Тринадцать лет... Подумать только — тринадцать лет, улыбался Николай Иванович, тогда у него еще волосы на голове были, не много, но были, и он старательно зачесывал их из-за левого уха к правому, а теперь...

— Вот видишь этого седого, приличного господина в воротничке и галстуке? — Николай Иванович кивал в сторону своей картины, на которой изображены были три пожилых человека, сидящих за столом. — Сейчас он академик, величина, толстые книги пишет... А ведь когда я писал его в первый раз, был златокудрым красавцем, в кубанке, в красных галифе, с таким вот маузером на боку. С самим Махно, говорят, самогон пил. А теперь — валидолчик, курить бросил, вредно...

Он стал рассказывать об агитбригаде, с которой исколесил всю Украину и Дон, о том, как сделал в один получасовой сеанс портрет Щорса и тот, увидев его, несколько удивился, не обнаружив ни глаз, ни носа, но тем не менее взял и даже поблагодарил, как ездил в Крым. как познакомился с Вересаевым, как поехал потом в Москву и пробился с двумя ребятами к Луначарскому, который внимательно выслушал их предложение расписать стены Кремля фресками на тему «От Спартака до Ленина», а потом, устало улыбувшись, сказал: «А может, товарищи, пообедаем, вы, наверное, ничего не ели?», — и они остались обедать и о фресках больше уже не заикались.

Кира Георгиевна, устроившись в кресле, поджав колени, слушала все эти рассказы и, как всегда, поражалась тому, как много на своем веку видел Николай Иванович и как мало об этом рассказывает. Только так, случайно, «под настроение», заговорит и тогда уже может говорить всю ночь, неторопливо, тихо, прикуривая папиросу от папиросы, и слушать его можно без конца, вот так вот, в кресле, поджав колени.

Было уже совсем светло. Чирикали воробьи — днем их никогда не слышно, а сейчас заливались вовсю, — загромыхали на улице грузовики. Николай Иванович зевнул, встал, подошел к картине.

— Вот так вот, Киль, и жизнь прошла. Старичков теперь пишем и молодость вспоминаем. — Он обнял ее за плечи и поцеловал в волосы. — А хочешь, я твой портрет сделаю? Просто так, для себя. И повесим его в столовой рядом с Кончаловским. Идет?

— Идет. — Кира Георгиевна весело рассмеялась. — Только обязательно во весь рост, в бальном платье и с бриллиантами. Иначе не согласна.

Они разошлись по своим комнатам. «Вот и посидели хорошо... Ах, как хорошо посидели...» Кира Георгиевна вытянулась на своей кровати, натянула на голову простыню (привычка с детства), вздохнула и закрыла глаза. После этого тихого, уютного, ночного чаепития она чувствовала себя какой-то очищенной, успокоенной. А через несколько часов произошло событие, от которого вся ее, в общем, налаженная, как она считала, спокойная жизнь полетела вверх тормашками.

6

Юрочка работал у себя в СМУ утром, поэтому условились, что в мастерскую он придет к пяти часам. Сегодня был день подчистки и проверки — в основном скульптура была уже готова. Как всегда, это было и приятно и немного грустно. Приятно потому, что доделывать и отшлифовать всегда приятно, грустно потому, что всегда жалко расставаться с чем-то, к чему привык, что полюбил. Взобравшись на лестницу, Кира Георгиевна рассматривала скульптуру с верхней точки.

— Что-то левая рука мне отсюда не нравится, — сказала она Юрочке, когда тот пришел. — Давай проверим руку.

Но едва Юрочка занял свою обычную позицию, в мастерскую вбежала курносая Люська, соседская девчонка, вечно болтавшаяся во дворе.

— Тетя Кира, вас дядька какой-то спрашивает.

— Какой дядька?

— Откуда я знаю? С усами такой.

— Ну пусть зайдет.

— А он сказал, чтоб вы во двор вышли.

— Вот еще... — Кира Георгиевна, спустившись с лестницы, влезала в комбинезон и путалась в штанине. — Делать мне нечего. Пусть сюда идет.

Люська убежала.

Через минуту хлопнула дверь в сенях.

— Можно?

В мастерскую вошел молодой человек в гимнастерке, в сапогах, высокий, седоватый, с усами вроде чапаевских. Вошел и остановился в дверях.

Кира Георгиевна, справившись наконец со штаниной, обернулась. Несколько секунд оба молча смотрели друг на друга. Потом Кира Георгиевна сказала как-то медленно, с паузой:

— Усы... Зачем усы?

Человек улыбнулся.

— Для красоты. Усы украшают мужчину.— Он сделал несколько шагов вперед.— Здравствуй.

— Здравствуй.— Кира Георгиевна пожала, протянутую руку и вдруг села на диван.

Человек медленно осмотрел мастерскую. Мимоходом оценивающе взглянул на Юрочку.

— Знакомьтесь,— сказала Кира Георгиевна.— Юра... Вадим Петрович...

Они пожали друг другу руки, крепко, по-мужски, может быть даже несколько крепче, чем надо.

Кира Георгиевна встала и, зачем-то свернув валявшееся на диване полотенце, положила его на подоконник.

— На этом мы сегодня кончим,— сказала она.

— До четверга? — спросил Юрочка.

— Ага, до четверга.— Кира Георгиевна наморщила брови и, точно соображая что-то, посмотрела на него.— Или нет... Позвони мне в среду вечером... Часиков так в одиннадцать.

— Ладно.

Юрочка кивнул незнакомцу — тот ответил тем же — и вышел.

В среду вечером Юрочка трижды звонил Кире Георгиевне, но два раза никто к телефону не подошел, а на третий ответил Николай Иванович.

— Не знаю, Юрочка, где она,— сказал он.— Растворилась где-то. И записки не оставила. Позвоните-ка через часок.

Через час ее тоже не оказалось. Позже звонить было уже неловко.

На следующий день, в четверг, Юрочка был свободен и решил на всякий случай заглянуть в мастерскую.

Во дворе, как всегда, околачивалась соседская Люська.

— А там дядька живет,— сообщила она Юрочке.— Второй день уже.

Дядька, когда Юрочка вошел в мастерскую, стоял у окна и сбрасывал усы. На нем были трусы и старая, выцветшая, лопнувшая под мышкой майка.

— Очень хорошо,— сказал он, увидев Юрочку.— Подбреете мне шею. Юра поздоровался.

— А Киры Георгиевны нет?

— Нет и не будет. Просила извиниться перед вами. У нее какое-то совещание.

— Совещание? — Юра удивился. Кира Георгиевна, насколько он знал, ни на какие совещания никогда не ходила.

— Так точно. Просила, чтоб вы ей вечером позвонили.— Гость протянул бритву.— Прощу.

Пока Юрочка подбривал шею, они говорили о качестве бритв.

Потом гость вытерся одеколоном. Без усов он оказался гораздо моложе.

— Вы завтракали? — спросил он, вытирая и складывая в коробочку безопасную бритву.

— Завтракал.

— Жаль.

— А что?

Гость наклонился и молча вынул из-под стола поллитровку.

— Может, за колбасой сбежать? — спросил Юрочка.

Гость засмеялся.

— Понятливый молодой человек! Не надо. Все есть.— Он развернул лежащий на столе сверток. Там оказались ветчина, сыр и банка с маринованными огурцами.

— Открой-ка ее, — он перешел вдруг на ты, — а я тем временем о посуде позабочусь.

Посудой оказались вазочка из-под цветов и бритвенный стаканчик.

— Тебя, значит, Юрой зовут? — сказал он, разливая водку. — И работаешь натурщиком?

Юрочка кивнул головой.

— Основная профессия?

— Нет, я электрик.

— Ну, это лучше. А меня зовут Вадим Петрович. Напоминаю, так как уверен, что ты уже забыл. Ну, пошли!

Они закусили ветчиной.

— Такие-то дела... А это, значит, под тряпками — ты? — Вадим Петрович кивнул в сторону скульптуры, обмотанной, как всегда, мокрыми тряпками.

— Я.

— Судя по всему, занимаешься боксом?

— Занимался.

— Почему в прошедшем времени?

— Да так как-то все... Не успеваешь. В армии было время, даже на соревнованиях выступал, а сейчас...

— Семья? — Вадим Петрович искоса посмотрел на Юрочку.

— Мать, сестра...

— Маленькая?

— Да как сказать, четырнадцать лет.

— Отца нет?

— Нет.

— Погиб на фронте?

— Нет, после войны уже. Попал в катастрофу. Шофером был.

— А мать работает?

— Нет. На пенсии. Больная совсем. Сердце, печень, плохо видит...

— Старенькая?

— Не очень. Пятьдесят пять. Скорее даже молодая.

— А братьев не было?

— Был старший. Погиб под Кёнигсбергом.

Вадим Петрович налил опять.

— Ты прости, вроде анкету заполняю. Но для меня это как-то... Ну ладно, будь здоров.

Он выпил, поморщился, повертел бутылку за горлышко.

— Самый бы раз за второй сбежать. Но не будем. Не будем... — Он пощупал пальцами верхнюю губу и улыбнулся, в первый раз за все время. — Странно как-то. Восемь лет усы носил. А до этого четыре года еще и бороду. Итого двенадцать...

— А может, все-таки сбежать? — спросил Юрочка. — Тут рукой подать, за углом.

— Нет, не надо. Хватит. Успеет еще. — Вадим Петрович похлопал по карману, вынул пачку сигарет. — В город не идешь?

— Могу и пойти. Только сначала давайте все-таки... — Юрочка скрылся в камерке и сразу же вернулся оттуда с бутылкой в руке. — Грамм двести тут есть.

Вадим Петрович хлопнул Юрочку по спине — рука у него оказалась тяжелая.

— А ты, хлопец, видать, любишь это дело.

Юрочка улыбнулся.

— Кто же не любит?

— Я, например, не любил. Когда мне было столько, сколько тебе. До

двадцати совсем не пил. Занимался спортом. Между прочим, и боксом тоже.

— Поэтому и нос у вас кривой?

Вадим Петрович рассмеялся.

— А что, здорово видно? — Он посмотрелся в зеркало, то самое, перед которым брился. — Кривой таки... От бокса, ты угадал. Но не на ринге.

Юрочке хотелось спросить, где и когда это произошло, но он постеснялся. Вадим Петрович ему понравился. Простой, держится по-дружески. И глаза умные.

— Ну ладно, раз принес, надо выпить. — Вадим Петрович чокнулся о Юрину вазочку.

Несколько минут молчали. Потом Вадим Петрович встал, прошелся по мастерской, вернулся, сел на диван, пристально посмотрел на Юрочку — тому как-то даже неловко стало.

— Тебе сколько лет? — спросил Вадим Петрович.

— Двадцать два.

— И не женат?

— Не женат. — Юрочка покраснел.

— Почему?

— А кто его знает. — Юрочка еще пуше покраснел. — Школа, потом армия, не вышло как-то.

— Не вышло... Ясно. — Вадим Петрович пожевал губами. — А здесь, значит, натурщиком работаешь?

— Ага...

Вадим Петрович опять пожевал губами.

— Только натурщиком?

— Нет. Я же вам говорил, что основная моя профессия...

— Я не об этом.

— А о чем?

— О чем? Эх, парень, парень. Было и мне когда-то двадцать два года... — Он порылся в кармане и бросил на стол мятую сторублевку. — А ну, валяй-ка в «Гастроном»... Только живо!

7

Ни на какое совещание Кира Георгиевна не пошла — она не любила совещаний. Просто бродила по городу. Бог знает когда в последний раз бродила вот так, одна, по улицам, по переулочкам. Когда-то очень это любила, потом почему-то не стало хватать времени.

В Парке культуры и отдыха ее застала гроза — шумная, многоводная, мгновенная. Она забежала от потоков воды в ресторан — как оказалось, чешский. Чтоб не стоять без дела, взяла кружку пива и порцию странных, толстых, каких-то вывернутых наизнанку колбасок, именовавшихся «шпекачками». Пиво было очень холодное, ломило зубы, но приятное и хмельное.

Потом в ресторан вбежала парочка — парень и девушка, оба насквозь промокшие, босые, веселые. Тут же у входа, прыгая на одной ноге и не переставая хохотать, девушка надела туфли, которые парень вынул из-за пазухи. Сели за соседний столик и тоже заказали пива.

Глядя на них, веселых, молодых, — для них гроза была только поводом лишний раз посмеяться, — Кира с грустью подумала, что сейчас вряд ли бы уже сняла так вот туфли и побежала шлепать по лужам. А ведь... В каком году это было? В тридцать шестом, тридцать седьмом? Гроза почище этой застала их как-то с Вадимом на Крещатике. Это была даже не гроза, это был потоп. Тогда задило нижние этажи и под-

валы, и об этом писали в газетах. Крещатик, наполненный мутными потоками с улицы Ленина, Прорезной, Лютеранской, превратился в бурную, многоводную реку. И они так же, как эта парочка, хохоча от радости, по колени в воде пытались добраться до своего дома. А там тоже был потоп — крыша протекла, всю комнату залило, и в раковину пришлось вылить три полных ведра отжатой тряпками воды. Сколько смеху было тогда: наконец-то пол помыли, а то все собирались, собирались...

С тех пор прошло двадцать два, нет, двадцать три года. Вчера они сидели в какой-то захудалой столовой, кажется на Ленивке, недалеко от музея Пушкина, и просидели там, пока ее не закрыли. Водки здесь не подавали, и, хотя Кира Георгиевна сказала «и очень хорошо», Вадим сбежал все-таки в соседний магазин. Пить пришлось из граненых стаканов, делая вид, что это нарзан.

О чем они говорили в этот день?

Сперва, когда шли по Арбату, Вадим расспрашивал о Софье Григорьевне, о Мишке («Неужели уже папаша? Ай-ай-ай!»), о старых киевских друзьях, — из них кто погиб, кто исчез, а кто если и жив, то как-то волею судеб и времени отделился. Вадим слушал внимательно, почти не перебивая. Потом, пересекая Арбатскую площадь, они дружно поругали новый памятник Гоголю и заговорили о скульптуре вообще, о Килиной работе, и тут Вадим сказал, что он очень рад, что Килия добилась таких успехов в деле, которое так любит. «Это не всем удастся», — сказал он. Кира Георгиевна промолчала. Потом они несколько минут шли молча, и Кира Георгиевна мучительно искала тему для разговора, и тогда он сказал: «Может, зайдем куда-нибудь, я что-то проголодался». И они зашли в эту самую столовую.

Пока Вадим бежал за котлетами и винегретом, Кира Георгиевна смотрела на него сверху (они устроились наверху, на балкончике) и думала о том, что он, в общем, мало изменился, хотя походка и стала не такая уж легкая и молодая, как была.

Потом Вадим принес две порции мокрых котлет с вермишелью, винегрет, бутылку нарзана и, разлив водку, спросил:

— За что мы пьем?

— За твое возвращение, конечно, — сказала Кира Георгиевна и тут же услышала свой голос, чужой, далекий, не ее.

...Боже мой, боже мой, что ж это происходит?.. «За твое возвращение...» Куда? К кому? Вот она сидит за этим красным, покрытым стеклом столом и смотрит в тарелку, и перед ней стакан с какой-то гадостью, и ни о чем она еще не спросила и не знает, что спрашивать и как спрашивать, и вообще, нужно ли спрашивать, и он тоже молчит, тоже не спрашивает. Когда они шли мимо Гоголя, она сказала, что старый памятник поставили недалеко, во дворе того дома, где Гоголь умер, и что там ему даже лучше, и он сказал: «Реабилитировали старика». а она даже не спросила, реабилитировали ли его самого. И сейчас она сидит, и смотрит в тарелку, и выпьет эту водку, которая ей противна, выпьет потому, что так надо, так полагается и считается, что от этого становится легче...

Вадим полез в карман, вынул бумажник, старый, лоснящийся, а из него — фотографию: двухлетний мальчик в кудряшках, забавный, большеглазый, удивленный и чуть-чуть кривоногий.

— Мой сын, — сказал Вадим. — Володя.

Кира Георгиевна подняла глаза.

— Давай выпьем за него. Хочешь?

— Давай.

Он пододвинул ей стакан. Она взяла его обеими руками, чувствуя, что они трясутся.

Господи, боже мой, что же это творится? Вот были вместе и расстались, и прошло двадцать лет, даже больше, и за эти двадцать лет всего было столько, что и не разберешься. И вот они опять вместе, и ей уже никто не нужен — ни Николай Иванович, ни Юрочка, никто...

Милый Вадим, Димка, не суди меня строго. Я плохая, сама знаю. Но я никогда тебе не врала. И сейчас не вру. Я такая как есть. Прими меня такой...

Вадим сидел перед ней, слегка наклонясь вперед, положив локти на стол, медленно вращая перед собой стакан, и тоже смотрел на нее. И в глазах его, таких знакомых голубых глазах, в которые она не могла до сих пор взглянуть, она прочла то, на что, может быть, уже и не имела права, — ожидание. И она поняла вдруг, что все, что до этой минуты стояло между ними, рухнуло.

И он понял.

— Киль, Киль, — сказал он. — Все ясно. Жаль только, что и у нас мог быть такой Вовка. И было бы ему сейчас двадцать лет, а может, и больше.

Сказал и похлопал ее слегка по руке.

Да, да, их сыну могло быть уже двадцать лет, а может, и больше. Он бы уже брился, и курил, и за девочками бы ухаживал, а может, и женился бы, и был бы у него сын такой, как этот Вовка... И тут Кира невольно подумала: ведь Юрочке как раз столько лет, сколько могло быть их сыну.

— Ну, выпьем же за Вовку, — сказала она.

Он улыбнулся.

— А кто говорил: «И очень хорошо, что нету?»

Она выпила, поперхнулась, долго кашляла, он хлопал ее по спине. Потом она попросила, чтоб он еще рассказал о себе, что хочет. И он рассказал. Он уже пять лет женат — правда, не расписан. Первый ребенок у них умер, второй жив и здоров, рахит пройдет, ножки уже заметно выпрямятся. Жену зовут Марья Кондратьевна, или просто Муся, она моложе его на десять лет, попала на Север позже, чем он, хороший товарищ. Она выходила его в госпитале, она врач по специальности. Красивая ли? Да как сказать — наверно, обыкновенная. Карточки у него с собой нет. Высокая, худая, теперь немного пополнела, глаза голубые, была когда-то брюнеткой, сейчас сильно поседела.

Обо всем этом Вадим говорил просто, спокойно, и по всему было видно, что к жене своей он относится хорошо, может быть, даже любит ее. И Кира Георгиевна вдруг почувствовала, что ей не хочется видеть эту женщину, даже на карточке.

Потом они гуляли по ночной Москве, по тихим, безмолвным набережным. Вадим все рассказывал о себе. Кира молча слушала. Он говорил негромко, спокойно, ничуть не стараясь ее разжалобить или поразить.

Они вышли к Крымскому мосту, долго стояли на нем, глядели в черную, с дрожащими огнями воду. Вадим накинул на нее свой пиджак, обнял за плечи. Так они стояли и молчали, говорить уже не хотелось.

Приехал, вернулся... Он рядом с ней, тут, на мосту, в Москве, через двадцать лет. У него седые волосы, искривлен нос, появились морщины. Они не могли не появиться, но, может быть, их было бы меньше, если б все эти годы он жил в Киеве, в Москве, рядом с нею или даже побывал на фронте. И все же пальцы его — она чувствует их на своем плече — остались такими же сильными, может быть, стали даже сильнее, а глаза... Она на всю жизнь запомнит его глаза, его взгляд — там, за столиком с красным стеклом, — великодушный, все понимающий, все-все понимающий взгляд...

Они долго стояли на мосту. Прошел милиционер, посмотрел на них, ничего не сказал и пошел дальше. Потом, когда начало уже светать и Москва-река из черной, потом лилово-голубой стала розовой и чуть шероховатой, Вадим спросил:

— Ну, так как, Киль, что дальше будем делать?

И она ответила:

— Как — что? По-моему, все ясно.

Это было вчера.

8

Гроза умчалась так же стремительно, как пришла. Воздух стал свежим, чистым, запахло травой, от луж на асфальте подымался легкий, прозрачный пар. Кира Георгиевна вышла из ресторана, кивнув на прощанье милой промокшей паре — те весело помахали ей, чему-то опять рассмеявшись, — и пошла вдоль Москвы-реки к Крымскому мосту.

«Все ясно, все ясно, все ясно...»

Она поднялась на мост, остановилась на том месте, где они стояли прошлой ночью. Из-под моста вынырнула лодка, длинная-предлинная, и четверо ребят в белых майках, мерно ударяя по воде веслами, вмиг угнали ее куда-то вниз по течению.

Все ясно, все ясно, все ясно...

Кира Георгиевна шла домой и машинально повторяла, а потом стала даже напевать: «Все ясно, все ясно, все ясно...» И подымаясь по лестнице к себе на шестой этаж (лифт был на ремонте), повторяла все то же.

Николай Иванович был уже дома. Накрывал на стол. Это была его священная обязанность, так же как нарезание лимона и сыра тончайшими, прозрачными ломтиками. Эти три домашних дела он, нужно сказать, делал с блеском. На этот раз, кроме аккуратно расставленных солонок, перцев и горчиц, на столе высилась длинная бутылка венгерского токая.

— Это по какому же случаю? — удивилась и немного даже испугалась, сама не зная чего, Кира Георгиевна.

Николай Иванович загадочно улыбнулся.

— Не догадываешься?

Он старательно разложил крахмальные, белоснежные салфетки возле приборов, потом так же загадочно удалился в свой кабинет и через минуту вышел оттуда, держа нечто квадратное за спиной.

Кира Георгиевна соображала:

— Постой, постой, что ж у нас сегодня такое?

— Неужели не помнишь?

— Не помню.

— А какое у нас сегодня число?

— Бог его знает. Четверг, что ли, или пятница...

Николай Иванович, продолжая улыбаться, торжественно протянул ей то квадратное, что держал за спиной.

— Сегодня, к вашему сведению, четвертое июля, Кира Георгиевна. Господи, день ее рождения!

Николай Иванович подошел и поцеловал ее в щеку.

— А эту вещь я берег три месяца. Специально в комиссионном на Арбате попросил — как только появится у них Сарьян, оставить мне. Ты же любишь его.

— Люблю. — Кира Георгиевна улыбнулась, посмотрела на очень свежий, солнечный этюд предгорий Алагёза с цветущими вокруг садами и отнесла его к себе в комнату.

«Господи, как все это некстати, — подумала она, кладя картину на стол, — как некстати...» Подымаясь сейчас по лестнице домой, она твердо

решила все рассказать Николаю Ивановичу. Тянуть нельзя. Надо говорить сразу и прямо. «И вот,— думала она сейчас с досадой,— как раз сегодня день рождения, Сарьян, торжество, до чего ж некстати...» И в то же время, как часто бывает с людьми, когда надо предпринять какой-то трудный шаг и есть предлог его отложить, Кира Георгиевна внутренне, не признаваясь самой себе, обрадовалась этому предлогу.

«Скажу завтра,— подумала она,— сегодня как-то неловко. А завтра воскресенье, поедем куда-нибудь за город и там обо всем поговорим...» Почему говорить надо за городом, а не дома, было не совсем ясно. Но, так или иначе, решение было принято, и Кира Георгиевна вернулась в столовую приветливой и улыбающейся, как положено имениннице.

Токай оказался очень хорошим (так, во всяком случае, заявил Николай Иванович, тонкий знаток вин), и окрошка тоже, и любимое Килей кисло-сладкое мясо, и вишневый кисель, и оба наперебой расхваливали Лушу, которая по случаю торжества сидела тут же и сияла от счастья.

Пообедав, долго искали место для Сарьяна. Наконец нашли его в столовой, решив перенести в коридор — место изгнания — кем-то подаренную «Ночь в Гурзуфе», слишком традиционную и обоим порядочно надоевшую.

Потом пошли на выставку чехословацкого стекла, часа два бродили по неузнаваемому Манежу, и Кира Георгиевна восторгалась вкусом и умением чехов.

Вечер провели в консерватории — приехал известный немецкий органист, все знакомые говорили, что его обязательно надо послушать. Этого, пожалуй, не стоило делать. За обедом, в поисках места для Сарьяна и потом на выставке Кира Георгиевна немного рассеялась, здесь же, на концерте, где надо было молча сидеть и думать, слушая Баха и Генделя, она почувствовала вдруг прилив жалости и нежности к Николаю Ивановичу. Вот сидит он рядышком в своем старом сером костюме (на концерты он, страстный любитель музыки, всегда ходил в этом костюме, в нем удобнее, ничто не стесняет), заслонив рукой глаза, внимательно слушает, неслышно притопывая в такт музыке ногой (привычка, от которой никак не мог отделаться), и так ему сейчас хорошо и спокойно, и ничего-то он не знает, а завтра...

Но завтра он тоже ничего не узнал. И послезавтра тоже. И через день, через неделю, через две тоже не узнал.

На следующий день, в воскресенье, им никуда не удалось поехать. Пришел Мишка с каким-то рыжим долговязым приятелем, приехавшим на неделю из Хабаровска, и надо было дать тому приют, потом несколько дней пришлось повозиться со сдачей «Юности», потом не хотелось портить настроение Николаю Ивановичу, который тоже заканчивал свой групповой портрет, потом Вадим уехал в Киев...

В эти дни — Вадим пробыл в Москве десять дней, оформляя свои реабилитационные дела, — все было как-то суетливо. Рано утром Вадим уходил, возвращался поздно — кроме беготни по учреждениям, надо было встречаться с людьми, получать какие-то характеристики, рекомендации. Домой, иными словами в мастерскую, где он ночевал, приходил около двенадцати, а иногда и позже. Кира Георгиевна тоже много работала, тоже уставала. Виделись мало, урывками.

— Устаю в Москве, — жаловался Вадим. — Ей-богу, больше, чем когда лес рубил.

— Так-таки больше?

— Ну, не больше. Иначе. Отвык от города. Людей здесь много, и все заняты, торопятся...

— На Колыме лучше?

— А ты не смейся, привык я к ней. Ей-богу, привык. Не веришь?

— Что-то не очень.

— Не полюбил, это довольно трудно, но привык. Честное слово. А люблю я только Яреськи. И Псёл. Тишину. Никогда там не был, но люблю.

В Яреськах, на Полтавщине, жила его мать, пережившая там войну и оккупацию. Возвращаться в Киев после войны она не захотела: дом разрушен, муж погиб во время бомбежки — зачем ей Киев?

— Она парализована. Живет с моей старшей сестрой. Прислала в Магадан карточку. Трудно узнать. Маленькая, сморщенная. Глаз не видно — карточка дрянная. А глаза у нее чудесные. Я не в мать, я в отца... И вообще, я считаю, надо тебе с ней познакомиться.

Тут они начинали планировать совместную поездку в Яреськи. Недели две, а то и больше, ему придется побегать по киевским учреждениям, выяснить все насчет получения комнаты, потом он ей позвонит или телеграфирует, она приедет в Киев (она ведь тоже бог знает сколько времени там не была), они побродят по городу и поедут в Яреськи. Август там всегда чудесный, и сентябрь тоже. Как раз яблоки будут, у мамы там небольшой садик. Будут купаться в Псле, есть яблоки, украинский борщ со сметаной, вареники с творогом. Потом...

«Потом» было несколько сложнее, но Кира Георгиевна была оптимисткой.

— Уедем в Киев, и все. Важно, чтоб ты там комнату получил.

— Получу, а как же.

— Значит, жить есть где, это главное.

— А на что?

— Что — на что?

— Жить на что?

— Как — на что? На деньги. У меня там друг есть, Жорка Лыскин. Займу половину его мастерской и буду работать. А ты на киностудии, тоже найдется кто-нибудь из старых друзей. Друзья решают все. Учти.

Вадим смеялся. Ему нравились эти веселые прогнозы («ей-богу, она ничуть не изменилась за эти годы!»), но сам он смотрел на будущее далеко не так оптимистично. Во-первых, он вовсе не уверен, что его примут на студию с распростертыми объятиями. Сохранились ли там друзья — неизвестно, вернее, никого уже нет. Образования специального у него тоже нет.

— Будешь писать сценарии, — сказала Кира Георгиевна. — За них хорошо платят.

Возникал и другой вопрос. В Магадане у него сын и мать его сына. Оставлять их там, а самому наслаждаться киевским солнцем и теплом...

— Так отдадим им твою киевскую жилплощадь, — весело перебивала его Кира Георгиевна. — Вот и все. Важно иметь киевскую прописку. Будем снимать за пятьсот рублей комнату. Можно даже не в городе, а где-нибудь в Буче или Ирпене. Это даже лучше, построю себе там мастерскую. Вокруг лес, река, что еще надо?

Одним словом, Кире Георгиевне будущее рисовалось если не в самых, то в достаточно радужных тонах. В свое умение работать и зарабатывать она верила, в Вадима тоже верила — человек, переживший такое, не пропадет. Да и что говорить — самое тяжелое у него позади.

Весь этот радужный оптимизм расцветал всеми красками после полуночи в мастерской, где они встречались после длинного, утомительного, наполненного работой и беготней дня. Кира Георгиевна даже любила самую таинственность этих ночных встреч на Сивцевом Вражке. В них было что-то новое, необычное, было что-то где-то вычитанное и в то же время мило-студенческое, от прошлых лет, напоминавшее киев-

скую «мансарду». Николаю Ивановичу, уходя, она говорила, что идет кончать свою «Юность» (окончание явно затягивалось). брала такси и, забежав по дороге в «Гастроном» на углу Арбата и Смоленской, приходила в мастерскую часов в десять, половине одиннадцатого. Если Вадима еще не было, пыталась работать, поминутно глядя на часы, если же он был, готовила на плитке яичницу или сосиски, которые он уплетал за обе щеки, утверждая, что ничего вкуснее во всю жизнь не ел. Часа в два ночи он отвозил ее на такси до угла улицы Горького и Немировича-Данченко. Там они расставались, Вадим возвращался в мастерскую, а Кира Георгиевна до своего дома шла уже одна. И от всего этого, от этих встреч, от таинственности, которой они были обставлены, от того, что рядом с ней был Вадим, она чувствовала себя веселой и счастливой. Лишь сейчас она поняла, что Вадим был для нее не только первым человеком, которого она полюбила, но и единственным, которого она любила. После него любви не было. Было что-то другое.

Как-то — это было в один из самых первых дней после его возвращения — она сказала ему:

— А ты знаешь, я никогда не думала, что могу оказаться верной женой...

— Такая уж верная? — улыбнулся Вадим.

— Ну, не верная, не придирайся к слову, преданная... Вот ты приехал — и мне больше ничего не нужно. И никто — поверишь? — никто.

Сказала и тут же подумала: «Нет, не поверит... Юрочка».

Юрочка... Тут-то, пожалуй, было самое сложное. Или точнее — невыясненное, недоговоренное. Юрочка последнюю неделю не приходил, сослался на какую-то срочную работу, Кира же с Вадимом, точно сговорившись, о нем почти не вспоминали. Так, если к слову придется. И все же он был между ними.

«Нет, с Юрочкой все кончено, — думала Кира Георгиевна, когда оставалась одна. — Славный, хороший мальчик, он мне нравился и нравится до сих пор, но теперь конец. Все. Так прямо и скажу Вадиму — был и нету. Завтра же скажу...»

И ничего не говорила. То ли боялась неожиданной вспышки со стороны Вадима, то ли стеснялась, то ли не верила самой себе. К тому же Кира Георгиевна знала, что они без нее встречались и, кажется, даже понравились друг другу. И, может быть, именно это сознание, что они в ее отсутствие говорили о ней — а не говорить не могли, она это знала, — может быть, именно это и сковывало ее. Пусть Вадим первый заговорит.

В день отъезда в Киев, на вокзале, когда они прохаживались по перрону, он вдруг сказал ей:

— Знаешь, Киля, что мне хочется тебе сказать? Раз и навсегда.

Она вопросительно, немного тревожно взглянула на него. А он, наклонившись к самому ее уху, тихо сказал:

— Знай, Киля, ничего и никогда я у тебя не спрашивал и спрашивать не буду. И что бы у тебя в жизни раньше ни было, меня это не касается. Понятно тебе?

Кира снизу вверх посмотрела на него.

— И Юрочка? — еле слышно произнесла она.

— И Юрочка...

Тут же, на перроне, она при всех, ни на кого не обращая внимания, привстав на цыпочки, крепко обняла и поцеловала его.

— Ох и дура же я... ох и дура...

Вадим улыбнулся.

— Не смею спорить, — и взялся за поручень вагона: поезд уже дернулся.

Юрочку никто никогда не называл Юрочкой. Называли Юрой, Юркой, иногда Жоркой. Юрочкой же назвала его впервые Кира Георгиевна.

— Почему вы меня так странно зовете? — спросил он как-то ее. — Во мне все-таки восемьдесят три килограмма весу и метр восемьдесят росту.

— А потому, что ты мальчик, — отрезала Кира Георгиевна, и с тех пор он стал Юрочкой.

Со всех точек зрения Юрочка был самым заурядным, нормальным, хорошим парнем. И внешность у него была обыкновенная — в меру симпатичная, простая, в общем привлекательная — таких кинорежиссеры отбирают на роли рабочих парней из бригад коммунистического труда. Как все молодые люди его возраста, любил футбол, знал всех игроков всех команд, в свободное время ходил на пляж, на танцплощадку, ну и конечно же в кино. Были у него и знакомые девушки, вздыхавшие по нему, но сам он не слишком увлекался ими, предпочитая посидеть с ребятами или повозиться с мотором.

Как-то — кажется, это было в тот самый вечер в «Арате» — Кира Георгиевна очень смутила его, спросив:

— Слушай, Юрочка, у тебя есть любовь?

Он не знал, что ответить, он не привык к таким вопросам.

— Ну, девушка? На современном языке это, кажется, так называется.

— Есть, — не очень уверенно ответил он, — а что?

Этим летом он ходил в кино и на танцы с Тоней — красивой, как все говорили, крашеной блондинкой, студенткой института физкультуры.

— И ты собираешься на ней жениться?

— Не думал еще.

— А она?

— Что — она?

— Думает?

— Ну... Все девушки думают.

— А твоя?

— Не знаю. — Юрочка вконец смутился. — Ну что вы от меня хотите, Кира Георгиевна?

— Чтоб ты женился.

Он удивленно взглянул на нее.

— Не понимаю... Почему вам этого хочется?

— А просто так. Ведь все женятся. — И, помолчав, добавила: — Познакомил бы меня с ней.

Он опять удивился — зачем ей это надо, — но она настаивала, и ему пришлось согласиться. Но знакомство так и не состоялось. После всего происшедшего в дальнейшем Юрочке было как-то неловко знакомить их.

Вообще тот вечер в «Арате» стал чем-то вроде перелома в жизни Юрочки. До этого вечера все, связанное с Кирой Георгиевной, с ее мастерской, с ее мужем, с ее друзьями, казалось ему чем-то большим, светлым, незнакомо-притягательным. Он впервые в жизни столкнулся с искусством, с людьми, его делающими, слушал малопонятные споры, листал книги и альбомы, которые показывал ему Николай Иванович, — все это было для него ново, непривычно, заманчиво. Стоя на своих подмостках в мастерской, он дивился тому, как под руками Кире Георгиевны простая глина превращалась вдруг в человека, в него самого.

После «Арарата» все осталось так же и в то же время изменилось. Он по-прежнему приходил в назначенный день и назначенный час, по-прежнему выстаивал свои полтора-два часа на подмоках, но светившийся вокруг Киры Георгиевны ореол заметно померк. Она стала приходить в каких-то обтягивающих ее свитерах, работая, напевала или насвистывала довольно фальшиво бодрые песенки, ни с того ни с сего начинала вдруг заливисто смеяться и никак не могла остановиться. От всего этого Юрочке становилось почему-то неловко, и, закончив сеанс, он старался как можно скорее уйти. Иногда ему это не удавалось, и от этого становилось еще более неловко.

Появление Вадима Петровича внесло какую-то новую, освежающую струю в его жизнь. Встречались они всего два раза — в мастерской и потом в ресторане, куда его пригласил Вадим Петрович, — но этого оказалось достаточно. Вадим Петрович на своем веку перевидал много людей и умел о них рассказать так, что дыхание захватывало. Но дело даже не в этом — рассказы рассказами, — а в той свободной, естественной манере держаться, которая поразила Юрочку еще в первую минуту их знакомства, когда тот, впервые увидев его, сказал, как будто они виделись уже раз сто: «Очень хорошо. Подбреете мне шею». И еще было в Вадиме Петровиче нечто, в чем Юрочка, как психолог не очень опытный, отчета себе не отдавал, но чего не мог внутренне не ощущать. В Вадиме Петровиче не было никакой озлобленности и усталости, на которые он, может быть, и имел право, — напротив, ему все было интересно, все он воспринимал с такой жадностью, что порой казалось, будто ему не сорок три года, а семнадцать-восемнадцать. Особенно забавляло Юрочку, что некоторые вещи, к которым он так уже привык, что даже не замечал их, приводили Вадима Петровича в восторг. Он радовался метро (он видел только первую линию двадцать пять лет назад), радовался его чистоте и четкости (не очень, правда, одобряя пышность оформления), радовался газовым кухонным плитам, широченным мостам через Москву-реку, а когда увидел мотороллер, минут двадцать разговаривал с его владельцем и даже прокатился квартала два. А вот уничтожение бульваров на Садовом кольце его так огорчило, что он несколько раз возвращался к этому: «Подумать только, такие деревья там росли, такие деревья...»

После ресторана они долго еще бродили по ночной Москве, потом до самого утра просидели в мастерской.

В первую их встречу разговор шел главным образом о Кире Георгиевне. Поначалу Юрочка даже растерялся, узнав, что она была женой Вадима Петровича, но тот, заметив Юрочкино смущение, только улыбнулся: «Не пугайся, на дуэль не вызову» — и стал что-то рассказывать о своей и Киры Георгиевны молодости.

Во вторую их встречу разговора о Кире Георгиевне не было. И об искусстве тоже. Говорили о жизни, о том, о чем Юрочке никогда и ни с кем не приходилось говорить так до сих пор. А Вадим Петрович умел не только рассказывать, но и слушать, и не только слушать, но и заставлять других рассказывать.

И Юрочка заговорил. Впервые в жизни.

Вот ему скоро двадцать три года, он молод, здоров, а что он видел? За пределы Москвы дальше Можайска и Александра никуда не ездил. Даже в Ленинграде не был, а туда только ночь езды... Когда взяли в армию, мечтал о флоте, а попал в зенитчики. Сейчас работает электромонтером, ползает целый день по стенам да потолкам, как паук, проводку тянет. Другие в его возрасте и в Берлине побывали и черт знает еще где («Кое-кто и голову там положил», — перебил его в этом месте Вадим

Петрович, но он тут же ответил: «Положили, знаю, но было за что положить»). Так вот, другие по белу свету дай бог поездили, а он — Лужники, Мневники, Черемушки, Хорошевское шоссе... Нет, он не жалуется, упаси бог, только бы Вадим Петрович не подумал этого. У него товарищи есть хорошие, и на работе к нему относятся неплохо — вот даже недавно профоргом выбрали, а он в этом СМУ и года еще не проработал. Но разве в этом дело? Вот Ванька Шеглов. Только что из Уссурийского края приехал. Поехал на год, а сейчас назад туда же — навсегда, говорит. В «Союзпушнине» устроился. В тайге был. Такого рассказывает! Живых тигров видал. Даже стрелял по ним...

— Ну вот и ты поехал бы туда.

— А мать, а сестра? — Юрочка печально ухмыльнулся. — Был бы отец. А его нет. Я вам говорил, в катастрофу попал. В позапрошлом году, семнадцатого мая. Он «МАЗ» водил. Я тогда еще в армии служил. Вернулся, а его уже нет... А старик хороший был. На вас похож. Только повыше и пошире. Вот так-то... — Юрочка помолчал. — Потому и учиться после армии не пошел. Вальке-то, сестренке, и пятнадцати еще нет, тянуть все мне приходится. А учиться не прочь, ей-богу, не подумайте. Вот Николай Иванович, муж Киры Георгиевны, тоже предлагал устроить...

Тут Юрочка запнулся и вдруг смутился. Наступила пауза. Вадим Петрович встал, подошел к крану, напилсь воды, потом спросил:

— Тебе нравится Николай Иванович?

— Нравится, — подумав, ответил Юрочка.

— Чем же он тебе нравится?

Юрочка пожал плечами.

— Не знаю. Просто так. Хороший он. Простой.

— А к Кире хорошо относится? — помолчав, спросил Вадим Петрович.

— Хорошо.

Тут Юрочке захотелось рассказать о Тоне, но Вадим Петрович, точно почуяв, о чем он думает, неожиданно сам спросил:

— Слушай, а девушка-то у тебя есть?

И Юрочка, так же как тогда, когда спросила его Кира Георгиевна, ответил:

— Есть, а что?

Вадим Петрович потянулся, взглянул в окно.

— Ладно, Юрий, давай спать. Светает уже. Ты на чем будешь — на диване или раскладушке?

10

В конце июля «Юность» была благополучно принята всеми инстанциями. Через несколько дней от Вадима пришла телеграмма до востребования: «Поздравляю жду».

И Кира Георгиевна поехала в Киев.

Она действительно очень устала, поэтому, когда сообщала Николаю Ивановичу, что за последние две недели «дико вымоталась» и хочет поехать куда-нибудь отдохнуть, это была правда — ей на самом деле нужен был отдых.

— Хочу в Киев съездить. Все-таки я там с сорок первого не была, — сказала она и из вежливости, зная, что он откажется, добавила: — Может, и ты туда приедешь?

— Да нет уж, поезжай одна, — улыбнулся Николай Иванович. — Я тебе только мешать буду. У тебя там друзья, знакомые. А мне тут еще порядком с портретом повозиться надо.

На следующий день она уехала. Провожал ее один Николай Иванович, но в последнюю минуту появился у вагона Юрочка. Лицо у него было смущенное, по глазам было видно, что ему нужно что-то Кире сказать. И действительно, когда Николай Иванович отошел к киоску за папиросами, он быстро шепнул ей:

— Там у проводника пакетик небольшой. Это Вадиму Петровичу. Кира Георгиевна удивилась, но промолчала.

— Ну, садись, зеленый зажегся,— сказал Николай Иванович и поцеловал ее в щеку.— Изредка, но пиши все-таки, хотя бы открыточки. Они у тебя в кармашке, в чемодане.

Поезд тронулся. Кира Георгиевна высунулась в окно и помахала рукой. Николай Иванович и Юрочка тоже махали. Они двигались вдоль поезда, один враскачку, тяжелой походкой сердечника, другой бегом, обгоняя провожающих, потом, когда перрон кончился, они остановились и такими, стоящими рядом и машущими, они надолго запомнились Кире Георгиевне — рыхлый, с опущенными плечами Николай Иванович и загорелый, с засученными рукавами Юрочка.

Кира Георгиевна долго стояла у окна — в купе укладывали ребенка, — смотрела на проносившиеся мимо дачные поселки, на будки путевых обходчиков, на выложенные из кирпича надписи «Миру — мир», и было ей почему-то невесело. Почему?

Она едет в город своего детства, в город, в котором выросла, провела лучшие дни, едет к человеку, который ее ждет, которого она любит, — и ей невесело. Вот придет сейчас Николай Иванович домой, и встретит его Луша, и спросит, какого варенья ему к чаю дать, и он, чтоб не обидеть ее, скажет «вишневого» или «яблочного», но выпьет только полстакана, к варенью же не притронется и пойдет в кабинет работать. Но и с работой не выйдет, он ляжет на диван, поставит на стул пепельницу и возьмется за нечитанные «Юманите», которых накопилось уже недели за две, потом опять попытается работать, в конце концов примет двойную порцию люминала и утром проснется усталый, вялый, с неприятным вкусом во рту. А она в это время будет подбегать к Киеву, где у нее, как он сказал, много друзей и знакомых. Может, послать ему сейчас телеграмму? Просто так, с дороги, ему будет приятно... Ведь ее письма и открытки (а сколько их было за эти годы? Штук пять всего или шесть), даже телеграммы он бережно хранит в специальной папке, лежащей в «самом важном», левом ящике его стола... Как дорог ему каждый знак внимания с ее стороны. И как, в сущности, редко видит он внимание. А ведь кто, как не он, заслужил его. Кем бы она без него была? Кто научил ее работать? Кто превратил ее, ветреную, разбрасывающуюся во все стороны девчонку-студентку, в профессионала-скульптора? Кто сумел внушить, что искусство — это не развлечение, а тяжелый, упорный труд, и кто привил ей любовь к труду? А чем она отплатила? Любовью? Неправда. Если говорить начистоту, настоящей-то любви между ними никогда и не было. Да он и не очень ждал ее. Ласка, внимание, забота — вот что ему нужно. Чтоб рядом был человек, друг, кто-то, о ком и он мог бы заботиться. Ведь он по призванию своему учитель, наставник. Пусть он художник, признанный даже художник, но главное для него — это кого-то воспитывать, направлять на путь истинный. Вот и Юрочку он уже куда-то направляет, чему-то учит, «прививает вкус», как он сам говорит, даже хочет устроить в какой-то университет культуры. И ее он учил. И, кажется, она была неплохой ученицей. И не только ученицей, но и другом-женой была. И другом навсегда останется. Но что поделаешь, если, кроме всего этого, есть еще жизнь. Вот такая вот, какая она есть, — запутанная, сложная, полная

противоречий и неожиданностей. Появился Вадим. Это уже не эпизод! Это ломка, перестройка всего. В ее жизни появление Вадима — самое существенное, самое важное, и Николай Иванович не может этого не понять. И он поймет — она знает...

Так, стоя у окна, рассуждала Кира Георгиевна, как всегда приходя в конце концов к выводу, что все, что она делает, верно и что другого выхода у нее, да и у других, нет и быть не может. Только потом, засыпая на второй полке — на нижних спали уже мать с ребенком и какой-то старик на костылях, — она спохватилась, что так и не послала Николаю Ивановичу телеграмму, но тут же подумала: «Ничего, завтра прямо с вокзала pošлю» — и, повернувшись спиной к окну, закрыла глаза и равномерно задышала, чтоб скорее заснуть.

А Николай Иванович в это время действительно пил чай. И действительно, когда пришел, Луша спросила его, какого варенья подать, и он сказал «вишневого». Но пришел он не один, пришел с Юрочкой.

— Может, заедем ко мне? — нерешительно сказал он, когда они вышли с вокзала. — Неприятно как-то в пустой дом приходить. А я вам свой портрет покажу. Не получается что-то. Свежий глаз нужен.

Отказаться было нельзя. Поехали.

В этот вечер Николай Иванович разговорился. Показывал свои старые рисунки и эскизы, один из них даже подарил Юрочке. Тот аккуратно свернул его в трубку и все время держал в руках. Ему хотелось уйти, посидели и хватит, он чувствовал всю фальшь своего положения, но Николай Иванович вынимал все новые папки, одну даже из дивана вынул, и все показывал, показывал....

— Вот так, Юрочка, и проработал я всю жизнь. А это ведь только часть. Почти все, что до войны сделал, погибло. Только эта вот папка чудом сохранилась. Каким-то образом попала в институт, а там ее почему-то не выкинули. — Он развернул папку. — Это портрет моего сына. Когда еще в школе учился. Потом стал лейтенантом, артиллеристом. И тоже рисовал. Между прочим, что-то у него с вами общее. Сам не пойму — то ли улыбка, то ли выражение глаз. Вот сидели вы сейчас за чаем, и я вдруг подумал — совсем Юра, его тоже Юрой звали...

Он показал рисунки сына — несколько портретов, очевидно, товарищей по школе, крымские пейзажики, кипарисы, горы, море («это когда он был в Артеке»), звери в зоопарке.

— Способный был мальчик. Мог бы получиться настоящий художник. Именно настоящий...

Николай Иванович стал говорить о сыне. И в рассказе этом чувствовалось, что Юра был для него не только любимым сыном, — в его пылом интересе ко всему окружающему он ощущал что-то очень нужное для себя как художника. Они были необходимы друг другу. Отец воспитывал, сын вселял бодрость, свежесть взгляда на жизнь.

— Когда он погиб, ему было столько, сколько вам сейчас. Почему-то уверен, что вы с ним сошлись бы. И Кира подружилась бы с ним, хотя она дама несколько сумбурная, а он был тихий, молчаливый. Совсем не представляю себе, как он там командовал своей артиллерией. — Николай Иванович захлопнул папку, завязал тесемки. — А сейчас ему было бы сорок лет... Подумать только, сорок лет.

Прощаясь, он крепко пожал Юрочке руку.

— Заходите, всегда буду рад, честное слово. Надоели мне что-то художники. И сам себе надоел. Приходите, ей-богу...

Но Юрочка решил больше не приходить, хотя ему нравился Николай Иванович. А может быть, именно поэтому.

11

Все время, что Кира Георгиевна провела в Киеве, дней пять или шесть, она чувствовала себя странно. Родное и в то же время чуждое... Еще когда поезд проезжал по мосту через Днепр и она увидела Лавру (колокольня сейчас была в лесах), что-то екнуло в сердце. Потом проплыли за окнами колючие башни костела, но вокруг них выросли новые, незнакомые здания, и Кире они показались чужими. Чужим показался и Крещатик. Он стал шире, торжественнее, с одной стороны появился красивый бульварчик из каштанов, но, что поделаешь, старый и в общем не очень-то красивый Крещатик с его дребезжащими трамваями и гранитной мостовой был ей куда милее.

Они бродили с Вадимом по городу и все вспоминали (старость уже!), все подмечали.

А помнишь, мы здесь простояли всю ночь (тогда эта школа была двухэтажной, сейчас ее надстроили, а тут стоял киоск с сельтерской водой), потом пошли по Пушкинской, по Михайловскому проулку, спустились по лесенке, и ты читал свою поэму (нет, не поэму, я читал тогда стихи, цикл стихов, они назывались «За морем соленым, зеленым», и тебе это название не понравилось, ты сказала, что представляешь себе море в виде зеленых щей, помнишь?), потом попали на Владимирскую Горку и сидели на ступеньках памятника, и ты, дурак, выцарапал там дату (а ты — инициалы, пойдем проверим?), потом ты меня поцеловал (вот это правда!), и назад мы шли, когда уже поливали улицы. У нашего парадного встретили соседку, старую Каганшу, которая шла в очередь за маслом, и мы оба стали ей мило улыбаться, чтоб задобрить ее. Жива ли она? Дом сгорел, его восстановили и выкрасили в белое, как все дома теперь в Киеве, с каким-то желтоватым оттенком.

И вот они снова бродят по городу, и им кажется, что им все еще по двадцать лет. Они нашли свою мансарду. Постучались, вошли. «Вам кого?» — «Простите, мы когда-то здесь жили». — «Но там не убрано...» — «Ничего, мы сейчас уйдем». В комнате жило четверо, обоев не было, стены крашенные, а в окно все тот же вид, крыши, крыши, крыши, только сейчас их стало больше и появились телевизионные антенны. Они потоптались, потоптались и ушли — «простите за беспокойство».

Вставали они рано, выходили из гостиницы и рано отправлялись странствовать по тихому городу.

Москва осталась где-то далеко-далеко, о ней не вспоминали, бродили по улочкам окраин, заходили во дворы (по воскресеньям обитатели старых, покосившихся домиков играли в «подкидного» среди развешенного белья), потом садились в автобус и ехали за город, куда глаза глядят...

Старых знакомых почти не было. Во всяком случае тех, которых хотелось бы видеть. Кое-кто нашелся на киностудии, и действительно они помогли Вадиму заключить договор на сценарий, но сходить с ними ближе почему-то не хотелось. Только одна встреча, случайная, на улице, по-настоящему взбудоражила Киру. В очереди на троллейбус она встретила Лиду Дмоховскую. Когда-то они учились вместе в институте, на одном курсе. Можно сказать, даже дружили. Потом Лида внезапно как-то вышла замуж, вскоре родила, институт бросила — с тех пор они не встречались. Двадцать лет назад это была красивая, кокетливая блондинка, за которой неотступно следовала вереница молодых людей, сейчас с Кирой разговаривала пожилая, совсем седая женщина.

— Зашла бы как-нибудь, — сказала Лида. — Мы все там же живем. Мама будет очень рада. Она помнит тебя. И дочку посмотришь. Студентка уже...

И Кира зашла.

Они просидели целый вечер. Пили чай с принесенным Кирой шоколадным тортом, рассматривали старые фотографии, старались вспомнить порой уже забывшиеся фамилии друзей. В углу, склонившись над столом, чертила Лидина дочка — Оля, высокая, застенчивая, за весь вечер не проронившая ни слова. На тахте, к которой был придвинут для чаепития круглый стол, лежала больная Лидина мать, очень похожая на дочь, — вернее, дочь с возрастом стала походить на мать. До войны Людмила Васильевна была одним из самых популярных врачей-терапевтов города. Сейчас она перешла на пенсию. Когда-то очень деятельная и подвижная, она не подымалась с постели. Заболела еще при немцах — эвакуироваться им не удалось, — и два с лишним года, с маленькой Олей на руках, они провели в оккупации.

Сейчас они жили втроем — мать, дочь и внучка. Муж Лиды погиб на фронте. Лида работала в газете корректором. Оля училась в строительном институте. Ее стипендия и пенсия Людмилы Васильевны вдобавок к Лидиному заработку давали им возможность сводить концы с концами. После войны Людмила Васильевна еще работала, последние годы уже не вставая с постели (она была консультантом ВТЭК и принимала на дому), но платили за эти нечастые приемы не много. Просто она не могла жить без работы — проработала ведь без малого шестьдесят лет.

Все это Лида рассказала Кире, провожая ее потом до троллейбуса. Рассказала и об оккупации. Оказывается, немецкое командование трижды вызывало Людмилу Васильевну к себе и предлагало заведовать терапевтическим отделением офицерского госпиталя. Трижды Людмила Васильевна отказывалась, ссылаясь на старость. Ее арестовали. Вскоре, правда, выпустили — продержали дней десять, не больше, но вспоминать о них она не любила. Вот тогда-то, возвращаясь домой, она упала (улицы не убирали, гололедица была страшная), сломала бедро и с тех пор уже не подымается.

Всю ночь после этого визита Кира ворочалась с боку на бок. Господи, до чего же тягостный был вечер! Все время Кире казалось, что она говорит невпопад, рассказывает, о чем не следует. Зачем было, например, вспоминать о своей прошлогодней поездке в Италию? Лида даже отпуска в тот год не брала, заменила денежной компенсацией, чтоб купить дочери зимнее пальто. А Кира гуляла по Флоренции, Венеции, привезла краски, кисти, набор инструментов. Глядя на жалкую обстановку, на покосившийся, изъеденный шашелем шкаф, Кира вспоминала финскую мебель, за которую они с Николаем Ивановичем заплатили бешеные деньги. А этот принесенный Кирой торт, которому так обрадовалась Людмила Васильевна? А Лидин взглянул, когда Кира попыталась предложить ей тысячу рублей? («В долг, в долг, конечно, не пугайся...»)

Весь следующий день был какой-то тоскливый, никуда не хотелось идти. Вечером Кира сказала Вадиму: «А может, хватит Киева? Мне что-то захотелось в Рио-де-Жанейро». И они поехали в Ярьески.

В день отъезда Кира спохватилась, что так ничего и не написала Николаю Ивановичу. В чемодане у нее лежал десяток открыток, на которых он сам написал свой адрес, она взяла одну из них и размашистым почерком набросала:

«Милый Коля! Прошла уже неделя, а я только сейчас пишу тебе. Устала. Постепенно отхожу. О Киеве расскажу при встрече — ощущение сложное. Как подвигается твой портрет? Привет Луше и всем друзьям. Целую. Твоя Кира».

Больше до возвращения в Москву она ничего выжать из себя не могла — для Киры и эта открытка была уже подвигом.

Август был на исходе — месяц яблок, падающих звезд, последний счастливый месяц школьников. Дни стояли не жаркие, но солнечные, ясные, удивительно прозрачные — первый признак надвигающейся осени.

Вадим любил эту пору года. Особенно утра. Встанешь рано, чуть подымется солнце, и, поживаясь, босиком, по мокрой траве — к речке. А речка спокойная, прозрачная, тихая. То тут, то там рыбаки — молчаливые, сосредоточенные. Выберешь местечко подальше от них, чтоб не пугать рыбу, зеленый обрывистый бережок, скинешь майку и трусы — и с разбегу головой в воду. До чего же хорошо! Утра уже прохладные, и вода кажется удивительно теплой, вылезать не хочется. А потом сидишь на берегу, затягиваясь первой папироской, и такая она вкусная, так приятно ее курить, поджав колени к животу, глядя на стрекоз, на первые беленькие, зарождающиеся на твоих глазах над дальним лесом тучки... А дома, на увитой диким виноградом (он уже краснеет) и «крученными панычами» (они уже отцветают) маленькой веранде, тебя ждет кубик творога, стакан желтовато-розовой ряженки с золотистой корочкой и кипящая на сковородке глазунья с салом и зеленым луком.

Кира еще спит, Варя — старшая сестра — возится в огороде. Завтракает с ним только мама. Она очень постарела, почти не ходит. Читает. Очень много читает. Причем обязательно новое. Дима прислал ей еще из Киева книг, в том числе воспоминания Панаевой и несколько комплектов «Русской мысли» за восьмидесятые годы — старики любят перечитывать старое. Мать была очень растрогана, поблагодарила, поцеловала в лоб, а потом сказала:

— А новенького ничего не привез? Сейчас пишут, конечно, не так, как раньше, но ты все-таки, когда приедешь в другой раз, привези.

Он выписал ей «Правду», «Литгазету», «Новый мир», «Знамя», даже «Вопросы литературы», очистил в Миргороде на вокзале чуть ли не весь книжный киоск, и она с увлечением, хотя иногда и поругиваясь, все это читала. Кроме того, она слушала радио и в последние месяцы, когда кончились в приемнике батареи, очень скучала. Сейчас они появились, прислал Юрочка с Кирой — тот самый пакет, о котором он шепнул на вокзале, — и Марья Антоновна совсем ожила. Она слушала все концерты, все художественные передачи, но важнее всего для нее были последние известия. Она не пропускала ни одних, начиная с шести утра, а прослушав, принималась задавать Диме вопросы, на которые он не всегда мог ответить. Когда же, случайно прочитав какую-нибудь заметку или прослушав передачу, он начинал высказывать критические замечания, она сразу же вступала в спор и проявляла такое упорство в отстаивании своей точки зрения, что Диме ничего не оставалось, как умолкнуть и сдаваться перед «своей передовой старушкой», как он шутя называл мать.

Марья Антоновна никогда не расспрашивала сына о годах его заключения. Как будто их и не было. Если начнет рассказывать, вечером как-нибудь после чая, она возьмет свое вязанье и молчит. Слушает, но молчит. Так было в самые первые дни их пребывания здесь. Потом он перестал рассказывать. Кира, слушая его рассказы, тоже больше молчала, иногда только вставит какой-нибудь вопрос. Внимательнее всех была Варя — за столом она, правда, тоже только слушала, зато, когда они вдвоем попадали на огород, вопросам ее не было конца.

Варя была человеком замкнутым, молчаливым и работящим. Работала она в школе учительницей. Дети почему-то ее не любили, хотя она не была ни строгой, ни злой, ни слишком требовательной. Все свободное

от школы время занималась хозяйством. Ее длинную, сухощавую, нескладную — «незграбну», как говорят на Украине, — фигуру всегда можно было видеть на огороде, или во дворе, или на речке, где она полоскала белье. Вставала она раньше всех, ложилась позже всех. Ни на что никогда не жаловалась. Мать и брата любила до беспамятства. Жизнь у нее сложилась неинтересно. Когда-то в юности она тайно была влюблена в красивого, с усиками, сослуживца своего отца, но он был старше ее, не обращал на нее внимания, а потом погиб на фронте. Память о нем она молча хранила до седых волос.

Она была молчалива и застенчива. Только с матерью и Димой чувствовала себя свободно. И Дима это ощущал и благодарен был за это. Странное дело — именно здесь, на огороде, помогая сестре окучивать картошку, он чувствовал себя легче всего. Он мог говорить или не говорить — его дело. Когда он рассказывал о своих мытарствах другим, ему вдруг начинало казаться, что он на что-то жалуется, старается своих слушателей удивить чем-то, а он не хотел ни жаловаться, ни удивлять, и только здесь, наедине с Варей, ему удавалось просто рассказывать о тех людях, с которыми его свела судьба в тайге, на шахтах, золотых приисках...

— А почему ты обо всем этом не напишешь? — спрашивала по-детски наивная, несмотря на свои пятьдесят лет, Варя.

Дима только улыбался. Еще в ссылке он написал небольшой рассказик о попавшем к ним в лагерь лисенке, но в редакции журнала, в которую он отважился зайти, только развели руками, но так как способности у автора все же нашли, предложили командировку в один из передовых колхозов. Но что знал Вадим о колхозах, как мог о них писать? В колхоз он не поехал, а пошел с горя в ресторан. Там он и встретил ребят с киностудии, которые уговорили его в конце концов заключить договор на сценарий из жизни рыбаков, узнав, что рыбой он на Севере тоже занимался.

Каждый день после завтрака Вадим брал папку с бумагой, подушку, одеяло — старое-престарое клетчатое одеяло, которым он еще в детстве укрывался, — и укладывался в саду под старым, развесистым, единственным на всю округу дубом (говорили, что ему более трехсот лет и что под ним, таким же, какой он сейчас, писал в свое время Гоголь).

Зачем он взялся за этот сценарий? А черт его знает! Они с Кирой в Москве что-то там говорили о сценарии, но серьезного значения он этому не придавал — так, рисовали радужное будущее, — и вообще, строя планы «яреськинской осени», они решили в Яреськах только отдыхать и набираться сил. И вдруг действительно подвернулся этот сценарий о рыбаках. Последние два года в ссылке Вадим работал табельщиком — работа не ахти какая увлекательная, — а тут столичная студия, договор, солидные беседы... Ну как не взяться? И взялся. И начал работать. А работа не шла.

Над головой шумели листья, пробегали облака, с дуба падали иногда желуди, и ни о чем думать не хотелось, а хотелось вот так вот лежать и смотреть в небо, и на дятла, и на белочку, а потом, перевернувшись на живот, следить за толстой, глупой, мохнатой гусеницей или за не менее глупым и старательным муравьем с соломинкой.

Потом приходила Кира.

— Хватит. Пошли на речку.

И они шли на речку.

В Москве Вадим купил себе хороший фотоаппарат, и здесь, на берегу живописного Псла, он беспрестанно щелкал пейзажи — восходы и заходы солнца, клубящиеся над лесом тучи, отражающиеся в тихой воде

ивы. По вечерам пропадал в школе до двенадцати, а то и до часу, проявляя и печатая. Нет более успокаивающего занятия, чем фотография. Да и уж больно красиво было вокруг — в тундре Вадим отвык от такой красоты.

В первые дни Вадим ходил в соседний совхоз. Как и в Москве, ему было все интересно — как люди устроились, как живут. Ведь от всего этого он был так долго оторван.

Но тут же ему становилось неловко за свою, как ему казалось, праздную болтовню и любопытство, и он возвращался назад, к своему дубу.

Так прошло две недели. Оба загорели и поправились. Кира лепила из пластилина деревенских ребятишек. Вадим писал сценарий. В общем, все как будто шло чин чинном.

Но это было не совсем так.

Вадима смущало отношение матери и сестры к Кире. Правда, пожаловаться на то, что они относятся к ней дурно, он не мог. Внешне все было очень хорошо. И все же Вадим чувствовал, что Кира здесь как-то не пришлась ко двору. Когда они с ней на машине подъезжали к Ярьескам, он немного волновался — как мать и сестра встретят ее? Ведь они не знакомы, увидятся впервые. В тридцать шестом году он рассорился с отцом — строгим, деспотичным, не желавшим мириться с кинематографическими, на его взгляд, несерьезными, увлечениями сына, — и с того самого дня он не видал ни отца, ни матери, только с Варей изредка встречался, и то не у себя дома. Как-то теперь все произойдет?

В самый день приезда в Ярьески все было как будто хорошо. Чуть-чуть, возможно, напряженно, но Вадим объяснял это тем, что мать боится дать волю своим чувствам. Потом, на следующий день, появился холодок. Нет, даже не холодок — сдержанность. И Вадим понял: Кира не понравилась. Сначала ему казалось, что причиной всему была бойкость Киры, ее манера безапелляционно обо всем рассуждать. Но потом стало ясно, что дело не в этом.

По каким-то случайно оброненным фразам, по тому, как Марья Антоновна в те утренние часы, когда они вдвоем завтракали на веранде, расспрашивала его о Вовке, о Марии, он понял, что мать не одобряет его возврата к прошлому. И не ошибся. Марье Антоновне незнакомая ей Мария, с которой ее сын встретился в тяжелые для них обоих годы и прошел нелегкий путь, была ближе и роднее, чем, эта крашенная молодящаяся столичная дама. К тому же у Вадима есть сын. Марья Антоновна давно мечтала о внуке.

Варя была на стороне матери, это было ясно, хотя, так же как и та, словами своего отношения к Кире не выражала. О Кире в доме вообще не говорили.

Вадим все это чувствовал и тоже ничего не говорил. Он пытался себя убедить, что со временем все как-то само по себе притрется, и в то же время боялся, как бы и Кира не почувствовала того, что было на самом деле.

Первые дни в Ярьесках Кире было хорошо и весело. Речка, солнце, чистый воздух, Москва далеко, торопиться некуда, никто ни с чем не пристает. К тому же была маленькая, чистенькая отдельная комнатка, и никого не надо обманывать (как это было в Киеве, в гостинице). Одним словом, поначалу все было хорошо. Потом безделье несколько надоело — Кира стала лепить. Потом обнаружилось, что ее раздражает Варя — и все-то она работает, все работает, уж не демонстрация ли это? Вот вы, москвичи, ни черта, мол, не делаете, а мы, деревенские, с ног сбиваемся, ни на что времени не хватает. Как-то Кира предложила Варе помочь ей в огороде, но та довольно сухо отвергла ее предложение. И, возможно, именно с этого момента и невзлюбила ее Кира. А может,

и за то еще, что Димка часами пропадал на огороде. Сестра? Ну так что ж? Можно и к сестре ревновать. Правда, Кира и себя кое в чем вирила. Однажды, во время обеда, после какого-то интересного, но довольно длинного Димкиного рассказа о ссылке, она, как ей тогда показалось, очень к месту, привела прутковский афоризм о том, что три дела, раз начавши, трудно кончить: вкушать хорошую пищу, беседовать с возвратившимся из похода другом и чесать, где чешется. Сказала и тут же пожалела. Юмор ее (а ведь она сказала это в шутку, ей-богу, в шутку!) не дошел до Вадима — он явно обиделся.

В тот же вечер, когда они укладывались спать, произошел разговор. Разговор очень краткий, но оставивший после себя след. Собственно говоря, это был даже не разговор, а скорее монолог, произнесенный Кирой и вызвавший со стороны Вадима одну только фразу в ответ. Начала она с признания, что во время обеда действительно не очень удачно сострила, но все же не злоупотребляет ли он своими рассказами о ссылке? Только расстраивает Марью Антоновну и Варю. И не только расстраивает их, но и себя самого — эти рассказы возвращают его к прошлому, от которого надо все-таки как-то отдаляться, стараться поменьше о нем думать, а думать о будущем, смотреть вперед... В этом месте Вадим перебил ее, сказал: «Ладно, с завтрашнего дня буду смотреть вперед» — и повернулся лицом к стенке.

На следующий день, сразу после завтрака, Кира пошла в лес собирать грибы (до сих пор она не проявляла к ним никакого интереса) и битых три часа слонялась в одиночестве по лесу, мысленно осуждая Вадима. Нет, она не осуждала его, ей просто было обидно, что он стал таким. Хорошо, все понятно, двадцать лет и тому подобное, но нельзя же все сводить к одному и тому же. О чем бы кто ни заговорил, он сейчас же вспоминает какую-то историю из «тех лет», может быть, и подходящую к тому, о чем шел разговор, но обязательно «из тех лет». Передают по радио «Аппассионату» Бетховена. Молчит, слушает, а потом оказывается, что она ему напомнила какого-то Веньку Штока или Штука, который исполнял ее в лагере на вечере самодеятельности, а потом потерял правую руку — история, которая довела Варю до слез. Но дело даже не в этом. Это можно понять — все еще слишком свежо, не успело зарости, стоит перед глазами. Дело в другом, гораздо более сложном: Димка стал другим.

Да, стал другим. Внешне как будто тот же, прежний, — глядя на него на пляже, она просто поражалась, как он сумел сохраниться. Многие приезжают развалинами, изъеденными болезнями. Видала она и здоровых телом, но ставших вдруг как-то натужно сверхправоверными: «Мы-то уж на себе все испытали и скажем прямо, некоторых — нас, например, — зря посадили, но в общем сажали правильно, надо было в те годы сажать, тяжелая необходимость...» Видала и таких, которые как бы законсервировались, вернулись, какими ушли, и ко всему новому, что появилось, относились без интереса и недоверчиво. Ни на тех, ни на других Вадим не походил. Поражало в нем другое — полный разрыв с тем, что было прожито ими вместе до его ареста. Это прошлое как будто для него не существовало. А если существовало, так только как нечто милое, забавное, трогательное, как все, идущее от детства. Да и го этого «умиления прошлым» у него хватило всего на несколько дней — тех дней, что они провели вместе в Киеве.

Когда-то он писал стихи, пусть с выкрутасами (что поделаешь — молодость!), но, ей-богу, не банальные и определенно говорившие о таланте автора. Сейчас же, когда она как-то вскользь спросила, не скачает ли он по поэзии, он только рукой махнул: «Смотря по какой... И как. А в общем, этим делом предпочтительно заниматься до двадцати,

ну, до тридцати лет». А прозой до скольких? «Возможно, и всю жизнь. Но с ней посложней. В ней-то уж дымку не подпустишь. Она не переносит пиротехники... Впрочем, поэзия тоже». Что он хотел этим сказать? Не объясняя, только плечами пожал. Вообще он стал ужасно неразговорчив. Особенно если речь пойдет о чем-нибудь отвлеченном — об искусстве, например. «Да», «нет», «может быть», «тебе так кажется?»... Если же выскажется более определенно, то всегда с оттенком какой-то снисходительности человека, познавшего все на своем веку, — этаким, видите ли, верховным судьей: я, мол, давно уже во всей этой неразберихе разобрался — суета сует. А на самом деле не только не разобрался, а начисто оторвался от современной жизни, подходит к ней со своими ни к чему не подходящими мерками.

Были они, например, на выставке в Киеве. Молча ходил по залам, засунув руки в карманы, а потом сказал: «И почему все праздник да праздник? Празднуют свадьбы, играют в снежки, поют песни. Работают играючи, без напряжения. Воют и то без труда...» Она подвела его тогда к картине, где изображены были похороны краснофлотца. Почетный караул, краснофлотец укрыт знаменем, над ним, склонившись, вся в черном, мать. Он назвал картину «пышным спектаклем».

— Я не был на войне, но смерти видал. Они проще и, я бы сказал, серьезнее.

Ясно и безапелляционно. В этом весь сегодняшний Вадим. Ни с чем не хочет считаться.

А сам теперь, после всех этих разговоров, бегает до завтрака или после ужина с фотоаппаратом на речку и снимает восходы и заходы солнца или валяется под своим гоголевским дубом, уставившись в небо, и делает вид, что пишет сценарий.

Со сценарием тоже, в общем, ерунда какая-то получается. Третью неделю уже здесь, в Ярьесках, а за все время написал десятка два страничек, да и то одного «нащупывания», как он сам признался. Не пишется, мол. Ему, видите ли, не нравится режиссер, его позиции, взгляды. «Гебе, говорит, важно сейчас пролезть, укрепиться как сценаристу, доказать, что можешь, поэтому не хорохорься, не открывай Америк, не проблемничай, а работай как положено — не опаздывай к сроку, прислушивайся к голосу кинообщественности, из десятка поправок с семьей согласись, а две отвергни — это, мол, против моих принципов...»

В этом месте — с Кирой это часто случалось — она вдруг забила отбой. Вспомнила рассказ одного писателя: молодой человек строил свою жизнь тоже на том, что надо сперва на ноги встать. Она подумала: и прав Димка, и пусть пишет, как ему хочется, и плевал он на этого режиссера, и вообще пусть отдыхает. Месяц, два, три, сколько нужно. Пусть занимается съемками, проявлением, пусть говорит, что влезет в голову, пусть молчит, спит — одним словом, пусть делает что хочет. А она, дура, вчера еще поучать его стала — надо так, а не так, надо вперед смотреть... Дура...

Домой она пришла повеселевшая, хотя и с пустой корзинкой — на дне болталось десятка полтора грибов, из которых, как оказалось, только один был съедобным.

Вадим сидел на веранде в одних трусах, чинил стул. Во рту у него были гвозди. Не разжимая губ, сказал, кивнув в сторону стола:

— Телеграмма.

Кира взяла со стола вырванный из тетради листок. На нем кривыми буквами было написано: «3 Москвы Ярьески Полтавской Кудрявцеву Вадиму Приезжаем четверг поезд 16 вагон 4 Марья».

Кира повертела листок, потом спросила:

— А сегодня у нас что, среда?

— Вторник.

— Значит, ехать надо завтра?

— Угу.— Вадим кивнул головой и искоса посмотрел на Киру.

Дело в том, что, когда он впервые сообщил о намерении Марии приехать в Киев — это было на второй или на третий день их пребывания в Ярьсках, — Кира с удивлением сказала:

— Откуда она узнала, что ты здесь?

Вадим в свою очередь удивился.

— Как откуда? Я ей писал.

— А я думала, что это от всех секрет.

— Как видишь, нет.— И, помолчав, добавил: — Она с Вовкой едет к матери в Винницу.

Оба помолчали, потом Кира спросила:

— И что же ты намерен делать?

— Поехать в Киев. Больше трех-четырёх дней это не займет. Надо устроить в гостинице, помочь кое-какие вещи купить и вообще...

— Что — вообще?

Вадим ответил тогда, может быть, несколько резче, чем следовало:

— Поговорить мне с ней надо. Ты как будто забыла, что у меня сын.

Кира тогда ничего не ответила. А сейчас, старательно складывая зачем-то телеграмму вчетверо, сказала:

— И правильно. Поезжай в Киев. Надо наконец все решить. И с комнатою и с пропиской. А заодно купишь мне еще пластилину. Я тут чудную девчонку нашла. Хочу портрет сделать. Настоящая такая украинка — веселая, хитроглазая.

На следующий день Вадим уехал. Кира проводила его до почты, распрощалась — «смотри, в воскресенье, самое позднее в понедельник, жду» — и, только когда отъехала машина, спохватилась, что так и не написала письма Николаю Ивановичу, которое Вадим должен был опустить в Киеве, чтоб был киевский штамп. А впрочем, хорошо, что не послала. О чем писать? Еще врать? Зачем? Приеду и все скажу. Так лучше. Честней все-таки.

Вернувшись домой, она тут же побежала за веселой, хитроглазой Катькой и, посадив ее во дворе на табуретку, начала лепить, не дожидаясь нового пластилина.

Три дня Кира с увлечением лепила, забросив даже свой любимый пляж. Катька, одетая во все самое лучшее, сидела, точно изваяние, боясь шелохнуться, на своем табурете, и выжать из нее хотя бы признак улыбки оказалось совершенно невозможным. Кира даже начала злиться.

— Ну что ты, аршин проглотила? Сиди свободно, не напрягайся. А то будто на похоронах. Улыбнись! Можешь ты улыбнуться или нет?

— Можу, — растерянно улыбаясь, отвечала Катька и тут же опять застывала, устремив глаза в пространство.

Все-таки работа подвигалась и Кире даже нравилась. Она уже твердо решила дать ее на выставку.

В воскресенье Вадим не приехал. В понедельник утром пришла телеграмма: «Задерживаюсь три дня приеду пятницу».

В этот день Катька была отправлена домой, Кира пошла на пляж.

После обеда Варя, убирая со стола посуду, не глядя на Киру, сказала:

— Хочу поговорить с вами, Кира Георгиевна.

— Пожалуйста.

Варя дождалась, пока мать ушла в комнату, и все так же не подымая глаз, старательно сметая крошки со стола, тихо сказала:

— Уезжали бы вы, Кира Георгиевна.

— То есть как? Почему? — не поняла Кира.

— А вот так... Уезжали бы.

— Но ведь... — Кира Георгиевна не находила слов. — В пятницу должен вернуться Вадим, и вообще...

— А все-таки лучше бы вы уезжали, — все так же, на одной ноте, не подымая глаз, в третий раз повторила Варя.

Кира Георгиевна встала.

— Может быть, вы мне все-таки объясните почему?

— Чего тут объяснять? Сами понять должны.

— Это ваше мнение или мнение Марьи Антоновны тоже?

— Ничье это не мнение... Просто я на вашем месте уехала бы.

Варя говорила тихо, не повышая голоса, но в голосе этом чувствовались решительность и твердость.

Кира Георгиевна постаралась придать своему голосу такую же твердость и сказала:

— Так вот, никуда я отсюда не тронусь. Вернется Вадим, уедем с ним вместе.

— Ваше дело...

Варя собрала тарелки и, ни разу так и не взглянув на Киру Георгиевну, пошла мыть их под стоявшим во дворе краном.

13

В поезде было невыносимо жарко — пассажиры, боясь пыли, закрыли окна. Вадим вышел на площадку. Вспомнив детство, открыл дверь и сел на ступеньки. Вечерело. Смешные тени от вагонов, удлинняясь и сокращаясь, прыгали по полям, огородам, бегущему вдоль путей кустарнику. Ветер приятно трепал волосы. Поезд шел быстро — километров восемьдесят в час.

Завтра Вадим будет уже в Киеве. Вовка повиснет у него на шее, не захочет слезать с рук. Мария силком заберет его — Вадиму нужно тащить чемоданы. Вовка разревется. Потом они отправятся в гостиницу. По дороге будут говорить о том, о сем — как ехали, где останавливались в Москве, что надо купить в Киеве. В гостинице пообедают, внизу, в ресторане, потом уложат Вовку спать. И вот тут-то... Предстоящий разговор, о котором Вадим старался не думать и не мог не думать, приближался с каждым днем. Сейчас он подошел вплотную.

О Кире Георгиевне Мария знала давно. Еще в больнице, где она работала врачом, он, выздоравливая после жесточайшей дизентерии, рассказал ей о своей жизни. Рассказал и о Кире. Мария слушала молча, вопросов не задавала. И только на пятый год их совместной жизни, когда он ехал в Москву, спросила:

— А жена твоя первая в Москве сейчас?

— Не знаю, — ответил он. — Возможно, и в Москве. (Как-то в журнале «Искусство» он увидел фотографию скульптуры, под которой стояла Кирина фамилия, а в скобках значилось: «Москва».)

Больше о Кире разговора не было.

Сейчас он должен возобновиться. Он заранее знал, что скажет Мария. Она не будет ни спорить, ни возражать, она только скажет: «Надеюсь, Вовку ты мне оставишь?» И он не сможет ничего ответить, кроме как: «Да, конечно»...

Да, конечно...

Месяц тому назад, когда он впервые вошел в Кирину мастерскую, и потом за красным столиком, и ночью на мосту, и по вечерам на Сивцевом Вражке все было ясно. Вернулось прошлое. То самое прошлое, которого, иной раз казалось, вовсе и не было...

Как-то у них в бараке неизвестно откуда появилась открытка — старенькая, мятая открытка с видом Киевского университета. Он повесил ее у себя над изголовьем. Бог ты мой, сколько лет ходил он мимо этого длинного, с колоннами, темно-красного здания — сначала в школу, потом в профшколу, потом на кинофабрику. Он помнил в нем каждый завиток на колонне, каждое окошко — в первом слева, на втором этаже, вделаны были часы, по ним всегда было видно, на сколько ты опаздываешь, — помнил, как сажали перед университетом первые жалкие каштанчики и топольки... И, сидя на нарах в бараке, он смотрел на эту старую, довоенную, помятую открытку и задавал себе вопрос: неужели я опять это увижу? Неужели это возможно? И оказалось, что возможно. Увидел.

Но странно, именно тут, в Киеве, он впервые почувствовал, как все постепенно смещается. Сначала неясно, почти неощутимо, потом все четче, четче. Сквозь знакомое милое прошлое стало прорисовываться, вырастать что-то новое, как выросли за двадцать лет эти самые тополя и каштаны перед университетом. И то и не то как будто...

В Ярьсках все сместилось еще больше.

Вадим знал — Кира всегда была эгоцентрична. В свое время ему это даже нравилось. Я, мол, такая — хотите принимайте, хотите нет. И он принял. А сейчас? Почему сейчас его отчего-то коробит? Так, как будто мелочи... Сидишь за столом, разговариваешь, а она вдруг: «Минуточку!» — и исчезает. Оказывается, что-то там не долепила, переделывает. Потом вернется: «Прости, ты о чем-то рассказывал. Ну ладно, продолжай, продолжай». А ты рассказывал о своем друге, своем самом близком друге... И не то что ей это не интересно, просто она живет в своем собственном плане. Что-то проходит мимо нее, не коснувшись даже, что-то чуть-чуть заденет, что-то даст вспышку, искру, короткое замыкание и погаснет, а что-то завладеет ею целиком, и тогда начинается одержимость. Как сумасшедшая бегала по Киеву, так же, вероятно, и работает, если ей работа нравится. Все, что, например, произошло с Вадимом за прошедшие годы, коснулось ее, как некая прилетевшая издалека комета, — коснулось, дало ослепительно яркую вспышку, потом погасло. Все это нечто далекое, непонятное, ни во что не укладывающееся, абстракция и потому — вот это-то самое страшное — не очень ей нужное. А его стишки двадцатилетней давности — это близкое, родное, свое и, судя по всему, крайне необходимое. А для него, оказывается, все это уже «плюсквамперфектум», как говорил один старичок в тюрьме.

До злополучного ноябрьского вечера тридцать седьмого года они жили одной жизнью. Мое — твое, твое — мое. И все понятно. Теперь у каждого свое. У нее профессия, доставляющая ей не только удовольствие, но и деньги (впрочем, ерунда — деньги она никогда не считала), любящий старый муж, к которому она, очевидно, привыкла так же, как к хорошей мастерской, просторной квартире, разговорам об искусстве. Кроме того, этот Юрочка, к которому Вадим не чувствует ничего дурного, хотя Кира думает, должен был бы чувствовать. Смешно, ей-богу, но не чувствует, потому что и в этом тоже Кира. Раз-два — и влюбилась. Такая и раньше была. Так и в него влюбилась. Так и сейчас, наплевав на все, поехала в Ярьски. Нет, не в это дело... Дело в другом, в том, что она не понимает и, очевидно, не может, органически не может (так уж она устроена) понять, как трудно человеку включаться в жизнь, от которой он отвык, как трудно заново привыкать к тому, что ты человек, а не «зека», что нет вокруг тебя проволоки, что можешь всем говорить «товарищ». Он в первые дни несколько раз ловил себя на том, что чуть было не обращался к милиционеру «гражданин начальник». Все это трудно, ох, как трудно. А не радостно? — спросят его. Глупый

вопрос — конечно, радостно, еще бы. Но это не то слово, нужно какое-то другое, еще не придуманное, в которое входили бы и радость, и удивление, и непонимание, и желание наверстать упущенное, и переоценка прошлого, и растерянность, и даже страх перед непривычным, и мысли, мысли, мысли о будущем, которого, казалось, уже не будет, и вдруг оно открылось...

Нет, не понять ей этого.

А может, и хорошо, что не понимает? Может, так и надо? Может, ей, человеку искусства (а для нее искусство, скульптура — это все, так, во всяком случае, сна говорит), может, им, людям искусства, надо видеть только ясное, светлое, веселое?.. Вот понравилась же ему на выставке картина молодого художника — он забыл его фамилию, и название забыл, кажется, «Май», или «Майское утро», или «Весна». Солдаты спят в лесу вповалку, уткнувшись друг в друга. А молодой солдатик вдруг проснулся. Проснулся, приподнялся на локте и прислушивается. К чему? К утру, к весне, к соловьям? Морда детская, растерянная, удивленная, проснулся и по-ребячьи не понимает еще, где он. И что-то снилось хорошее...

Солдатик этот чем-то напомнил ему Юрочку. То ли круглой курносой физиономией своей, то ли широко раскрытыми, удивленными глазами. Вот так, не мигая, смотрел Юрочка на него в первый день их знакомства. Нет, не в первый, во второй, когда они забежали в мастерскую после ресторана и проболтали всю ночь. Сидел на продавленном диване, обхватив руками прижатые к животу колени, и, широко раскрыв глаза, пытался разобраться в том, что говорил Вадим.

Это был любопытный разговор. С чего он, собственно, начался, Вадим и не помнит. Кажется, он рассказывал, как они откачивали затопленную шахту. А может, и нет. Юрочка слушал, не перебивая, много курил. Потом, в какую-то из пауз, мучительно морща лоб, заговорил о том, что никак, мол, не укладывается у него в голове, — впрочем, по-настоящему он об этом даже не думал, — как это человек, переживший столько, сколько пережил Вадим, может еще спокойно обо всем этом рассказывать.

— Как видишь, могу. — Вадим улыбнулся.

— Но ведь вас зазря посадили?

— Зазря.

— А сейчас, значит...

Юрочка даже покраснел от напряжения, на лбу его выступил пот.

— Ну как это вы... Как вы не озлобились?

Вадим понял, о чем он спрашивает. Он часто сам задавал себе этот вопрос. И другие задавали.

Да, в двадцать один год его посадили. Ему было тогда почти столько же, сколько Юрочке сейчас. И посадили зазря, как Юрочка выразился. И просидел полжизни. И не было облегчающего чувства, что страдаешь за дело, за идею, — зазря страдал. И вот вышел сейчас на свободу и... «Как вы не озлобились?..» Как ни странно, но злобы у него нет. А была? Чего только не было, не спрашивай. Все было. А сейчас... Сейчас что-то другое. Почему? Может быть, это от счастья, что выжил, вернулся, что сохранились еще силы, что сидишь вот так и, покуривая папиросу, обо всем спокойно рассуждаешь. А может, потому, что это было не твое личное горе, а трагедия народа и ты вместе с ним разделил ее. Трудно сказать почему... А может, и потому, что веришь, что такое не может повториться.

— Не может повториться. — Вадим посмотрел на Юрочку, тот все так же сидел, обхватив руками колени, и пристально смотрел на него. — Ты понимаешь? Не может.

После этого они долго молчали. Вадим думал о Юрочке, о его поколении — поколении молодых людей, для которых тридцать седьмой год уже история. Думал и о Кире. Задумывалась ли она, лепя из глины спокойного, с гордо откинутой головой юношу, что на самом деле творится в живой голове этого двадцатидвухлетнего мальчишки, которому, когда умер Сталин, было шестнадцать лет, и он плакал тогда, боясь, что всему пришел конец. И, глядя на сидящего рядом с ним Юрочку, в котором сейчас все вопрос и ожидание ответа, вера и сомнение, желание разобраться в непонятном и таком нужном, Вадим впервые, быть может, подумал: а не подменяет ли Кира в своем искусстве все живое и сложное чем-то другим, внешне похожим, а внутренне условным, придуманным? И только ли в искусстве?

Думал Вадим и о себе, о своей молодости, беззаботной и веселой, а в сущности пустой, заполненной пустяками и легкомысленной детской болтовней. Думал и о последующих годах...

— Нелегко во всем этом разобраться, — сказал он под конец, как бы подводя итог всему разговору. — Могу тебе только одно сказать: хочешь верь, хочешь нет — вторые двадцать лет моей жизни для меня куда важнее и значительнее, чем первые. Я столкнулся не только с горем. Я столкнулся с людьми. С разными людьми. Много передумал. И многому научился. И хорошему в том числе... — Помолчав, Вадим добавил: — А может, и они у меня чему-то научились. Может, и я был кому-то нужен, полезен... Может, еще буду... Ну ладно. Хватит обо мне.

Тут Юрочка впервые заговорил о себе.

— Гражданин, зачем нарушаете?

Вадим вздрогнул. Над ним стоял усатый величественный железнодорожник с полевой сумкой в руке, уставясь в него начальственным взглядом.

— На ступеньках сидеть не разрешается, пора бы знать.

Вадим извинился и пошел в купе. Там «стучали в козла». Два пожилых командировочных и молодой, безусый паренек в какой-то форменной фуражке. Увидев Вадима, он весело подмигнул ему.

— Не пора ли закусить, товарищ начальник? Я что-то созрел. А через шесть минут Лубны.

В Лубнах он стремительно пронесся мимо окна в одной майке и галифе, заправленных в носки, и через минуту вернулся сияющий, как новый гривенник.

Ему ужасно хотелось быть взрослым, этому пареньку, лихим, обоженным всеми ветрами и в то же время скептическим и все-все на свете понимающим. Переубедить его в чем-либо было невозможно: он все знал, и только потому, что он был молод и весел, на него никто не сердился и не обижался.

— Водку делают теперь из угля, — говорил он, разливая ее в маленькие, вставляющиеся один в другой стаканчики, вынутые им из аккуратенького чемоданчика. — Это я точно знаю.

— А из какого угля? — подавив улыбку, спросил один из командировочных.

— Из бурого, — без запинки отвечал паренек.

— Точно?

— Точно.

Потом он вытащил болгарские сигареты и старательно стал ими всех угощать.

— Лучше «Честерфильда», уверяю вас. У них фильтры делаются с примесью лепестков розы. Они как губка всасывают никотин.

Сам он, очевидно, только недавно начал курить — старательно стря-

хивал после каждой затяжки пепел в пепельницу и не отрывал глаз от кончика сигареты.

Потом стал рассказывать, как его чуть не выкрали какие-то шпионы (где — неважно, и почему — тоже неважно, тут он многозначительно подмигнул), и только потому, что он занял второе место по самбо, шпионы не только не выкрали его, а были препровождены в надлежащее место. К концу его рассказа по коридору прошла золотоволосая девица в белом свитере, он встрепенулся и скрылся — «произведем-ка рекогносцировку...» Рекогносцировка, по-видимому, ни к чему не привела, так как он вскоре вернулся, зевнул и, не успев сесть у окна, заснул. Пришлось укладывать его на нижнюю полку. Заснул он, как ангелочек, засунув ладошки под щеку.

Вадим забрался на вторую полку. Погасил свет.

Посреди ночи паренек проснулся, завозился, выскочил в коридор, спросил кого-то: «До Иркутска сколько еще? Не проехали?», потом вернулся обратно и опять заснул.

Славный сосунок, подумал Вадим, а в общем балбес. И от водки-то коробит, наливку ему еще вишневою из маминой бутылки сосать... И опять вспомнился Юрочка. Как они не похожи, эти два парня. И насколько Юрочка привлекательнее этого, в общем симпатичного, все знающего и ничем, в общем, не интересующегося болтунишки. Нет, Вовка у него будет не таким... Он из него настоящего человека делает, из этого маленького кривоногого человечка, которого он увидит завтра на вокзале. «Ты Вовку, конечно, мне оставишь?» — спросит Мария. «Да, конечно», — ответит он.

Ну как ты скажешь это «да, конечно»?

14

В середине августа Николай Иванович кончил свою работу и отдал ее на выставку. Все ее хвалили, говорили о психологической глубине проникновения и прочее в том же роде, но сам Николай Иванович был недоволен. Картина казалась ему поверхностной и скучной. Похвалы его не радовали. Он тосковал от одиночества, не находил, куда себя деть.

Знал ли Николай Иванович о появлении Вадима? Нет, не знал. Но чувствовал, что что-то неладно. В последние дни перед отъездом Кира как-то изменилась. Была какая-то возбужденная, торопливая, озабоченная. «Просто нервничаю, — объяснила она, — конец работы...» И он верил, что она просто нервничает, кончая работу. Самосохранение — одно из самых сильных его чувств — не позволяло ему вникать в причины этой перемены.

Первое время он регулярно писал Кире до востребования в Киев, но в ответ получил только одну открытку и, чтоб не быть назойливым, умолк.

Как-то в Союзе художников ему предложили почему-то билет на соревнования по боксу. Чтобы не сидеть дома (последнее время ему как-то особенно надоели квартира, Луша, телефонные звонки), он взял билет и поехал в Лужники. Там во время перерыва встретил Юрочку. Юрочка был с девушкой, очень хорошенькой, тоненькой, в ситцевом платье и, что особенно понравилось Николаю Ивановичу, с длинными, закрученными на затылке в узел волосами. Оба стояли в очереди за ситро.

Несколько секунд Николай Иванович колебался, подходить или не подходить, — ему показалось, что Юрочка заметил его и нарочно отвернулся. И все-таки подошел. Юрочка приветливо улыбнулся.

— Вы где сидите, Николай Иванович? Может, к нам перейдете, мы у самого ринга.

Николай Иванович пересел к ним.

В течение почти двух часов здоровенные загорелые молодцы лупили друг друга огромными кожаными кулаками. Зрители кричали, вскакивали с мест. Это был матч между командами СССР и ФРГ, страсти накалились еще больше, чем обычно, Юрочка оживленно комментировал удары. Тонечка — девушку звали Тонечкой — в наиболее острые моменты вскрикивала и прижималась к Юрочке. Николай Иванович, поглядывая на избивающих друг друга молодцов, только морщился и ждал, когда же это наконец кончится. Но почему-то не уходил — сидел и смотрел.

После матча тысячи людей ринулись к выходу. Юрочка, весь потный, счастливый нашей победой, стал прощаться и вдруг спохватился:

— Ох, что ж это я — даже не спросил про Киру Георгиевну. Как она? Пишет?

— Не очень. На этот счет она ленива.

— Будете ей писать, привет от меня. Большущий.— Юрочка взял свою Тонечку под руку.— Ну, всего хорошего.

И тут, совершенно неожиданно для самого себя, Николай Иванович сказал вдруг:

— А может, пойдем куда-нибудь?

Юрочка сразу и не понял.

— Куда пойдем?

— Ну так, посидим где-нибудь, выпьем чего-нибудь.

Молодые люди переглянулись.

— Мне нельзя,— сказала Тонечка.— Мне завтра рано вставать. А я далеко живу.

— Да, она далеко живет,— поддержал Юрочка.— И ей рано вставать.

— Жаль,— сказал Николай Иванович.

Молодые люди улыбнулись и помахали ему рукой. Когда они отдалились шагов на двадцать, Николай Иванович окликнул их:

— Юрочка, на минутку...— Он догнал их.— У меня к вам нижайшая просьба. Не заглянете ли вы как-нибудь ко мне? У меня лампа дневного света испортилась. Не могу по вечерам работать.

— Что ж, можно. Когда?

— Когда вам удобно. Хоть завтра.

— Ладно. Часиков так в семь-восемь. Вам удобно?

— Удобно.

И они в третий раз попрощались.

Работы с лампой оказалось не больше чем на пять минут. Просто испортился выключатель, и Юрочка заменил его новым.

— Все в порядке. Можете теперь и по вечерам работать,— весело сказал он, пряча свои инструменты в чемоданчик.

Когда Юрочка, помыв руки, вернулся в кабинет, Николай Иванович раскупоривал бутылки. На письменном столе у окна постлана была салфетка, стояли две тарелки, два стакана, бутылка боржома, тонко нарезанные сыр и колбаса, баночка икры.

— Ну зачем это? — запротестовал было Юрочка.

— Надо,— сказал Николай Иванович.— Вы что, торопитесь? На свидание?

— Ага.

— В восемь? В девять?

— В девять.

— У Большого театра или у Центрального телеграфа?

— У Пушкина.

— Туда рукой подать. Сейчас только четверть восьмого. Вам чего — водки, коньяку?

— Все равно. Водки лучше.

— Это другой разговор.

Весь этот недлинный диалог Николай Иванович провел в каком-то несвойственном ему энергичном, напористом темпе. По всему видно было, что ему хочется выпить — грешок, которого раньше Юрочка за Николаем Ивановичем не замечал.

Почти сразу же он налил еще. Потом откусил кусочек хлеба с икрой и налил по третьей.

— Ох, что-то мы заторопились, Николай Иванович. Может, перекурим?

Николай Иванович ничего не ответил и выпил третью. Юрочке ничего не оставалось, как сделать то же. Он сегодня не обедал и с аппетитом принялся за закуску. Николай Иванович ничего не ел. Закурил. Потом сказал:

— А ведь лампу-то эту я терпеть не могу. Свет у нее холодный, мертвый. Три года стоит без дела, только место занимает.

Юрочка удивленно на него посмотрел. Николай Иванович чуть-чуть порозовел, в глазах появился неестественный блеск.

— Просто, скажу прямо, захотелось мне, Юрочка, увидаться с вами, поговорить.— Он несколько раз зажег и потушил лампу.— А она мне вовсе не нужна. Зря заставил вас возиться. Не сердитесь уж...

— Ну что вы, Николай Иванович...

— Ладно, давайте-ка еще по одной. Веселей будет.

Они выпили еще по одной.

Юрочка спросил, как прошло обсуждение выставки, он слышал, что картину Николая Ивановича очень хвалили.

— А ну ее!..— отмахнулся Николай Иванович.— Не хочется о ней говорить. Ну похвалили. Ну и что? Я к этому уже привык. И знаете, как это у нас? Похвалит авторитет, особенно в центральной прессе, ну, значит, и все хвалить станут. А картина-то, скажем прямо, слабенькая, замученная. Ну ее...

Николай Иванович еще сильнее порозовел и от этого стал даже казаться моложе.

— Нет, не о ней мне хочется говорить.— Он ткнул папиросу в пепельницу, сразу же потянулся за другой.— О другом... Вот прожил я шестьдесят три года. Много за это время увидел, многое сделал. Меньше, чем хотел, но все-таки сделал. Вы простите меня, что я о себе говорю. За всю жизнь я никогда, или, скажем точнее, почти никогда, не позволял себе этого. Мне всегда почему-то кажется, что другим рассказы подобного рода не очень интересны. И вам, боюсь, тоже не очень. Но человеку иногда нужно...— Он запнулся, потянулся опять за водкой, разлил по стопкам.— Ладно,— он поймал осуждающий взгляд Юрочки,— пусть постоит. Вы знаете, Юрочка, мне почему-то с вами легко. Сам не знаю почему. Может, потому, что на сына моего похожи, а может... Вы не обижайтесь на меня, Юрочка, нельзя же в конце концов всегда только умное говорить...

Юрочка сидел, уставившись в свои руки, и молчал.

Николай Иванович взял стопку.

— Не люблю я тостов, но сейчас мне хочется выпить за вас. За то, чтоб вы остались таким, какой вы есть.

Юрочка молчал.

— А какой вы есть, я знаю. Хоть мы и редко встречались. Есть в вас одно качество, которое я особенно ценю в людях. Сейчас оно не очень-то в ходу. Деликатность оно называется.

Юрочка молчал.

— Вы знаете, что это значит — деликатность? — Николай Иванович очень серьезно посмотрел на Юрочку. — Высшая форма уважения к человеку. Чудесное качество. Оно вовсе не исключает других, но те, другие, мне они как-то меньше нужны, а это... Ну ладно, что-то я заболтался. Так за то, чтоб вы остались таким, какой вы есть.

Юрочка молча чокнулся и выпил. Никогда в жизни не попадал он в такое невыносимо тяжелое положение. «Может, напиток? — подумал он. — Может, тогда легче станет? Или поговорить со стариком начистоту? Но как? И нужно ли? Может, просто уйти?» А Николай Иванович шагал по комнате и говорил. Остановился над Юрочкой.

— Вам не скучно, а? Вы прямо скажите. До Пушкинской площади пять минут ходьбы. Не опоздаете. А мне надо выговориться. Не с Лушей же, она тут же перебьет и сама начнет говорить. И друзей у меня как-то нет... То есть есть, и хорошие даже, ничего не скажешь, но начнешь с ними говорить, и через минуту, глядишь, мусор какой-то начинается — что кто где написал или сказал, и что было у художников на последнем пленуме, и где достать краски. А вот о простом, человеческом... — Николай Иванович вдруг остановился и, наклонив как-то набок голову, глянул на Юрочку. — Вот смотрю я на вас и думаю. Сидит передо мной человек, все у него еще впереди. И молчит. И чего ему в жизни хочется, я не знаю. Стать академиком, генералом? Не знаю. Знаю я только...

Тут Юрочка перебил его, все так же не подымая головы:

— Что вы все обо мне, Николай Иванович? Ведь вы ж о себе хотели...

— А я о себе и говорю, именно о себе... — Николай Иванович нервно рассмеялся, подошел к окну, постоял там. — М-да... Через месяц мне стукнет шестьдесят три года. А через семь лет — семьдесят. Если доживу. И появятся тогда в газетах статейки. И орденешко, может, какой-нибудь подкинут. И собрание устроят. И говорить будут. Такой, мол, и такой, и вклад, мол, в советское искусство сделал. А я буду сидеть в кресле, и будет мне, вероятно, все это приятно и даже лестно... А потом приду домой, сяду за этот вот стол, вытащу карточку сына...

— Не надо, Николай Иванович. Зачем это вы?

— Нет, надо. И не перебивайте. — Николай Иванович повернулся. До этого он говорил, стоя у окна, спиной к Юрочке. — Вытащу карточку сына и скажу ему: «Вот и стукнуло мне семьдесят, Юра. И за эти семьдесят лет сделал я то-то и то-то. И не очень стыжусь того, что сделал. А почему-то мне невесело. Почему?»

Весь последующий рассказ Юрочка прослушал, упершись подбородком в сложенные на столе руки, глядя в окно, в розовое от заката, ничего не говорящее небо. А рассказ был грустный. Рассказ человека, который прожил длинную, нелегкую и бесполезную жизнь, а к концу ее обнаружил, что он совсем один. Кругом люди, а он один. Это трудно даже объяснить. Есть друзья, знакомые, студенты, есть жена, есть Луша, и все они его любят и уважают, а в общем — пустота. И дело даже не в том, что вот уехала жена и за месяц написала только одну открытку («В том, в том, именно в том!» — подумал Юрочка), а в чем-то другом, в неумении быть хоть с кем-нибудь совсем близким. А это, вероятно, самое важное — знать, что ты необходим другим людям. Тогда и они тебе будут нужны. А так...

— Я трезво смотрю, Юрочка, на себя и на свою жизнь. Я знаю, какой я художник. Не обольщаюсь. Так, на среднем уровне. Профессионально крепкий, как принято говорить. И не перебивайте, слушайте...

Все это я знаю, другой на моем месте стал бы говорить о молодости, о прошедших годах, о том, что люди были тогда не те, «богатыри, не вы...» Нет, не буду. И богатырем я, по правде сказать, не был... Мне просто грустно. Грустно, потому что в жизни нужно чувствовать себя необходимым. А я... я, в лучшем случае, только нужен... Да и то не знаю, очень ли.

До этого Николай Иванович говорил тихо, спокойно, могло даже показаться, что все это давно уже сформулировано — так это было размеренно и ровно, особенно для человека подвыпившего, — в этом же месте он вдруг запнулся, умолк, потянулся было за бутылкой, увидел, что она пуста, растерянно оглянулся по сторонам, потом взял бутылку и вышел из комнаты. Через несколько минут вернулся. Краснота его прошла, он был бледен. Подсел к столу. Улыбнулся. Улыбка получилась немного жалкой.

— Я вспомнил случай, — Николай Иванович вытянул из кармана папиросу (курил он не переставая, прикуривая одну от другой), — к слову, так сказать. Случай на одном юбилее. Рассказик короткий, не пугайтесь. Отмечали какое-то «летие» одного старого, доброго, хорошего художника. Его все любили. По очереди подымались на трибуну, читали адреса, говорили речи, обнимали старика, целовали. И, ей-богу, все это было от чистого сердца. Особенно меня тронули двое студентов. Симпатичные такие ребята, в бархатных курточках, со славными, немного смущенными физиономиями. Они как-то очень просто и хорошо обратились к старику. Он даже прослезился. Грешным делом, и я тоже. А потом на лестнице я услышал их разговор — они меня не видели. Один говорил другому: «Главное, на другой конец стола сесть (речь шла о предстоявшем банкете), а то замучает старик разговорами — о цели жизни, и как он свою прожил». Сказали и побежали оба куда-то вниз.

Юрочка сжал голову руками. Самое ужасное было то, что, слушая рассказ Николая Ивановича — а слушал он его внимательно, сочувственно, — он невольно ловил себя на том, что ждет удобной паузы, чтобы встать и распрощаться. Вероятно, надо было другое — сделать веселое лицо и сказать что-нибудь вроде того, что все это неправда, что вовсе он не одинок, что, наоборот, он всем нужен, и ему, Юрочке, в частности, вот он научил его разбираться в картинах, отличать плохое от хорошего, ну и еще что-нибудь в этом роде. Но это почему-то не получалось, и веселое лицо тоже не получилось. Наоборот, Юрочка сидел и тупо смотрел в окно, а когда старик начал свой рассказ о юбилее, подумал: «Вот доскажет, я встану, извинюсь...»

И вдруг ужасно захотелось, чтоб перед ним сидел сейчас не Николай Иванович — милый, хороший, но в общем действительно не очень нужный, — а Вадим Петрович. Как он тогда сказал: «А может, и я был кому-то нужен, полезен...» Да, был! Не мог не быть. Юрочка это знал. И ему вдруг смертельно стало жаль, что нет рядом с ним сейчас Вадима Петровича и что бог его знает, встретятся ли они еще когда-нибудь...

В дверь постучались. Потом она приоткрылась, и в ней показалось желтое сердитое лицо Луши.

— Вот, принесла вам...

Она просунула сквозь щель завернутую в бумагу бутылку и тут же захлопнула дверь. Николай Иванович взял бутылку и, не ставя на стол, протянул Юрочке.

— Прошу. Вы это ловко умеете...

— А может, не надо? — сказал Юрочка.

— Надо.

Юрочка вынул пробку. Николай Иванович подставил стопки.

— Мне хотелось бы, Юрочка — сказал он, глядя не на него, а куда-то в сторону, в угол, — мне хотелось бы, чтоб вы не думали, что я на что-то жалеюсь. Просто хотелось поговорить. Человеку иногда надо поговорить. А вам я верю. Несмотря ни на что...

Юрочка почувствовал, как внутри у него что-то оборвалось. Сразу вдруг стало жарко. Всему, с головы до ног. Он залпом выпил свою стопку, поставил ее на стол и прямо посмотрел на Николая Ивановича.

— Николай Иванович, я не могу больше. Разрешите, я...

— Нет, не разрешаю. — Николай Иванович повернулся, и взгляды их встретились. — Не разрешаю... — Он поднес стопку к губам, всего его передернуло, и залпом ее выпил. — А теперь идите. Десятый час уже. Идите.

Он мягко взял Юрочку за плечи и подтолкнул к двери.

На Пушкинскую площадь Юрочка попал в половине десятого. Тони не было. Он прождал полчаса. В десять ушел. Почему-то опять оказался у дома Николая Ивановича. Окно на шестом этаже еще светилось. Юрочка потоптался, зашел было в парадное, но потом вернулся, взглянул еще раз на освещенное окно и зашагал в сторону улицы Горького.

К этому времени на письменном столе Николая Ивановича стояли уже две пустые бутылки. Сам он лежал на тахте и смотрел в потолок, на старые, давно знакомые трещины. Одна из них похожа на профиль Пушкина.

Когда часам к двенадцати Луша зашла в кабинет, чтоб убрать посуду, она застала Николая Ивановича лежащим. Галстук его был развязан, рука упала на ковер. Глаза были открыты.

Луша тут же бросилась к телефону.

15

На харьковский скорый Кира Георгиевна опоздала. Приехала почтовым в начале десятого. «И очень хорошо, — подумала она. — Значит, уже встали». Она сдала чемодан и авоську на хранение, чтоб не таскаться с ними по городу, и тут же стала звонить во все киевские гостиницы. Только в пятой или шестой — хорошо, что в Ярьсках на почте она наменяла целую кучу пятиалтынных, — ей сказали, что Кудрявцев действительно у них остановился и живет в тридцать восьмом номере.

В троллейбусе было душно и тесно, кондукторша на всех кричала, пассажиры довольно дружно ей отвечали. Между собой тоже перекидывались теплыми словечками. Одна толстая, красная женщина с корзиной в руках, когда Кира Георгиевна пыталась протиснуться к выходу, вдруг вызверилась на нее: «Ну куда, куда? Точно от мужа сбежала, к хахалю торопитесь». Киру Георгиевну это рассмешило — значит, еще похожа на такую!

Гостиница оказалась третьеразрядной, но над окошком администратора все же висело засиженное мухами объявление: «Свободных номеров нет». В углу сидела маникюрша. Рядом с ней на маленьком столике стоял телефон. Кира Георгиевна набрала тридцать восьмой номер.

— Вас слушают, — ответил женский голос.

— Простите, Вадим Петрович еще спит?

— Спит, а кто спрашивает?

— Ничего, я позвоню тогда позже.

— Это не по поводу квартиры? — Голос был приятный, низкий.

— Нет, не по поводу квартиры. Я позвоню позже.

— Минуточку. — Женщина, очевидно, положила трубку, потом опять взяла. — Проснулся, сейчас подойдет. — И сразу же голос Вадима: — Алло!

— Это я, Вадим. Ты уже встал?

— Кира?

— Ага, я...

— Откуда ты звонишь?

— Отсюда, снизу.

— Ничего не понимаю... Ты что, приехала? Случилось что-нибудь?

— Нет, ничего не случилось.

— Тогда чего ж?.. В общем, подымайся.

Она хотела сказать, чтоб он спустился вниз, но он повесил трубку.

Кира Георгиевна поднялась на третий этаж. Вадим стоял на площадке в майке и пижамных штанах. Вид был непрспавшийся.

— На самом деле ничего не случилось?— В голосе его была тревога.

— Ничего.

— А я уж испугался: может, с мамой что...

— Нет, все в порядке.

Они пошли по длинному, с бесконечными поворотами коридору.

— А вещи твои где?

— На вокзале.

Вадим открыл дверь и пропустил Киру вперед.

— Знакомьтесь.

Высокая немолодая женщина торопливо прикрыла кровать покрывалом.

— Простите, у нас не прибрано,— сказала она.

— Ничего, ничего. — Кира пожала протянутую руку.

Обе мельком, не задерживаясь, взглянули друг на друга. «У нее хорошее лицо»,— подумала Кира Георгиевна.

Из ванной комнаты донесся детский голосок: «Уже...» Через минуту в комнату вбежал Вовка — светленький, кудрявый, в красных штанишках на бретельках. Увидев постороннюю тетю, он смутился.

— Тебя как зовут?

Вовка засунул палец под бретельку.

— Ну, дай тете ручку.

Он не шелохнулся. Началось было обычное в таких случаях уговаривание: «Ну, протяни тете ручку»,— но Вовка старательно наматывал бретельку на палец, потом сорвался с места в угол, где лежали грузовики и мишки.

— Он у нас дикарь,— сказала Мария. — Боится чужих...

Воцарилось молчание.

— Так что ж все-таки случилось? — спросил Вадим.

— Да, собственно, ничего,— сказала Кира. — Просто соскучилась по Москве. — И тут же очень оживленно, точно боясь, что ее перебьют, заговорила вдруг о том, что пора уже и честь знать, что приехала на две три недели, а вот второй месяц уже пошел, что в середине сентября ожидается распределение заказов на оформление стадиона в Лужниках, и вообще хватит уже загорать, надо за работу браться.

Вадим молча слушал. Сидел на диване, сгибая и разгибая какую-то проволочку. Ему было не совсем понятно, почему все эти разумные и трезвые мысли возникли у Киры столь стремительно и не тогда, когда он был в Ярьесках, почему надо было сваливаться как снег на голову, не предупредив, не позвонив, не сообщив телеграммой. Впрочем, Кира не знала адреса. И все же...

— Может, вы с нами позавтракаете? — спросила Мария.

Кира сказала: «Нет, спасибо, я уже поела»,— но потом выпила все-таки чашку чаю.

Вовка взгромоздился на колени к отцу, исподлобья поглядывая на Киру. Несколько раз он шептал отцу что-то на ухо. Вадим говорил: «Ладно, перестань» — и всовывал ему в рот ложку с манной кашей.

— Кстати, почему ты не интересуешься причиной моей задержки? — спросил он Киру.

— Да... Что произошло?

— Сегодня комнаты будут распределять. На студии. Должны списки вывесить.

— А-а... — Кира не нашлась, что больше сказать.

Опять помолчали.

Вадим посмотрел на часы.

— Мне пора двигать. В одиннадцать надо уже там быть. — Он спустил Вовку с колен и слегка шлепнул его. — Наелся? Валяй теперь в свой угол. Папе надо штаны натянуть.

Вовка слез с колен и вдруг часто-часто заморгал, потом бросился к матери, уткнулся лицом ей в колени и разревелся: «Пусть тетя уйдет... Пусть тетя уйдет...»

Он ничего не хотел слушать, и сколько его ни убеждали, что в его возрасте мальчики уже не плачут, а тетя хорошая и принесет ему сейчас конфетку, он ревел и все повторял: «Не хочу конфетку... Пусть тетя уйдет... Пусть тетя уйдет...»

И тетя ушла. Вадим тоже ушел с нею — было без четверти одиннадцать.

До чего же глупо все получилось. Господи, до чего глупо! Явилась, затараторила, уселась чай пить... Пила и все боялась, что Вадим и Мария заметят, как она волнуется. Заметили или нет? Мария — нет, или делала вид, что не видит. Какая у нее выдержка! Как спокойно, с каким достоинством она держится! Вадим говорит, что она наотрез отказалась от киевской комнаты. Будет жить у матери. Единственное, что она сказала, когда Вадим ей все рассказал: «Надеюсь, ты Вовку не собираешься у меня отнимать?» Кира будто слышала, как это было сказано. Не вопрос, не просьба, а короткий ответ на все сказанное Вадимом — тихий, спокойный, уверенный. И вся она такая — тихая, спокойная, уверенная. Вероятно, она хороший врач. Больные любят таких — немногословных, внимательных и, вероятно, решительных. И глаза у нее хорошие — чуть усталые, с нависшими сверху веками, но в них... Черт его знает, что в них. Прощаясь, Кира почему-то отвела свой взгляд. Почему?

Прошло, вероятно, полчаса, если не больше, с той минуты, как они расстались с Вадимом, — он вскочил в троллейбус и уехал на студию, а она все еще сидела в скверике, на том месте, где когда-то стояло здание обкома, а по-старому — Думы. Рядом сидела совсем молоденькая мать, очевидно, студентка, — одной рукой равномерно качала коляску со спящим младенцем, в другой держала учебник по статике. Один раз он упал на землю: девушка заснула. Кира подняла учебник, и обе они друг другу улыбнулись.

«Вот тоже судьба — подумала Кира, — девочке лет восемнадцать-девятнадцать, не больше. Миловидная, но очень уж худенькая. Родители были, вероятно, против замужества. Потом смирились и только просили не торопиться с ребенком. А они взяли вот и преподнесли подарок...»

С Вадимом разговор не получился. Оба были напряжены, неестественны, не смотрели друг другу в глаза. Впрочем, когда идешь рядом, в глаза обычно не смотришь. О главном оба не говорили. Он спросил, сколько она думает пробыть в Киеве, где остановится. Остановится у Лиды, поживет дня два и поедет в Москву — чего тянуть? Вадим стал

расспрашивать о Лиде, потом, не дослушав, сообщил, что приехал его режиссер и вечером они должны встретиться. Поговорили о сценарии, о режиссере, и, только подойдя к троллейбусной остановке, Вадим, как бы между прочим, спросил:

— Так когда ж мы увидимся? И где?

Кира сказала, что вечером позвонит. Подошел троллейбус, и Вадим укатил на студию.

Ребенок в коляске заплакал. Молодая мать спохватилась, посмотрела на часы.

— Ох ты господи... Опять прозевала. Ничего, Вовочка, сейчас покушаешь.

— Вовочка?— спросила Кира.

— Ага... А что?

— Ничего, просто так. Сколько ему?

— Третий месяц. Вчера третий месяц пошел. Он ведь у нас семи-месячный.

— Ну и как, ничего?— Кира заглянула в коляску, мальчик уже успокоился, мирно посапывал.

— С ним-то ничего.— Мать улыбнулась.— А вот со статикой... Не успела весной сдать, приходится отдуваться теперь.— Она опять весело улыбнулась, кивнула головой и покатила коляску по асфальтовой дорожке.

Кира поглядела ей вслед — молодая мать быстро и ловко перешла улицу, лавируя среди машин. И впервые в жизни Кира с какой-то невероятной, неожиданной вдруг остротой почувствовала, как ей жаль, что у нее нет такого вот Вовочки. Или такого, как тот, что прогнал ее совсем недавно. Нет и не будет. Никогда не будет...

Страшно громко, перекрывая все уличные шумы, пробили куранты. Двенадцать. Кира обернулась. Били часы на Почтамте.

«Надо зайти спросить,— подумала Кира,— может, что-нибудь из Москвы есть...»

Из Москвы оказалась телеграмма.

— Уже больше недели лежит,— укоризненно сказала курносая, вся в кудряшках девушка из «До востребования» и протянула повестку.— Распишитесь вот тут.

Кира расписалась, потом вскрыла телеграмму. В ней сообщалось, что у Николая Ивановича инфаркт, положение тяжелое.

16

Был третий час ночи, троллейбусы уже не ходили, и Вадим протоптался минут двадцать, если не больше, на пустынной окраинной остановке, пока его не подхватил задрипанный «москвичок». Развалившись на заднем сиденье, стал размышлять о судьбах человеческих.

Вот, пожалуйста, Ромка... Тоже отсидел свою «десятку», а сейчас всем доволен, весел, сомнений никаких.

Ромка Телюк — а по-лагерному, бог его знает почему, «Базука» — честно провоевал всю войну разведчиком: сначала рядовым, потом командиром взвода, а к концу войны — командиром разведроты. Грудь его сверкала орденами и медалями, начальство любило, и все было бы хорошо, если б не дернул его черт присвоить чужую корову. К тому же из-за этой же проклятой коровы («нужна она мне была, я тебя спрашиваю?») влепил оплеуху какому-то штабному офицеру. В результате показательный суд и «десятка». С Вадимом встретились они на Колыме

в пятьдесят третьем году, незадолго до того, как Ромку амнистировали. Вместе прожили в одном бараке что-то около трех месяцев.

Парень он был молодой — лет на десять моложе Вадима, — веселый, разбитной, красивый, этаким украинский парубок, стройный, «кучерявый», с ослепительной белозубой улыбкой. К тому же играл на гармошке и хорошо пел. В лагере таких любят. На фронте, вероятно, тоже...

Сейчас они встретились совершенно случайно. Найдя в списках свою фамилию, против которой стояло таинственное: 3 ч.— № 14—1 к.— 18 м.— 6 Чок (что значило, что Кудрявцев В. П. получает на трех человек одну восемнадцатиметровую комнату в квартире № 14, корпус 6, на Чоколовском массиве), Вадим вместе с другими счастливицами зашел в магазин «Вино» против Бессарабки. Там-то и застукал его Ромка. Вихрем налетел.

— Черт полосатый! Думаешь, сбрил вуса и никто не узнает? Черта с два! — Он обнимал и тискал Вадима так, что кости затрещали. — Двинули ко мне? Как раз получку получил. Жинку увидишь. Таких еще не видал. А малосольные огурчики делает — закачаешься! Отпустите его, хлопцы, шесть лет ведь не видались, ей-бо...

Потом до глубокой ночи сидели в новой Ромкиной квартире, и красивая, под стать ему, рослая, чернобровая Ксана все подставляла и подливала, а Ромка все говорил, говорил, говорил — он вообще был не из молчаливых, а уж когда выпьет...

— Вот так, Димка, и живем. Не жалуемся. Квартирка шо надо. Три года за нее воевал. Сам на стройке работал. Ничего, а? Паркет, правда, неважнец, и уборная вместе с ванной, ну да хрен с ней, зато никаких тебе соседей. От центра на троллейбусе двадцать пять минут, ну тридцать, а есть гроши, бери такси — за десять минут и тут...

Он демонстрировал телевизор «Темп-3», холодильник «Дніпро», годовалую дочурку Таню, разметавшуюся сейчас в своей постельке в соседней комнате.

— Ничего девчонку сработали, а? А скоро и хлопец будет, заготовка уже есть. — Он весело хлопал свою красивую жену по животу, а та заливалась краской. — А ну, Ксанка, налей нам еще... Димка ж мировой парень. Вот только с работой что-то того... Иди к нам, говорю, а он... Ну чего вылупился, а? Ей-богу, не пожалеешь.

Работает он электросварщиком, начальство его ценит — вот, пожалуйста, грамоты: одна, вторая, третья; зарабатывает прилично — тысячи две, а то и больше.

— Будешь у нас мотористом. Для начала, для раскачки. Восемь бумаг в месяц, работа — не бей лежачего. Потом научу варить. Поступишь на курсы и опять к нам. А хлопцы у нас мировые, что твой развод... Ну как? Идет?

Вадим молча улыбался, кивал головой. Пить не хотелось, было жарко. Ромка давно уже скинул рубаху, сидел в одних штанах, мускулистый, загорелый. Может, действительно плюнуть на все, на все эти студии и сценарии, и пойти к нему?

— Ладно, подумаю. Вот завалят мне сценарий...

— Завалят, как пить дать. Что ты там о рыбаках этих знаешь? Вот ты обо мне сценарий напиши, вот это да... Воевал, сидел, а сейчас, будьте любезны, отличник боевой и политической подготовки, знатный сварщик Украины...

Он опять стал расхваливать свою работу, хлопцев, заработки, жену, дочку...

— Ей-богу, приятно на тебя смотреть, — не выдержал Вадим. — Всем-то ты доволен.

— А что? На что жаловаться? На жену? Баба, правда, другой раз, когда неполную получку принесешь, начинает пилить, ну, прикрикнешь на нее и все... А Советская власть,— тут он почесал затылок,— с ней я общий язык нашел.

По натуре своей Ромка был анархистом и всякого вмешательства властей не любил. Особенно, если это касалось его. Подумаешь, какую-то там полудохлую корову присвоил. Не для себя ж, для ребят. А этот сопляк несчастный еще к кобуре потянулся. И кого запугать хотел, кого? Его, трижды раненного, прошедшего от Сталинграда до Берлина, кавалера двух орденов Славы, «Звездочки», Красного Знамени, медали «За отвагу»... И вот, пожалуйста, «десятка», отблагодарили... Все это он так часто повторял перед аудиторией 16-го барака с биением себя в грудь, с демонстрацией ран, что Вадим к этому привык и сейчас слегка удивлялся, слушая новые Ромкины речи. Она (то есть Советская власть) вполне его устраивает. У Вадима, может, есть основания на нее обижаться, он ни за что сидел, а он, Роман, прекрасно теперь понимает, что получил по заслугам, что в армии нужна дисциплина и что если каждый разведчик станет лупить по морде старшего офицера, то что же это получится,— и так далее, в том же духе...

— Работу мне Советская власть дала, и неплохую, план я выполняю, воровать не ворую, что еще надо? Мы люди темни,— тут Ромка явно кокетничал,— нам абы гроши. Ну и сто грамм, конечно.

— Ох, и дадут тебе когда-нибудь за эти сто грамм,— улыбнулся Вадим.— Вот вчера в «Вечерке» — не читал небось? — за это самое одного товарища крепко почухали.

— А что мне «Вечерка»? У меня у самого башка на плечах есть. Имею понятие, когда это самое можно, а когда нельзя. И никого не подвожу. И зря языком не болтаю. Как ответственное задание, кого вызывают? Телюка Романа. Знают, что не подведет. Правда, Ксанка? А ну, тащи-ка по этому случаю из загашника Петькину, что зажала тот раз... Давай за дочку мою, чтоб росла большая и умная. И за пацана будущего... Ну, и за нас с тобой... Поцелуемся?

Они целовались и после этого сидели еще часа два.

«А может, действительно к нему пойти? — думал Вадим, развалившись на заднем сиденье «Москвича». — Зачем мне эти сценарии, худсоветы, редактора, высосанные из пальца конфликты? Вот Ромка. Вкалывай под его началом, как положено, все тебе будет ясно, как ему. Хороший он все-таки парень, и товарищ хороший, и жена у него хорошая. Хотя, видно, он слегка побаивается ее. Но любит. «Знаешь, никаких левых ходок. Вот тебе крест. И не интересуюсь, ей-бо...» И тут же спрашивал, как у Вадима эти дела сложились. Выслушав краткий его рассказ — Вадиму не хотелось подробно обо всем говорить,— покачал только головой: «Да, брат, влип». Но советов никаких давать не стал. «Тут советом не поможешь, самому виднее».

«Москвич» затормозил. Приехали. Заспанный швейцар долго возился с ключом, никак не мог открыть дверь, потом спросил:

— Вы из какого номера?

— Из тридцать восьмого.

— А вам тут звонили. Женщина какая-то...

Вадим только сейчас вспомнил, что Кира должна была вечером позвонить.

— Жена ваша с мальчиком пошли куда-то, а я дежурил здесь. Часов в восемь так, в начале девятого. Просили передать вам — женщина та,— что в Москву поехали.

— И больше ничего?

— Не, ничего. Едут, мол, в Москву, и все.

«Вот тебе еще один фортель»,— подумал Вадим и медленно стал подыматься на свой третий этаж.

Мария спала. Вовка тоже. Посреди стола, под стаканом с компотом, лежала записка: «Взяла билеты на утро, на 9. 30. М.»

Вадим машинально хлебнул из стакана, подошел к Вовке. Он лежал на двух сдвинутых креслах совсем голенький, крепко прижав к груди безобразного безухого зайца. Вадим постоял над ним, прикрыл простыней — из окна потянуло прохладой,--- погасил свет и, не раздеваясь, лег на кушетку.

«Черта с два я с ним расстанусь, черта с два...»

17

Николай Иванович лежал на тахте, аккуратно укрытый одеялом. Руки были поверх одеяла, вытянутые вдоль тела, очень бледные, с чуть лиловатыми ногтями. Лицо тоже бледное, небритое, опухшее. При виде Киры Георгиевны он сделал какое-то движение головой и попытался улыбнуться.

— Очень прошу вас, не больше трех минут,— шепнула Кире Георгиевне медсестра.

В комнате пахло лекарствами. Окно было закрыто. На покрытом салфеткой стуле возле тахты стояла батарея крохотных бутылочек-пузырьков.

Кира Георгиевна на цыпочках подошла к тахте и стала возле нее на колени. Бог ты мой, как он выглядит! Кажется, она впервые видела его небритым.

— Как ты себя чувствуешь?— спросила она, стараясь говорить как можно спокойнее и чувствуя, что сейчас в ней что-то прорвется.

— Хорошо.— Он опять попытался улыбнуться. Голос был глухой, тихий, незнакомый.

— Вот и молодец. Надеюсь, ты хорошо себя ведешь? — Она посмотрела на сестру, пожилую, аккуратную, очевидно из бывших фельдшерлиц.— Он хорошо себя ведет?

— Ничего, старается.

— Ну вот и молодец. Дисциплина прежде всего, правда?

— Правда,— ответила сестра и, увидев, что Николай Иванович хочет поднять руку, сказала:— А двигаться не надо, очень вас прошу.

— А можно мне чаю?— спросил Николай Иванович.— Пить хочется.

Сестра вышла. Кира Георгиевна все стояла на коленях. Она смотрела на неузнаваемое, почти чужое, покрытое седой щетиной лицо Николая Ивановича, и ей было страшно, но оторваться от него она не могла.

Николай Иванович с грудом зашевелил запекшимися губами.

— Ну, как ты отдохнула?— спросил он.

Господи, и он ее об этом еще спрашивает! И что отвечать? Хорошо? Плохо? Скучала? Все ложь, ложь...

Николай Иванович смотрел на нее. Глаза его стали совсем маленькими на оплывшем лице, и только где-то в самой глубине их теплилась тихая, почти детская радость. И Кира Георгиевна не выдержала этого взгляда, в котором не было ни осуждения, ни сожаления, ничего того, что должно было в нем быть, а только радость, не выдержала, уткнулась лицом в одеяло и заплакала.

— Не надо, Киль, не надо... Все будет хорошо, очень хорошо...

Хорошо, хорошо, очень хорошо... Конечно же, хорошо...

Прошло четыре месяца. Николай Иванович поправлялся. На улицу он еще не выходил, но в солнечные и не слишком морозные дни его, закутанного с головы до ног, усаживали в кресле на балконе.

— Совсем как мой Юрка в детстве, — улыбался он, покорно подставляя шею мохнатому шарфу. — Его тоже на этом балконе прогуливали.

Первые месяц-полтора Кира Георгиевна не отходила от больного. Она не хуже любой сестры научилась делать уколы, поворачивать ставшее вдруг грузным тело, менять простыни, давать лекарства, она была пунктуальна и неумолима. Потом, когда самое страшное прошло, ей позволили читать ему вслух. Они прочли «Войну и мир», «Былое и думы», почти всего Чехова. Николай Иванович не без ехидства говорил, что ей это даже полезнее, чем ему. Иногда приходили навестить друзья, но Кира Георгиевна не давала им засиживаться — через какие-нибудь четверть часа говорила: «А теперь будьте здоровы. Мы люди режима. И режим у нас железный». Все поразились Кире Георгиевне. «Вот это жена, — говорили друзья. — Буквально из гроба вытащила. Инфаркт, воспаление легких, и не одно, а три — все победила». А старичок врач, друг Николая Ивановича еще по студенческим годам, сказал ей как-то: «Знаете что, бросайте-ка свою глину и переходите ко мне в ассистенты. Вместо Шафрана. Пусть пишет свою диссертацию, а мы с вами такую деятельность разоведем — мир ахнет...»

Только в конце декабря Кира Георгиевна впервые заглянула к себе в мастерскую. Бог ты мой, что там творилось, — пыль толщиной в палец, инструменты заржавели, любимый ее лыжный костюм почти начисто съеден молью. Она отдала ключи дворничихе и попросила привести на завтра все в порядок. Но ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю в мастерскую она не пришла — ее не тянуло туда.

Вообще она очень изменилась за эти месяцы. Стала рассудительнее, менее разговорчивой. В голосе появились новые нотки, которых раньше не было, — спокойно-приказательные, — и даже Луша, домашняя диктаторша, стала ей подчиняться. Кира Георгиевна перестала стричь и красить волосы, за это ее осудили некоторые ее приятельницы: «Что-то наша милая Кира Георгиевна стала опускаться, не следит за собой». Даже Николай Иванович как-то ей сказал: «А не слишком ли много у тебя волос стало? Или это мода такая?» «Да, мода», — коротко ответила Кира Георгиевна и даже не взглянула в зеркало.

На третий или четвертый день после своего приезда из Киева она написала письмо Вадиму. Письмо было короткое. В нем она сообщала, что решила остаться в Москве с Николаем Ивановичем и что, вероятнее всего, для них обоих лучше будет не встречаться. Сначала написала «пока», но потом старательно вычеркнула это слово. Ответа на письмо она не получила.

О событиях и днях, предшествовавших болезни, в доме почти не говорили. Кира Георгиевна была в Киеве, купалась, отдыхала, встретила там кое-кого из прежних друзей — вот и все. Рассказывая изредка о Киеве, она преимущественно говорила об архитектуре Крещатика и новом мосте через Днепр.

Как-то Николай Иванович спросил о Юрочке — что-то его давно не видно. Кира Георгиевна сказала, что он, кажется, в отъезде — то ли отпущен, то ли командировка. Больше о нем не вспоминали.

Так тихо, в домашних хлопотах и заботах, в доставании лекарств и вызове врачей прошли четыре месяца. Незаметно подкрался Новый год.

На шестом этаже большого дома на улице Немировича-Данченко в

этот день был только один гость — старичок врач, Никодим Сергеевич, старый холостяк, любитель тихих семейных вечеров. На столе стояла бутылка венгерского токая и крохотная фляжка настоящего ямайского рома, которую бог весть где достал Никодим Сергеевич в основном для самого себя — он любил экзотические напитки и уверял, что великолепно в них разбирается. Была, правда, еще и бутылка водки, но ее на стол не поставили, пить было некому.

Ровно в двенадцать часов все четверо чокнулись, каждый своим напитком — Луша и Николай Иванович вишневой наливкой, Кира Георгиевна вином, Никодим Сергеевич ромом, — и под звуки кремлевских курантов пожелали друг другу в новом году счастья, здоровья, успехов. Никодим Сергеевич произнес маленькую речь — он это тоже любил, — составленную очень витиевато и изящно. Он говорил о прошлом и будущем, об узах дружбы, самом прочном цементе человеческих отношений, об искусстве, скрашивающем тяготы жизни и возвышающем дух, и под конец, подняв крошечную рюмку с ромом, восславил веселящие кровь напитки, тут же оговорившись, что злоупотребление чем бы то ни было, особенно в определенном возрасте, приводит к пагубным последствиям. Кончил он свой тост какой-то длинной латинской фразой, которую Кира Георгиевна не поняла.

Все было очень мило и чинно. Зажгли маленькую елочку в углу на круглом столе, и сразу приятно запахло хвоей. Потом начались телефонные звонки. Их было много: все желали счастья, здоровья и успехов; особенно, конечно, здоровья, и Кира Георгиевна всем отвечала так же бодро и весело, хотя ей уже и надоело говорить одно и то же. «И вам также... Обязательно, обязательно... Пьем ваше здоровье... Николай Иванович? Великолепно! Напился так, что двух слов сказать не может... Большое спасибо... Да, главное, чтоб не было войны... Обнимаем... Всех, всех...»

Николай Иванович, развеселившись, потянулся было за вином, но Никодим Сергеевич воспротивился и (он любил приводить примеры) напомнил Николаю Ивановичу кинокартину «Машинист», которую оба очень любили. «Почему там так плохо кончилось? А вот именно потому-то...» Николай Иванович покорился.

Потом Никодим Сергеевич предложил сыграть в карты — это тоже была его слабость. Пригласили Лушу, великую преферансистку, взяли лист бумаги и сели за стол. Кира Георгиевна ненавидела преферанс, но что ей было делать — пришлось тоже сесть.

В начале второго опять зазвонил телефон.

— Ну, это уж гуляка какой-нибудь, — сказала Кира Георгиевна и сняла трубку. — Да?

Откуда-то очень издали раздался знакомый голос.

— Кира Георгиевна?

— Да...

— Это Юра говорит. — И после маленькой паузы: — Хочу поздравить вас с Новым годом.

— Юра? Юрочка? — Кира Георгиевна прикрыла дверь в столовую. — Алло! Тебя плохо слышно. Откуда ты говоришь?

Издали что-то донеслось, но Кира Георгиевна не расслышала.

— Не слышу. Откуда? Говори громче.

— Хочу поздравить вас с Новым годом...

— Спасибо, Юрочка. Тебя тоже... Приезжай к нам.

— Не могу... Я далеко... Звоню из автомата.

— Откуда?

— Из авто-ма-та...

— Вот черт! Ничего не слышно... Юрочка, ты слышишь меня?

— Слышу.

— Позвони мне завтра...

— Хорошо...

— Не забудешь? Обязательно позвони. С утра.

— Хорошо... Как Николай Иванович? Привет ему большой.

— Спасибо. Он тоже кланяется. Так не забудешь позвонить?

— Не забуду.

— С Новым годом тебя!

— Спасибо. До свиданья.

Кира Георгиевна повесила трубку.

— Это Юрочка звонил,— сказала она, входя в столовую.— Поздравлял всех нас с Новым годом. Звонил откуда-то издалека, не поняла откуда.

— А от нас ты ему передала привет? — спросил Николай Иванович.

— Конечно, а как же... Кстати, Никодим Сергеевич, а почему бы нам не прикончить ваш ром? Здесь все-таки встреча Нового года, а не игорный дом.— И она решительным движением спутала карты преферансистов.

19

На следующее утро Кира Георгиевна проснулась с радостным чувством, с каким просыпалась когда-то в детстве в день своего рождения. Проснешься рано-рано и долго не открываешь глаз — оттягиваешь удовольствие, счастливый миг, когда откроешь наконец глаза и увидишь на стуле, рядом с твоей кроватью, все то, что с вечера тебе приготовили и о чем, не переставая, думала последние две недели. И вообще, впереди такой длинный, интересный день, и все с тобой ласковы, милы, и ты тоже мила и ласкова, и будет вкусный обед, и вечером гости, хвост и опять подарки. Чудесный день...

Кира Георгиевна проснулась рано, хотя легли вчера около четырех — долго убирали со стола, мыли посуду, — приняла душ, растерлась сухим жестким полотенцем и сразу же принялась за завтрак. Луша ушла за покупками.

В девять она уже кормила Николая Ивановича.

— Пора, пора, нечего залеживаться.

Николай Иванович тоже чувствовал себя хорошо. И день был, как на заказ, — солнечный, морозный, с расцветшими за ночь узорами на окнах.

Попили кофе со свежими, только принесенными булочками. Николай Иванович просматривал газеты и в десять уже был на балконе. В этом отношении Кира Георгиевна была неумолима — воздух, воздух и воздух.

Первый телефонный звонок раздался в начале одиннадцатого. Звонил Мишка, который с женой напрашивался на обед. Кира Георгиевна сказала, что обед будет в три, ни минутой позже, и чтоб они не опаздывали. Потом звонил Никодим Сергеевич, осведомлялся о самочувствии Николая Ивановича, потом еще несколько друзей и только в одиннадцать позвонил Юрочка.

Кира Георгиевна все утро думала, где и как им встретиться. Зайти по старой памяти в «Арарат»? Новый год, не пробьешься. Может, сходить на «Балладу о солдате»? Все хвалят эту картину. А потом просто погулять и посидеть где-нибудь в не очень фешенебельном месте? Когда Юрочка позвонил, она все эти варианты вдруг позабыла и почему-то очень серьезным тоном сказала, что сегодня целый день работает, пусть приходит прямо в мастерскую часов так в шесть.

— Хорошо, приду,— донесся из трубки веселый голос Юрочки.— Вот только с ребятами тут малость...

В этом месте разговор был прерван. Дали Ленинград. Звонил и поздравлял с Новым годом двоюродный брат Николая Ивановича.

В половине третьего пришли Мишка с женой. Сразу стало шумно и беспорядочно. Мишка очень громко и смеясь больше остальных начал рассказывать анекдоты, потом стал доказывать Николаю Ивановичу что-то из области кибернетики, которую тот не знал и не хотел знать. Потом сели за стол.

В четыре Кира Георгиевна сказала, что Николаю Ивановичу надо ложиться, а ей идти в мастерскую, и гости, хотя без особой охоты, вынуждены были уйти.

Кира Георгиевна вышла вместе с ними.

— Часикам к восьми вернусь,— сказала она Николаю Ивановичу, целуя его в лоб.— Надо все-таки посмотреть, что там делается. И Панкратихе за уборку заплатить. Неловко все-таки, столько тяну.

— А ты не замерзнешь там?

— Нет, я звонила утром Родионо́вым, просила, чтоб там договорились с Семеном, пусть вытопит.

На дворе было морозно. Снег под ногами скрипел и искрился в воздухе крохотными блесками. Идти было приятно и весело.

Во дворе на Сивцевом Вражке ее сразу же поймала хозяйская Люська, как всегда заматанная до макушки.

— Ой, как вас давно не было! А у нас дом на углу снесли.

Действительно, маленький домишко на углу Плотникова снесли, а Кира в прошлый раз была и не заметила. Кроме того, Люська сообщила, что умер старик с желтой бородой из второй квартиры, а сын Михнярских, Бобка, женился и жена у него летчица. А сама она, Люська, принесла домой четверть, и в ней на этот раз ни одной тройки. За это ей купили ананас, вот такой величины, за сорок три рубля...

Мастерская сверкала идеальной, немислимой чистотой. Панкратиха поработала на славу. Пол был вымыт, занавески выстираны, а скатерть на столе оказалась вдруг розовой, хотя до сих пор была буро-коричневой. Даже развешанные по стенам маски Бетховена и Пушкина были старательно вымыты, отчего стали совсем уж безжизненными.

Последняя модель «Юности» стояла в углу и старательно была обмотана мокрыми тряпками, хотя это никому уже не было нужно. Кира Георгиевна сняла тряпки.

Скульптура ей не понравилась. Чего-то в ней не хватало. Все как будто на месте, а чего-то вот не хватает. Она прошла по мастерской. Плохо, все плохо. И колхозница, и раненый солдат, и Барбюс, и девочка с голубем. Плохо, плохо, плохо... Ощущение было такое, будто она рассматривает что-то сделанное много-много лет назад, и не ею, а кем-то другим.

Понравились ей только надгробие актрисы — очень низкий рельеф, профиль женщины на гладкой плите,— и еще маленькая группка из пластилина — парень и девушка, сидящие на скамейке. Все же остальное казалось холодным, мертвым, придуманным. И вдруг стало жалко, что не кончила Катюку. Какая славная у нее мордашка была. Вообще, прав Николай Иванович: самое важное — это лицо... Без лица скульптуры нет. Потому так хорош Антокольский. В его лицах всегда мысль. В Киве она долго стояла перед его Спинозой. Или гудоновский Вольтер со своей хитрой, лукавой улыбкой. Ей вспомнилась эта голова, глядевшая на нее с полуразваленного шкафа в алма-атинской берлоге Николая

Ивановича,— при перевозке ее разбили и до сих пор никак не могли найти хорошую копию. Господи, как все это давно было...

Кира Георгиевна вытащила из сумки пачку сигарет, закурила — дома надо было всегда выходить в переднюю, — легла на диван, подвинула блюдечко, служившее пепельницей.

Вольтер... Спиноза... Мысль... Кира Георгиевна невольно взглянула на стоявшую в углу «Юность». Зажгла крохотную лампочку в черном колпачке, которой обычно пользовалась, когда ночевала в мастерской. Она любила этот свет. Он создавал какие-то неестественные тени, и скульптуры от этого становились непохожими на себя. Иногда даже лучше.

Свет от лампочки осветил грудь и слегка откинутую голову юноши. Ему все ясно, этому юноше, все понятно, даже те неведомые дали, в которые он устремил свой твердый, не знающий сомнений взгляд. Вадим как-то сказал: «Вот уж с кем мне не хотелось бы ни работать, ни пить, так это с этим твоим долдоном». Она тогда возмутилась: «Глупо и неостроумно».

Да, глупо и неостроумно, думала она сейчас, глядя на скульптуру и вспоминая тот разговор. Глупо и неостроумно, потому что дурацкими своими шутками Вадим пытается опровергнуть то светлое и праздничное, к чему она стремится в своем искусстве. Да, светлое и праздничное, она не боится этих слов. Пусть ее скульптура не во всем удалась, это другой вопрос, она сама это видит, но разве дело тут в том, к чему она шла? Чепуха!

И тут Кира Георгиевна стала себя убеждать, что, может быть, именно потому и не получилась ее скульптура, что Вадим нарушил то приподнятое творческое состояние, в котором она находилась до его появления. Она ни в чем не винит его, упаси бог, так сложилась жизнь; но, трезво говоря, с его приходом настоящее творчество, то есть то, для чего она, Кира, живет, кончилось. И если сейчас она здесь и ждет Юрочку, ничего предосудительного в этом нет. Она хочет вернуться к тому творческому состоянию, в котором была летом, когда работалось так легко, весело, плодотворно. Надо вырваться наконец из заколдованного круга. Поэтому она здесь. Поэтому она ждет Юрочку. Она освободит и его, простого, хорошего, ясного, от приземленности и путаницы, куда его — она чувствует, знает — тащит Вадим.

И ей стало легче. Ей даже «Юность» уже не казалась такой плохой. Пусть лицо и не очень удалось, но это в конце концов парковая скульптура, а не психологический портрет, и если уж на то пошло, то ни Практитель, ни Фидий не ставили перед собой никакой другой задачи — об этом тоже хорошо говорил Николай Иванович, — кроме как показать красивое, гармонически развитое тело. Вот и она тоже...

Словом, надо работать. Работать, работать, работать!

В сенях кто-то затоптался, хлопнула наружная дверь. Кира Георгиевна вздрогнула, взглянула на часы. Двадцать минут шестого. Что-то рано. Но это была Панкратиха.

— Отдыхаем? Ну и отдыхай, отдыхай, правильно... С Новым годом тебя, с новым счастьем...

По всему видно было, что Панкратиха уже «поправилась»: маленькие глазки ее блестели, сухие щечки зарумянились.

— Ну как, хорошо я прибрала? Не узнать теперь мастерскую. — Она присела на самый краешек дивана и двумя пальцами вытерла уголки губ. — А сколько мусору было... Четыре мешка вынесла. А бутылочек, бутылочек... — Она весело причмокнула. — А одна целенькая была. Не тронула. Совесть имею. Вон туда, за окошко поставила, чтоб холодней была. Во-он, видишь?

— Вижу, вижу.— Кира Георгиевна стала искать сумочку, нашла, вынула деньги.— Это вам. И за уборку спасибо большое и с праздничком.

Панкратиха сунула деньги за пазуху.

— Тебе, доченька, спасибо. Чтоб год у тебя был хороший, веселый, чтоб деньжата не переводились. Это главное. Без них-то скучно, ох как скучно...— Она вздохнула, опять вытерла уголки губ.— А бутылочка-то в том углу у тебя завалилась, в старом барахле. Я ее вытерла аккуратненько — и за окошко. Чужого мне не надо. Чужое — это святое. Пусть стоит, думаю, на морозце, пригодится еще.

Панкратиха явно напрашивалась на угощение, но Кира Георгиевна делала вид, что не понимает. Панкратиха посидела еще минут пять, пожаловалась на невестку, на жильцов.

— Ну ладно, пойду уж,— вздохнула она, видя, что ничего не получается.— Внушек-то мой из армии приехал, тоже угостить надо.— Она встала и в последний раз, точно прощаясь, взглянула в сторону окна.— А ты кого ж, доченька, ждешь? Молоденького? Или того, что сдаля приехал? — И уж у самых дверей: — А муж-то твой, старичок, все еще хворает? Дай бог ему еще пожить, дай-то бог...

Панкратиха ушла. Кира Георгиевна по-прежнему сидела на диване.

Пушкин и Бетховен, мертвые, чистенькие и умытые, безучастно смотрели на нее со стен. И черная маска из Экваториальной Африки смотрела на нее. И Барбюс из-за гипсового плеча колхозницы. И пионерка с голубем. Только «Юность» смотрела в пространство, гордо закинув безжизненную голову.

«Кого ждешь? Молоденького? Или того, что сдаля приехал?..»

Бог ты мой, как все уже становилось гадким, утраченным в ее мыслях... Как красиво и убедительно звучало: искусство... работа... творческое состояние...

И вдруг все рухнуло.

Она сидит на этом диване вот уже битый час и ждет Юрочку, и пытается связать его приход с возвратом к искусству, а на самом деле она сидит и ждет Юрочку просто потому, что ждет его,— она не видела его полгода, она соскучилась по его курносой мальчишеской морде, и когда он вчера позвонил, ей сразу стало вдруг хорошо и весело, и весь сегодняшний день она чувствовала себя совсем другой, и сейчас он войдет, и от него будет пахнуть морозом, а не лекарствами, которыми она насквозь пропиталась за последние месяцы, и вообще, ничего не надо будет соображать, лгать, придумывать. Он войдет — и все. И они останутся вдвоем.

А потом...

Кира Георгиевна представила себе, как она вернется домой и веселым фальшивым голосом будет разговаривать с Николаем Ивановичем, разливать чай и спрашивать о самочувствии, и опять говорить об искусстве, о «Юности», обо всем том, что составляет, как она пытается себя убедить, весь смысл ее жизни, а на самом деле стало просто профессией, привычной профессией, дающей определенное положение, признание, а заодно и эту мастерскую, в которой она сейчас сидит и ждет, когда вернется к ней творческое состояние...

И Кире Георгиевне стало вдруг стыдно.

До сих пор, если говорить прямо, это очень мешающее жить чувство она как-то умела преодолевать. Она всегда оказывалась права. Всему находила оправдание. Пожалуй, с тех пор, как пришло первое письмо от Вадима. Прочтя тогда его кривые строчки о свободе, которую он ей дает, она впервые подавила в себе внутреннее чувство стыда. И стало легче. И с тех пор она всегда находила оправдания. И когда вышла замуж за Николая Ивановича. И когда появился Юрочка. И за-

тем Вадим. И когда Варя сказала ей: «Уезжайте»,— и она ответила, что никуда из Яресек не тронется... Может быть, только один-единственный раз она почувствовала нечто подобное тому, что испытывала сейчас,— стыд, который ничем не успокоишь. Это было в тот вечер, когда она явилась с шоколадным тортом к Дмоховским. Весь вечер ей было не по себе. В час ночи она стала прощаться с каким-то смешанным чувством облегченности и смущения. Наклонилась над Людмилой Васильевной, поцеловала ее.

— Вряд ли мы увидимся с тобой, Киля,— сказала тогда Людмила Васильевна, и Кира всю ночь видела потом эти глаза, черные, живые, умные, на старческом лице,— вряд ли мы увидимся с тобой, но на прощанье хочу тебе сказать то, что дозволено говорить только нам, старикам... Вот я умираю, мне жить осталось совсем недолго, но я умираю спокойно. Я всем могу смотреть в глаза прямо. Я прожила семьдесят девять лет, возможно, не раз ошибалась, но не сделала ничего такого, за что могла бы покраснеть.

Покраснеть... И это сказала ей старая, больная женщина, которую даже гитлеровцы не могли сломить.

Может быть, именно после этих слов Кира всю ночь тогда и не спала. А потом забыла... Или постаралась забыть.

За стеной пробило три раза. Кира посмотрела на часы. Было без четверти шесть.

Она старательно раздавила окурок о дно блюдечка. Встала, надела пальто, шарф. Порылась в сумочке, вынула оттуда мятый листок бумаги, начала что-то писать, потом скомкала, бросила листок на пол. Огляделась по сторонам, направилась к двери, но вспомнила, что не выключила плитку, которую всегда зажигала, чтоб было теплее, вернулась и выключила ее.

Выходя со двора на Сивцев Вражек, она то ли с надеждой, то ли с опаской взглянула налево, в сторону потонувшего в морозном мареве высотного здания — улица была пуста, только две кошки пробежали из одного парадного в другое,— и, свернув направо, через Плотников переулок вышла на Арбат. Начал идти снег, очень крупный и густой.

Первый раз в жизни Кира Георгиевна поступила не так, как ей этого сейчас хотелось.

Означало ли это что-нибудь? Сама она не могла еще на это ответить... Она знала только, что сюда, в эту мастерскую, где летом ей было так весело и хорошо, она вернется не скоро. И что весело и хорошо ей будет тоже не скоро.

Весь вечер надрывался телефон. Друзья поздравляли с Новым годом. Не позвонил только Юрочка. «Обиделся,— думала Кира Георгиевна, подавляя в себе разочарование и в то же время чувствуя гордость за свой решительный поступок.— Но что поделаешь, так надо».

Она не знала, что в мастерскую Юрочка не пришел. Он просто забыл.



РАСУЛ ГАМЗАТОВ

★

РАЗДУМЬЯ

* * *

Вершина далекая кажется близкою.
С подножья посмотришь — рукою подать,
Но снегом глубоким, тропой каменистою
Идешь и идешь, а конца не видать.

И наша работа нехитрою кажется,
А станешь над словом сидеть-ворожить —
Не свяжется строчка, и легче окажется
Взойти на вершину, чем песню сложить.

* * *

Хочбár не вымысел, не чей-то сон,
Герой существовал в былые лета,
Но он пришел к аварцам всех времен
Сказаньем неизвестного поэта.

Рожденный женщиной — умрет поэт,
Герой падет, и прах истлеет где-то.
Но будет жить на свете сотни лет
Свидетельство и вымысел поэта.

* * *

Э. Капиеву

На эту землю, где каким-то чудом
С тобой мы не встречались никогда,
Ты без меня явился ниоткуда,
Не подождав, ушел ты в никуда.

Но благодарно пред тобой склониться
Мне хочется за то, что в тишине
Я вновь листаю книг твоих страницы,
Как письма, адресованные мне.

* * *

В старину писали не спеша
Деды на кинжалах и кинжалами
То, что с помощью карандаша
Тщусь я выразить словами вялыми.

Деды на взлохмаченных конях
 В бой скакали, распрощавшись с милыми,
 И писали кровью на камнях
 То, что тщусь я написать чернилами.

* * *

Кажется мне:

 все тускнеет и старится.
 Все, что мне нравится, все, что не нравится.
 Все разрушается день ото дня,
 Все изменяется, кроме меня.

Жизнь отрезвляет нас время от времени.
 Возраст карает нас время от времени
 Болью, когда замечаешь ты вдруг,
 Как постарел твой ровесник и друг.

* * *

Опять дорога, мы всегда в пути.
 Я знаю, сколько прошагал и прожил.
 А сколько предстоит еще пройти,
 Не знаешь ты, и я не знаю тоже.

Опять дорога, вечно мы в пути.
 Я вижу цель. Она всего дороже.
 А суждено ли до нее дойти,
 Не знаешь ты, и я не знаю тоже.

* * *

Горной речки глупая вода,
 Здесь без влаги трескаются скалы,
 Почему же ты спешишь туда,
 Где и без тебя воды немало?

Сердце, сердце, мне с тобой беда.
 Что ты любящих любить не хочешь?
 Почему ты тянешься туда,
 Где с тобою мы нужны не очень?

* * *

Вот я у камина в доме дедовом,
 Где огня давно не зажигали.
 Кто когда-то здесь сидел-беседовал,
 Те сюда воротятся едва ли.

Но во тьме теплеют камни сонные,
 И садятся в полукруг мужчины,
 Памятью моею озаренные,
 Словно прежним пламенем камина.

* * *

Я вновь пришел сюда и сам не верю —
 Вот класс, где я учился первый год.
 Сейчас решусь, сейчас открою двери.
 Захватит дух, и сердце упадет.

И босоногий мальчик, мне знакомый,
Встав со скамьи, стоявшей в том году,
Навстречу побежит ко мне, седому...
И этой встречи я боюсь и жду.

* * *

Я у окна сижу дождливым днем.
За стеклами туман, на стеклах капли.
Дождь льет и льет, омыто все дождем:
Вдали хребты, вблизи дворы и сакли.

Не видимо за сеткою густой
Ни то, что далеко, ни то, что ближе.
Льет дождь, и, кроме жизни прожитой,
Закрыв глаза, я ничего не вижу.

* * *

Рокочут ручьи, и гремит водопад;
Вдалеке исчезая где-то,
Смеются потоки, и реки шумят,
Как подвыпившие поэты.

Зачем ты шумишь и смеешься, вода,
Навеки свой край покидая?
Я с печалью всегда, я молча всегда
Ухожу из родного края.

* * *

Замер орел неподвижный на небе,
Словно крылами весь мир он объемлет.
Руки пошире раскинуть и мне бы,
Всех вас обнять, населяющих землю.

Всех вас, живущих на этих просторах,
Всех, кто смеется, горюет и плачет.
Песни такие бы спеть, от которых
Камни становятся шерстью ягнячьей.

* * *

Я не видел каминов, где вечно огонь,
Огонь горит и не гаснет.
А в груди у меня — приложи ладонь —
Огонь горит и не гаснет.

Где мерцают огни и ночи и дни —
Не бывает такого селенья.
А в глазах у меня не гаснут огни
Моего родного селенья.

* * *

— Дайте мне отцовского коня,
Я скакать умею, слава богу!—
Я вскочил в седло, но конь меня
Сбросил, и упал я на дорогу.

— Тише, люди, я играть начну.
 Дайте мне пандур отца хвалений...—
 Только тронул пальцами струну,
 И струна оборвалась со звоном.

* * *

«Ранние гости недолго гостят»,—
 У нас говорят в народе.
 Любовь еще утром пришла в мой сад.
 Уж вечер — она не уходит.

— Я дал тебе, гостья, хлеб и вино,
 Скорей уходи, не мешкай!
 — Я не гостья твоя, я хозяйка давно,—
 Отвечает она с усмешкой.

* * *

Дети плачут, а мы не можем
 Внять их горю, понять — почему.
 Я сегодня горюю тоже,
 Отчего — и сам не пойму.

Что-то жалобно воет ветер,
 Дождик что-то не так идет,
 В небе солнце что-то не светит,
 У тебя что-то голос не тот.

* * *

— Что же молчишь ты, заброшенный дом,
 Или меня узнаешь ты с трудом?
 Дом, возведенный руками отца,
 Что своего не встречаешь птенца?

Камни сказали:
 — Пойми наконец,
 Что нам за радость, неумный птенец,
 Если под крышу родного гнезда
 Гостем ты на день влетишь иногда.

* * *

Люди, мы утром встаем, смеемся,
 Разве мы знаем, что день нам несет?
 День настает — мы клянем и клянемся.
 Смотришь — и вечер уже у ворот.

Наши сокровища — силу и смелость —
 День отбирает у нас, уходя.
 Звезды ночные — спокойная зрелость —
 Бурка, надетая после дождя.

* * *

Для чего мне золото и камни,
 Что навечно спрятаны в горах?
 И звезда на небе не нужна мне,
 Коль не светит, прячась в облаках.

Ты хоть много проживи, хоть мало,
Но тебе скажу я, не тая:
Если боль других твоей не стала,
Прожита напрасно жизнь твоя.

НАДПИСИ НА ДВЕРЯХ И ВОРОТАХ

* * *

Прохожий, не стучи, хозяев не буди,
Со злом пришел — уйди, с добром пришел — входи.

* * *

Здесь облегченье ты найдешь
Печалям и недугам.
Ты добрым гостем в дом войдешь,
Уйдешь хорошим другом.

* * *

Ни в ранний час, ни в поздний час
В дверь не стучать, друзья,—
И сердце отперто для вас
И дверь моя.

* * *

Стучите ночью и средь бела дня.
Стук гостя — это песня для меня.

* * *

И ночью к нам входи и днем.
А не придешь, так мы пойдем:
Боишься, что к тебе потом
И мы когда-нибудь придем.

НАДПИСИ НА КИНЖАЛАХ

* * *

Для вражеской груди —
Две грани лезвия.
Для дружеской руки —
Вот рукоять моя.

* * *

Приняв кинжал, запомни для начала:
Нет лучше ножен места для кинжала.

* * *

Чтоб владеть кинжалом, помни, друг,—
Голова куда нужнее рук.

* * *

Кинжал в руках глупца
 Нетерпелив.
 В руках у мудреца —
 Нетороплив.

* * *

Есть бритва для усов, а для дубов — топор.
 Не вынимай кинжал напрасно, житель гор.

НАДПИСИ НА БОКАЛАХ И РОГАХ

* * *

Наполни гостью рог,
 И два, и три, и пять,
 Чтоб высказать он мог
 Все, что хотел сказать.

* * *

Ну что ж, пусть славится вода,
 И честь ей и хвала!
 И все ж не для воды сюда
 Я взят со лба вола.

* * *

Кто пил вино — ушел, кто пьет — уйдет.
 Но разве тот бессмертен, кто не пьет?

* * *

Хоть ты и сам себе налил
 И, запершись, хлебнул,
 А все равно о том, что пил,
 Узнает весь аул.

* * *

Хвалю уменье пить вино!
 Для жизни, может быть,
 Ценней уменье лишь одно —
 Совсем его не пить.

* * *

Пить можно всем.
 Необходимо только
 Знать, где и с кем,
 За что, когда и сколько.

НАДПИСИ НА МОГИЛЬНЫХ КАМНЯХ

* * *

Он мудрецом не слыл
 И храбрецом не слыл,
 Но поклонись ему:
 Он человеком был.

* * *

Эй, трус, не радуйся, что пал
И спит в земле герой.
Свою винтовку и кинжал
Он не забрал с собой.

* * *

Не собрал ни казны, ни скота, ничего
Бедный горец, лежащий под этим холмом.
Где-то песни поют — это песни его.
Где-то песни поют — это песни о нем.

* * *

Как хочешь поступай живой,
Что хочешь говори,
Но на могильный камень мой
Нет-нет да посмотри.

* * *

Скитальцу не хватило сил...
Он спит в чужом краю.
Он родину свою любил,
Как любишь ты свою!

НАДПИСИ НА ОЧАГАХ И КАМИНАХ

* * *

Куда бы ни был брошен ты судьбой,
Мое тепло ты унесешь с собой.

* * *

И если мой огонь погас,
Жалейте не меня,
А тех, сидевших столько раз
У моего огня.

* * *

Былые песни вспомнишь тут,
У моего огня,
И новые к тебе придут
У моего огня.

* * *

Недаром начинаются
С детства, с очага
Сказки, что кончаются
Гибелью врага.

НАДПИСИ НА ПАНДУРЕ И ЧАГАНЕ

* * *

Я — чагана, я — не кинжал.
Но я сильнее кинжала:
Живых людей он убивал,
Я мертвых воскрешала.

* * *

Не я, пандур, пою. Поют, рождая звуки,
И радость и печаль, и встречи и разлуки.

* * *

Рождающая песню чагана
В горах Кавказа песней рождена.

* * *

Не понимаешь мой язык —
Меня не трогай.
Ступай, юнец ты иль старик,
Своей дорогой.

* * *

Ты друга потерял — меня возьми на грудь.
И я тебе на миг смогу его вернуть.

* * *

Уйдешь — меня не оставляй,
Я там, в чужом краю,
К тебе приближу отчий край
И хижину твою.

Перевел с аварского Н. Гребнев.



Е. ДРАБКИНА

★

ПОВЕСТЬ О НЕНАПИСАННОЙ КНИГЕ

Серебряная монета

Поезд резко затормозил. Послышался лязг буферов, в вагоне загремели чайники и котелки. Пламя «моргалика» — плошки с хлопковым маслом, в которую был погружен тоненький фитиль, — метнулось и чуть не погасло.

Все прислушались: может, тронется? Нет, стоит.

— Эй вы, в партере! — послышался голос с верхней полки. — Сходите поглядите, чего там стали?

— Сами сходите! — огрызнулись в «партере». — А то разлеглись, как богдыханы...

Дело происходило зимой 1920 года. Поезд шел из Ташкента. Он вез голодающей Москве рис, соль, хлопковое масло. Назывался поезд «маршрутным». Это значило, что весь состав следовал от станции отправления до станции назначения. Было в нем десятка два товарных вагонов и один классный — жесткий вагон, в котором ехали фельдъегерь, везший правительственную почту, охрана и несколько партийных и комсомольских работников. Этот вагон носил громкий титул «штабного».

Народу в нем набилось многовато, спали по очереди. Сразу сложился свой вагонный быт, пошли в ход прозвища и прибаутки. Нижние полки именовались партером, вторые — ложами, третьи — галеркой.

Из Ташкента наш состав вышел с тремя платформами, нагруженными кривыми ветвями саксаула.

До Оренбурга добрались быстро, на четвертые сутки. Но за это время сожгли весь саксаул.

И тут начались наши мучения!

Паровозу нужны дрова и вода. Но на одной станции не было дров, на другой — воды, на третьей — ни дров, ни воды.

Перегоны в этих местах большие. Топлива на перегон не хватало.

Дотянув до промежуточного разъезда, паровоз возвращался вспять на ту станцию, где имелись дрова. Потом, обогнав свой состав, отправлялся вперед, чтобы набрать воды. Потом снова возвращался к своему составу, успев за это время истратить половину дров и воды.

А кроме того, нас одолевали снежные заносы. И застрявшие на путях эшелоны, которые нужно было выручать, чтобы пройти самим.

Если препятствие было серьезным и мы задерживались надолго, машинист выпускал из котла горячую воду прямо на пути. Головную часть состава окутывали облака пара, потом пар оседал, и паровоз сначала обрастал ледяными сосульками, а часа два спустя превращался в бесформенную глыбу снега и льда.

Вооружившись лопатами и кирками, мы отправлялись на подмогу.

Кругом лежали приволжские степи, все было бело, только тень, отбрасываемая поездом, темнела на снегу. Кто-нибудь затягивал сложенную на этот случай песню:

Во поле составушка стояла...

Так — люли-люли стояла — мы застревали иногда на сутки, иногда и на двое... Наконец путь освобождался, паровоз разводил пары и мы трогались. Но у вагонов имелись буксы, которые норовили загореться, а паровоза — трубки, лопавшиеся в самую неподходящую минуту.

На больших станциях паровоз угоняли в депо, чтобы подремонтировать. По платформам бродили худые красноармейцы, выписавшиеся из госпиталей после ранений и тифа. На них были словно изжеванные шинели, в глубоких складках — след пребывания в дезинфекционных камерах.

До Самары мы добрались на тринадцатые сутки, до Москвы — на восемнадцатые.

Первым, кого мы увидели на вокзале в Москве, был бородатый дядя в залепленном снегом малахае. Он осведомился, откуда мы и сколько времени ехали.

Мы ответили.

— Эко быстро домахали, — сказал он. — Нонче с Казани по цельному месяцу ползут.

У вокзала мы с моим дружкой Павлушкой Волоховым наняли ручные санки, чтобы довести наш багаж. Хозяин санок впрягся коренником, а мы — пристяжными. Одолевая сугробы и наледи, мы дотянули санки до невысокого дома на Страстном бульваре, куда прежде всего держали путь.

С этим домом связана интересная история.

Осенью 1918 года было решено созвать съезд молодежных организаций Российской республики — он вошел в историю как Первый съезд комсомола. Для созыва съезда было создано оргбюро. Работало оно в здании Наркомпроса, на Остоженке, возле Крымского моста.

Сейчас, чтобы добраться из центра города до Крымского моста, нужно проехать две остановки в метро, затратив на это семь минут. Тогда нам приходилось путешествовать на своих на двоих, и на дорогу туда и обратно уходило часа полтора.

Ходили мы ходили, а потом решили просить, чтобы нам дали помещение поближе к центру. Отправились в Московский Совет, к Петру Гермогеновичу Смидовичу. Он выслушал нас, спросил, не нужно ли еще что-нибудь. Мы сказали, что неплохо бы получить хоть немного продуктов, а то у нас постоянно толчется приезжий народ, и его нечем кормить.

Петр Гермогенович взял школьную тетрадку в косую линейку, вырвал лист бумаги, аккуратно сложил его пополам, еще раз пополам, оторвал четвертушку (бумага была в остром дефиците) и написал записку такого содержания:

«Товарищ Захаров! Прошу отпустить Союзу молодежи для созыва Всероссийского съезда:

особняк (штук) — 1 (один)
чечевицы (мешков) — 2 (два)

П. Смидович».

Когда мы пришли к товарищу Захарову — это был работник хозяйственной части Московского Совета, — он отчаянно ругался со стоявшим перед ним человеком из-за какой-то пропавшей конской сбруи. Оторвавшись на секунду, чтобы нас выслушать, он небрежно сунул нам

написанный от руки перечень бесхозных особняков, буркнул: «Выбирайте, какой понравится», — и снова ринулся в перепалку по поводу сбрун.

Мы ткнули пальцем в первый попавшийся: Страстной бульвар, дом номер девять.

Долго стучали мы у ворот, но никто не отзывался. Казалось, дом покинут. И лишь когда мы начали трясти калитку, появился иссохший старик с торчащими из-под картуза клоچьями серо-седых волос.

Это был привратник. Владельцы дома бежали за границу, а он вместе с женой остался сторожить дом, ожидая их возвращения.

Когда мы показали ордер, он слабо прошамкал, что никого не пустит, и даже растопырил худые трясущиеся руки, чтобы преградить нам дорогу.

Может, мы обошлись бы с ним иначе, если б не побывали незадолго до этого в Художественном театре на «Вишневом саде».

— Вот чудище-то, — прошептал один из наших. — Прямо какой-то Фирс двадцатого века...

Велика сила искусства! Мы не только не предложили старику «прекратить канитель», но долго растолковывали ему, что ничего, мол, не поделаешь, придется нас впустить.

Наконец он сдался. Мы пробежались по пустому дому, облюбовали комнату с большим камином, перед которым лежали дрова, и отправились за нашим имуществом — несколькими папками бумаг, винтовками и чечевицей. Часа через два все было готово: винтовки поставлены в угол, бумаги разложены на столе, в камине разведен огонь, над огнем на чугунном крюке повешен солдатский котелок, в котором варилась чечевица. А мы тем временем самозабвенно предавались какому-то очередному спору.

Но тут послышались тяжелые, редкие шаги. Дверь без стука растворилась. На пороге стояла огромная женщина с белым отекившим лицом, похожим на кусок оплывшего на жару стеарина.

Грузно ступая налитыми водянкой ногами, женщина вошла в комнату и с ненавистью сказала:

— Ироды... Коли бог вас не покарал, дьявол проучит!..

Сказала и вышла.

Следом за ней приполз старик. На этот раз он был одет в поношенную ливрею с позументом. Пискливым голосом он торжественно объявил нам, что в этом доме было совершено «убийство», душа убитой бродит по коридорам, над домом лежит заклятье, и каждого, кто здесь поселится, неминуемо ждет мучительная смерть.

Подоплека этого рассказа была очевидна: старик пугал нас, чтобы выжить. И мы решили, что он попросту «заливает».

Но мы были неправы. Над домом действительно тяготела кровавая тайна.

Зимой 1850 года неподалеку от Ваганьковского кладбища был обнаружен лежавший в снегу труп нарядно одетой молодой женщины. Под волосами покойной зияла рана, нанесенная каким-то тяжелым предметом. Личность убитой установили быстро: это была француженка мадемуазель Симон-Деманш, любовница видного московского барина, богача, красавца Сухова-Кобылина, будущего драматурга.

Обыск на квартире Симон-Деманш ничего не дал. Зато при осмотре комнат Сухова-Кобылина, во флигеле принадлежавшего его роду дома номер девять по Страстному бульвару, на полу и на стенах обнаружили пятна крови, частью смытые или стертые.

Как ни страшно было убийство, еще страшнее оказалось тянувшееся семь лет «дело» об убийстве. Рядом с барином, с Сухово-Кобылиным, по этому «делу» проходили трагические фигуры его крепостных, нахо-

дившихся по барскому приказу в услужении у мадемуазель Симон-Деманш: две «дворовые женки» — Аграфена и Пелагея, повар Ефим и мальчик Галактион.

Хотя против них не было никаких улик, они были арестованы, подвергнуты пыткам, оговорили себя, были осуждены на пятнадцать—двадцать—двадцать пять лет каторги и клеймение через палача. Приговор был настолько необоснован, что семь лет спустя, по решению Сената, они были признаны «от всякой ответственности по предмету убийства Симон-Деманш свободными».

Старик привратник и его жена родились крепостными Сухово-Кобылиных и всю жизнь прожили в доме на Страстном бульваре. Конечно, они были наслышаны от дворни и об убийстве и о «деле». Но рабство настолько в них впиталось, что и теперь, когда господ не стало, они по-прежнему ютились в каморке под лестницей, умирали от голода и холода, но не притронулись ни к одной барской тряпке и с собачьей преданностью сторожили барское добро.

Мы жалели стариков. Вежливо с ними здоровались. Кололи для них дрова. Носили им чечевицу.

Но все было напрасно. На поклоны нам не отвечали, дрова и чечевицу возвращали, и каждый день в коридоре раздавались тяжелые шаги старухи, без стука растворялась дверь, из мрака выступали белое лицо и глаза, горящие волчьей злобой. Старуха проходила в комнату, осматривала какой-нибудь стул, или протирала зеркало над камином, или пересчитывала безделушки, расставленные в стеклянной горке, и удалялась, не проронив ни звука.

Обещанное привидение, однако, не показывалось. Лишь однажды мы обнаружили на стене темные красноватые пятна, неумело нанесенные жидкой кинovarью. Видимо, они должны были означать проступившую на стенах кровь убитой.

Мы сделали вид, что ничего не заметили, и прозвали наш дом «Замок Кровавой руки».

В этот самый «Замок» и направились мы с Павлушкой Волоховым, когда приехали из Ташкента в Москву, я — в командировку за инструкциями и литературой, он — чтобы поступить в художественное училище.

Центральный Комитет комсомола, или, как говорили тогда, «Цекамол», перешел к этому времени в другое помещение. Старик привратник и его жена умерли. В «Замке» комсомольцы устроили коммуны: все заработанное и полученное по карточкам поступало в общий котел и делилось поровну между коммунарами.

Наше появление в коммуне было встречено восторженным ревом, который превратился в нечто вроде овации, когда мы извлекли на свет божий наволочку с рисом и бутылку хлопкового масла. Посыпались обычные вопросы: «Где Оскар?», «Что делает Лазарь?», «Как живет Нина?» И ответы: «На Южном фронте», «На Восточном фронте», «Умерла от тифа».

В комнате было холодно, все сидели в пальто и шинелях. Дверь часто растворялась, одни входили, другие выходили. Увлеченная разговором, я не заметила, как вошел высокий человек в овчинном полушубке, и обернулась лишь тогда, когда ребята стали шумно раздвигать стулья, чтобы освободить для него место.

Я почувствовала его пристальный взгляд и посмотрела на него. Темная борода, опушившая щеки. Темные, беспорядочно рассыпавшиеся волосы... Нет, я его не знала... И вот только светлые, широко раскрытые глаза... Да это ж он!

— Рид! — завопила я, бросаясь к нему.— Джон Рид! Неужели вернулся?

— Конечно,— сказал Рид, смеясь.— Я должен был вернуться. Я же бросил в Неву серебряную монету. Помнишь?

Помнила ли я? Разумеется, помнила! И тот петроградский вечер, и мост через Неву, и светлую монету, летящую в черную воду, и Рида — такого, каким он был тогда. Помнила, несмотря на то, что со времени нашей последней встречи прошло около двух лет, а даже один год в жизни революции — это целая вечность.

В первый раз я увидела Рида осенью семнадцатого года в знаменитом цирке «Модерн», где наша партия в канун Октября чуть ли не ежевечерне устраивала митинги и собрания.

Было известно, что в этот вечер в «Модерне» будет выступать Володарский. Я и мои друзья пришли пораньше, чтобы захватить места.

Около меня сидел человек в серой куртке, из-под которой видна была рубаха с открытым воротом. Он озирался по сторонам, а иногда вставал, наверно, чтобы лучше все видеть.

Народ прибывал, становилось все теснее и теснее, нас плотно прижали друг к другу. Теперь мой сосед не пытался привстать, это было невозможно, и только, как птица, вертел головой на длинной, тонкой шее.

Сказали ли Володарскому, что на митинге присутствует американский журналист, или же это произошло случайно, но большой раздел своей речи он посвятил тому, что представляет собой буржуазная демократия вообще и американская в особенности.

Эту «свободу» Володарский знал хорошо: он работал на американской фабрике, бастовал вместе с американскими рабочими, сидел в американских тюрьмах.

— Да будет она тысячу раз проклята, такая свобода! — говорил он.— Ради нее нам незачем было начинать революцию!

Наверно, я забыла бы о своем случайном соседе по митингу, если бы не встретила его снова.

Было это уже в конце октября, когда события мчались непрерывным потоком, набегая одно на другое. Невозможно было понять, что сейчас — день или ночь.

Красногвардейские отряды уходили на борьбу с врагом — штурмовать Зимний, сражаться под Пулковом и Гатчиной против Керенского, помогать восставшим московским рабочим, биться с бандами Краснова.

Ленин выступал перед Вторым съездом Советов, он говорил о мире, о земле; солдат-ополченец, прислонясь к мраморной колонне, смотрел на Ленина неподвижным, полным тоски взглядом, по щекам солдата катились слезы.

В городе непрерывно слышалась стрельба; юнкера подняли мятеж; толпа, подстрекаемая провокаторами, громила винные склады; бойцы из охраны складов, перепившись, бродили по улицам с нанизанными на штыки краяхами хлеба. «Товарищи, за водку вы продаете свободу, ибо за водкой тянутся цепи рабства!» — кричал начальник красногвардейского отряда, посланного прекратить пьяные бесчинства. Красногвардейцы клином врезались в толпу, выбивали у бочек днища, вино лилось на землю; толпа выла, люди падали на четвереньки, сгребали пропитанную вином снежную жижу и, всхлипывая, сосали ее.

Интеллигенция объявила саботаж, учреждения — в том числе продовольственная управа — не работали; в городе хлеба было по самой голодной норме на два дня, у булочных с вечера вытягивались хвосты.

Ленин звал рабочих, солдат, крестьян, трудящихся: «Берите в сую

власть в руки своих Советов. Берегите, храните, как зеницу ока, землю, хлеб, фабрики, орудия, продукты, транспорт — все это отныне будет в седело вашим, общенародным достоянием».

На заводах вводили рабочий контроль. Саботажники революции вышли из состава Советского правительства. Германское командование дало согласие начать мирные переговоры, но в то же время стягивало войска, чтобы бросить их на Петроград, колыбель революции. На товарища Ленина было совершено первое покушение.

Известный публицист Михаил Осоргин, стоявший то ли на правом крыле левых партий, то ли на левом крыле правых партий, писал: «Пусть сгниют, истлеют, рассыплются листы истории от сегодняшних повестей, ей-ей не жалко! Пусть история потеряет — живые люди выиграют от этих вырванных страниц. И ангелы в небе не заплачут, и неродившиеся дети не ощутят в будущем утраты. Да и обидно было бы знать человеку, что он, уже перестав быть четвероруким, все же остался остролобой обезьяной со сближенными глазами и зерном мозга, достаточного лишь чтобы висеть на хвосте, чистить вареную картошку и пачкать «лозунгами» кровавые полосы истории».

Двое солдат добрались до Петрограда с Румынского фронта. Они принесли в Смольный небольшой серый холщовый мешок и во время заседания ВЦИКа положили его на стол перед Лениным; в мешке лежали собранные солдатами полка ценности, которые они пожертвовали на нужды социалистического Отечества: три золотых георгиевских креста, семьдесят четыре серебряных, сто две серебряные георгиевские медали, двадцать пять серебряных нательных крестов, шесть нательных крестов медных. «Никакой пощады врагам революции! — заявили солдаты от имени своих однополчан, находившихся на отрогах Карпат. — И да здравствует власть Советов!»

...Все быстрее сменялись события. И то здесь, то там появлялся мой случайный сосед по митингу в цирке «Модерн». Он внимательно вслушивался, вглядывался в проходивших мимо него усталых, счастливых, полных надежд и тревоги людей. Когда у него спрашивали документы, он предъявлял пропуск, который раскрывал перед ним все двери:

ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОН.

Комитет

при

ПЕТР. С. Р. и С. Д.

Комендантский отдел

16 ноября 1917 г.

№ 955

Смольный институт

ПРОПУСК

Дано мне Джону Рееду корресп.
амер. соц. прессы сроком по 1 декабря

на право свободного входа в
Смольный институт.

Комендант

Ф. Дзержинский

Делопроизводитель

В середине января 1918 года открылся Третий Всероссийский съезд Советов. Владимир Ильич Ленин начал свою речь на этом съезде словами: «Товарищи! От имени Совета Народных Комиссаров я должен представить вам доклад о деятельности его за 2 месяца и 15 дней, протекших со времени образования Советской власти и Советского правительства в России».

Семьдесят семь дней... Теперь это представляется ничтожным сроком, но тогда он казался грандиозным. Какое глубокое удовлетворение прозвучало в голосе Ленина, когда он напомнил съезду, что Советская

власть держится уже на пять дней дольше, чем Парижская коммуна 1871 года!

В конце первого заседания с приветственным словом от имени американских социалистов выступил Альберт Рис Вильямс. Он был тогда совсем молодым, его сине-голубые глаза ярко блестели, на макушке топорщился непокорный хохолок.

Вильямс сказал, что он увезет из России два важных урока. Первый урок состоит в том, что, когда пролетариат подымается на борьбу за свое существование, буржуазия должна сойти на нет, ибо не существует такой силы, которая могла бы противостоять натиску представителей труда. Второй урок гласит, что современный буржуазный парламентаризм отжил свой век и право на жизнь имеет лишь тот парламент, который русские рабочие выдвинули в процессе своей революционной борьбы,— Советы Рабочих, Солдатских и Крестьянских депутатов.

Потом слово было предоставлено товарищу Рейнштейну.

Русский революционер, большевик, человек с лицом умного, доброго учителя, Борис Рейнштейн в течение нескольких лет принимал деятельное участие в американском рабочем движении.

Негромким, глуховатым голосом он сказал, что в Америке буржуазия подготавливает нечто вроде устроенного в кайзеровской Германии суда над Карлом Либкнехтом. Выходящий в Нью-Йорке революционный журнал «Массы» насильственно закрыт, его сотрудники привлечены к судебной ответственности.

По залу прошел шелест.

— Здесь, среди нас,— продолжал Рейнштейн,— присутствует один из сотрудников этого журнала, который вместе с остальными должен предстать перед судом. Это товарищ Джон Рид. Ему предъявлены два обвинения: агитация против набора в войска и организация восстания в американской армии. Согласно американским законам ему угрожает приговор к сорока годам заключения в тюрьмах так называемой «свободной» Америки...

— Позор! — закричали в зале.— Позор!

— Товарищ Рид решил немедленно ехать в Америку,— сказал Рейнштейн.— Несмотря на грозящую ему опасность, он решил предстать перед судом. Но мы надеемся, что если случится худшее, если американские палачи осмелятся бросить товарища Рида в темницу, то найдутся в конце концов руки, которые освободят американских узников... А теперь ваше слово, товарищ Рид!

Рид быстро поднялся на трибуну. На лацкане его темного пиджака алел красный бантик. За последнее время Рид сильно похудел, и костюм стал ему широк. Его бледное лицо выдавало волнение.

Зал встретил Рида бурной овацией.

Первые несколько слов своей речи он произнес по-русски. Он говорил медленно, растягивая гласные и, как правило, ставя ударение на первом слоге.

— Тоуварищи,— начал он.— Я пришел сюда... дать клятву... великой русски революшон...

Слова его заглушил взрыв аплодисментов. Рид переждал. Он вытащил платок и вытер лицо и руки, потом заговорил по-английски.

Он говорил о глубоком удовлетворении и великих надеждах, которые рождает в нем сознание того, что победа пролетариата в одной из могущественнейших стран — в России — не сон, а действительность. Говорил о значении Советов как новой формы государства, о том, что Октябрьский переворот показал всю мощь, всю силу и непобедимость революции, которая не будет сломлена, к каким бы жестокостям и насилиям ни прибегали ее враги.

— Я наблюдал за всем ходом революционной творческой работы,— сказал Рид.— Я видел буржуазную тактику старого, меньшевистско-эсеровского ВЦИКа; я убедился, что за рухнувшими устоями капитализма народились два типа совершенно новых могучих организаций — Советы и фабрично-заводские комитеты. Я уверен, что люди, павшие под Пулковом, под Красным Селом, под Белгородом, отдали свою жизнь не напрасно. Почтим же память погибших товарищей минутой молчания...

Когда Рид снова заговорил, он перешел на русскую речь. Он написал заранее то, что хотел сказать, и старательно выговаривал слова, отчего его речь звучала с особенной торжественностью.

— Сейчас я отправляюсь в страну закоренелой реакции, в страну капитала,— сказал он.— И я обещаю вам, что расскажу американскому пролетариату обо всем, что происходит в революционной России. Я глубоко убежден, что правда о России найдет отклик в недрах угнетенных, эксплуатируемых масс, и даю вам торжественную клятву, что отдам все свои силы борьбе за социалистическую Америку, за революцию во всем мире.

«I take an oath...» («Я даю клятву...»),— сказал Рид по-английски, волнение перехватило ему горло, и он неожиданно покинул трибуну, провожаемый угрюмыми взглядами правой части зала, приветственными выкриками, аплодисментами, «Интернационалом», который пела левая половина зала, где сидели большевики.

Мы пришли на съезд втроем: Леня Петровский, Миша Глебов и я. К этому времени мы уже успели познакомиться с Ридом: Миша Глебов как-то привел его к нам в клуб Союза рабочей молодежи на спектакль, который мы давали силами нашего драматического кружка. Ставили мы пьесу о Парижской коммуне. Герои называли друг друга «гражданин Лемерсье» и «гражданка Волеклюз» и без конца произносили монологи, обращенные к небесам, к человечеству, к потомству.

Талантлива в нашем кружке была только Оля Маркова, завертщица с шоколадной фабрики «Жорж Борман».

Оля играла трагическую роль парижской работницы. Версальцы убивают ее сына, потом мужа. Удивительно передавала Оля муку женщины, потерявшей все самое дорогое. Сколько естественности было в ее быстром движении, когда она поднимала упавшую на землю винтовку мужа, чтобы занять его место на баррикаде.

Наверно, таким же движением год спустя, в бою против наступающих колчаковцев, Оля подхватила из рук убитого знаменосца красное знамя, прижала его к груди и бросилась вперед. К вечеру умиравшую Олю подобрали на поле боя. Пропитанное кровью, прилипшее к ранам знамя даже не пытались оторвать и похоронили вместе с Олей.

...Настал вечер премьеры. Маленький зал был полон. Начали с опозданием, так как исполнителя главной роли неожиданно вызвали в штаб Красной гвардии.

При помощи маминой юбки и буйного парика я обрела вид, который, по моим представлениям, соответствовал облику парижской коммунарки. Роль у меня была небольшая, но на протяжении всей пьесы я торчала на сцене и успела разглядеть во втором ряду справа Мишу Глебова, а рядом с ним того самого человека, которого я впервые повстречала на митинге в цирке «Модерн».

Быть может, от волнения мы играли лучше, чем на репетициях, быть может, играли так же плохо. Но публика была довольна. Нам шумно хлопали, женщины в положенных местах плакали, а в конце спектакля и артисты и зрители дружно пели «Интернационал». Потом Миша Гле-

бов вместе со своим спутником пришел за кулисы и представил его нам как американского социалиста Джона Рида.

В тот вечер зародилась дружба Рида с нашими питерскими, а потом и московскими молодыми ребятами — теми, кто были первыми комсомольцами.

У выхода из Таврического дворца, где заседал Третий съезд Советов, мы решили перехватить Рида. В последние дни мы с ним не виделись; о том, что он собирается в ближайшем будущем уехать в Америку, мы узнали только сейчас. Нам было и радостно за него и страшно. Миша посвистывал, разрывая снег носком сапога. Леня смотрел прямо перед собой, широко раскрыв черные глаза.

Вот на пороге показалась высокая фигура Рида. Мы его окликнули. Он нам обрадовался.

— Пойдемте вместе, — предложил он.

Мы пошли по Шпалерной, потом свернули на набережную Невы. С Финского залива дул слабый теплый ветер. Фонари не горели. На углу Литейного чернели развалины сожженного в дни Февральской революции здания Окружного суда.

По безмолвному уговору мы не задавали Риду вопросов ни о его отъезде, ни о его планах. Только я не выдержала и спросила, насколько серьезна угроза тюремного приговора. Он беспечно ответил, что если кого-нибудь хотят повесить, то всегда сумеют найти веревку.

Разговор шел о самых разных вещах. Велся он на той причудливой смеси английских, французских, немецких и русских слов, на которой мы обычно объяснялись с Ридом. Он знал около сотни русских слов, я с грехом пополам «парлевукала» по-французски, Миша Глебов изучал английский язык.

В ту зиму Нева то замерзала, то оттаивала. Мы стояли на широком плоском Литейном мосту, опершись на барьер и вглядываясь в смутный мрак. Перед нами лежала Выборгская сторона, где-то слева врезывался в зимнее небо высокий шпиль Петропавловской крепости.

И вдруг стало ужасно грустно. Рид это почувствовал.

— Не надо, — сказал он мягко. — Сейчас я буду делать колдовать и верни... вертай... вернуйся в Советски Рэшшен...

(Суффиксы русских глаголов не принадлежали к числу его сильных сторон.)

Он вытащил из кармана небольшую серебряную монету, поднял ее над головой, описал в воздухе несколько широких кругов и бросил в воду.

Было так тихо, что до нас донесся легкий всплеск.

На «индейской тропе»

Колдовство помогло: Рид снова приехал в Советскую Россию. После двухмесячного путешествия, полного опасностей, он в конце ноября 1919 года прибыл в Москву. Ему предложили поселиться в одной из гостиниц, в которых обычно останавливались приезжие иностранцы. Там хоть как-то топили, хоть как-то кормили. Но Рид отказался: он хотел жить общей жизнью с народом и снял поэтому комнату в рабочей семье на окраине Москвы.

Это была обычная комната тогдашней московской рабочей окраины — низкая, с подслеповатыми окнами, со стенами, оклеенными иллюстрациями из дореволюционной «Нивы». Среди иллюстраций было много портретов генералов и царедворцев. Хозяйские дети пририсовали им

зеленые и оранжевые усы и бороды, что придавало комнате особую живописность.

Кроме Рида, в этой комнате проживали еще три персонажа: мистер Примус, миссис Печка и мисс Ундервуд. Все они отравляли жизнь Рида и приходивших к нему товарищей.

Лидировала миссис Печка — небольшая железная дама из тех, что были известны тогда под именем «буржук».

Пока ее не трогали, она стояла холодная и вежливая. Но стоило положить в нее щепки и попытаться разжечь, как она начинала хрипеть, сипеть, плевать, изрыгать клубы дыма. Стоять или сидеть рядом с ней было невозможно. Затем наступал черед мистера Примуса. Мы наливали суррогат бензина в полукруглую чашечку, расположенную в нижней части горелки; мы зажигали эту жидкость; мы орудовали насосом; мы пели песню, прославлявшую мистера Примуса. Она была сложена в двух вариантах — русском и английском, — и каждая строфа ее заканчивалась припевом: «Донга-динга, взжиг, дом-дига-ду, пафф».

Рано или поздно враги наши бывали укрощены, в печке потрескивал огонь, над примусной горелкой голубел венчик чистого пламени, и мы усаживались за ужин: либо вареную картошку, либо подслащенную или подсолненную воду с мелко накрошенным хлебом.

И начинался разговор, который шел порой до утра. Рид рассказывал нам, мы — Риду. О чем угодно. Чаще всего — о виденном и пережитом. И хотя таких ночей мы провели не так уж много, но переговори и перечувствовали столько, что потом вспоминали о них, словно о тысяче и одной ночи.

Но тут произошло небольшое событие.

В самый разгар этих «разговорных ночей» Рид предложил мне пойти с ним на концерт. В зале Консерватории, как и всегда в ту зиму, стоял зверский холод, публика и исполнители не снимали шуб, шапок, перчаток.

Во время антракта мы вышли в фойе, и тут от группы людей, которые шли нам навстречу, отделилась изящная, стройная дама в черном пальто и сером пуховом платке, этакая красивая, оболстительная, злющенькая дама, сочетание гремучей змеи с малиновым вареньем.

— Хэлло, Рид, — окликнула дама.

Я хотела отойти, но Рид взял меня под руку, подчеркнув этим, что он не один.

Дама рассеянно мне кивнула и заговорила с Ридом.

Она говорила по-английски, очень быстро, так что я ее не понимала. Рид отвечал угрюмо, односложно. Ее интонации сначала были убеждающими, потом стали насмешливыми. Вдруг в поток ее быстрой речи ворвалась французская фраза: «*Vous voulez vivre à l'envers la légende de Cendrillon*» («Вы хотите прожить навыворот сказку о Золушке»). Снова посыпалась английская речь. Рид оборвал разговор.

— No, — сказал он. — No («Нет, нет»).

Провожая меня домой, он как-то нехотя сказал, что имеются люди, которые стараются сбить его с избранного им пути — борьбы в рядах рабочего класса. Говоря об этом, он употребил английское выражение «*In single Indian file*», которое я не поняла, и ему пришлось мне его объяснить. В буквальном переводе оно означает, что он решил идти всю свою жизнь по «индейской тропе» с рабочим классом, то есть ступая след в след. И вот эти люди пытаются уговорить его, чтобы он свернул с этой «индейской тропы» и вернулся на тропу своего класса. Но этого не будет никогда!

Этот разговор был для меня полной неожиданностью.

До сих пор я относилась к Риду, как ко всем товарищам: такой же коммунист, как и мы, только американец. И все!

Да и можно ли было относиться к нему иначе? Во всяком случае, сам он не давал для этого никакого повода: вместе с нами он голодал и холодал, вместе топил печку, вместе хлебал тюрю из хлеба с водой, вместе работал на субботниках.

Отправляясь на субботник, он, как и мы, вскидывал лопату на плечо, словно винтовку; подымая тяжелые бревна, произносил нараспев «раз-два, взяли»; вместе с нами разгребал груды старого железа — стружек, обрезков, ржавых труб и прочего металлического хлама; выпрямлял гвозди, ударяя молотком то по гвоздю, то по собственным пальцам; распевал сложенные на предмет субботников частушки: «Эй, ребята, понатужим, мы себе трудом послужим... Мы за нашу за работку заработаем селедку...» И так далее в том же роде.

Но женщина с чужим, недобрим лицом вдруг открыла мне, что Рид — человек из другого мира.

Какого?

В тот вечер впервые возник передо мной вопрос: кто же такой Джон Рид? Почему он с нами? Что заставило его приехать в Советскую Россию?

Много лет с тех пор я думаю о Риде, о жизни, которую он прожил, о книгах, которые он написал, о наших встречах с ним в семнадцатом и двадцатом годах. Разумеется, это не значит, что я думаю о нем постоянно, изо дня в день. Бывает, что я не вспоминаю о нем годами. Но вдруг какое-то слово, чье-то имя или название города, обрывок песни, заданный мне на собрании вопрос: как и почему человек становится героем, сообщение о забастовке в Питтсбурге или в Чикаго, картина мексиканского художника, новый поворот в отношениях между Советским Союзом и Соединенными Штатами, а то и просто звук железа, ударившегося о камень, или запах дыма, или вкус холодной воды, или чувство голода, или ночной туман, низкий домик, засыпанный снегом, красноватый колеблющийся свет в окне и неясные голоса прохожих — все это вдруг поднимает мысли о Риде.

За эти годы я прочла многое, написанное самим Ридом, прочла и то, что рассказывают о нем другие. Но чем больше я узнаю Рида, тем меньше знаю об этом необыкновенном человеке, который родился в богатой семье на Дальнем Западе Соединенных Штатов Америки, а похоронен в Москве, у Кремлевской стены.

Казалось, судьба предназначила его для неомраченного счастья; англичане говорят о таких людях, что они родились с серебряной ложкой во рту. Всесторонняя одаренность. Прекрасная внешность. Высокое общественное положение. Материальный достаток. Буква «М», образованная на ладони линиями руки, что по американской примете сулит много «Money» — денег.

Та же судьба назначила ему стать выпускником фешенебельной средней школы в Мористауне, а затем аристократического Гарвардского университета — питомника, в котором выращивают американских бизнесменов, заправил корпораций, юристов, руководителей газетных трестов, законодателей и даже президентов Соединенных Штатов Америки.

Рид мог стать среди них одним из наиболее преуспевающих. Но не пожелал. Быть может, то, что я о нем знаю и помню, хоть немного поможет понять, почему он ушел из их клана.

Например, его рассказ о лесорубах. Мы услышали его от Рида после субботника, на котором разгрузали дрова.

Рид родился и провел детство в городе Портленде, в штате Орегон — там, где течет река Колумбия, где на западе грохочет Тихий океан, а на востоке вздымаются Каскадные и Скалистые горы, покрытые хвойными лесами.

В те далекие времена, когда Рид ходил в коротких штанишках и назывался не Джоном, а уменьшительным именем Джек, рубка леса, вывоз леса и продажа леса были основой экономики Портленда. Все лето в горах раздавался стук топора, черные толстые бревна, ныряя и кувыряясь, неслись вниз по реке; они подпрыгивали на водопадах, образовывали заторы в ущельях, и сплащики, обутые в подкованные сапоги, расталкивали их баграми.

Осенью, когда на побережье бывало еще тепло, в горах уже наступали холода, и из-за глубокого снега работать в лесу становилось невозможным. Тогда лесорубы спускались в Портленд.

Все это были горлопаны, забияки, драчуны. Шумной ватагой проходили они по улицам города, вваливались в салуны, окружали расставленные под вязами, накрытые всякой снедью столы, уплетали румяные ломти жареного бекона, пили любую бурду, лишь бы она пахла спиртом, орали, спорили, хвастали.

— Недавно я срубил дерево, — орал прославленный враль, — такое высокое, что для того, чтобы увидеть его вершину, понадобились двое взрослых мужчин и мальчик. Сначала смотрел-смотрел-смотрел первый мужчина; когда он устал, с того места, до которого он досмотрел, начал смотреть второй мужчина; а когда и этот устал, принялся смотреть мальчишка. И вот он-то, мальчишка, и увидел вершину...

— Это что! — перебивал его второй враль. — Вот я срубил дерево, так это дерево! От него отлетела щепка — не особенно большая, но порядочная, — и я выдолбил из этой щепки лодку для моего паренька и принес домой как раз тогда, когда моя старуха мыла пол. Так у этого дерева оказалась древесина такой плавучести, что, когда я поставил лодку на только что вымытый пол, она поплыла по нему, как по океану...

— Подумаешь, невидаль, — врывался третий. — Куда вашим деревьям до моего! Оно было не слишком высокое, да и не чересчур толстое, но стоит выпилить из него доску и три раза стукнуть по свинье, как доска превращается в покрытую щетиной одежную щетку, а свинья — в готовые отбивные!

...Но очень скоро доллары переставали брэнчать в карманах лесорубов, угар первых дней вынужденного безделья рассеивался — и тогда Джек узнавал, что работать лесорубам приходится под дождем и снегом, что компания платит им гроши, да и те бонами в хозяйскую лавку, в которой нельзя купить ничего, кроме бобов и червивой солонины; что бараки, стоящие посреди высоких гор, на берегах чистых озер и бурных рек, переполнены сверх всякой меры, мокрая одежда сушится тут же, у печи, воздух тяжелый, под потолком чадит керосиновая лампа — одна на весь барак; поэтому они, лесорубы, почти все холосты и бездомны и все их имущество помещается в узелке из носового платка; даже в лучшие времена лесоруб по два-три раза в году остается без работы, а пила и топор не только пилят и рубят деревья, но и отхватывают пальцы и руки, и тому, у кого вместо рук покрытые багровыми шрамами культяпки, остается только одно: сунуть голову в петлю и выбить табуретку из-под ног.

И тут лесорубы вспоминали о Поле Бениане — и Джек Рид слушал их рассказы о Великом, Смелом, Бесстрашном Поле Бениане, покровителе лесорубов, одним из тех героев, которые живут в песнях и легендах, а больше всего в мечтах народа.

Поль Бениан не боялся ни бога, ни черта, ни Уиргейзера, этого проклятого Фредерика Уиргейзера, мошенника Уиргейзера, кровососа Уиргейзера, жулика Уиргейзера, скупившего за бесценно миллионы акров девственного леса от Миннесоты до Пэджет Соунда и, подобно таинственному осьминогу, высасывавшего соки из людей и из деревьев.

А потом, много лет спустя, когда Рид был Джеком только для своих близких, а для всех стал Джоном и уехал на Восток, до него дошли вести о первых стачках лесорубов, в которых принимали участие и те, кто рубил короткие бревна в Скалистых горах, и те, кто сплавлял длинные деревья по порожистым рекам Каскадных гор. Это были храбрые люди, готовые бороться до конца, но на стороне Уиргейзера и других фанерных и лесных королей стояли и войска, и полиция, и судьи. Руководителей стачек бросали в тюрьмы, избивали, расстреливали, а одного сожгли в тюрьме заживо, и, чтобы искоренить дух мятежа, Уиргейзер совместно с желтыми профсоюзниками создал организацию, называвшуюся «Четыре Л», — Лояльный Легион Лесорубов и Лесопромышленников, — и легионеры помогали Уиргейзеру избивать стачечников и бросать в тюрьмы «красных»; и лесорубы по-прежнему жили в вонючих бараках, получали гроши, да и те бонами в хозяйскую лавку, а когда вместо рук у них оставались багровые культяпки, совали голову в петлю и вышибали табуретку из-под ног.

Таков рассказ о лесорубах. А вот другой — психологический. Услышала я его от Рида летом 1920 года, во время Второго конгресса Коминтерна, после заседания, на котором между Лениным и итальянским делегатом Сератти возник спор о том, можно ли определить искренность человека, не располагая «синсерометром» — «аппаратом для измерения искренности».

Помню, мы шли по берегу Москвы-реки, цвела липа, Рид задумчиво вертел в руках зеленую ветку, а потом вдруг заговорил о том времени, когда он приехал в Бостон, чтобы поступить в Гарвардский университет, и, как положено провинциалу с «дикого Запада», усердно принял за изучение достопримечательностей города. С детства он был наслышан о роли Новой Англии в борьбе за независимость и в войне между Севером и Югом, и Бостон и Филадельфия были в его представлении центрами чистой, благородной и самоотверженной мысли.

Он осмотрел дом, в котором была подписана Декларация независимости, и выгон, ставший полем первой битвы за свободу, и памятники героям освободительной борьбы, в том числе памятник Петеру Салему — негру, который был первым американцем, отдавшим жизнь за освобождение Соединенных Штатов от британского владычества.

Примерно тогда же Рид впервые услышал о семействах Каботов и Лоджей, и поныне заправляющих Бостоном. В отличие от Монтеки и Капулетти Каботы и Лоджи не враждуют между собой. Больше того: как утверждает популярная в Бостоне шутка, Каботы разговаривают только с Лоджами, а Лоджи — с господом богом.

И вот вышло так, что Рид познакомился с отпрыском этих семейств. Звали его то ли Джим, то ли Генри, то ли Гарри, то ли Тэд, то ли Кабот, а может, Лодж, а может, Кабот-Лодж. Он был студентом Гарвардского университета, состоял в той же футбольной команде, что и Рид, и Рид вместе с этим самым Джимом-Генри-Гарри-Тэдом делал разминку, гонял мяч по полю, ездил на матчи в Йель, чтобы сразиться с тамошней футбольной командой. И хотя этот Джим-Генри-Гарри-Тэд был довольно противным пшютом, Рид относился к нему, как к товарищу по команде.

Но однажды, когда они гурьбой шли по улице, Рида резанул голос Джима-Генри-Гарри-Тэда, который на изысканном бостонском диалек-

те — с протяжным «а» и едва слышным «р» — крикнул повстречавшемуся им негру: «Эй ты, Миссисипи! Проваливай с дороги, черномазая скотина!» И Риду захотелось сыграть с этим Каботом (а может быть, Лоджем) злую шутку, которая вывернула бы наружу нутро этого молодчика.

Он быстро нашел себе сообщников и как-то в присутствии Джима-Генри-Гарри-Тэда заявил, что расскажет сейчас невероятно, исключительно, феноменально забавную историю.

— Суть была в том, — говорил мне Рид, — что эта история не только не была смешна, напротив, это была самая тягучая, самая нудная история, какую только можно придумать. Она была до того скучна, что у моей черной кошки, пока она ее слушала, шкура из черной стала зеленой. По уговору, мы все делали вид, что надрываемся от хохота, и вместе с нами хохотал этот проклятый Кабот-Лодж — не потому, что ему было смешно, не из какой-нибудь там вежливости, а потому, что раз все смеются, он считал нужным делать вид, что и ему тоже смешно, он смеялся потому, что в его жилах течет ханжеская, фарисейская кровь Каботов и Лоджей, лицемерных негодяев от первого до последнего. Вся эта гнусь обязана своим возвышением «треугольной торговле!» — воскликнул Рид.

И он рассказал мне, что в то время, когда Петер Салем и его братья сражались за свободу Америки, Каботы, Лоджи и прочие достопочтенные пуритане из Новой Англии отправляли к берегам Африки корабли за товаром, который они на своем жаргоне называли «черным деревом». Там, в Африке, наемники Каботов и Лоджей выкатывали бочки с ромом, выменивали этот ром на негров, а то и просто нападали на африканские деревни и устраивали охоту за чернокожими; потом негров, скованных попарно — правая нога к левой ноге соседа, правая рука к левой руке, — загоняли на корабли, набивая ими трюмы и палубы так, что, по выражению современника, они занимали меньше места, чем мертвое тело в гробу, и везли в Америку, сбывали плантаторам в Виргинии, Мэриленде, Джорджии, Каролине, получая за проданных рабов сахар-сырец; этот сырец они везли в Новую Англию, там гнали из него ром, этот ром везли в Африку — и вся операция начиналась сначала. И хотя чуть ли не половина негров погибала в пути, эта «треугольная торговля» с каждым туром приносила достопочтенным пуританам из Новой Англии — и в их числе родоначальнику династии Каботов-Лоджей, Джорджу Кабот-Лоджу, которого они прозвали «Великим», — все больше и больше ба-рышей.

В следующем рассказе, слышанном мной от Рида, фигурирует газовый рожок. Поэтому, хотя и не совсем точно, назовем его рассказом о газовом рожке.

Весной 1913 года в городе Патерсоне (штат Нью-Джерси) вспыхнула стачка двадцати пяти тысяч рабочих шелкоткацких фабрик. Рид, который уже окончил Гарвардский университет, жил в Нью-Йорке и работал помощником редактора журнала «Америкэн мэгэзин», поехал в Патерсон, чтобы на месте ознакомиться с происходившими там событиями.

В написанном по свежим следам очерке «Война в Патерсоне» Рид рассказал о мрачных, холодных улицах города, безлюдных в ранний утренний час, пока на них не появилась группа полицейских с дубинками под мышкой. О первых рабочих, шедших, подняв воротники пальто и засунув руки в карманы, которых он обогнал по дороге к фабричному району. О пикетчиках, патрулировавших под дождем перед тянувшимися на много кварталов зданиями шелкоткацких фабрик. О появлении злых,

небритых полицейских, грубо расталкивавших стоявших у фабричных зданий рабочих. О нарастающем озлоблении толпы, которая сначала была довольно добродушно настроена — люди перекидывались шутками, — но потом никто уже не смеялся, все стояли, сжав кулаки, а полицейские, ища повод, чтобы устроить побоище, придрались к Риду и велели ему убираться прочь с этой улицы, а когда он отказался, арестовали его, препроводили в суд, и судья Кэрролл — человек с умным, жестоким, неумолимым лицом, — выслушав полицейского Маккормика, наворотившего хитроумнейшее сплетение лжи, вынес приговор: «Джон Рид — двадцать дней».

Так Рид попал в окружную тюрьму, где его подвергли обыску. Потом распахнулась решетчатая дверь, и он очутился в огромном помещении, куда выходило три яруса камер. Там, в этой тюрьме, Рид сидел в общей камере со стачечниками. Среди них были рабочие всех национальностей: итальянцы, англичане, русские, литовцы, французы, евреи, ирландцы, поляки. Рид спал вместе с ними, слушал их рассказы, восхищался мужеством этих людей, из которых ни один не выказывал разочарования, сомнений или страха.

Обо всем этом рассказал Рид в очерке «Война в Патерсоне», но он ни словом не обмолвился об отклоненном им предложении редактора о досрочном освобождении; ни о газовом рожке, вделанном в стену камеры газового рожка, от которого по камере разбежались дрожащие голубоватые тени и который негромко, но беспрерывно посвистывал назойливым, выматывающим душу свистом.

Люди, сидевшие с Ридом, не замечали этого свиста. Они хлебали тюремную баланду, смеялись, пели, разговаривали — и он вместе с ними хлебал баланду, разговаривал, смеялся и пел, но в то же время ни на секунду, ни во сне, ни наяву, не переставал слышать посвистывание газового рожка. Казалось, один человек в нем живет общей жизнью со своими сокамерниками, а второй не чувствует и не замечает ничего, кроме посвистывания газового рожка.

— Сначала я жалел этого второго, эту дрянную, хлипкую тряпку, мучившуюся от свиста рожка, — рассказывал нам Рид. — А потом я его возненавидел. И когда вернулся в Нью-Йорк, в свою квартиру на Пятой авеню, я установил у себя в спальне рожок, который свистел почише тюремного, и убрал его только тогда, когда перестал его замечать.

Об этой квартире на Пятой авеню Рид упомянул при нас только однажды, в связи с рассказом о газовом рожке. Так же только раз вспомнил он и о женщине, которая была его подругой, когда он жил там, на Пятой авеню.

У нас тогда вспыхнул спор о мужестве — суматошный и бестолковый, как и все такие споры. Речь шла о том, можно ли считать мужеством действия, внешне храбрые, но не оправданные целесообразностью. Кто-то доказывал, что единственной мерой является самый поступок. Рид возражал и рассказал нам историю, в которой фигурировал балкон над береговым обрывом у моря, двое мужчин — он сам, его друг и соперник — и женщина, которая лежала в шезлонге и стравливала их, как петухов (я почему-то решила, что это была та самая женщина, которую мы встретили в Консерватории, но это было не так). И когда они обозлились друг на друга, женщина ленивым голосом сказала, что если ее рыцари действительно таковы, какими себя изображают, пусть докажут это, пройдясь по узкому барьеру балкона, под которым зияла пропасть. Рид, не задумываясь, вскочил на барьер и пробежал по нему.

Он рассказывал об этом, подтрунивая и над собой и над женщиной, которая повторила другую обольстительницу, задолго до того высмеян-

ную Шиллером. Но я взорвалась. Моему комсомольскому негодованию не было предела. Как? Рисковать своей жизнью ради забавы какой-то буржуйки?!

Я все это выпалила. Рид с недоумением посмотрел на меня.

— Но я же был тогда другим человеком,— сказал он.— Я же не был тогда марксистом...

Эти слова для Рида не случайны. Он всегда разграничивал себя «прежнего» и себя «теперешнего», живущего по иной логике чувств и целей.

Но кто-то справедливо заметил, что каждый взрослый человек является сыном ребенка. Так «новый» Рид, Рид двадцатого года, был сыном «прежнего» Рида. И, не поняв того Рида, нельзя понять и этого.

«Прежний» Рид, окончив в 1910 году Гарвардский университет, совершил увлекательное путешествие по Европе и поселился в Нью-Йорке, в набитом художниками, драматургами, юными поэтами, музыкантами доме на Вашингтон-сквер, где жил также Линкольн Стеффенс.

В своей автобиографии Стеффенс посвящает несколько страниц веселому, опьяненному жизнью Риду, который посреди ночи вваливался в комнату Стеффенса и будил его, чтобы рассказать о «самой удивительной штуке в мире», которую он только что видел, слышал, проделал; все оживало в его рассказах — любой человек, любая идея; все казалось ему «самым удивительным в мире».

Рид работал тогда в полусоциалистическом журнале «Массы». Объясняя нам, что это был за журнал и каким был в то время он сам, Рид придвинул к себе лежавшую на столе палитру акварельных красок, развел в воде немного кармина, нанес мазок на бумагу, посмотрел, добавил еще воды — получилось бледное, расплывчатое розоватое пятно.

— Я был таким,— сказал Рид.

Тогда же Рид встретился с Мэйбл Додж, «женщиной с балкона», влюбился в нее, стал ее возлюбленным. По словам Стеффенса, она была изысканна, богата, хороша собой и держалась так, словно грубая земная жизнь ей чужда; поклонники называли ее «срезанным цветком». Она жила в старинном доме на Пятой авеню и устроила в нем литературно-артистический салон. Его завсегдатаями были люди самых различных и даже противоположных общественных слоев: богачи и бедняки, лидеры забастовщиков и штрейкбрехеры, музыканты, журналисты, издатели, светские щеголи. В нем говорили об анархизме, Фрейде, психоанализе, о четвертом измерении, пятом колесе, шестом чувстве — и обо всем интересно, живо, с воодушевлением, которое подогревалось отличным ужином, тонкими винами, продуманным уютом великолепно обставленного дома. Словом, «красивая жизнь», что надо.

И от этой жизни Рид ушел.

Почему?

Началось, видимо, с Патерсона.

Собственно, в самой поездке Рида в Патерсон не было ничего, выходящего за рамки дозволенного в салоне Мэйбл Додж: радикализм в то время был в моде, стачки тоже в моде, стачка в Патерсоне в особенной моде, — и когда красивый молодой возлюбленный Мэйбл вернулся из Патерсона, усталый после перенесенных им испытаний, салон Мэйбл стал еще более модным, нежели прежде.

Этот салон поддержал Рида и тогда, когда он под впечатлением слов одного из стачечников, что «жизнь без труда — грабеж, а жизнь без искусства — варварство», решил показать Нью-Йорку стачку такой, какой она была, в вещной, зримой форме, и устроил массовое представление, в котором участвовали сами стачечники.

Около месяца Рид мотался между Нью-Йорком и Нью-Джерси; не имея в кармане ни цента, он снял самый большой зал в Нью-Йорке, сочинил пьесу, придумывал мизансцены, помогал рисовать декорации, днем добывал деньги, вечером и ночью с мегафоном в руках обучал ткачей, массами прибывших из Патерсона, тому, что они должны будут делать во время представления.

И вот в солнечный воскресный день после полудня тысяча двести стачечников перешли через Гудзон и направились в Мэдисон-сквер, где уже были установлены декорации, изображавшие панораму шелкоткацких фабрик. В представлении последовательно разворачивались картины самой стачки: ее начало, когда рабочие, крича, смеясь и толкаясь, выбегали из ворот фабрики; потом нападение полиции; убийство стачечника Модестино, похороны убитого. На сцену вынесли гроб, за которым следовали стачечники, певшие похоронный марш. Гроб опустили посреди сцены, товарищи погибшего положили на него зеленые ветви и красные гвоздики, у гроба выступили подлинные руководители стачки — Элизабет Гарли Флинн (ныне председатель Национального Комитета Коммунистической партии США), Карло Треска и Билл Хейвуд. Представление закончилось «Интернационалом», который пели и участники представления и публика.

Огни рампы погасли — и вместе с ними погас интерес салона Мэйбл Додж к событиям в Патерсоне. Пусть стачечники продолжают свою неравную борьбу — Мэйбл устала, она хочет провести лето в Италии.

Рид поехал в Италию вместе с Мэйбл и ее свитой. Он не понял, что события в Патерсоне и все, что с ними связано, являются рубежом в его жизни. На встревоженное письмо матери, до которой дошли слухи, что он стал социалистом, он отвечал: «Я в такой же мере социалист, в какой сторонник епископальной церкви. Я знаю, что мое призвание состоит в том, чтобы объяснять жизнь и жить этой жизнью — безразлично где, внутри ли рабочего движения или же за его пределами».

Рассказывая нам об этом периоде своей жизни, Рид говорил:

— В то время в голове у меня была каша. Людей, которые утверждали, что к социализму ведет только путь непримиримой классовой борьбы, я считал узкими доктринерами. Мне этот путь представлялся чем-то вроде истоптанной бесчисленными тропинками дороги к коровьему броду. Пусть социалисты идут своей тропинкой, а я буду идти своей — и где-то у воды мы встретимся.

Рид вернулся из Италии, уверенный, что будет, как и прежде, жить в модернизированной на американский лад «башне из слоновой кости». Но оказалось, что это невозможно. Было в нем нечто, что уже заставило его порвать с Америкой Каботов и Лоджей, а теперь увлекало прочь от интеллектуальных снобов — прочь, прочь, на «индейскую тропу» рабочего класса.

Но ему предстояло пережить еще многое. В частности, встречу с восставшей Мексикой.

Летом 1920 года группа работников Коминтерна — в том числе представитель Коммунистической партии США Джон Рид — ехала из Москвы в Баку, где должен был состояться Первый съезд народов Востока. Я входила в группу молодых, которым поручено было организовать на съезде юношескую секцию.

Было это в конце августа. Поезд медленно тащился на юг. За дымной легкой пеленой лежали поля Украины. В белесом небе плыло солнце — такое круглое и красное, словно его нарисовала рука шестилетнего ребенка. Мелкие трещины густой сетью избороздили сухую, горячую землю. Все выжог сушевой, предвестник страшной засухи 1921 года.

Повсюду виднелись следы недавно бушевавшей здесь гражданской войны: развороченные снарядами паровозы, взорванные мосты, поваленные телеграфные столбы, деревянные кресты на безвестных могилах. Когда поезд останавливался, из-под вагонов выкатывались чумазые мальчишки с нечесаными лохматыми головами, похожими на шары перекасти-поля, — первые представители будущей армии беспризорников. Вокзалы были забиты людьми в лохмотьях — на руках дети, за плечами узлы.

Как-то под вечер мы увидели конников. Они скакали по пыльной дороге, потом поднялись на холм. Солнце только что зашло, окрасив все кругом в цвет охры, и на фоне золотисто-коричневого неба выступили силуэты всадников с карабинами за спиной.

Рид проводил их глазами, потом сказал:

— Как похоже на Мексику!

И до поздней ночи рассказывал о своем пребывании в Мексике в качестве корреспондента газеты «Нью-Йорк уорлд», об упоительных четырех месяцах, в течение которых он скакал на коне по рыжей, выжженной палящим солнцем сьерре; о повстанцах и их покрытых болячками кобылах; о кучах камней, увенчанных деревянными крестами, — память об убитом на дороге; о свисте бичей, зарослях чапаррала, кровавых расцветах, кровавых закатах; о боях, в которых партизаны так близко подходили к неприятелю, что им порохом обжигало лица, — стрелять было невозможно, и они пускали в ход приклады; о ночах, проведенных на земле вместе с солдатами восставшего народа; о танцах и пирах после целого дня скачки; о надеждах безземельных пеонов и о контрреволюционных наемниках, зарабатывавших сребреники в поте своего кольта; о том, как всюду он, Рид, был с простыми людьми Мексики, поднявшимися на борьбу за свое освобождение, как счастлив был этой близостью, как полюбил навеки этих диких, наивных, воинственных людей.

У меня сохранилось лишь сбивчивое воспоминание о том рассказе Рида, изобиловавшем множеством деталей. Даже имя вождя повстанцев — Панчо Вилья — я запомнила неправильно, как «Панчвиля». И только один эпизод из тех, что рассказывал Рид, я помню отчетливо — рассказ о женщине, возлюбленный которой пал в бою, и она согласно обычаю должна была стать женой другого, но мысль о новом муже была ей отвратительна в этот день, когда ее возлюбленный был только что засыпан землей, и она просила Рида приютить ее на одну ночь.

Каково же было мое удивление, когда я увидела эту женщину на экране!

Было это в середине тридцатых годов. В недавно выстроенном кино театре «Ударник» происходил первый в Москве международный кинофестиваль. Среди прочих на нем был показан американский фильм «Вива Вилла». Об этом фильме никто ничего не знал, поэтому зал заполнили те, кто, подобно мне, считали себя неудачниками, ибо не сумели достать билеты на фильмы, которые опережала слава.

Но едва прозвучали первые такты марша мексиканских повстанцев — знаменитой «Кукарачи» — и, словно по воздуху, пронеслись на конях Панчо Вилья и его соратники, зал охватило то вдохновенное внимание, которое возникает при встрече с произведением истинного искусства.

Кадры сменялись в стремительном темпе. Управитель помещичьего имения на глазах у мальчика Панчо убивал его отца, и Панчо, схватив ружье, уходил к партизанам. Заседал суд, на котором судьи по заранее подготовленному списку приговаривали к повешению шестерых пеонов, «чтоб другим неповадно было бунтовать». Шесть раскачивающихся

трупов чернели над площадью. В город врвался со своими приверженцами Панчо Вилья. Он захватывал судей, он усаживал повешенных на судейскую скамью и предавал судей суду мертвецов. От имени мертвецов он приговаривал их к смерти. Расправа с врагами сменялась беспечной гульбой, высокие романтические страсти — грубым юмором. Панчо Вилья раскрывался во всей противоречивости своей натуры: он был отзывчив и мстителен, нежен и жесток, хитер и доверчив, храбр и труслив, умен и наивен, злопамятен и добр.

А когда действие было уже туго закручено, неожиданно появлялся новый персонаж — напившийся в стельку американец Джонни Сайкс, корреспондент газеты «Нью-Йорк уорлд». Он ехал в поезде и был настолько пьян, что, когда двое партизан с трудом растолкали его, спросил сонным голосом: «Какого черта мы останавливаемся через каждые десять минут?» Однако стоило ему прочухаться, как он, воспользовавшись невежеством и простодушием партизан, тем, что никто из них, в том числе и Вилья, не умел читать, самым подлым образом обманул их, передав на их глазах корреспонденцию, в которой изобразил этих людей разбойниками и бандитами.

В этом американце непостижимым образом сочетались гнусность и обаяние. Он сумел влюбить в себя Панчо Вилью. Когда он спяну дал в свою газету подробный репортаж о взятии армией Вилья города Санта Росалия, который на деле не был взят, и, обливаясь пьяными слезами, вопил, что он погиб, ибо все узнают, что он совершил величайшую подделку нашего века — описал сражение, не происходившее на самом деле, — Вилья, который не мог видеть своего друга в горе, рискуя собой и своими людьми, пошел на штурм этого города и взял его именно тем идиотским путем, какой выдумала пьяная фантазия Сайкса.

...Я напряженно следила за событиями фильма. Он воскрешал во мне какие-то забытые воспоминания. Но лишь когда на экране появилась «солдатера» — женщина, которая, только что похоронив убитого мужа, брала нового мужа, — я вспомнила ту ночь в поезде, уносившем нас на юг, и рассказы Рида о восставшей Мексике.

Тут я поняла, что в Джонни Сайксе выведен Джон Рид. Так же, как Рид, Сайкс был корреспондентом «Нью-Йорк уорлд». Так же сблизился с Вильей. Так же написал книгу, посвященную Вилье. Даже имя Сайкса — Джонни — содержало в себе указание на то, что прообразом его был Рид.

Сценарий фильма принадлежит перу Бена Хекта, который начал свой путь с литературы, но в какой-то момент изменил ей ради Голливуда. Он пригоршнями черпал образы, ситуации, детали из книги Рида «Восставшая Мексика». Это и придало фильму его пленительную народность, глубину и очарование.

Но почему Хект изобразил Рида бесшабашным пьяницей, забулзыгой, способным на любую низость?

Ответ на этот вопрос я узнала у Сергея Эйзенштейна. Джонни Сайкс имел, оказывается, два прообраза: Джона Рида и Амброза Бирса — автора многочисленных рассказов, нафаршированных убийствами, удушенниками, утопленниками, оживающими трупами и прочей чертовщиной. В 1913 году Бирс поехал из Штатов в Мексику и исчез без следа. Только лет десять спустя стало известно, что по приказу Вилья он был расстрелян как шпион.

Создавая образ Сайкса, Хект, видимо, исходил из широко распространенного в Голливуде убеждения, что «на хороших чувствах нельзя построить хороший фильм», а гений следует показывать в непереносимом совмещении со злодейством. Поэтому Хект соединил Рида с Бирсом. Для «бирсовской» линии фильма он взял подлинные факты о походе

ниях Бирса в Мексике — например, трюк, который отколол Бирс, послав в присутствии повстанцев обливающую их грязью телеграмму.

Но произошла удивительная вещь. Чем дальше развивались события фильма, тем больше Рид вытеснял Бирса из образа Сайкса. Пьяного циника, совершающего подлость за подлостью, сменил человек светлой, чистой души. Когда мексиканская революция оказалась под угрозой, он поспешил к Вилье и отдал ему свои последние «семь монет», чтобы тот приступил к подготовке нового восстания во имя свободы Мексики.

Кульминацией фильма была завершающая сцена — смерть Вильи. Предательски раненный выстрелом в спину, Вилья умирал на полу мясной лавки, среди ободранных туш. С ним был только Джонни Сайкс.

Вилья (*задыхаясь*). Смешно умирать в таком месте. Мясная лавка. Может, ты напишешь об этом как-нибудь получше?

Джонни. Я напишу, детка.

Вилья. Джонни, окажи мне услугу.

Джонни. Все, что хочешь.

Вилья. Я слышал, что великие люди перед смертью всегда что-нибудь говорят. А мне ничего не приходит в голову — ты сам напиши мне что-нибудь получше, а?

Джонни (*со слезами*). Я напишу, приятель.

Вилья (*слабым голосом, но настойчиво*). Что ты напишешь? Придумай сейчас, чтобы я знал... Поскорее, пожалуйста...

Джонни (*увидев зевак, столпившихся в дверях, тихо, будто читая*). Из дальних и ближних деревень, с Севера и Юга пришли посмотреть на него, лежащего, пришли пеоны, любившие его. Они собрались в молчании. На улицах толпы оборванных людей благоговейно становились на колени...

Вилья (*в агонии, улыбается*). Вот это хорошо... Это все?

Джонни (*плача*). И вдруг, заглушая молитвы подавленных горем, обожавших его людей, в ночи зазвенели волнующие звуки «Кукарачи». Затем внезапно воцарилось молчание... Панчо Вилья говорил в последний раз... Толпы окружали умирающего героя...

Вилья (*умирая*). Торопись, Джонни... Что я сказал?

Джонни. «Прощай, Мексика! — сказал Панчо Вилья. — Прости мне все мои преступления. Помни: если я и грешил против тебя, то только потому, что чрезмерно любил тебя...»

Всего этого не было. Вилья умер при иных обстоятельствах. Рид не присутствовал при его последних минутах.

И все же это правда! Та правда искусства, которая делает его высшим выражением действительности...

Корреспонденции о Мексике принесли Риду славу. Его объявили «американским Киплингом». Сам Редьярд Киплинг, который считался тогда лучшим военным корреспондентом, пишущим на английском языке, сказал: «Благодаря статьям Рида я увидел Мексику». Заработок Рида составлял около двадцати пяти тысяч долларов в год и превышал заработки почти всех тогдашних журналистов.

Судьба-искусительница снова протянула Риду золотое яблоко: «На, возьми! Ты поднимешься на вершины буржуазного преуспевания! Посмотри на твоего однокурсника Уолтера Липпмана: будучи студентом Гарварда, он возглавлял социалистический клуб — теперь он уже продал душу дьяволу и получил щедрую мзду. Его ждет долгая, богатая, сытая жизнь. И если ты возьмешь это яблоко...»

— Нет,— сказал Рид, и яблоко упало и покатилося.— Тысячу раз нет!

Тотчас по возвращении в Штаты он поднял кампанию в защиту мексиканской революции. Выступил с рядом статей, в которых обвинял американские и английские нефтяные тресты в том, что они разжигают в Мексике гражданскую войну. Писал, что они должны нести ответственность за кровь, которая обогрывает многострадальную землю Мексики. Показал, что за лицемерными декларациями правительства США о том, что оно хочет оказать «помощь» мексиканскому народу, скрываются планы вооруженного вторжения.

«США хотят навязать Мексике свои так называемые великие демократические установления: правление трестов, безработицу и наемное рабство,— писал Рид.— Правительство США постоянно подчеркивает, что оно является противником конфискации земельной собственности, но для разрешения земельного вопроса в Мексике нет иного пути, кроме такой конфискации. Оно желает развратить народ Мексики и сделать из мексиканцев маленькие коричневые копии американских бизнесменов и американских рабочих, как оно уже сделало это с народами Кубы и Филиппин».

«Переход первого американского солдата через Рио Гранде несет гибель мексиканской революции»,— заявлял Рид и в беседах со своими друзьями не раз повторял, что в случае посылки в Мексику интервенционистских войск он вступит в армию мексиканских революционеров и будет вместе с ними сражаться против агрессоров.

В это время внимание Рида привлекли новые события, разыгравшиеся в «американском раю»: стачка горнорабочих в Колорадо, на шахтах, принадлежавших Рокфеллеру. Рид отправился в Колорадо, изучил на месте историю стачки и опубликовал итог своих исследований в очерке, который назвал «Война в Колорадо».

Факты, только факты. Факты, изложенные точными словами, бьющими по Рокфеллерам со снайперской меткостью.

В Нью-Йорке Рид пробыл недолго: началась первая мировая война. «Там, где война, должен быть Рид, чтобы описать ее»,— заявила редакция «Метрополитэн» и направила Рида в Европу в качестве военного корреспондента¹.

Он побывал в Швейцарии, во Франции, в Англии, в Германии. Видел пьяные кабаки Женевы, где веселился богатый интернациональный сброд. Видел французских юношей, которых отправляли в военные лагеря и превращали в винтики послушной машины, пригодные лишь на то, чтобы убивать обработанных таким же способом германских юношей. Видел стоявших под дождем матерей, сестер и возлюбленных призывников 1914 года; медленно шедший с востока санитарный поезд, из которого доносился тяжелый запах иодоформа; объявления в окнах парижских магазинов: «Полный комплект траурного платья в течение шести часов»; развороченные снарядами поля сражений; долину Марны и тысячи мух, слетевшихся на запах трупов; длинный курган, над которым торчал увитый цветами деревянный крест с надписью: «Здесь покоятся сорок три француза из 73-го линейного полка».

Во Франции он присутствовал при битве на Марне. Был задержан

¹ Того, что мне запомнилось со слов самого Рида, оказалось недостаточно, чтобы написать последующие страницы, посвященные его жизни в период 1914—1919 гг. Для этого раздела мною использованы также и произведения самого Рида, воспоминания его современников и исследования, посвященные его жизни и творчеству.

на передовой, куда пробрался, не имея разрешения, и едва избежал расстрела.

Он рассказывал при мне, как это было. Французский капитан, к которому его привели, несколько ночей не спал и, видимо, поэтому принял Рида за итальянца; впрочем, быть может, он сам был южанином и жил неподалеку от итальянской границы. Во всяком случае, на вопрос Рида, почему его арестовали, капитан ответил: «*Traditore*»¹. На следующий день был назначен военно-полевой суд, но Риду повезло: в эту ночь немецкое наступление захлебнулось и высшее начальство успело поэтому разобратся в его деле.

В Германии Рид повидал Карла Либкнехта. Это был, пожалуй, единственный эпизод в его журналистской карьере, которым он по-настоящему гордился. Действительно, надо было обладать исключительной интуицией, чтобы тогда, осенью 1914 года, понять, что именно Либкнехт был тем человеком, которого ему прежде всего следовало увидеть в Германии.

Во время встречи с Ридом Либкнехт сидел за своим рабочим столом. На столе горела лампа с зеленым абажуром. В зеленом свете лампы смуглое лицо Либкнехта казалось очень бледным. Вертя деревянный нож для разрезания бумаги, Либкнехт размышлял вслух о том, что же должен делать он как социалист в этот трагический для человечества час. Он ответил потом на этот вопрос, проголосовав в рейхстаге против военных кредитов.

Либкнехт подарил Риду свой портрет. Судьба этого портрета удивительна: Рид привез его в семнадцатом году в революционную Россию и оставил у Роберта Майнора, в будущем одного из виднейших деятелей Коммунистической партии США. Когда осенью 1918 года в Германии стали назревать революционные события, Майнор передал этот портрет русским товарищам, и с него были сделаны первые в Советской России портреты Карла Либкнехта.

Вернувшись в конце 1914 года в Штаты, Рид выступил с циклом статей, в которых раскрывал истинную сущность ненавистной ему войны, «войны торговцев». Он заявлял: «Нет, это не наша война».

В Нью-Йорке для Рида была уготована неожиданность: статья о нем самом, написанная Уолтером Липпманом. Каждое слово в этой статье было пропитано ядом, но каждая капля яда завернута в изящную упаковку.

О, Липпман не нападал на Рида в лоб! Больше того, он прикидывался другом Рида. Свою статью он назвал «Легендарный Джон Рид». Он писал о Риде как о гении, но тут же следовали полные издевательства оговорки. «Рид самоуверенно утверждает,— писал Липпман,— что все капиталисты жирны и плешивы и что социалистическая партия и Сэмюэл Гомперс обманывают рабочих. Он пыжится, стараясь убедить нас, что рабочий класс состоит не из шахтеров, водопроводчиков и чернорабочих, а из величавых гигантов, которые стоят на вершине, озаренные лучами солнца».

Недрузи окружали Рида все более плотным кольцом. Рядом с его статьями в «Метрополитэн» стали появляться статьи бывшего президента США Теодора Рузвельта, накинувшегося на «хилое, но крикливое племя профессиональных пацифистов, людей мира во что бы то ни стало».

Однажды Рузвельт, окруженный сотрудниками редакции, предался сладостным воспоминаниям о том, как он отдал солдатам армии США приказ открыть огонь и этим развязал испано-американскую войну, за-

¹ Предатель (*итал.*).

кончившуюся тем, что большинство колоний Испании стало собственностью США. Присутствовавший при этом Рид громко сказал: «Полковник, я всегда знал, что вы убийца». Рузвельт кинулся на него с кулаками.

Обстановка в Нью-Йорке стала невыносимой: Рид решил снова поехать за океан в качестве военного корреспондента. Но едва он об этом заикнулся, как против него была поднята клеветническая кампания: его обвиняли в том, что он, будучи в Германии в начале войны, якобы выстрелил из пушки по французским окопам. Франция не дала ему визы. Тогда он в сопровождении канадского художника Бордмена Робинсона поехал в Восточную Европу.

Свою поездку по восточноевропейским фронтам военных действий Рид и Робинсон начали с Сербии. У горы Гучево они попали в «долину трупов». Трупы были засыпаны тонким слоем земли. Рид и Робинсон шли по мертвецам. К страшному облику войны, сложившемуся в душе Рида на Западном фронте, добавились новые, еще более страшные черты...

Весной 1915 года Рид и Робинсон пробрались в Россию.

По собственному выражению Рида, они попали в Россию «с черного хода», через Румынию и Галицию, переплыв Прут на большой плоскодонке, чуть ли не наполовину наполненной водой. Когда они сошли на берег, перед ними неожиданно открылась поляна, освещенная бесчисленными кострами. Повсюду стояли лошади. На земле лежали высокие седла, пестрые ковры и подушки. Над пламенем дымились медные котелки. Огонь освещал людей в высоких меховых шапках, с раскосым разрезом глаз, которые сидели, поджав под себя ноги. Это были туркмены, брошенные по приказу царских властей на Западный фронт...

Охваченные журналистским нетерпением, Рид и Робинсон двинулись дальше. Сначала они попали в пьяную офицерскую компанию, потом им повстречался молодой военный в солдатском обмундировании, но с красно-сине-белыми шнурками на погонах. Военный говорил по-английски, и Рид спросил его, что означают эти шнурки. «То, что я волонтер», — отвечал военный. Тогда Рид спросил, как сказать по-русски «волонтер» («volunteer»). «Вольноопределяющийся», — отвечал военный.

Рид записал это слово так — «volnoopredeliayayoustchemusia» и со вздохом добавил: «После этого мы потеряли всякую надежду изучить русский язык».

Тем удивительнее очерки Рида о России того времени. Уолтер Липпман недаром поражался зоркости глаза и цепкости памяти, которые были присущи Риду. За пять недель, проведенных в России, из которых две — под арестом, Рид успел увидеть, услышать и в огромной мере понять незнакомую ему страну в переломный час ее истории.

Разумеется, не обошлось без ляпсусов. Как положено иностранцу, Рид, говоря о русском народе, не преминул вспомнить Достоевского. К его чести, он ни разу не заговорил о пресловутой «славянской душе». Однако в некоторых пассажах он чуть ли не дословно повторял вошедшие в поговорку рассказы Александра Дюма о его путешествии по России, во время которого он, Дюма, наблюдал, как русские, сидя под развесистой клюквой, пьют чай, закусывая его сочными ломтями самовара.

Так и Рид! «Дома там всегда открыты, — описывал он Петроград, — и люди постоянно, в любое время дня и ночи, навещают друг друга. Еда, чай, беседы текут нескончаемо... Там совершенно нет определенного времени для пробуждения и сна и для обеда, нет раз навсегда установленного способа убивать или любить».

Простим эту несурязицу человеку, который, попав в польско-еврейский городишко, написал такие строки: «Городовые в желтых рубахах и сапогах со шпорами теребили свисавшие с шеи красные шнуры своих больших револьверов и настороженно прохаживались среди галдящих евреев и толкающихся крестьян. Так, среди бедняков, лежит путь полицейских всех стран».

Нет, это не просто зоркость глаза и цепкость памяти. Это — умение разглядеть за каждым фактом его социальный смысл.

«Я никогда не забуду Ровно, этот еврейский город в черте оседлости», — восклицает Рид и меткими, точными штрихами зарисовывает казенно-чиновничью русскую часть города и еврейские кварталы с их узкими улочками, с лезущей изо всех дыр нищетой, убогими домишками и жалкими лавчонками, хозяева которых наперебой зазывают покупателей, уговаривая обращаться только к ним, а не к «жуликам напротив».

Киплинг тут поставил бы точку. Но Рид не Киплинг. Он размышляет. Он делает выводы: «...Слишком много извозчиков, парикмахеров, портных скучено в этом тесном мире, где только и разрешено жить евреям в России. Тяжко дышится евреям в черте оседлости».

Почти не зная языка, он понимает своих собеседников и находит нужные слова для передачи их мыслей. От случайного попутчика он слышит рассказ о том, как некий генерал, прославившийся своей бездарностью еще во время русско-японской войны, сейчас, во время войны с Германией, встретив полк, который совершил без сна и без хлеба пятидневный изнурительный марш, приказал поднять валившихся от усталости солдат и отправить их в окопы.

«Генерал снова отправился спать, — записывал Рид. — Командиры уговаривали, оправдывались, угрожали солдатам. Ужасно было слышать, как солдаты просили есть и спать. И вот колонна закачалась к передовым позициям... Полк занял окопы в десять часов утра и весь день пробыл под огнем; походные кухни не могли к нему пробраться... Люди шатались, словно пьяные, и засыпали в то время, как по ним стреляли. Из восьми тысяч вернулись только две, но и из них тысяча двести человек легли в лазарет... Быть может, самым потрясающим во всей этой истории было то, что в распоряжении генерала имелось несколько свежих полков».

То, что произошло с Ридом и Робинсоном в царской России, кажется фантастикой. Когда они приехали в прифронтовой город Холм, они были арестованы по подозрению в шпионаже. Во время обыска у них обнаружили список адресов, в котором значилось несколько еврейских фамилий. Арестовавшие их чины сочли это достаточным доказательством того, что перед ними шпионы, и решили их расстрелять.

Только хладнокровие и настойчивость помогли им спастись. Они решительно потребовали, чтобы в Петроград была отправлена телеграмма, в которой они сообщали о своей судьбе американскому послу в России. За первой телеграммой — вторая, потом третья. Наконец, на одиннадцатый день ареста, пришло распоряжение об их освобождении.

В американском посольстве в Петрограде Рида ждал холодный, даже враждебный прием. Посол заявил Риду, что русские власти обвиняют его и Робинсона в том, что они приехали в Россию по фальшивым паспортам, оказали сопротивление военным властям и привезли письма русским революционерам.

— Советую вам как можно скорее покинуть Россию, — заявил посол.

— И не пробуйте уезжать, ни в коем случае, — сказал первый секретарь посольства.

Получив эти две взаимоисключающие рекомендации, Рид и Робинсон решили переждать, а пока что поселились в гостинице «Астория».

Тут же они обнаружили, что за ними по пятам ходят шпики. Днем ли, ночью ли, когда бы они ни выглянули в окно, они видели несколько фигур, прохаживавшихся по тротуару с профессионально-безразличным видом. Чтобы развлечься, Рид и Робинсон приставляли к глазам бокалы, и фигуры начинали метаться, думая, что на них направлен бинокль. Когда они выходили из гостиницы, фигуры устремлялись за ними. Тогда они брали извозчика, приказывали ему гнать как можно быстрее, потом повернуть за угол, потом остановиться. Проходило несколько мгновений, из-за угла появлялся другой извозчик с подпрыгивающими на сиденье фигурами, а Рид и Робинсон, стоя на тротуаре, приветствовали их, церемонно сняв шляпы.

На десятый день Рид и Робинсон решили бежать. В полицейском участке за взятку на их паспортах поставили штамп, дающий право на выезд. Они внезапно покинули гостиницу, переменили несколько извозчиков, сели в киевский поезд, чтобы таким путем уехать в Румынию. Но на следующее утро в их купе появился жандармский офицер с полученным из Петрограда телеграфным предписанием снять их с поезда и вернуть в Петроград.

Как только они приехали, в гостиницу явились два жандарма и препроводили их к своему шефу. Тот зачитал им приказ великого князя Николая Николаевича, согласно которому им предложено было в двадцать четыре часа покинуть Петроград. В случае неповиновения они подлежали военно-полевому суду и строжайшему наказанию.

В июле 1915 года Рид покинул Россию. Россия показалась ему суровой, великолепной, необъятной, сбивающей с толку, непостижимой для себя самой. С присущей ему проникательностью он отметил тридцатитысячную стачку путиловских рабочих, и отвращение народа к войне, и то, что «царское правительство — бюрократия — не внушает массам доверия, оно как бы другая нация, сидящая на шее русского народа».

Мог ли он думать, что этой стране и ее народу предстоит сыграть решающую роль в его судьбе?

Из России Рид отправился в Турцию. Он, смеясь, рассказывал нам, как в константинопольском отеле швейцар, почтительно склонившись к нему, прошептал по-французски: «Excellence! Тайная полиция приходила сюда и спрашивала о вашей милости. Желает ли ваша милость дать указания, какие сведения о ней дать?»

В Константинополе Рида приняли любезно. Титуловали «Джон, сын Чарльза, американский журналист». Но предложили немедленно покинуть страну.

Поезд, в котором он уезжал, подошел к болгарской границе. Болгарские власти, просмотрев документы Рида, заявили, что они не в порядке, и отказались дать ему пропуск. Рид подождал, пока поезд тронется, вскочил на ходу и провел ночь, прятаясь то на крыше вагона, то в тендере.

Вместо предполагавшихся двух месяцев он провел в Восточной Европе семь и испытывал к войне более сосредоточенную ненависть, чем когда бы то ни было.

Вернувшись в Соединенные Штаты, он увидел, что милитаризм и шовинизм, взлелеянные морганями, рокфеллерами и прочими вандербильдтами, расцвели за это время пышным цветом. Он хотел писать, говорить, кричать, чтобы люди поняли, что это такое — война. Первой аудиторией, перед которой он выступил, был клуб Гарвардского университета.

Едва начав говорить, он почувствовал скептицизм и враждебность

своих слушателей. Его охватил гнев. Чтобы пронять этих сытых бездельников, он с не знающей пощады правдой рассказал им о крови, грязи, одичании, которые война несет людям. Ответом ему были смешки либо ироническое молчание.

Жизнь, которая любит неожиданные повороты, устроила так, что следующим местом, в котором выступил Рид, была знаменитая тюрьма «Синг-Синг». «Hello, fellows!» («Здорово, приятели!»),— начал он свою речь, обращенную к заключенным. Его слова были покрыты аплодисментами. Рассказав «для затравки» о своем тюремном опыте, Рид заговорил о рабочем движении и о движении борцов за мир как о последовательных ступенях борьбы за свободу. Слушали его внимательно. Он говорил и чувствовал, что здесь, под каменными сводами тюрьмы, ему легче дышать, чем в залитых светом аудиториях Гарварда.

Когда я думаю о Риде, каким он был на исходе двух лет войны, мне вспоминается страшная история, услышанная мною от давнего друга.

В первую мировую войну этот мой друг, будучи мобилизован, попал на германский фронт. Вместе с ним в часть прибыл молодой вольноопределяющийся. Ротный командир сразу невзлюбил этого вольноопределяющегося за очки, за хилую грудь, а главное, конечно, за то, что он был евреем. На каждом шагу честил его «жидовской мордой» и посылал на самые опасные участки. Наконец приказал участвовать в повешении двух евреев, обвиненных в шпионаже.

Вольноопределяющийся промолчал, а наутро того дня, когда должна была состояться казнь, едва начало светать, вылез из окопа и пополз в сторону противника. Посередине между русскими и германскими окопами он встал во весь рост, поднял винтовку и начал палить в небо. И русские и немцы тотчас открыли по нему огонь. Он упал, изрешеченный пулями обоих воюющих лагерей.

В Риде 1916 года было что-то от отчаяния этого человека. Он судорожно метался, брался то за одно, то за другое. В написанном в это время стихотворении «Туман» он единственный раз за всю свою литературную жизнь говорил о смерти. Даже встреча с женщиной, которую он глубоко любил и которая стала его женой, не вернула ему былую радость жизни.

Тому, кто узнал Рида в революционной России, трудно представить себе, что этот человек, готовый вызвать на бой весь старый мир и уверенный в том, что сумеет нокаутировать его не позже четвертого раунда, совсем недавно писал строки, полные трагических сомнений в судьбе человечества и в самом себе.

«Мне исполнилось двадцать девять лет,— писал тогда Рид в своей автобиографии, звучащей как исповедь,— и я чувствую, что окончилась определенная часть моей жизни, окончилась моя молодость... Я должен найти самого себя... Война оказалась страшным разрушителем веры в экономический и политический идеализм. И все же я не могу отказаться от мысли, что из демократии родится новый мир, который будет богаче, лучше, будет красивее существующего. И я не знаю, чем я должен помочь, все еще не знаю. Зато я знаю, что мое благополучие построено на несчастье других людей; я хорошо ем потому, что другие голодают; я одет, тогда как другие полураздетыми бредут зимой по промерзшему городу; и это отравляет мне жизнь, нарушает мое спокойствие...»

Ему было душно, тяжело, невыносимо в Америке. Душно, тяжело, невыносимо, невозможно. Но выхода он не видел.

Кто знает, какой катастрофой могла обернуться его жизнь, если бы почти день в день с его тридцатилетием не произошла Октябрьская революция?

Десять дней, которые потрясли мир, потрясли также и Джона Рида. «I take an oath...» («Я клянусь...»), — торжественно заявил он Третьему съезду Советов, обещая отдать все свои силы делу борьбы за социализм, и это была клятва, данная рабочим, солдатам и крестьянам России, Америки и всего мира.

В своей книге Рид рассказал о том, что он видел и что он делал в дни Октября. Но он не рассказал о том, что видел и делал на одиннадцатый день, на двадцатый, на тридцать седьмой — и так вплоть до девяностого. А в эти дни он сотрудничал в отделе международной пропаганды Народного комиссариата иностранных дел; проводил ночи в типографии, чтобы выпустить листовки о мире, обращенные к солдатам всех стран; издавал вместе с другими товарищами журнал, заполненный снимками Петрограда и Москвы в дни Октябрьского переворота; в день разгона Учредительного собрания, когда ожидалось вооруженное выступление правых эсеров и прочих контрреволюционеров, с винтовкой в руках охранял Народный комиссариат иностранных дел.

Когда стало известно о его решении вернуться в Америку, один из американцев, живших тогда в Петрограде, сказал Риду, что по приезде в Соединенные Штаты он почти наверняка будет арестован.

— Ну что ж, — ответил Рид. — Быть может, это лучшее из всего, что я могу сделать для успеха нашего дела.

И, озорно подтянув брюки, добавил, намекая на то, что на него возложены обязанности консула Российской Советской Республики в США:

— Мне придется теперь совершать обряды бракосочетания. Между тем я ненавижу эту церемонию. Впрочем, не беда! Я просто буду говорить жениху и невесте: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

В конце января восемнадцатого года Рид покинул Петроград, чтобы сесть в Норвегии на американский пароход. При нем были чемоданы, набитые записями, брошюрами, газетными вырезками, афишами, плакатами, листовками, собранными в России для книги об Октябрьской революции.

Правительство Соединенных Штатов не хотело возвращения Рида на родину и долго отказывалось визировать его паспорт. Только два месяца спустя он получил визу.

Ранним апрельским утром пароход, на котором он плыл, подходил к Нью-Йорку. Это было ровно через пять лет после того, как Рид был впервые арестован в Патерсоне.

Пароход подошел к пристани. Матросы спустили трап. По нему поднялись несколько человек в штатском. Остановившись около помощника капитана, они отвернули лацканы пиджаков, показали значки агентов федеральной полиции. Старший из них пролаял: «Нам нужен Джон Рид».

Как-то Рид шутя сказал мне, что, когда он приступил к работе над своими «Десятью днями...» и сопоставил то, что хотел рассказать в этой книге, с тем количеством слов, в которое он обязан был уложиться, он испытывал такое чувство, словно должен записать в ручной саквояжик три пальто, две пары башмаков и kota в придачу.

Примерно такое чувство возникает у того, кому предстоит на каком-то ограниченном числе страниц рассказать о событиях в жизни Рида за полтора года его последнего пребывания в Соединенных Штатах, ибо за это время он —

совершил не менее двух десятков агитационных поездок по стране, выступал на митингах и собраниях в Нью-Йорке, Вашингтоне, Филадельфии, Бостоне, Ньюарке, Детройте, Кливленде, Чикаго, Кротоне и во многих других городах;

пять раз предстал перед судом по обвинению в разрушительной деятельности, неповиновении властям, обращении к солдатам с призывами об отказе от воинской службы и все это время находился на поруках под непрерывно возрастающую сумму залога — сначала две, потом еще пять, потом еще пять, а всего двенадцать тысяч долларов;

по собственному настоянию был подвергнут перекрестному допросу в специальном комитете американского сената (так называемом «Овермэновском комитете»);

написал книгу «Десять дней, которые потрясли мир», а также огромное количество статей, посвященных русской революции и задачам американского рабочего класса; был издателем и сотрудником ряда левых и коммунистических журналов: «Liberator» («Освободитель»), «Revolutionary Age» («Революционный век»), «Communist» («Коммунист»), «Voice of Labor» («Голос труда») и других;

был одним из первых организаторов и руководящих деятелей Коммунистической партии США...

И много другого. Всего не расскажешь. Остановимся поэтому лишь на некоторых «узловых» событиях.

Начнем с «Овермэновского комитета».

Это было предприятие, в котором тупость американской буржуазии превзошла самое себя.

В феврале 1919 года в городе Вашингтоне собрался необычайный суд. На скамье подсудимых находилась Великая Октябрьская социалистическая революция. Обвинителем выступало — как определил председатель суда сенатор Овермэн — «общество, основанное на собственности и правопорядке».

Обвинители и судьи потрудились немало: отчеты «Овермэновского комитета» занимают около полутора тысяч страниц.

Один из американских журналов того времени, комментируя сообщение о том, что в США имеется десять миллионов неграмотных, недаром заметил, что это, «по-видимому, преуменьшенная оценка, ибо почти столько же неграмотных находится, по нашему мнению, в одном лишь «Овермэновском комитете».

Действительно, трудно представить, что могло существовать такое сборище невежд, как этот комитет, в котором собрались сенаторы, считавшиеся «специалистами по России».

Один из них — сенатор Нельсон — утверждал, что большевиков поддерживает «партия нигилистов». Другой — сенатор Юм — настаивал на том, что Ленин приехал в Петроград «из Сибири через Швейцарию».

Свидетелями обвинения выступали так называемые «очевидцы» — сотрудники американского посольства и различных американских миссий в России.

Вот комитет слушает показания преподобного мистера Саймонса, бывшего настоятеля методистской церкви в Петрограде.

Сенатор Нельсон. Можете ли вы рассказать нам об актах варварства и случаях уничтожения имущества и жизни, совершенных большевиками?

Саймонс. ...Большевики выработали новую схему управления, регулирующую решительно все моменты социальной и экономической жизни человека. Порой мы впадали в такое нервное состояние, что не знали, чего можно ожидать в ближайшем будущем. В то время как нам приходилось обычно платить три рубля собачьего налога в год (у нас было два английских фокстерьера, которые отлично охраняли дом), при большевиках надо было вносить по пятьдесят девять рублей в год за каждую собаку. То же самое повторялось, если у вас была, напри-

мер, ванна или если вы имели больше имущества, чем обычно должен иметь человек. У меня создалось впечатление, что в большевистском правительстве значительно представлен преступный элемент. Об этом мне рассказывал бывший пристав полицейского участка, расположенного наискосок от нашего дома. Я был с ним в прекрасных отношениях; это был милейший джентльмен. Некоторые из самых опасных преступников заняли среди большевиков видное положение...

Сенатор Кинг. А что делали те, которые не возвысились до такого положения?

Саймонс. Они служили агитаторами...

С особенным упоением эти ханжи и пуритане обыгрывали пресловутую «национализацию» или «социализацию» женщин. Им не терпелось услышать как можно больше пикантных подробностей об этой самой «национализации».

Сенатор Кинг. Большевики фактически уничтожают брак и вводят так называемую свободную любовь. Известно ли вам что-нибудь по этому поводу?

Саймонс. Их программу вы найдете в Коммунистическом манифесте Маркса и Энгельса. До нашего отъезда из Петрограда они, если верить газетам, уже установили положение, регулирующее так называемую социализацию женщин; каждая женщина в возрасте от восемнадцати до сорока пяти лет должна явиться в комиссариат, откуда она, независимо от ее желаний, передается мужчине, с которым и должна отныне жить.

Сенаторы просят рассказать об этом поподробнее.

Саймонс. Я несколько смущен присутствием леди...

Сенатор Кинг. Не смущайтесь. Нет ничего непристойного в констатации того факта, что вы наблюдали грубость и зверства.

От каждого последующего свидетеля сенаторы требовали новых и новых деталей. Наконец свидетель Роджер Симмонс, к их удовольствию, зачитал... декрет об этой «национализации».

Симмонс (*читает*). «Девушка, достигшая восемнадцати лет и не вышедшая замуж, обязана под страхом самого сурового наказания зарегистрироваться в Бюро свободной любви при комиссариате бдительности. Зарегистрировавшись в Бюро свободной любви, она имеет право выбрать среди мужчин от девятнадцати до пятидесяти лет сожителя. *Примечание:* согласие мужчины при названном выборе не требуется. Мужчина, на которого пал выбор, не имеет права заявлять какой бы то ни было протест».

Сенатор Стерлинг (*сердце сторонника «свободного предпринимательства» не выдержало*). Но разве же это настоящая свобода любви?

Симмонс (*продолжает читать*). «Точно так же мужчинам...»

Целью комитета, как определил во вступительном слове его председатель, сенатор Овермэн, было собрать такие материалы, чтобы вся Америка, ознакомившись с ними, воскликнула: «Джентльмены! Ясно и без комментариев, что большевистская пропаганда, распространяемая в Америке и пытающаяся оправдать большевизм, не может устоять перед лицом таких фактов!»

Узнав об этом, Рид и Вильямс потребовали, чтобы комитет заслушал их показания. Комитет увиливал, но это требование получило такую поддержку в широких кругах американского народа, что комитет вынужден был заслушать этих свидетелей.

Допрашивают Джона Рида.

Сенатор Уолкотт. Заключается ли философия международ-

ной политики большевиков в том, чтобы попытаться сделать весь мир социалистическим?

Рид. Думаю, что да. Однако большевики намерены добиться этого не с помощью вторжения армии, а путем пропаганды своего учения, учения международного социализма.

Сенатор Уолкотт. Проповедовали ли вы во время ваших поездок по стране национализацию промышленности и земли по примеру Советов?

Рид. Нет, не проповедовал. Я убежден, что такая национализация необходима, и я всегда указывал на превосходные результаты, достигнутые благодаря ей в России. Однако я отнюдь не думаю, что подобные преобразования должны совершаться во всех странах в одинаковой форме. Они будут проводиться в жизнь сообразно с различными условиями, существующими в разных странах.

Допрашивают Альберта Рис Вильямса.

Сенатор Овермэн. Каково точное значение слова «большевизм»?

Вильямс. Я спросил одного русского, как он понимает это слово, и он ответил: «Большевизм — это кратчайший путь к социализму». Большевики — люди, которые понимали народ и за которыми народ готов был идти. Впрочем, мало сказать, что они понимали народ или пользовались доверием народа: они сами являлись частицей народа. Большевистская партия — партия рабочего класса, поэтому она понимает, что нужно рабочему люду. Большевики говорят языком народа, мыслят, как народ, выражают идеалы народа.

(Публика, которая неоднократно покрывала слова Рида и Вильямса аплодисментами, устраивает овацию).

Сенатор Овермэн. Предлагаю посторонним очистить зал заседания...

Рид ездил по стране, выступал на собраниях, вглядывался в знакомое и незнакомое ему лицо рабочей Америки. Его зоркие глаза смотрели, его цепкая память запоминала, а потом в Москве он рассказывал о том, что видел и помнил.

На одни собрания приходило несколько тысяч человек, на другие меньше сотни. В Бостоне группа студентов Гарвардского университета, состоявших в одном из контрреволюционных «легионов», пыталась сорвать его выступление. В Филадельфии в последнюю минуту собрание было запрещено, но на улице собралась толпа. Тогда Рид раздобыл ящик, взобрался на него и стал говорить. Полисмены накинулись на Рида, арестовали его, швырнули в полицейскую машину и доставили в суд. Судья признал, что он подлежит привлечению к ответственности за неподчинение муниципальным властям и призыв к мятежу, но разрешил взять Рида до суда на поруки, потребовав залог в пять тысяч долларов.

Несколько дней спустя Рид выступал в Бронксе. На собрание пришло около двух тысяч человек. Рид снял пиджак, закатал рукава рубашки и говорил два часа, а на следующий день выступал в Бруклине, а потом в Нью-Йорке, где, как только он начал говорить, все встали и запели «Марсельезу», а он крикнул по-русски: «Да здравствует социалистическая революция!» В Чикаго он выступал в Колизее, который был переполнен, но не мог вместить желающих, и пришлось одновременно проводить митинг под открытым небом.

Он ездил по стране, поезд мчал его через весь континент, от океана до океана. Подходя к станции, поезд давал свисток, машинист высовывался из окошка, чтобы взять жезл, а Рид в эти считанные секунды скакивал на ходу. В условленном месте его ждали люди, он шагал

рядом с ними и видел, что один обут в рваные башмаки, на ногах другого — матерчатые туфли. Нырять под вагонами и проскальзывая через проходные дворы, они добирались до зала, и Рид снова выступал и снова слышал вопросы о Советской России — первой в мире республике рабочих и крестьян, — и отвечал на эти вопросы, а потом пел вместе со всеми «Интернационал» и песню «Пять душ» — души пяти рабочих, убитых на войне в разных воюющих лагерях, сетовали на то, как нечестно с ними обошлись, заставляя воевать с рабочими другой страны и во имя хозяйских прибылей убивать своих братьев по классу.

Рид встречал множество людей, разговаривал с ними. Они спрашивали его о Ленине, он рассказывал им о Ленине, и когда во время поездки на Дальний Запад он остановился у своего старого друга, до поздней ночи они проговорили о Ленине и выпили шотландского виски — за Ленина и за Роберта Бернса.

Он был не один, вместе с ним были друзья — американец Вильямс, японец Сэн Катаяма. Жена Рида, Луиза Брайант, как храбрый товарищ, делила с ним и трудности и борьбу. С ним были тысячи людей, которые слушали его и верили ему.

Он любил потом рассказывать об этих людях — о девочке из Бронкса, которая принесла ему замусоленную, безногую куклу и просила послать эту куклу детям в Советскую Россию; о старом негре, запевшем, после того как все спели «Интернационал», религиозный гимн; о пенсильванском горняке, который в конце своей речи поднял над головой зажженную шахтерскую лампу.

И, разумеется, об ирландце. Да разве можно рассказывать об Америке, не вспомнив хоть разок какого-нибудь ирландца?

Этот ирландец (изображая его, Рид выставлял локти наружу, сгибал шею и шагал, ступая носками внутрь) на одном из собраний поднялся со своего места, прошел на трибуну и заявил, что он расскажет присутствующим историю — такую же верную, как то, что бог создал яблоки.

История началась с того, что у него стала прихварывать старуха и он решил отвезти старуху с ребятишками к старухиной матери и пошел к хозяйну, к боссу, попросить четыре дня отпуска. Он вошел в кабинет босса, когда эта старая сухая треска сидела у себя за столом и курила сигару, и он сказал боссу, что у него стала похварывать старуха и он хочет отвезти старуху с ребятишками к старухиной матери, и просит дать четыре дня отпуска, а босс завертелся, как собака, которую кусают блохи, и завершал: почему-де он не постучался, и почему не снял шляпу, и почему не попросил разрешения обратиться; пусть, мол, он постучит, а босс скажет: «Войдите», он войдет, и снимет шляпу, и скажет: «Разрешите обратиться», а босс ответит: «Пожалуйста» — и тогда будет разговаривать с ним.

«Ладно», — сказал он, и вышел в коридор, и закрыл дверь, а потом постучался и услышал голос этой пересохшей трески, который сказал: «Войдите», и он вошел, и снял шляпу, и попросил разрешения обратиться, а когда эта окаянная треска промямлила: «Разрешаю», он сказал, что не желает больше работать в этой проклятой лавочке и пусть эта лавочка провалится в преисподнюю со всеми боссами и боссенятами, какие существуют на свете...

Все больше обострялась классовая борьба в стране. За «красными» шла охота. Головорезы из всяческих «легионов» и «лиг», горланя, что они прикончат всех, кто, по их мнению, против «звездно-полосатого», врываются в дома и магазины, поднимали стрельбу, убивали на улицах. Полицейские отряды нападали на рабочие собрания, ватали людей, швыряли их в машины, избивали резиновыми дубинками. В Бютте какие-

то лица, оставшиеся «неизвестными», вломилась ночью в дом рабочего-революционера Фрэнка Литля, связали его, заткнули рот, привязали веревкой к кузову грузовика, поволокли по земле за город и повесили под железнодорожным мостом. В Нью-Йорке полиция арестовала четырех юношей и девушку, выходцев из России, за то, что они распространяли листовки с протестом против интервенции в России. В участке их так избили, что один из юношей — Яков Шварц — умер от побоев. Остальные были преданы суду и приговорены к каторжным работам на срок от пятнадцати до двадцати лет.

Но террор не мог сломить нарастающую волну стачечного движения. Бастовало около четырехсот тысяч рабочих сталелитейных заводов. Стачка проходила под руководством Уильяма Фостера (нынешнего почетного председателя Коммунистической партии США). Бастовали железнодорожники, шахтеры, автомобилестроители из Детройта и рабочие шелкопряделен в Патерсоне. В 1919 году число бастующих достигло небывалой цифры — четыре миллиона сто шестьдесят тысяч человек. В Бютте бастующие рудокопы создали нечто вроде Красной гвардии. В Портленде, родном городе Рида, солдаты, вернувшиеся с фронта, создали организацию для защиты своих интересов и назвали ее «Советом солдатских депутатов».

Многие американские рабочие — и не только те, кто с недавних пор жил в Штатах, но и «чистокровные», «стопроцентные» американцы, — открыто выражали желание уехать в Советскую Россию. Одни из них стремились вступить в ряды Красной Армии — в конце 1918 года в Нью-Йорке скопилось около полутора тысяч таких добровольцев. Другие собирались ехать в социалистическую Россию, чтобы там работать. Распродав все свое имущество, они покупали станки, детали машин, сырье, чтобы приехать в Страну Советов и наладить там новое производство.

Американские власти не хотели их выпускать. Они отчаянно боролись за то, чтобы их выпустили. Некоторые, не получив визы, покидали Америку нелегально.

Как-то летом 1920 года мне поручили проводить на фабрику бывшую Бутикова одного американского товарища. Придя в назначенное место, я увидела, что меня ожидает человек с типично русским лицом, одетый в столь же типично американский костюм с фабрики готового платья. Оказалось, что он русский, но много лет жил и работал в Штатах. Звали его Эйв, но это был просто укороченный и американизированный русский Иван.

В России он выступал впервые и порядком волновался, тем более что успел позабыть русский язык и часто ввергывал английские слова и обороты.

Произошла какая-то путаница — и вместо митинга мы попали на обычное рабочее собрание, посвященное производственным вопросам. Положение на фабрике сложилось крайне тяжелое, не было топлива, не было сырья.

Когда мы вошли в комнату, где происходило собрание, говорила простоволосая женщина в кофте навыпуск. Сильно жестикулируя, она зло нападала на непорядки и неполадки.

Председатель фабкома, узнав, что на фабрику пришел иностранный товарищ, заволновался и стал делать ей знаки, чтобы она кончала, но ее голос зазвучал еще громче, еще злее.

Наконец она выговорилась. Предфабкома что-то пролепетал, стараясь загладить инцидент, а затем слово было предоставлено этому самому товарищу Эйву.

Он начал медленно и задумчиво. Просил извинить, что не очень хорошо говорит по-русски. Рассказал, как попал тридцать с лишним лет тому назад в Америку — мальчонкой вместе с родителями. Как отец погиб во время обвала в шахте в Западной Виргинии, а он одиннадцатилетним мальчишкой пошел работать. В шахту мать не пустила — и он продавал газеты, был посыльным, чернорабочим, стоял у конвейера на заводе Форда, бурил нефть в Техасе, шуровал уголь на сталелитейном заводе в Питтсбурге, плавал по Миссисипи, бродяжил по дорогам Америки, висел на подножках, спал на железных крышах вагонов — и все это потому, что ему нужна была работа.

— Всю жизнь,— сказал он,— я прожил on the bottom of society («на дне общества»), где человек, потому что он рабочий, равен собаке. И когда я слушал сейчас эту комрадку, мое сердце наполняла зависть. Зависть к рабочему, который знает, что он хозяин!

Он рассказал о той борьбе, которую пришлось ему выдержать, чтоб вырваться из Америки в Советскую Россию.

— Мне хочется жить и работать среди свободных людей,— закончил он.— Остаток своей жизни я хочу посвятить борьбе за лучшее будущее человечества...

Рид неустанно выступал, рассказывая правду о Советской России. Его голос слышали тысячи. Он хотел, чтобы его услышали миллионы. Для этого нужно было написать книгу. Но в момент высадки его на Нью-Йоркской пристани полиция отобрала все привезенные им из Советской России записи и документы. В отчаянии он писал Линкольну Стеффенсу:

«Может быть, вы знаете хоть что-либо о том, когда мои бумаги будут возвращены мне. Если я не получу их в ближайшее время, будет поздно, издатель откажется от книги».

Лишь в ноябре 1918 года бумаги были возвращены. Рид снял комнату в уединенном квартале, никому не сообщил своего адреса, работал день и ночь. В январе сдал рукопись. Книга — «Десять дней, которые потрясли мир» — вышла в начале марта.

Рид снова отдался агитационной работе. Буржуазная печать требовала расправы с этим «красным из красных». В одной из газет через всю первую полосу чернел посвященный Риду заголовок: «Человек, по которому соскучилась виселица».

Он использовал для отстаивания идеалов социализма любую трибуну, в том числе скамью подсудимых. Во время судебного процесса по делу журнала «Массы» (того самого судебного процесса, о котором он узнал, находясь в Советской России, и тогда же решил явиться на него) Рид начал свою речь с описания ужасов войны.

— Нам это не интересно,— прервал его судья.— Мы хотим знать, каковы ваши убеждения.

— Мои убеждения определяются моим отношением к войне,— отвечал Рид.

— Значит, вы против войны?

— Да, сэр.

— Вы социалист?

— Да, сэр. Теперь я социалист.

— С каких пор?

— Я давно уже сотрудничаю с социалистическим движением. Но сам я сделался социалистом с лета прошлого года.

— Признаете ли вы желательной пролетарскую революцию против капитализма и буржуазии?

— Да, сэр. Так думает каждый социалист.

— И войну за это вы считаете единственно справедливой?

— Да, сэр. Если говорить правду, эту войну я считаю единственно справедливой...

Пять раз Рид предстал перед судом, но ни разу против него не было вынесено обвинительного приговора. Почему? Отчасти потому, что материалы обвинения не подтверждались материалами дела. Отчасти благодаря умелой защите Рида, переходившего от обороны к нападению. Но было еще одно обстоятельство, сыгравшее в этом, быть может, решающую роль: дело в том, что власти Соединенных Штатов хотели изобразить коммунизм русско-еврейско-литовско-польско-немецким движением, чуждым продуктом, импортированным на девственно чистую американскую землю. Между тем Рид как со стороны отца, так и со стороны матери, был «стопроцентнейшим» американцем. Его предки приехали в Америку в 1607 году. Один из них подписал Декларацию независимости, другой был генералом в армии Георга Вашингтона, третий — полковником в войсках северян. Осудить такого человека как коммуниста было слишком невыгодно. Но рано или поздно он был бы осужден...

Из баловня Америки Рид все больше превращался в ее изгоя. Лишь такие люди, как Стеффенс, остались его друзьями. Интеллектуальные снобы, с которыми прошла его молодость, разбрелись — одни продали свое искусство мамоне, другие в Париже, в кафе «Дом», состязаясь в остроумии и опустошенности, на разные лады доказывали, что нет ни победителей, ни героев; все виноваты, никто не виноват, никто не прав и все правы; нет справедливости, нет истины, нет лжи, все ложь! Были среди них люди подлинного отчаяния и боли за человечество, но и с ними Риду было не по пути.

Его путь был с рабочим классом. Однако прежняя формула «индейской тропы» перестала его удовлетворять. Отношения должны складываться иначе. Как в России.

Так Рид пришел к мысли о партии.

— Раньше я об этом совсем не думал, — рассказывал он нам в Москве. — У нас в Штатах имеются две партии — республиканцы и демократы. Все знают, что разница между ними сводится к тому, что республиканцы ругают демократов, а демократы ругают республиканцев. Правда, у нас имелась социалистическая партия, но это было нечто вроде клуба для салонной болтовни. Поэтому, когда я был в семнадцатом году в России, я почти не интересовался вопросом, что же это такое — большевистская партия, и не осмыслил, не понял, не почувствовал ее роли в Октябрьской революции. Как потом, в Америке, проклинал я себя за это!

Интересы рабочего класса повелительно требовали создания Коммунистической партии США. В разных концах страны возникали коммунистические организации и группы, возникали стихийно, разрозненно, не имея ни ясной политической программы, ни четких организационных принципов, ни единой тактической линии.

Часть коммунистически настроенных товарищей считала, что нужно немедленно выйти из рядов социалистической партии и создать свою партию. Рид и его сторонники настаивали на том, чтобы дождаться съезда социалистической партии, который был назначен на конец августа 1919 года, принять участие в предсъездовской борьбе, постараться завоевать на свою сторону большинство съезда, отсечь правые, оппортунистические элементы — и создать Коммунистическую партию.

Кто был прав? Видимо, Рид. Во всяком случае Уильям Фостер в монографии, посвященной истории Коммунистической партии США, считает позицию Рида более гибкой и соответствующей задачам партии.

Однако тактические разногласия заняли непомерно большое место в жизни коммунистических организаций того времени. В итоге образовалась не одна, а две коммунистические партии.

Рид мучительно искал выхода. Он штудировал письмо В. И. Ленина американским рабочим, читал и перечитывал изданные в США ленинские работы — «Государство и революция» и «Империализм, как высшая стадия капитализма», изучал историю американского рабочего движения. Но вопросы, которые стояли перед ним и перед Коммунистической рабочей партией США, одним из руководителей которой он являлся, были слишком сложны. Он чувствовал свою неопытность и неподготовленность — и решил поехать к Ленину, в Москву.

Поскольку он находился под судом, о заграничном паспорте не могло быть и речи. Ехать надо было нелегально, под чужим именем. Рид нанялся кочегаром на шведский пароход, в матросской книжке у него значилось: Джим Гормлей.

Близкие друзья проводили его до доков Нью-Йоркского порта. Несколько лет спустя они рассказывали Гренвиллу Хиксу, биографу Рида, что он был в отличном настроении и весело потешался над своей грубо сшитой матросской робой и узлом с пожитками, который, как полагаются заправскому моряку, нес на плече.

Ему предстоял тяжелый путь. Он ехал в голодную страну, окруженную со всех сторон врагами. Он знал, что его ждет трудная дорога, что ему придется с опасностью для жизни пробираться в Советскую Россию через тысячи препятствий и через линии белогвардейских армий. Но он был весел, как школьник, который впервые в жизни отправляется в плавание по морю.

Друзья простились с ним. Рид зашагал к мосткам. Сдал документы, получил койку в трюме, приступил к своей работе кочегара. Пароход отчалил. Рид стоял у топки и шуровал уголь, и только когда началась качка, понял, что они вышли в океан.

— Я твердо решил делать свою работу так, чтобы после меня ее не приходилось переделывать, — рассказывал он потом. — Но как я ни старался, мои товарищи заметили, что я не настоящий кочегар и вообще не тот, за кого себя выдаю. И знаете почему? Да потому, что, когда надо было надевать рукавицы, я работал голыми руками. Я воображал, что так-то я уж буду похож на кочегара. Но хотя ребята и поняли, что я — это не я, виду не показали.

В Бергене Рид сошел на берег и не вернулся на пароход. Он отыскал норвежских товарищей. С их помощью перешел пешком границу Норвегии. Десять дней спустя товарищи усадили его в трюм парохода, ушедшего в Финляндию. Все это путешествие по беспокойному Балтийскому морю он провел, свернувшись калачиком на груде грязного маслянистого тряпья, без еды, без воды. Когда судно подошло к Або, он, как его об этом предупредили, забился в шахту, которая ведет из машинного помещения на палубу. Он лежал, прижавшись к железным рельсам для угольных вагонеток, снизу подымались клубы пара, они оседали на латунной доске, прибитой на потолке, и капли воды непрерывно падали на голову Рида.

Было слышно, что наверху идет разгрузка. Наконец наступила тишина. С трудом передвигая окаменевшее тело и чувствуя головокружение, Рид спустился вниз. В трюме горела свеча, на груде тряпья лежал плащ. «Скорее, ради бога скорее», — сказал ожидавший его человек. Рид его не видел, слышал только его голос, чувствовал прикосновение его руки, которая помогла ему подняться по лестнице. Вместе со своим проводником он вышел на покрытую снегом палубу. Неподалеку шипел пар;

это два паровых крана грузили ящики знакомой ему формы: в таких ящиках перевозят винтовки и пулеметы. На этот раз их грузили для отправки войскам, которые вели войну против Советской России.

Они вышли в порт. Повсюду шныряли полицейские и солдаты. Рида должны были встретить два финских товарища. Но в порту их не оказалось. Рид пересек территорию порта. Полицейские подозрительно на него поглядывали, но не остановили. Тут он заметил, что два человека отделились от остальных рабочих и пошли к воротам. Подняв воротник пальто, чтобы закрыть вымазанное машинным маслом лицо, он пошел вместе с ними и, пока полицейский проверял их документы, ухитрился выскользнуть за ворота.

По улицам расхаживали патрули белой гвардии. Рид был в чужой, враждебной стране, без денег, без документов, не зная языка. К счастью, он помнил имя одного финского писателя, человека, далекого от политики.

Жена этого писателя дала Риду ночлег, одежду, свела его с финскими коммунистами. Переправляя его от одного сочувствующего к другому, финские товарищи доставили Рида в деревню неподалеку от линии фронта. В снежную ночь Рид с двумя провожатыми отправился в путь. Надо было пройти на лыжах более двадцати километров по крутым склонам. Вот когда пригодилась закалка, полученная в Скалистых и Каскадных горах!

Далеко после полуночи они вышли к красноармейской заставе. Рида провели в политотдел воинской части. Там сидело несколько молодых людей и девушка. На сдвинутых стульях кто-то спал. Было очень холодно. Девушка разожгла примус и приготовила какой-то напиток. «Это кофе?» — спросил Рид. «Это морковное,— ответила девушка.— А что именно морковное — кофе или чай, это решай сам».

Рид сильно устал, но от холода не мог заснуть. Наконец он решил встать и выйти на улицу. Ночь уже кончалась, звезды погасли, но небо было темным. Потом на востоке, где лежала Россия, оно посветлело — там всходило солнце.

Часа два спустя Рид уехал в Петроград, а оттуда — в Москву.

(Окончание следует)



ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ПЕРЕПИСКА А. М. ГОРЬКОГО С Л. А. СУЛЕРЖИЦКИМ

(Публикация Архива А. М. Горького)¹

Алексея Максимовича Горького связывала с Леопольдом Антоновичем Сулержицким почти двадцатилетняя дружба.

В своих воспоминаниях о нем М. Горький писал «Когда я встретил Сулержицкого, я испытал незабвенное чувство радости, я понял, что мне не хватало встречи с человеком именно таким, каков этот, именно его я должен был встретить, чтобы глубже понять красоту свободной личности и плодотворную мощь той почвы, которая создала эту личность. Мы подружились с ним быстро, как дружатся дети... Это был сказочный человек — воспоминание о нем будит в душе радость и окрашивает жизнь в яркие краски»².

Сам Л. А. Сулержицкий, или просто Сулер, как по примеру Л. Н. Толстого называли его друзья, прожил короткую (он умер сорока четырех лет), но бурную, сложную и действительно яркую жизнь. Кем он только не был, с кем только не сталкивала его судьба! Он батрачил в деревне и расписывал с Васнецовым Киевский собор, был маляром и водовозом, матросом и режиссером Художественного театра.

И всюду он привлекал к себе внимание и любовь. Быть всеобщим любимцем — его естественное состояние, свидетельствует А. М. Горький.

Всеобщую любовь, восхищение и уважение спускал Л. А. Сулержицкий благодаря высоким душевным качествам и всесторонней одаренности: талантливый писатель (Горький настаивал, чтобы он серьезно занялся литературным трудом), великолепный рассказчик, музыкант, певец (Шаляпин уговаривал его стать профессиональным певцом), актер, художник, режиссер, неистощимый на выдумки собеседник. «Счастливцев! — восклицал К. С. Станиславский. — Должно быть, все музы поцеловали его при рождении!»

И замечательным было то, что Сулержицкий, как вспоминает А. М. Горький, чувствовал себя равным всякому человеку, с которым сталкивался. «С Львом Николаевичем [Толстым] Сулер становился философом и смело возражал гениальному «учителю жизни», хотя Толстой и не любил возражений; с А. П. Чеховым Сулер был литератором, с Ф. Шаляпиным он великолепно пел...»

«Вст, батенька, талант, — говорил о нем А. П. Чехов, мягко хмурясь. — Сделайте его архиереем, водопроводчиком, издателем, — он всюду внесет что-то особенное, свое. И в самом запутанном положении останется честным». Лев Толстой восхищался и любился им: Сулержицкий «обладает действительно драгоценной способностью бескорыстной любви к людям. В этом он — гениален. Уметь любить — значит все уметь...»

Л. А. Сулержицкий родился в 1872 году в семье бедного переплетчика. С детства увлекался театром, музыкой, живописью. Учился в московском Училище живописи, ваяния и зодчества, откуда накануне выпуска был исключен за антиправительственные речи. К этому времени относится начало дружбы с Л. Н. Толстым и увлечение его учением.

Проникшись убеждением, что нельзя жить за счет чужого труда, он сначала батрачил в деревне, а потом служит матросом дальнего плавания. В один из рейсов он пытается устроить забастовку матросов в знак протеста против незаконного увольнения группы товарищей и в результате оказывается в числе безработных, влчаших голодное существование в одесском порту.

¹ Вступительная статья, подготовка текстов и комментарии А. Тарасевич.

² А. М. Горький написал воспоминания о Л. А. Сулержицком и подготовил их для второго номера журнала «Летопись» (1917 г.), но в связи с событиями Февральской революции публикация не состоялась. Рукопись долгие годы хранилась в семье Сулержицких и лишь в 1959 г. была напечатана в сборнике М. Горького «Литературные портреты».

В 1896 году он отказывается от воинской повинности, так как, записывая он в дневнике, «соглашаясь быть солдатом, я помогаю тому обману бедных, благодаря которому бедные люди сами, своими руками, отнимают от своих отцов и братьев последние гроши, для того чтобы отдать их праздным людям на прихоти, удовольствия, и главное, на усиление средств этого же обмана»¹.

За отказом принять присягу последовали тюрьма, сумасшедший дом, куда он был отправлен на освидетельствование, и, наконец, ссылка в далекую крепость, затерявшуюся на границе с Афганистаном. Но ничто не может сломить его уверенности в своей правоте, сломить бодрости духа и никогда не угасающего стремления облегчать людям жизнь всеми возможными средствами.

Отношение Сулержицкого к людям и значение, которое он имел в их жизни, хорошо определяется письмом одного из солдат из далекой среднеазиатской крепости: «Былы когда с нами, и было все родное, а без тебя опять чужая сторона, брат».

Вернувшись в Россию, Сулержицкий попадает в Крым, где знакомится с А. М. Горьким и А. П. Чеховым.

В 1898 году он по поручению Л. Н. Толстого перевозит преследуемых царским правительством духоборов в Канаду. Это описано им в книге «В Америку с духоборами», вышедшей в толстовском издании «Посредник» в 1905 году.

Горький знакомился с рукописью. Он высоко оценил ее и предлагал Сулержицкому более подробно остановиться на его собственной деятельности. «При чем тут я?» — со свойственной ему скромностью возражал Сулержицкий. — «Речь идет о духоборах, а я — постороннее лицо в этом неестественном сплетении религии с политикой...»

Горький настаивал, чтоб он начал работать над автобиографической повестью «Записки непоседливого человека», но замысел не был осуществлен. Позже в сборнике «Знание» был опубликован лишь очерк «Путь».

В период подготовки рукописи 1905 года Сулержицкий особенно сближается с Горьким. Чувство справедливости и желание помочь угнетенному народу толкают его, не имеющего никакой определенной политической программы, в революционную борьбу. «Смелым, вездесущим» называет его Горький. Он всегда оказывался там, где был больше всего нужен.

Он блестяще переправляет из Швейцарии шрифт подпольной типографии. А за хранение нелегальной литературы и за то, что при обыске у одного из искровцев в 1902 году был найден его адрес, Сулержицкого арестовывают, обвиняя в принадлежности к РСДРП, и ссылают в Подольскую губернию, под гласный надзор полиции.

В эти трудные годы Горький помогал ему материально и снабжал деньгами, необходимыми для революционной работы (см. письма 1901—1903 годов).

До конца жизни Сулержицкий оставался для царского правительства лицом неблагонадежным. В полицейском архиве за ним значилось не одно дело. И даже в 1912 году охранка воспротивилась его приглашению в Большой театр. «Допущение Сулержицкого на службу в Императорские театры безусловно нежелательно», — таков был ответ департамента полиции на запрос московского градоначальника.

Последние десять лет жизни Сулержицкого связаны с Художественным театром, с которым познакомили его Чехов и Горький.

Художественный театр был близок ему своими общественно-воспитательными целями, демократизмом, вниманием к эгической стороне театрального дела. Задача театра сформулированная К. С. Станиславским — «осветить темную жизнь бедного класса, дать им счастливые эстетические минуты... создать первый разумный, нравственный общедоступный театр», — совпадала с жизненными целями Сулержицкого.

В свою очередь Станиславский видел в нем единомышленника в понимании роли и задач театра. «Отличало его, — говорил Станиславский, — от обычных деятелей сцены идейное служение искусству, ради любви к людям, к природе и ко всему, чему он научился у Льва Николаевича и в своей скитальческой жизни».

Хороший вкус, тонкий артистизм, кипучий темперамент, выдающийся организаторский талант помогли Сулержицкому быстро вырасти в настоящего режиссера и подлинного театрального деятеля.

Вместе со Станиславским он был режиссером «Драмы жизни» К. Гамсуна, «Жизни Человека» Леонида Андреева, «Синей птицы» Метерлинка и «Гамлета».

Трудно точно установить долю участия Сулержицкого в каждой из этих постановок, но несомненно, что она увеличивалась от спектакля к спектаклю.

Приход Сулержицкого в театр совпал с началом работы Константина Сергеевича над так называемой «системой Станиславского», и он сразу стал ее горячим энтузиастом и пропагандистом. Обладая великолепными педагогическими способностями, Сулержицкий, как свидетельствует Станиславский, «умел черпать материал только из природы и жизни, то есть бессознательно делал то, чему учил нас Щепкин, к чему мы все так жадно стремимся, чему так трудно научиться и учить других».

Когда в 1912 году была организована Первая студия Художественного театра, Сулержицкий возглавил ее.

¹ Из дневника Сулержицкого. Архив музея МХАТ.

«Как все люди, прошедшие тяжелую школу жизни, люди, тонко чувствующие,— писал М. Горький,— он [Сулержицкий] был сплетен из множества противоречий, которые объединялись трогательной верой в победу добрых начал, тем настроением социального идеализма, которое характерно для многих — почти для всех — наших «само-родков».

Этот «социальный идеализм» с достаточной определенностью выразился в программе Первой студии, которая мыслилась Сулержицким «как студия-община со своим самоуправлением, землей, которую студийцы будут обрабатывать сами, объединенная единой задачей: поддерживать веру в человека в наше страшное жестокое время... Нести радость людям, которым трудно живется»¹.

Много разочарований ждало его на этом поприще. Но он не сдавался. Он умел создавать живую, радостную атмосферу и самое трудное дело превратить в увлекательный праздник. Но при всей своей мягкости и душевной деликатности Сулержицкий был непримирим к малейшему проявлению пошлости и грубости и боролся с ними так же яростно, как когда-то по дороге в Среднюю Азию бросался на вооруженных парней, мучивших пойманное дикое животное, за что чуть не поплатился жизнью. Спасло вмешательство конвойного, сопровождавшего его в ссылку.

Он не устал повторять, что без этики нет эстетики, и всегда требовал, чтобы актер знал, ради чего он вышел на сцену, чтобы никогда не забывал о высоких целях большого искусства.

Для своих учеников, из которых выросли крупные деятели советского театра — Е. Вахтангов, С. Бирман, А. Диккий, А. Попов, Б. Сушкевич, С. Гиацинтова, А. Чебан и другие,— он был в равной мере учителем сцены и учителем жизни.

Под руководством Л. А. Сулержицкого в студии были поставлены и шли с большим успехом «Гибель «Надежды» Гейерманса. «Праздник мира» Гауптмана, «Сверчок на печи» по Диккенсу, «Потоп» Бергера, вечер чеховских миниатюр.

В 1910—1911 годах М. Горький увлекся идеей возрождения театра на основе традиций итальянской комедии масок, используя ее опыт на современном материале. По его замыслу, актеры вместе с драматургом сами должны были создавать пьесу и спектакль.

Встретившись в начале 1911 года на Капри, Горький и Станиславский обсуждали эти замыслы, а в Первой студии под руководством Сулержицкого делались попытки их осуществления (см. письмо от 9 марта 1913 года).

С каждым годом усиливалась издавна мучившая Сулержицкого болезнь почек. Он чувствовал, что жить осталось мало, а сделать надо еще так много. Неосуществленным оставался замысел организовать трудовую коммуну, в которой все занимались бы физическим трудом. Обострялось чувство неудовлетворенности положением Художественного театра, в репертуаре которого Гамсун и Леонид Андреев стали заменять Чехова и Горького. Да и вообще все острее он ощущал свое бессилие изменить средствами искусства окружающую жизнь.

Но о том, как порой бывает тяжело, Сулержицкий говорил только самым близким друзьям. Именно эти настроения отразились в переписке с Горьким, относящейся к 1910 году.

В декабре 1916 года Л. А. Сулержицкий умер.

«Памяти о пылкой душе, горевшей любовью к свободному искусству и неустанно борющейся за благородство жизни» — было написано на венке от Художественного театра.

А незадолго до своей смерти К. С. Станиславский так сказал о своем покойном друге: «Л. А. Сулержицкий является самой яркой и талантливой — до гениальности — фигурой среди всех деятелей и сотрудников, с которыми я в течение своей жизни работал в области театра».

Близость с Л. Н. Толстым и ярко выраженная этическая струя в творчестве создали Сулержицкому репутацию толстовца. А был ли он им в действительности?

Бесспорно, Сулержицкий испытал влияние могучей личности и учения Л. Н. Толстого. Но вместе с тем А. М. Горький, очень близко знавший Сулержицкого, присоединился к мнению самого Толстого, говорившего: «Ну, какой он толстовец? Он просто — «Три мушкетера», не один из трех, а все трое!» — «Это сказано совершенно верно,— продолжал Горький,— и как нельзя более точно очерчивает яркую индивидуальность Сулера, с его любовью к делу, к работе, с наклонностью к донкихотским приключениям и романтической страстью ко всему, что красиво». Горький утверждал, что «бурное житие таких людей более, чем полезно, и в нем скрыт глубокий, важный социально-воспитательный смысл».

Публикуемые письма, к сожалению, далеко не полностью представляют переписку Горького и Сулержицкого. Многие из писем пропали. Сохранилось девятнадцать писем М. Горького и восемь Л. Сулержицкого, из которых ранее были опубликованы два письма М. Горького (от 26 ноября 1909 года и от мая 1910 года в собрании его сочинений, т. 29) и частично — одно письмо Л. Сулержицкого от 9 марта 1913 года в книге Б. Бялика «О Горьком».

¹ Л. Сулержицкий. Письмо к Станиславскому. Архив музея МХАТ.

Горький — Сулержицкому

[Крым, Оленз. Конец 1901 г.]

Лев¹ Антонович!

Как только встанешь на ноги и будешь в силе — приезжай сюда, ко мне. Я живу на даче Токмакова в Олензе, верстах в двух от Л. Н. Толстого. Квартира — большая, есть лишние комнаты.

Если денег не будет налицо — пойдй в «Курьер» и возьми у Фейгина², сказав, чтобы записали мне.

Не напишешь ли — если можешь — пару строк о здоровье и еще о чем-либо. Крепко жму руку.

А. Пешков.

¹ Сулержицкого иногда называли Львом.

² «Курьер» — московская газета либерального направления, в которой сотрудничал Горький. Фейгин Я. А. — ее издатель.

Горький — Сулержицкому

[Оленз, 19 января 1902 г.]

Дружище!

Когда едешь?¹ Я просил Б.², чтобы он сообщил мне об этом, — он молчит. И хочется, и нужно видеть тебя.

Если нет денег — телеграфируй Ялту Алексину³, дабы тебе, сколько надо, перевели телеграфом. Я его предупредил.

Твой А. Пешков.

¹ Сулержицкий должен был приехать в Оленз к М. Горькому.

² По свидетельству жены Горького, Е. П. Пешковой, имеется в виду Венуа Леонтий Леонтьевич, член РСДРП, большевик, умер не позже 1912 г. Сулержицкий был связан с ним по революционной работе.

³ Алексин Александр Николаевич (1863—1923) — старший врач Ялтинской земской больницы. Друг Горького.

Горький — Сулержицкому

[Москва, 28 сентября 1902 г.]

Спасибо, дружище, за письмо. Я уже думал, что ты на меня сердиться и готов был обозлиться на тебя. Написал Пятницкому¹, чтоб тебе выслали мои книги, а «Дна»² у меня нет. В начале ноября или конце октября получишь печатный экземпляр. Не надо ли денег? Сергей Ап[оллонович]³ посылает, но — не надо ли еще? Ты не глупи, не стесняйся. Я — в Москве, у С[ергея] А[поллоновича], пробуду здесь числа до 5-го. Подробно и много о житье нашем напишу из Нижнего. Пока — верчусь волчком. Репетиции⁴, снимки и т[ому] подобная канитель. Кланяются тебе толпы народа — Скиталец, С. А., Андреев⁵, Ольга Леонардовна⁶, Тихомиров⁷ и пр. Буду делать некие попытки к устройству твоего возвращения⁸ сюда, попрошу об этом Сергея Львовича⁹. Но — не надейся очень, хотя быть может... Сегодня попрошу об этом Стаховича¹⁰.

Крепко жму малюсенькую лапку твоей половины и обнимаю тебя.

Алексей.

¹ Пятницкий Константин Петрович (1864—1938) — директор-распорядитель демократического книгоиздательского товарищества «Знание», в котором с 1900 г. М. Горький занимал руководящее положение.

² Пьеса М. Горького «На дне».

³ Скирмунт Сергей Аполлонович (1863—1932) — московский книгоиздатель, связанный с революционным движением. Подвергался репрессиям за распространение революционной литературы. Друг М. Горького, у которого, бывая в Москве, Горький часто останавливался.

⁴ Речь идет о репетициях спектакля «На дне» в Московском Художественном театре.

⁵ Леонид Андреев.

⁶ О. Л. Книппер-Чехова.

⁷ Тихомиров Иосиф Александрович (1872—1908) — артист и режиссер Художественного театра.

⁸ В мае 1902 г. Л. А. Сулержицкий был арестован по подозрению в принадлежности к РСДРП и сослан в Ново-Константинов, Подольской губернии. Горький хлопотал об освобождении Сулержицкого.

⁹ Толстой Сергей Львович — сын Л. Н. Толстого.

¹⁰ Стахович Алексей Александрович (1856—1919) — адъютант московского генерал-губернатора. Был близок к Художественному театру.

Горький — Сулержицкому

[Н. Новгород, конец декабря 1902 — начало января 1903 г.]

Хороший мой Сулер — твое письмо получилось в Нижнем без меня, мне отправили его в Питер, но раньше, чем оно пришло туда — я уехал в Москву, где прожил до вчерашнего дня — вот причина, почему я замедлил ответ тебе. 12-го я снова буду в Москве, откуда вышлю тебе пока 300 или 500 р. в конце январ[я] дошло остальное. Не сердись, голубчик, и не сомневайся в горячем искреннем желании моем быть полезным тебе. Скоро снимусь соборно и пошлю тебе рожу мою вкупе со всеми чадами. Очень я рад, что ты пишешь о дух[оборах]. Присылай скорее! Тороплюсь кончить письмо — Верка¹ идет на почту. Все тебе низко кланяются и жене твоей. Чего она хворает?

Ну — крепко обнимаю.

Твой Алексей.

¹ Кольберг Вера Николаевна (1872—1954) — участница революционного движения, друг Горького по революционной деятельности в Нижнем Новгороде.

Горький — Сулержицкому

[Н. Новгород, 12 января 1903 г.]

Не сердись на меня, друг мой милый, я не стою сердитьбы твоей, ей-богу! Продолжай, работай, скоро получишь твою рукопись с указаниями, кои я нашел необходимым сделать. Книжица¹ будет интересная, поверь.

Не пишу — потому что все пишу. Носа высморкать некогда. Знаешь, я думаю, что если дело пойдет так, как идет, я и не умру никогда, ибо — свободного времени на смерть не найдется. В конце сего месяца переведу тебе 500, а хочешь — 700, а нужно — больше.

Писал бы чаще, все равно я отвечаю туго. Ну и до свидания! Недавно все мы очень пожалели, что тебя нет с нами, эх, голубь!

Жене — поклон.

А. Пешков.

Скиталец — не смейся — женится. Да, ты его не знаешь, я все забываю. Ну — у Андреева родился сын Вадим, а мы еще — погодим. Вот так каламбурчик вывернулся.
АП.

¹ Речь идет здесь и в следующих письмах о рукописи книги Л. Сулержицкого «В Америку с духоборами».

Горький — Сулержицкому

[Москва, 29 января 1903 г.]

Милый мой Сулер!

Посылаю переводом 200 р. пока. Если мало — напиши или телеграфируй. Как твои дела? Мои — слабо. Жена нездорова, нарыв в носу, Алексин нос ей резал. Теперь — выздоравливает. Девятый день торчим в Москве, очень надоело. Алексин приехал сюда

на практику, учиться, ходит по больницам. «Дно»¹ — шумит. Жена кланяется. Пиши. По возвращении в Нижний вышлю тебе рукопись с поправками, извини, что задержал, такая уйма всякого чтения и такая суетная жизнь. Познакомился я с художником Орловым², — интересно. Тоже — Голубкина³.

Ну — до свидания!

Алексей.

¹ Речь идет о спектакле «На дне», шедшем в Художественном театре.

² Орлов Николай Васильевич (1863—1924) — художник-передвижник.

³ Голубкина Анна Семеновна (1864—1927) — скульптор.

Горький — Сулержицкому

[Н. Новгород, 27 февраля 1903 г.]

Милый Сулер — кровохаркаю, еду в Ялту, очень это меня злит, но — ничего не делаешь. Алексин сел на шею и — везет. Рукописи твои беру с собой. Недели через две — получишь обратно. Очень мне стыдно пред тобой. Пиши на имя Алексина. Извини, — дружище! Ты не поверишь — с 14-го янв[аря] по 27-е — сегодня — прочитал 7 пьес, пять огромных критических статей и фунтов 30 — не преувеличиваю! — беллетристики.

Прости!

Л. Средин¹ тоже очень опасно болен. Напиши ему. Подавай прошение², вали в Ялту!

Всего доброго!

Извести — послали ль тебе денег из Москвы. Я послал — послать.

Твой Алексей.

¹ Средин Леонид Валентинович (1860—1909) — врач, друг Горького, постоянно жил в Ялте.

² Речь идет о разрешении выехать из Подольской губернии, места ссылки Сулержицкого.

Горький — Сулержицкому

Ялта [20 марта 1903 г.]

Рукопись я прочитал и — скажу по совести — она выше моих ожиданий. Серьезно, голубчик, это — ценная вещь. Разумеется, много в ней неумения распорядиться материалом, местами — ты просто грабишь сам себя, не разрешая воображению развернуться с той силой и яркостью, с которой оно, не сомневаюсь, — могло бы развернуться. В этом меня убеждают такие места, как похороны ребенка, умершего от рака, вторые похороны, буря в океане, приезд в Канаду. Все это очень хорошо, и — что главнее — все это ты же можешь написать еще лучше. Как это сделать? Я не буду советовать, найди сам, если хочешь. Отъезд из Батума — нужно добавить, расцветить, момент очень важный. Подсыпь везде, где можно, чисто комических черточек, они оживляют рассказ и помешают, со временем, упрекнуть тебя в односторонности освещения. Все, что я скажу тебе: — Прочитай рукопись внимательно и серьезно, раз и два, ты увидишь в ней многое сам, лучше меня. Затем: тебе нужно писать. Пиши больше. Практически — рукопись можно печатать, но — с литературной стороны ты можешь и должен сделать ее лучше. Можешь.

В некоторых местах ты увидишь сбивчивость рассказа, кое-где — ненужные, замедляющие ход повествования, отступления — убери это. Особенно обрати внимание на «введение». Сделай ты в нем краткий очерк истории духоборов, от времени образования секты, до выезда с Кавказа. Маленький, краткий и сухой очерк, без жалких слов, без упреков. Я думаю, что в этой форме можно провести через цензуру.

Нецензурное место — одно, объяснение Васи Попова и другого с англичанкой по поводу креста — но — ты его не тронь.

Больше жанра, больше картин, они у тебя выходят хорошо. Напр[имер] — сцена, где с мальчика смывает ветром картуз. Мало места женщинам, дай им речи и сцены.

В главе «Пер[вые] дни в Канаде» — есть длинноты и что-то скучное, нужно разбавить; хорош конец главы, прекрасно моление. В следующих главах не забудь сцену в блолгаузе за чаем, издевательство англичан и т. д. Пропустил ты эффектное описание погрузки угля в Адене — напрасно. Введи ее. Действуй, друг, скорее, чтобы к августу все было готово, а в конце сентября книга — была б напечатана. Собственно говоря, в этой рукописи ты обнаружил нечто такое, что дает мне право предъявить к тебе очень строгие требования, но на сей раз — это неудобно, ввиду шекотливости темы в цензурном отношении, а также и ввиду дальности расстояния. Трудно, дружище, писать о всем, что чувствуешь и что нужно сказать лицо к лицу да с рукописью в руках. Иное ощущение скорее и вернее передашь жестом, интонацией, чем словом, иную мысль можно объяснить только молча, мимикой. Я очень жду встречи с тобой и знаю, что скоро уже мы встретимся. Есть верный слух, что тебя скоро выпустят на вольную волю. Ну, я кончаю.

Пиши мне на Поля¹, с которым я еще пока не знаком, но все равно. Очень кланяются тебе Пятницкий, Алексин и Средин, который едва не умер недавно, а ныне — снова жив, да еще лучше прежнего.

Всего тебе доброго и бодрости духа прежде всего. Пиши! Работай, ты можешь, поверь мне. Крепко обнимаю и кланяюсь жене твоей.

Алексей.

Рукопись послана посылкой ценою в 10 р.

¹ Поль Владимир Иванович (род. в 1876 г.) — брат жены Л. Сулержицкого, пианист, живший в то время в Ялте. В настоящее время проживает в Париже (в № 12 «Нового мира» за 1960 г. на стр. 239 ошибочно указано, что В. Поль умер в сороковых годах).

Горький — Сулержицкому

[Н. Новгород, 23 апреля 1903 г.]

Из Ялты решили было ехать к тебе и даже маршрут удумали, но — очутились в Нижнем.

Причина сего — я здорово расклеился. Нажил себе что-то пакостное, вроде неврастения и ни к черту не гожусь.

Посылаю ответ Пятницкого на твои вопросы о технике рисунков¹, подробно спишись с ним. Рекомендую второй тип издания — дешевый, он, право, не многим хуже двухрублевого, смотри сам.

Не нужно ли денег? Телеграфируй в Нижний.

Очень часто, с искренней грустью вспоминали все мы о тебе в Ялте и здесь будем вспоминать.

Славный мой дружище! — вот что: со всех сторон я слышу, что департамент полиции относится ко всяким просьбам подведомственных ему людей очень корректно и джентльменски. И слышу, и вижу это.

Посему: качай просьбу на имя Его Пр[евосходительства] директора департамента о переводе твоём в Нижний или другой какой-либо город, в случае крайности. Разумеется лучше — в Нижний.

Мотивируй отсутствием заработка, необходимостью и невозможностью учиться пению, болезнью и т. д. Действуй скорее!

Пожалуйста, действуй. На днях вышлю тебе все новые издания «Знания».

Не пишу больше, сегодня приехал и устал, как собака.

Твой Алексей.

Жена и я кланяемся Ольге Ивановне², которая должна двинуть просьбу от своего имени, особо от тебя.

Всего доброго!

А.

¹ Речь идет об оформлении книги Л. Сулержицкого «В Америку с духоборами».

² Сулержицкая Ольга Ивановна — жена Л. Сулержицкого. Так же, как и он, была сослана.

Горький — Сулержицкому

[Н. Новгород, 22 мая 1903 г.]

Нет бумаги, времени и силы для того, чтоб написать тебе продолжительное письмище. Вчера приехал из Питера, устал, а Максим¹ обожрался какой-то травы и хворает.

Я поздравляю тебя с сыном — ибо наверняка — сын будет. Сообщи, когда сие совершится. Кланяюсь жене. И моя тоже.

Всего доброго! Всего хорошего!

Алексей.

¹ Пешков Максим Алексеевич (1897—1934) — сын А. М. Горького.

Горький — Сулержицкому

[Горбатовка, 21—22 июля 1903 г.]

Ты, Митькин¹ отец, не скули!

Сегодня я и Пятницкий, — оба с лихорадками, — возвратились с Кавказа, где прощались около двух месяцев. Устали, но отдохнули. Сейчас же среди 263 писем, накопившихся за это время, нашел 4 твои и вот — отвечаю.

На Бонча² — не обращай внимания, знай пиши, а коли видишь, что у него скучно, — вали веселее. Что готово — присылай в Нижний, теперь я засяду в нем надолго, вероятно на всю зиму. Позаботься о снимках. Вообще — работай, работа всегда себя оправдывает, ежели с любовью делана.

Глупостей ты понаписал немного в эпистолах твоих, ничего, это с тоски. Когда тебя разрешат³ — не знаю, думаю — скоро уж. Теперь сезон разрешений. Веркиной сестре⁴ разрешили уехать в Восточную Сибирь на 3 года и многим нижегородцам, одновременным с тобой, тоже разные решения пришли. Жди! Жена моя в Самаре. Твоей — поклон, поздравления и всякие добрые пожелания от души. Писать, пока не могу, устал. Не сердись — скоро напишу. Живу в Горбатовке 55 верст от Нижнего по Моск[овской] ж. д. Пиши в Нижний.

Обнимаю, милый. Очень хорошо на Кавказе!

Твой Алексей.

¹ Восьмого июля 1903 г. у Сулержицкого родился сын Дмитрий.

² Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873—1955) — старейший деятель КПСС, ученый, историк. Принимал участие в переселении духоборов и в издании книги Сулержицкого.

³ Речь идет о разрешении свободного передвижения по России.

⁴ Кольберг Юлия Николаевна (1880—1938) — принимала участие в революционном движении.

Горький — Сулержицкому

[Н. Новгород, 19 августа 1903 г.]

Милый — приехать не могу. Делай так: немедленно по получении приговора¹ телеграфируй Елец предводителю дворянства Михаилу Александровичу Стаховичу². Проси его тотчас же хлопотать о том, чтоб тебя и О[льгу] И[вановну] послали в одно место. Это будет сделано. Телеграфируй Лопухину³: жена больна немедленно выехать невозможно. Жди Вильно⁴ ответа Стаховича. Извести и меня, куда и надолго ли?

Скирмунт⁵ уже уехал, заедет [в] Петербург хлопотать о разрешении въезда в Москву.

Если Стах[ович] и Лопухин запоздают ответом — телеграфируй мне немедля, вышлю для О[льги] И[вановны] провожатых⁶.

Действуй!

Крепко жму руку. Прости, что не еду. Потом убедишься в невозможности для меня сделать это.

Рукопись — прочтена. Хорошо. Подробно потом.

Алексей.

¹ В августе 1903 г. Сулержицкий был освобожден.

² М. А. Стахович — родственник А. А. Стаховича.

³ А. А. Лопухин — директор департамента полиции.

⁴ В связи с рождением ребенка Сулержицким было разрешено переехать в Вильно.

⁵ С. Скимунт за издание антиправительственной литературы был сослан на пять лет в Олонецкую губернию.

⁶ О. И. Сулержицкая должна была ехать с грудным ребенком.

Горький — Сулержицкому

[Капри, 19 апреля 1909 г.]

Дорогой мой Сулер —

брал ты у меня — когда-то — деньги: не вернешь ли ныне, хотя бы часть оных? Поверь, не напомнил бы об этом, не имей я серьезной нужды. Растрясло меня землетрясение и другие события, им же несть числа.

Поверь также, что не для себя лично, не на свои нужды прошу, а — для других¹.

Хочешь сделать любезность — спроси Вишневого², не должен ли мне Худ[ожественный] театр хоть несколько? Сейчас здесь и сто рублей дорого стоят. Ужасная бедность.

Жму руку.

А. Пешков.

¹ В Италии в 1909 году произошло сильное землетрясение, повлекшее большое количество жертв. Горький принимал активное участие в организации помощи пострадавшим.

² Вишевский Александр Леонидович (1861—1943) — актер Художественного театра.

Сулержицкий — Горькому

[Май, 1909 г.]

Дорогой мой Алексей!

Прости, дорогой мой, что так долго не писал, после высылки ста рублей, но случилось это потому, что со дня на день все ожидал еще денег и тогда собирался и написать, а первые сто рублей поторопился выслать, как только их получил.

Ужасно мне досадно, что не умею писать. Очень часто чувствую большой недостаток в тебе, хотелось бы поговорить, — но совсем не умею делать этого письмами. Тяжелее всего это какое-то безлюдье последние годы... Никуда не хочется идти, — не с кем поделиться!

Увижу ли я тебя когда-нибудь? Вернешься ли ты в Россию? А я так близко тебя чувствую, так ты у меня в душе прочно поселился. Но по временам хотелось бы увидеть твои глаза, руки, — просто хотелось бы тебя крепко-крепко обнять и поцеловать, милый ты мой, хороший, родной.

Я вспомнил, что я, когда ты был рядом, близко, почти не разговаривал с тобой. Не разговаривал словами, потому что не нужно было никаких слов. Я чувствовал тебя и уверен, что и ты всегда знал, что со мной.

За наше знакомство мы несколько раз сближались и отдалялись, не отмечая этого никакими знаками.

И теперь, с тех пор как ты уехал, я всегда с тобой, но выразить этого не умел.

Жму тебе крепко, крепко руку, как верный твой друг, тоскующий здесь в одиночестве. Ты ничего не писал мне, но я убежден, что верно знаю, как ты живешь, — что у тебя болит. Милый, крепись, будь бодр, мужайся — помни, что таких, как ты, немного на свете. И будешь ты на Капри или еще где-нибудь, от этого тебе самому будет легче или тяжелее, но важно, чтобы ты был. И еще раз: важно, чтобы ты был.

Прощай!

Люблю я тебя, люблю крепко.
 Твой, действительно твой Сулер.
 Очень кланяюсь Марии Федоровне¹.
 Напишите, господа, хоть пару слов, если захочется.

¹ Андреева Мария Федоровна (1868—1953) — вторая жена Горького.

Горький — Сулержицкому

[Капри, май 1909 г.]

Дорогой мой Сулер —
 получив деньги без письма от тебя — чуть-чуть не обиделся: вот, думаю, действительно «долой с глаз — вон из сердца». Но — вспомнил кто ты есть, окаянный растрепан — анархист и — сказал себе, что обижаться глупо. А получив твоё письмо — обрадовался, да так, что хоть и плакать был готов. Очень уж люблю тебя! Увидаться бы нам однажды? Вот — лето идет и ты свободен будешь скоро — махни-ка сюда! Покричим!

За деньги — прими сердечное спасибо. Прошу верить, что они не мне нужны и для себя я не стал бы просить. А затеяно, видишь ли, хорошее дело¹. И если б ты помог мне малость путем сбора среди товарищей по театру — очень я благодарил бы и тебя и всех, кто откликнется на мой зов. Попробуй?

Живу — ладно. Влюбился в Италию и кажется мне, что это она — родина моя, мать души моей. Чудесная страна, великолепный народ, сказочное море и повсюду — великая чарующая красота. О музеях уж и не говорю — нет слов.

Так как я — рабочий человек, вроде каторжанина — писать прекращаю — некогда. Но говорить с тобой — большая охота, и скоро я пришлю еще письмишко. А ты, лентяй, ответь.

А.

¹ Видимо, Горький имеет в виду организацию школы на Капри.

Горький — Сулержицкому

[Капри, 26 ноября 1909 г.]

Дорогой мой Леопольд —
 читал я твоё «интервью» в «Утре»¹ и — удивился: зачем ты путаешься в эти дела? Суть в том, что из партии меня, разумеется, не исключали и весь этот шум — чепуха. А возможно, что и провокация², что пущен пробный шар, за коим имеют последовать уже более боевые против меня шаги. На днях все это выяснится.

Кстати: А[нтон] Пав[лович]³ ничего не мог знать о моем вступлении в партию, это случилось год спустя после его смерти.

Вот что, дружище: не пришлешь ли мне немножко денег? Бедую. Написал не мало, а печатать — невозможно. Скоро выйдет мой «Городок Окуров», — прочитай, скажи мне, какое получишь впечатление.

Живу в долг.

Жму руку.

А. Пешков.

¹ Имеется в виду статья-интервью Л. Сулержицкого «К отлучению М. Горького» в газете «Утро России» от 20 ноября за 1909 г. в связи с опубликованным в той же газете извещением об исключении М. Горького из РСДРП.

² В. И. Ленин в статье «Басня буржуазной печати об исключении Горького» писал: «Буржуазным партиям хочется, чтобы Горький вышел из социал-демократической партии. Буржуазные газеты из кожи лезут, чтобы разжечь разногласия внутри социал-демократической партии и представить их в уродливом виде. Напрасно стараются буржуазные газеты. Товарищ Горький слишком крепко связал себя своими великими художественными произведениями с рабочим движением России и всего мира, чтобы ответить им иначе, как презрением».

³ А. П. Чехов.

Сулержицкий — Горькому

7 мая, 1910 г.

Крым, Евпатория.

Дача Черногорского.

Алексей, только что прочитал твой городок Окуров. Раньше не мог, был страшно занят Гамлетом¹, и ничего другого в голове поместиться не могло.

Слушай — ты знаешь — много, много разных мыслей вызвал твой рассказ. Я не говорю о тех, которые ты хотел вызвать в читателе, но других, лучших, тех, которых ты не хотел, но которые вызвал, потому что они есть у тебя в душе, и которые передаются от автора читателю непосредственно, какими-то неведомыми путями.

И первое, что я стал думать, когда закрыл книжку — после всего, что она во мне вызвала, — это о тебе как о писателе и прекраснейшей души человеке, которая (душа) видна во всем, которая видна отовсюду, звучит в каждой странице (впрочем, не в каждой — об этом дальше) и которая больше всего нам нужна. — Может быть, у тебя прекраснейшая голова — она и действительно очень хороша, — но нам — читателям — ей-богу она не важна: нам — людям — совершенно не важна твоя голова, голов хороших много, от этого никому не лучше, а часто только хуже. Пусть она остается для твоего собственного хозяйства...

А вот сердце твое теплое, которое греет любовью к людям, душа твоя широкая, не знающая границ для любви, принесенная откуда-то отсюда, с широкой теплой Волги, — это только и нужно. И знаешь — это именно и вызывает самые большие, самые неожиданные мысли у каждого человека, самые важные мысли — и главное, что ценно, его собственные мысли, а не твои. Он начинает думать своими новыми для него мыслями и потому живыми. Своим сердцем ты толкнулся в его сердце, и пошли чувства и вышли мысли вместе — живые чувства, живые мысли.

И вот: — где так, там сильно — красиво, поэтично, — одним словом хорошо. А есть страницы, где ты рассуждаешь — уже хуже — сразу, хуже — уже не Алексей писал, а писатель; правда, таких страниц немного, в этом рассказе меньше, чем в других последних твоих рассказах, и потому я считаю: он много лучше, много, много лучше и потому и короче. Извини — говорю все как думается — в беспорядке. Удивляюсь тебе, зачем тебе пользоваться какими-то странными инструментами, когда у тебя есть такой великий инструмент, как талант, который все делает много лучше, понятнее, ближе, вернее и, главное, самого тебя учит как лучше на каждом шагу и ведет и вел тебя правильно, верно, как компас. А ты захотел его вести — не трогай его пальцами — брось! По этому рассказу вижу, что компас берет свое, и жду еще и еще...

У меня такое впечатление, что ты точно сам выучился и других стал учить, как по-умному устроить жизнь надо, чтобы было хорошо. И все это голова. А ты рассказывай нам, что ты видел, что ты видишь, и никуда не гни, — само нагнется — и поймем все, что тебе нужно, и такое поймем у тебя, чего ты и сам хорошенько не знаешь, что только красивыми теплыми туманами носилось в твоей широкой душе.

Все само собой выйдет — ты будешь говорить о самых простых вещах, будешь что-то петь, а люди будут делаться лучше, добрее и жить станут лучше. Как пел соловей в сказке Андерсена — эх, дорогой мой — только этим и можно научиться и научить быть лучше, добрее и умнее. Научить все равно нельзя, а заразить, сделать можно.

Прости ты меня, что так я тебе пишу, но так пришли мне чувства — мысли в голову, и не хочу я их фильтровать, а пишу, как люблю.

Много бы, ох много мог бы я тебе наговорить по этому поводу, — столько я вижу обмана, столько вместо любви ума (Ишь! Можешь сказать, на что пожаловался, живя в Москве, на избыток ума — да ведь и ум-то ведь глупый же в конце концов, особенно наш русский ум.) Но если ты захочешь, если не отнесешься пренебрежительно ко мне в эту минуту, то поймешь меня, что, когда видишь, как говорит живое сердце — хочется еще и еще.

Вот Куприн написал свою «Яму», а тут же и объяснителя привел, который объясняет скучно, не интересно и, главное, как все объяснители, — объясняет то, что и без

него понятно и даже без него лучше понятно, а что непонятно, того и он объяснить не умеет.

Есть художник (были, Зорянко такой был в Академии), который к картинам прилагал расстояние, определял для зрителя точку зрения, с которой-де следует на картину смотреть. Вот и ты было стал объяснять необъяснимое... Не надо!

Картина сама собой определяет точку зрения, твоя душа со всеми ее чувствами, красотами и любовью сама собой понятна нам — а она только и важна, и много надо поработать, чтобы она не говорила того, чего она не может не говорить. Отпусти себя окончательно на свободу и пой, пой и пой, и все будет как надо, как раз как надо и тебе и мне и всем.

Очень хорош Сима Девушкин — по-моему, самое главное лицо в рассказе. Удивительно тонко и волнительно написана его встреча с Лодкой и все, что делается с Лодкой, когда она смотрит в глаза Симе. Это едва ли не сильнейшее место и по содержанию и по живописи. Сима для меня большой человек, и ничего не говоря кроме нелепых стихов — он говорит моей душе очень много, он трогает и объясняет и Россию и людей вообще больше всех. Его не забудешь — и не усомнишься в верности тех мыслей и чувств, которые он пробуждает. Без него «пока» не может существовать русская жизнь. Оттого и Четырех слушает его, крестясь, и Лодка тянется к нему, и Тиунов разговаривает по душе, как, вероятно, ни с кем не будет разговаривать. И написан он превосходно. Тиунов, несмотря на массу удачных штрихов, метких, острых, вроде разговора о серебряном рубле, о уездной России и т. д., говорит, для меня, уже по-готовому — особенно в разговоре с Бурмистровым о том, что возникает Россия и т. д. Тут, как и в большинстве его разговоров, я чувствую твою голову.

А сам он, пока ты о нем говоришь — очень правдив и интригует. Лучший его разговор — это последний — с Симой. И мне кажется, что только с этого момента ты начинаешь правильно писать его разговоры, так что если бы ты писал рассказ дальше, то, думаю, дальше он стал бы говорить уже как следует, потому что, повторяю, в последнем разговоре он уже говорит как он, а не как надо автору, по каким-то там его посторонним, умным соображениям.

В Вавиле, хотя он и знаком нам, много новых черт, — интересных, — но он меня в этом рассказе меньше занимает.

Да обо всех можно поговорить много, а в общем мне особенно кажется важным то, что между этими двумя мирами (господами и [Заречьем?]) лежит какая-то безнадежно бездонная пропасть, которая не может не беспокоить зрячего человека уже самым фактом своего существования. И хорошо это сделано, что даже не поймешь, как ты ее сделал, а она зияет тут же под ногами, черная, страшная, и невольно спрашивает — как же это будет? Как с этим быть? Отвечать надо немедленно, а никаких ответов нет. А большинство, как твои окурковские интеллигенты, ходят по краю этой пропасти и даже и не видят ее.

Устал я, не могу больше писать, прости дурной почерк, но пишу лежа, так как надо мне лежать побольше.

Мало пейзажа — жалко. То, что есть, хорошо. Но такое впечатление, точно ты боишься писать пейзаж. А может быть, это моя фантазия. Хорош дом, где живут девицы. Стол у исправника.

А пока прощай. Алексей, напиши мне открытку, что получил от меня это письмо, и не сердись на меня, если что не так написал. Написал, как писалось. Ужасно хочется, чтобы ты еще свободнее, еще независимее от твоих дум написал что-нибудь. Напиши что-нибудь оттуда, с Капри — наверное же хочется тебе написать и про море и про итальянцев, и не знаю, почему тебе этого не сделать. А сколько ты пережил за это время. Открывай ворота, жарь, надо. Что бы ты ни писал, все будет правда и тепло, если оставишь себя в покое, и нам всем будет лучше житья от хорошей твоей песни.

Говорю я тебе вздор, сам знаю, что все ты это и сам знаешь, но как мне найти ту заслонку, которую ты нашупал уже сам и стал открывать в этом рассказе и стал глядеть на божий мир, как раньше, свободными глазами художника, верного только своей правде, своей песне?

Смелее, милый Алексей!

Голубчик, прости, ты можешь обидеться на эту фразу — но пойми меня — если захочешь по-хорошему отнестись — то кроме большой любви к тебе, ничего в этом письме не найдешь.

Твой Л. Сулержицкий.

Поклон Марии Федоровне. Ее ножик, что она подарила, все у меня, и я часто вас вспоминаю.

¹ Сулержицкий был режиссером спектакля «Гамлет», поставленного в 1911 году в Художественном театре.

Горький — Сулержицкому

[Капри, конец мая 1910 г.— начало июня]

Милый мой Сулер —

спасибо за хорошее письмо, за добрую память. Иногда приятно услышать, как живой человек ворчит или бормочет разные нелепости.

Читаю, как гремит ваш театр, как «пускает» философию Владимир¹ Ив[анович]¹ и расточает эстетику К[о]н[с]т[ан]тин² Сер[геевич]². Очень интересно. Живет Русь!

Но — и скучно же вам должно быть! Чего только вы не делаете? О чем вы, милые соотечественники, не рассуждаете? И все — серьезно. И все — на все медные! Сколь приятное зрелище представляет собою эта куча ценнейших людей, ныне издыхающих в судорогах неизбывной, неразрушимой тоски.

А я — пишу фарсы. Написал один в четырех актах³, а другой — кончаю — в двух будет⁴. В одном — самоистребляются разные недобитые судьбою люди, в другом — купцы города Гнилиц хлопчут о желез[ной] дороге.

А третий — в одном акте: некто написал пьесу, она поставлена, ее играют и — вдруг актеры на сцене начинают говорить — представь себе ужас автора и гнев его! — они говорят простым человеческим языком! Автор бросается на сцену, грозит актерам мировым судьей, обращается к публике с жалобами, но — актеры, наконец, тоже вышли из терпения и — вышвырнули автора со сцены. Как видишь, это уж трагический фарс.

Мне живется не дурно. Я все больше и горячее люблю Италию, особенно — Неаполь и — неаполитанский театр. Дружище — какой это великолепный театр! Здесь есть актер — комик. Эдоардо Скарпетта, он же — директор театра «МеркадANTE»⁵ и автор всех пьес, которые ставятся в этом театре. Он и его товариш Делла-Росса изумительные артисты! Скарпетта идет от Полишинеля — от Петрушки нашего — но как!

Великолепен трагик Каравальо, особенно в ролях чисто неаполитанского репертуара, в мелодрамах из жизни порта. Когда он играет какого-нибудь хулигана — страшно смотреть. В классическом репертуаре им тоже восхищаются — но я, лично, несколько утратил вкус к классикам на сцене, они дают мне больше наслаждения в чтении.

Хороши здесь театры, и театральная жизнь — изумительно бойка. Я имею в виду, главным образом, театры диалектов. Знаешь ли ты, что Италия впереди всех стран по количеству театров? В ней — 3557!

Недавно видел Режан⁶, — не в восторге. Видел Эрмете Новелли⁷ — его некоторые театралы — и в том числе Модест Ильич Чайковский⁸ — именуют «величайшим актером современности». Не понравился, хотя очень умен и ловок.

А смотрел я у Скарпетта, как голодные неаполитанцы мечтают — чего бы и как бы поесть? — смотрел и — плакал! И вся наша варварская, русская ложа — плакала. Это — в фарсе? В фарсе, милый, да! Не от жалости ревели, — не думай! — а от наслаждения. От радости, что человек может и над горем своим, и над муками, над унижением своим — великолепно смеяться.

Летом поеду смотреть Грассо⁹, — это чудесный парень, кроме того, что артист хороший.

Страшно люблю неаполитанские песни. И, в случае, если я приму каголичество, а также — подданство итальянское — не удивляйся, не ругайся, не плачь!

От любви! От нее — на все пойдешь! Между прочим — только ты не говори никому! — у меня превосходнейшие отношения со здешними попами.

И даже — ох, не скажу что!

Но, в случае, ежели...

Приглашу тебя режиссером в театр Ватикана. Мы устроим его во храме Петра, который я очень не люблю за его пустоту.

Жди. Молчи. Всего доброго! Поклон О[льге] И[вановне].

Алексей.

В конце письма приписка Марии Федоровны Андреевой: «Очень кланяюсь Вам, дорогой Л. А.— Спасибо за память! Сама Вас очень помню, люблю и уважаю. Мария».

¹ В. И. Немирович-Данченко.

² К. С. Станиславский.

³ По-видимому, имеется в виду пьеса «Чудаки».

⁴ Замыслы, видимо, не были осуществлены.

⁵ Эдуардо Скарпетта — актер и руководитель неаполитанского театра типа *Comedia dell'arte*.

⁶ Режан Габриэль-Шарлотта (1856—1920) — французская актриса, возглавлявшая один из французских театров.

⁷ Новелли Эрmete (1851—1924) — итальянский артист.

⁸ М. И. Чайковский (1850—1918) — брат и биограф композитора П. И. Чайковского, драматург и либреттист.

⁹ Грассо Джованни (1874—1930) — итальянский артист.

Сулержицкий — Горькому

16 июня 1910 г.

16 июня 1910. Эссендуки. Новый санаторий Зернова, комната № 69.

Милый, дорогой Алексей,— я переехал на месяц в Эссендуки и потому мой адрес пока другой. Получил твое письмо и весьма возликовал. Вижу, что ты бодр, весел, не утратил аппетита к песням, солнцу, смеху и даже горю человеческому — вещь по нынешним временам редкая.

Я, кажется, скоро начну менять жизнь¹ — больше не могу. Но об этом пока помолчим.

Слушай, Алексей, а нельзя мне прочесть твои пьесы?

А уж как бы я рад был! — Пришли, если есть у тебя лишний экземпляр. И пришли сюда — сейчас я свободен, и как бы хотелось прочесть! Пришли — ведь наверное же у тебя найдется лишний экземпляр. Милый,— сделай это. Именно сюда.

Читаю дальше «Городок Окуров» — замечательно хорошо. Прекрасный отзыв был в «Киевской мысли», я отложил и хотел послать тебе, но с переездом где-то затерялась проклятая газета. Поищу,— может быть, найду, тогда пришло. Хорошо там почувствовали красоты и самобытность языка.

Очень хорошо убийство Симы и самочувствие Вавилы — совершенно неожиданно. Смело это написано. Хорошо они втроем впотьмах с трупом сидят и разговаривают.

Дальше, завтра буду читать — интересно, что дальше будет со всеми ними.

А ты знаешь, что чуть-чуть было Москвин² и Александров³ не поехали к тебе этим летом. Их посылали сюда в Эссендуки, но им так безумно захотелось к тебе съездить, что они было совсем уже решили двинуться с дороги на Кавказ, свернуть к тебе,— остановила маленькая подробность — у Александрова не оказалось не только заграничного, но даже и русского паспорта. Так что уж поехали в Эссендуки. Узнав, что я буду тебе писать,— очень просили послать тебе поклоны, присоединяются также Константин Сергеевич и Мария Петровна⁴, которые вместе с Москв[иным] и Алек[сандровым] посылают тебе и Марии Федоровне свой привет.

Я пью какую-то соленую сволочь из никелированной трубки и хожу в зеленом галстук,— говорят, что от этого проходят почки,— может быть — все может быть. Я дошел до того, что если бы сказали, что надо стоять на голове,— то стоял бы. Вообще можно меня класть, ставить, поить, завязывать зеленый галстук и производить надо мной прочие операции — мне все равно.

Пока целую тебя, дорогой,— и кланяюсь Марии Федоровне, поблагодари ее за приспосочку — был тронут — не забыла еще стало быть меня. Скоро помру. Всего хорошего, дорогой мой. Пришли же, пришли сюда пьесы. Меня очень занимает актер, заговоривший человеческим языком.

¹ Л. Сулержицкий мечтал организовать в деревне трудовую коммуну.

² И. М. Москвин.

³ Александров Николай Григорьевич (1870—1930) — артист МХАТа.

⁴ М. П. Лилина.

Горький — Сулержицкому

[Июнь 1910 г.]

Слушай!

было так: приехал я в Неаполь, закружился в гамошной суматохе и незаметно, впопыхах, проглотил что-то вроде бомбы,— она разорвалась во внутренностях моих, и мои печенки, почки, селезенки покрылись многими ранами, отчего я начал скрипеть зубами, кататься по полу — вообще умирать. Может быть, это я съел чайный стакан. И вот, значит, помираю. Профессора приехали из Неаполя, люди очень серьезные и хотя говорят по итальянски, *ma molto male per me*¹.

Вдруг — все хорошее, как и все смешное, совершается вдруг,— вдруг, говорю, является кавказский человек Пурценадзе.

— «Памырайш? Жить не хочиш? Какое право памырать имейшь? Я тебэ приехал кавказку революцию рассказать, а ты памырайш? Пэрэстан!»

Я исхотался и перестал. Перестань, пожалуйста, и ты. Не надобно помирать! Это к тебе не идет, как зеленый галстух. Сними-ка его! Это наверное от галстуха у тебя мрачная мысль завелась.

Пьесу прислать не могу — нет переписанного экземпляра, да и не интересна она для тебя². Но, переписав,— пришлю.

А вот нечто вроде водевиля³. Приехал недавно землячок и рассказал мне изображенный случай, а я — написал.

Жалко мне, что Москвин с Александровым не попали сюда — очень я этих людей люблю и хорошо помню их милые рожицы. Вообще — я все помню.

А ты — не скули.

«Окуров» это, брат, очень плохо. «Кожемякин», м[ожет] б[ыть] лучше будет. Почитай.

А умирать — не торопись. Галстух же обязательно сними. Это он путает твои почки, наверное он!

Лучше — будь здоров!

Кланяйся всем знакомым. М[ария] Ф[едоровна] кланяется. Эх, кабы ты приехал сюда! Вот бы где я тебя вылечил! В два дня все почки выскочат! Очень хорошо здесь. Приезжай? Будем писать фарс. А то комедию! Приезжай, старик!

А. Пешков.

¹ «Но очень плохо для меня» (итал.).

² Имеется в виду пьеса «Чудаки».

³ Имеется в виду пьеса «Дети».

Сулержицкий — Горькому

[16 августа, 1910 г.]

Дорогой Алексей, не сердись на меня за рукопись¹. Дело в том, что я не получил ее в Эссентуках, уехал в Евпаторию, а оттуда в Киев и потом в Москву, и рукопись пришла ко мне за два дня до твоего письма. Позавчера она послана тебе заказной бандеролью.

Пишу тебе в поезде. Еду в Кисловодск, где лежит больной Станиславский. У него тиф в животе. Гамлета в этом году, значит, не будет. Вот ты все не хвалишь Окурова,

а он мне все больше нравится — не говоря уже о таких изумительных красотах языка, сравнениях и т. д., которыми полна вся повесть. А водевиль² мне показался так себе — смешно местами, может быть, если играть немножко ближе к фарсу. Мне кажется, ты так и писал. Будет ли он напечатан? Если да, то, если у меня будет время, можно ли его ставить в кабаре³ у нас? В этом году хотят ставить одноактные вещи Мопассана и прочее. Негу места больше — еще скоро напишу. Кланяйся Марии Федоровне и пожалуйста не сердись — не надо.

Твой Сулер.

¹ Имеется в виду рукопись пьесы «Дети».

² «Дети».

³ Кабаре — нечто вроде артистического клуба Художественного театра, в котором устраивались капустники и разыгрывались сатирические сценки и из которого впоследствии образовался театр «Летучая мышь». Постановка «Детей» там осуществлена не была.

Сулержицкий — Горькому

Кисловодск [1910, август]

Дорогой Алексей!

Константин¹ болен, это ты знаешь. Я сижу с ним, помогаю малость, дежурю ночью и т. д. Хочу тебя еще раз просить, чтобы ты не сердился за то, что я задержал твою рукопись. Вышла путаница с почтой, потом эта суматоха с болезнью Константина, и все спуталось.

Болеет К[онстантин] основательно, как следует. 4-я неделя все 39,8, 40, 40,2, на днях как будто соскочила на 38,4, а потом опять 39,6 и в таком роде. Мешает бронхит, который все-таки не разрешается. Сегодня ставили банки, м. б. получше будет. Все время голова ясная, несмотря на температуру. Часто говорит о театре, вспоминает о тебе, недавно сказал так: «Театр надо показать, показать все, что было в нем хорошего, то есть поехать по провинции, показать его всей России, мож[ет] быть и за границей, и потом переходить на общедоступный, а я буду тут же рядом работать в студии и изредка, может быть, ставить что-нибудь, изредка играть».

Театру нечем жить. Это все искусственно поддерживаем театр на высоте, а живая жизнь была, когда был Чехов и Горький. Чехов умер, Горький уехал, новых нет, и еще год-другой, и театр не сможет больше искусственно держаться на высоте. Надо этот театр кончить и начинать другой, общедоступный. Все оживут, заработают, но это будет уже другой театр. А я буду в стороне, спокойный старичок, а на самом деле беспокойный, потому что когда Вишневский начнет кричать — «какой замечательный театр», он все-таки будет кричать потише, если будет знать, что я тут, поблизости. Воевать же и тянуть все это дело больше сил не хватает, буду работать в тишине».

Очень велел передать благодарность вам за ваше внимание и был, видимо, сильно тронут и взволнован телеграммой от вас, — несколько дней все говорил об этом и все что-то думал.

Очень стал худ, оброс щетиной седых волос, тело кажется еще больше, благодаря худобе, — громадные черные брови кажутся на худом лице еще больше, а из-под бровей глядят совершенно наивные глаза. Ведет он себя «свершено, как ребенок, и все время режиссирует. Тут переключивали его с кровати на кровать, и он вдруг озабоченно начинает распределять, кто возьмет за ноги, кто под мышки и по какой команде, и все дирижировал пальцем. Все делали, конечно, по-другому, но он забыл уже, как он командовал, и остался доволен. Вчера я должен был выскочить из комнаты, чтобы там отсмеяться. Вдруг потребовал, чтобы доктор нарисовал ему план заднего прохода, «а то ставят клизму, а мне совершенно неясно, в чем дело, на каком боку лежать, и вообще я могу заблудиться». Доктор стал рисовать... «Позвольте», — сам взял бумагу, карандаш и начал чертить что-то невероятное. Сопит, лицо серьезное, что-то тушует и потом велел, чтобы ему принесли книгу с «планом», потом, конечно, забыл.

Вообще типичен всю болезнь до мелочей. Вчера, напр[имер], я даю ему градусник. Он берет, смотрит и говорит: «Это не мой градусник». — Ваш. — «Позвольте, я свой гра-

дусник наизусть знаю, тоненький, стройненький», — потрогал рукой, говорит — «не то!» Я говорю — Ваш. — «Ничего подобного». Обиделся, но все-таки поставил. И все это с серьезным лицом.

Легко обижается, по-детски. Проснулся как-то, нащупал ногами бутылку под одеялом и обиделся: — «Валял бутылки в кровать. Ну кому это надо?» Ему казалось, что такой уж беспорядок, что бутылки вместо того, чтобы выбросить на двор, сваливают ему в кровать.

Иногда, когда запутается в словах и заметит это сам, начинает смеяться и говорит: «Нет, ничего не могу рассказывать — мне нужно просто молчать».

Напиши мне, если будет время, как ты себя чувствуешь? Как здоровье? Что сейчас делаешь? Много ли русских у тебя бывает, не надоедают ли? Постарел ты или нет? Как думаешь? Бодр ли? Как Мария Федоровна? Кланяйся ей хорошенько от меня. Марья Петровна хотела писать, вот уже несколько дней, но очень устает. Кажется, она припишет в письме Муратовой². Ну, жму тебе руку и желаю всего, всего хорошего. Кланяйся Марии Федоровне.

Твой Сулер.

Если будешь писать, то пиши: Кисловодск, Дундуковская ул., дача Ганешина. Алексеевым, для Сул[ержицкого].

¹ К. С. Станиславский.

² Муратова Е. П. (1874—1921) — артистка Художественного театра.

Горький — Сулержицкому

[Капри, 29 августа 1910 г.]

Я не сержусь, с чего ты взял? Это я — так, по привычке, очень уж часто приходится мне, в делах моих, сталкиваться с российской бесцеремонностью, халатностью и прочими признаками нации. Тебе попало рикшетом, извини.

Огорчен и встревожен нездоровьем К[онстантина] С[ергеевича]. Не схожи мы с ним, но люблю и уважаю в нем одного из талантливейших русских людей; редки у нас люди, влюбленные в свое дело! Свято и нежно и страстно влюбленные.

Прочитай прилагаемое письмо, и, если оно его не взволнует, передай ему. А найдешь неудобным, передай привет и рукопожатье мое.

Как я живу? Да, — так не дурно. Италию — полюблю и меня здесь любят, видимо. И хорошо, знаешь, любят, не стесняя, не смущая. Мне странно иногда чувствовать себя здесь более свободно, чем дома. Культурны здесь люди и делают большое дело.

Русских — сколько угодно! Только что уехали художники, писавшие меня, было их пятеро, славные ребята! Пели русские песни, пили итальянское вино, много рассказали о живописи современной. Недавно были петербуржцы — жена Куприна с ее новым мужем, был Бунин, Юшкевич¹ и т. д. Но — люди без громких имен интереснее.

Скоро приедет Модест Чайковский, Герман Лопатин² — это на редкость превосходные старики! Лопатин — особенно. Сказочный человек, серьезно! Вообще — публикой из Руси — не обижен. Посещают. Иной раз такие милые чудовища являются — праздник! Об одном — скоро напишу, не могу утерпеть, до того нов и интересен, несмотря на седую бороду и кожевенный завод.

Что делаю? А — пишу. О Кожемякине³ пишу и — вообще. Может быть попробую себя на историческом романе⁴ — очень истории наглotalся! Думаю о мелодраме, но — особенного типа. Считаю мелодраму — настоятельной потребностью времени и необходимостью для России.

Постарел ли? А — конечно. Но — главным образом от того, что потерял меру времени: вот на башне четыре бьет, а я еще не сплю и, видимо, ранее шести утра не лягу. Двери, окна у меня открыты, по комнате летают ночные бабочки, и — не обжигают крыльев, лампа — электрическая. Шумит славное мое море, горят звезды, пахнет сырою землей и свежей зеленью — вчера ночью дождь был.

Как думаю? О чем? Я — обо всем хорошо думаю, неукротим. О русской интеллигенции, впрочем, думаю — не очень хорошо. Вернее — весьма нехорошо.

Ты, вероятно, знаешь, что со мной живет Зина ⁵, это превосходный человек, умница, и я его очень люблю. Иногда он уезжает, поступит куда-нибудь на завод, поработает и — снова вернется, полный новых впечатлений. Чудесное лицо.

Имею тысячи три книги, много читаю. Ловлю рыбу, держу птиц, ем ши, кашу, пироги.

Живу, вообще, не скучая, хотя и никогда не скучал.

Очень интересное занятие — жизнь и даже несколько жаль, что дают ее на один раз. Раз пять пожить бы, вот забавно! Но и один — хорошо!

Ну, вот я тебе сколько написал! Спасибо, друг, за письмо твое, и за доброе отношение. Будь здоров. Да — из моих живых интересов забыл об одном: международная политика. Очень увлекаюсь, грандиозно это и ослепительно ярко!

Всего доброго, Сулер! Эх, кабы тебя живьем поглядеть, каков ты стал! Живот — есть? Лысына — есть? Подагра есть?

У меня ничего этого нет еще, а хочется! Как-то не солидно без лысины и без подагры. Не верят многие, что ты литератор и сорок два года тебе.

Ну, до свидания!

Обрадовал бы, если б приехал!

А. Пешков.

¹ Юшкевич Семен Соломонович (1868—1927) — писатель.

² Лопатин Герман Александрович (1845—1918) — революционер, переводчик «Капитала» К. Маркса на русский язык. С 1887 по 1905 г. был заключен в Шлиссельбургской крепости.

³ Имеется в виду вторая часть «Жизни Матвея Кожемякина».

⁴ Роман о Степане Разине. Замысел не осуществлен.

⁵ Пешков Зиновий Алексеевич (Свердлов Зиновий Михайлович) — крестник М. Горького, при крещении принял фамилию Пешкова.

Сулержицкий — Горькому

[Москва, 1910, сентябрь—октябрь]

Москва, 1910.

Дорогой Алексей, то письмо к Муратовой, в котором ты приглашал К[онстантина] С[ергеевича] к себе на Капри, не могло быть распечатано потому, что Муратова к тому времени уже уехала в Москву, и только теперь, после моего приезда в Москву, опять поехала в Kisловодск.

Я прочел твое письмо к К[онстантину] С[ергеевичу]. Он еще не может писать лично, и потому просил меня написать тебе под диктовку. Он говорит: «Я не знаю, как мне начать ему письмо, но не могу иначе, как «дорогой Алексей Максимыч». Но прежде еще чем ты его приглашал к себе, он уже думал о том, что если он поедет на юг, то непременно заедет к тебе. Очень его заинтересовала твоя мысль о мелодраме русской. У него ведь тоже много нового в области театрального искусства, и он очень хочет поделиться с тобой, надеясь, что это тебя заинтересует. Он написал и пишет еще большую работу о творчестве актера, о сценической этике, о том, как работать актеру, чтобы быть искренним на сцене, чтобы быть творцом-художником, а не представляльщиком — это огромная работа, которой он занят все последние пять лет и которая должна перевернуть театр.

Все это проводится понемногу в жизнь, и много любопытного может получиться. Молодежь жадно воспринимает все это, да и многие из стариков, у которых душа еще не высохла, зажигаются и работают над собой со всем рвением молодежи.

Под диктовку, конечно, ничего не вышло, кроме первой фразы, которую тебе и привожу:

«Дорогой Алексей Максимович, Ваши телеграммы, Ваши письма, от которых пахнуло стариной и былым, Ваше приглашение к себе, все это искренно растрогало меня...»

Дальше писание не вышло, потому что он стал говорить о тебе, волновался, а этого ему нельзя, и поэтому диктовка прекратилась, а мы просто стали говорить о тебе

и вспоминать тебя, Ялту, первое знакомство с тобой и т. д. А в заключение стали говорить о том, как бы увидаться. Не умею я передать всего этого разговора.

Одно повторю, что действительно он очень был взволнован твоим участием и вниманием Мар[ии] Фед[оровны]. Он не ожидал этого, не ожидал, что ты его помнишь и что у тебя осталось еще хоть какое-нибудь дружеское чувство. Передай Марии Федоровне самую сердечную благодарность Марии Петровны.

Тотчас же после твоего письма К[онстантин] С[ергеевич] начал по утрам сообщать, как бы ему поехать в Каир так, чтобы попасть к тебе. Я тоже, вероятно, поеду в Каир из-за почек, и мы все составляем маршруты так, чтобы попасть на Капри, к тебе. Таковы наши мечты¹.

И когда я стал думать, что в самом деле возможно, что я с тобой увижусь, я вдруг как-то весь ожил — столько мне хочется с тобой говорить, тронуть все, что лежит у меня под рубрикой «Горький» и «Алексей».

Очень бы хотелось этого и именно теперь. По расчету господ врачей, конечно прилизительному, осталось мне «проявляться» еще лет пять, а там надо собираться в путь, и хотелось бы до окончательного отплытия с тобой повидаться.

Я все так же прыгаю, так же бегаю, так же горячусь где надо и не надо, но так будет, вероятно, и все эти пять лет, вплоть до отправления, но дело не в том, а в том, что лопнула жила во мне какая-то, — и жить мне трудно — хотелось бы побеседовать по этому поводу.

Почки только потому, что в душе жила лопнула.

Если бы эту жилу найти и связать ее, то почки мне не помешают.

Но лень уже искать.

Галстук зеленый я все-таки по твоему совету снял — одел по-старому фуфайку и, правда, стало немного лучше.

Но об этих реформах гардероба надо говорить много с тобой.

Это до свидания, если ему суждено сбыться. Пока пребываем в этой надежде и жму тебе твою руку.

Кланяйся от меня Марии Федоровне и от всех Алексеевых.

Твой Сулер.

Если захочешь черкнуть, то в театр пиши.

В половине ноября К[онстантин] С[ергеевич] приедет в Москву и тогда, устроив свои личные дела, он двинется со мной на юг.

Твой Сулер.

¹ Л. Сулержицкому ни в Каир, ни на Капри поехать не удалось.

Горький — Сулержицкому

[Капри. Сентябрь — октябрь 1910 г.]

Дорогой мой Сулер — мне кажется, что ты несколько прокис, а причину этого является однообразие впечатлений, жилы же в душе гвоей все целы, и ты на них к.тевещешь.

Вот приезжай-ка сюда, я те вылечу! Возьму за ноги и буду ежедневно окунать в море — то-то хорошо! А почкам дадим старого фалерно, они и придут в себя.

Константину Сергеевичу скажи, что его приезд весьма и глубоко обрадует нас, что и я и Марья Федоровна любим его крепко и сердечно чтим.

Приезжай, старик! Радостно будет взглянуть на тебя. Покажем мы тебе виды, душечка!

А пока — до свидания!

Очень люблю тебя.

Кланяйся Алексеевым и скажи, что я стал очень похож на европейца: по торжественным дням черный галстук навязываю на шею, и хоть он всегда съезжает под ухо, а — хорошо!

С каким мы вас итальянским драматургом познакомим! Интересен и талантлив и — ах ты мне!

Будь здоров!

М[ария] Ф[едоровна] — кланяется.

А. П.

На письме приписка М. Ф. Андреевой:

«Хочется хоть два словечка написать Вам — уж очень, очень хочется, чтобы вы оба с Константином Сергеевичем приехали!! Крепко жму Вам руку и от всего сердца, от всей души желаю Вам всего хорошего.

М».

Сулержицкий — Горькому

[Москва, ноябрь 1912 г.]

Дорогой Алексей!

Поздравляю тебя с ангелом¹, а ты поздравь меня, — у меня есть сын, коего я вчера назвал твоим именем, по случаю чего у меня рукав закапан воском.

Твой Сулер.

Письмо написано на бланке Художественного театра. В левом верхнем углу приписка Н. Румянцева — администратора Художественного театра:

«Честь имею Вас поздравить

Со днем Ваших именин

Н. Румянцев».

¹ Л. А. Сулержицкий ошибся, именины А. М. Горького — 30 марта.

Сулержицкий — Горькому

Москва, 9 марта 1913 г.

9 марта 1913 г., Москва.

Дорогой Алексей,

мне хочется прибавить милый, славный, хороший, — так как я тебя очень люблю. но что же делать, — не умею писать, а как прикоснусь к тебе, так всплывает какое-то красивое чувство и почему-то грустно становится... М[ожет] б[ыть] потому, что уже не кажется, как раньше, что жизнь очень длинна и что все опять будет так, как было, что твое отсутствие только временное, что еще успеем и повидаться и наговориться и как-то иначе пожить.

Я очень одинок и не думаю, чтобы это была моя вина, а так что-то много суматохи, много даже острых интересов — и интересы эти общи, но в самом главном, о чем можно и не говорить друг с другом, но чувствовать, в этом большое одиночество и потому тоскливо и больно.

Боюсь удариться в мелодекламацию (сейчас играет на репетиции музыка), и потому прекращаю.

Константин Сергеевич говорил мне о твоей мысли, чтобы актеры сами создавали пьесы, но вполне мне не ясно, как именно ты думаешь это делать, так как К[онстантин] С[ергеевич] не очень ясно рассказывал мне об этом.

Однако что-то в этом роде у нас все-таки делается. Я тебе расскажу.

Еще в прошлом году в школе я завел упражнения своими словами.

Темы я давал в зависимости от того, чего хотел добиться от учеников: сосредоточенности, темперамента, умения общаться с партнерами, умения влиять на живой объект тем или иным способом и т. д.

Обычно это бывали упражнения для двоих. Было, напр[имер], такое упражнение. В Третьяковской галерее смотрят картины курсистка и студент, причем студенту хочется ближе познакомиться с курсисткой, — она ему нравится, а она это чувствует, и так как ей нравится кто-то другой, то она всячески уклоняется. Это упражнение всегда давало интересные краски, и слова бывали иногда так хороши, что мне хотелось их записать. Конечно, тут участвующие шли от себя лично. Никаких образов или харак-

теров они [не] имели в виду. Но такие тонкие психологические ходы строились, так ярко и сочно выражались, не только в игре, но и в самих словах, что уже из-за одного этого стоило продолжать работу в таком направлении.

Иногда, когда не хватало фантазии на темы, я брал какой-нибудь рассказ или эпизод из рассказа, и ученики своими словами играли на эту тему, но опять-таки бра-лась тема, а не образы.

Потом стали задаваться темы для всех: напр[имер], один из учеников женится, — его свадьба, а остальные гости на этой свадьбе. Тут говорились речи, бывали инциденты, кое-кто напивался и т. д.

Иногда это выходило шумно, неразбериха — все мешали друг другу — но потом стали вперед улаживать, кто в каком отношении к жениху, невесте, друг к другу и т. д.

Во второй половине этого года были вот какие занятия:

Была дана тема: парикмахерская. Тут были хозяин, подмастерье, гости и т. д. Были интересные сценки в смысле бытовом, — ловко схваченная манера принимать посетителей, самое бритье, стрижка и т. д., т. е. механические действия были удачно подмечены. Все парикмахеры дали интересную характерность, но слова, хотя и меткие, не выходили из круга обычной рабочей атмосферы парикмахерской. Интересных взаимоотношений или какого-нибудь психологического хода и развития не наметилось.

Таких мелких сценок на разные темы было довольно много.

Но вот три последние представляют из себя нечто более интересное и, м. б., более близкое к тому, о чем ты говорил с К[онстантином] С[ергеевичем].

Чтобы занять всех на сцене я дал тему — «в мастерской у портних».

Замысла не было никакого, но роли все-таки распределили. Стали это делать потому, что не знали, что делать с мужчинами. Определились роли больше от личного склада. Так

хозяйка мастерской — Татьяна Васильевна Румянцева

3 портнихи: Анна — тихая, кроткая

Надя — злюка

Маруся — третья — бойкая, веселая, хохотушка.

Девочка в ученьи (так и есть в жизни, необычайной наивности, граничащей с глупостью, 17-тилетняя наша ученица).

Закройщик Павел Иванович — немножко напыщенное достоинство.

Муж хозяйки — комик, мягкий, покойный.

Слуга (ставит самовары, греет утюги, на посылках и т. д.) Никанор — наивный, с нелепыми жестами, старательный человек, туго соображает.

Дина — бывшая мастерица этой мастерской, теперь в шляпе с пером (кокетливая, сочная девушка).

Все сразу пошли на сцену и в разных углах закипели разные отношения и завязались сценки.

Было это сумбурно первый раз. Но завязавшиеся сценки были так интересны, что все с большим воодушевлением попросили продолжать. Я, сидя в стороне, следил за этой кашей и когда видел что где-нибудь начинается что-то живое, то выделял эту сцену тем, что кричал туда: «сцена такого-то и такой-то». Остальные продолжали жить, но стихали, и сцена выделялась. Потом в другом месте что-то налаживалось и т. д.

В первый же раз, кажется, а м[ожет] б[ыть], во второй уже, не помню, из этих отдельных сцен выяснились отношения друг к другу.

Закройщик важничает, ни на кого не обращает внимания, он приглашен как гастролер, работает снисходительно, улыбается на всякие недочеты мастерской, на затруднения хозяйки и т. д.

Портнихам он кажется верхом интеллигентности, образованности, изящества и необыкновенным знатоком своего дела.

Он почему-то недолюбливает Надю (злюка), и у него происходят с ней стычки из-за сантиметра, утюга и т. д.

Хозяйка, пригласившая его для поправки дел, подлизывается к нему всячески и платит всегда вовремя, несмотря на затруднения.

Дела в мастерской идут недурно, но хозяйка в большом затруднении — не платит уже вторую половину месяца портникам, подлизывается к Наде, которая знает себе цену, — хорошая мастерица; третирует Анну, постоянно к ней придирается.

Занимает деньги у Дины, которая приходит иногда сюда от скуки и чтобы похвастаться своей жизнью. Дина легко дает деньги «перевернуться», но иногда взбалмошно их требует назад.

Никанор, над которым все потешаются, влюблен в Марусю. Все это знают и подсмеиваются над ним. Так как он парень молодой, здоровый, [простодушный?], с хорошим цветом лица и ясными глазами, то Маруся не прочь поддразнить его иногда, особенно наедине, чтобы видеть его растерянность и пыхтение.

Маруся выученица этой мастерской и в фаворе у хозяйки. В затруднениях с хозяйкой портники и хозяйка всегда сносятся и улаживают дела через Марусю.

Хозяин — дворянчик — обирает хозяйку, иногда получает по счету и оставляет деньги у себя. Играет на бегах, где и проигрывается в пух. Любит сидеть у Филиппова с товарищами, часто занимает мелочь у портних.

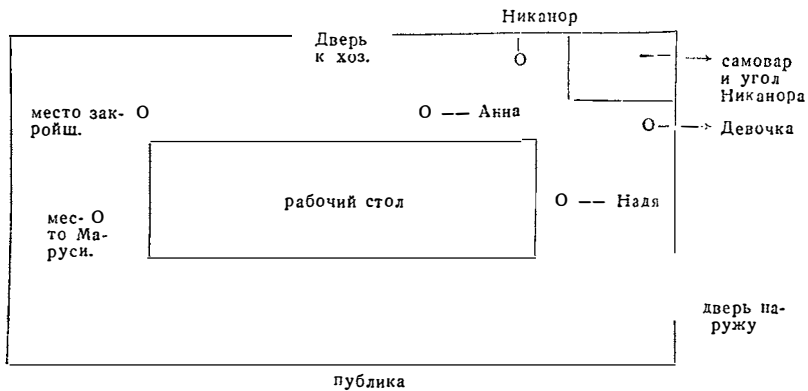
Анна с ребенком, который сидит один на квартире. Надя всячески ее шпигует и придирается где только можно. Иногда за нее в крайних случаях вступается Маруся.

У Нади, кажется, был романчик с хозяином, но это как-то неясно вышло и потому под вопросом.

Это упражнение повторялось несколько раз, и все развивалось и дополнялось.

Сцены начали распределять, какую раньше, какую после, какую развить, а какую вычеркнуть, и в окончательном виде получилось так:

В мастерской, дело к вечеру; часа 4—5. Мастерицы пьют чай. На сцене — Надя, Анна, ученица и Никанор.



За сценой идет примерка. Девочка сидит в углу и обшивает пуговицы. Никанор большой любитель чаю, но ему все никак не дают выпить. Открывается дверь из примерочной, и закройщик кричит: «сантиметр»; все «н» он произносит по-французски, в нос.

Девочка кидается искать. Нигде нет. Наконец, видит его на шее у Нади, но так как ее все боятся, то стоит возле нее, мнется и не смеет спросить. Анна видит это и говорит: «Надежда Всеволодовна, у Вас сантиметр, дайте девочке».

— Чего ж она стоит как дура?

Потом требует то уют, то другой, то оборку, то булавки.

Надя и Анна, — главным образом Анна — жалуются, что стали плохой чай давать и не дают больше булок к чаю, как было раньше.

Надя из противоречия говорит, что «не дают, так свои носите».

Сцена Анны и Нади.

Входит закройщик, важно кроит, курит, опять ищет сантиметр, который опять на шее у Нади.

Сцена между ним и Надей.

Надя спрашивает еще чаю. Никанор подает, но переллл через край и, подавая, мочит пальцы в чаю, который в блюдце. Надя его ругает. Никанор добродушно рассматривает пальцы.

Приходит хозяйка и старается оживленно рассказать о даме, о новом заказе, так как сегодня надо платить жалование, уже второй срок, а денег нет. Уходит, но Анна ее задерживает вопросом о деньгах. Она мимоходом отвечает, что не любит, когда ей напоминают, тем более, что ведь известно, в каком часу она платит. Чего же приставать?

Закройщик ее возвращает. Оказывается, не хватает материи на бархатную отделку. Хозяйка смущена, старается вывернуться. Закройщик подавляет ее спокойствием и какой-то легкой иронией.

— Может быть, можно как-нибудь вкось скротить? — смущенно спрашивает хозяйка.

Все следят за этой сценой с удовольствием, видя, как закройщик проваливает ее. Закройщику делается весело от этого вопроса, и он даже засмеялся.

— Что ж, можно и вкось!

Хозяйка ретируется. Все довольны, переглядываются и хотят выразить сочувствие закройщику, но он уже опять ушел в себя и кронт.

Закройщик посылает Никанора за книгой для записей. Никанор, когда ему велят что-нибудь сделать, смотрит долго молча в глаза.

— Ну, книгу для записей.

— Для записей?

— Ну да, для записей.

Он еще смотрит в глаза, но когда наконец до него доходит, быстро кидается прямо к цели от большого старания. Его вообще тут много дергают, но наконец ему удается как следует усесться и начать пить чай.

Все работают. Пауза.

Никанор, глотнув несколько раз, озабоченно поворачивается ко всем и делится:

— Охолодал чай-то, охолодал.

Приход Маруси. Ее посылали за деньгами к заказчице.

«Вот так штука,— деньги-то уже получили!» — Говорит: зачем второй раз приходите? — Рассказывает, как она разговаривала с лакеем.

— Значит, опять не получим и сегодня? Сцена по этому поводу.

Маруся идет к хозяйке рассказать. Этот разговор приведу так, как он у кого-то был записан:

Маруся: Татьяна Вас[ильевна], а Т[атьяна] В[асильевна].

— Чего там?

— Это я, Т[атьяна] В[асильевна].

— Маруся?

— Да, я.

Выходит Т[атьяна] В[асильевна].

— Ну, получила?

— Да нет, ничего мне не дали, да еще выругали и прогнали. Говорят: уж получили, а все шляетесь, по два раза хотите получать.

— Как получили?

— Да тут же, говорит, и получили, в тот же день.. Я больше не пойду туда, Т[атьяна] В[асильевна], сердитый такой лакей этот, ну его...

— Как, значит ты барыни не видала? Вот дура-то. Это все этот старый болван путает. Надо было с ней самой поговорить.

— Да, как же! Так и пустили меня туда! Как раз!.. Да вы только не беспокойтесь, Т[атьяна] В[асильевна], он два раза ходил туда, уж она твердо передала, что в тот же раз и получили.

— Да кто же мог получить? Как же это! Это чепуха какая-то! Я ей докажу. Кто носил платье на Ивановскую, 32? Ну! Позавчера?

— Да кто же! Никанор носил.

— Никанор, ты носил? Чего же ты сидишь и молчишь? Тебя спрашивают?

Никанор, который в это время чистил мазью какой-то металлический предмет, с самого входа Маруси следит за ней не отрываясь. Молчит.

— Ну!

Мар.— Ну, что же ты Ник[анор], коробок с платьем ты носил, позавчера?

Ник.— На Ивановску? Которая с лакеем?

— Ну, да!

Ник. (радостно). Я, я!

Т. В.— Тебе ничего там не давали?

Ник.— Давали.

Мар. (видя устремленные на нее глаза Никанора, фыркает. Никанор расплывается в улыбке).

Т. В.— Маруся, отойди. Надоело это, наконец. Что тебе давали?

Никанор — Фитанец.

Т. В.— И больше ничего?!

Ник. (молчит).

Т. В.— А да что с ним говорить. Не могли же ему денег дать. Это какая-то чепуха.

Ник.— Денег-то мне дали.

Т. В.— Что? Тебе дали деньги?

Ник. (молчит).

Т. В.— Куда же ты их девал?

Ник.— Стратил.

Т. В.— Как стратил? Почему истратил. Что ты с ума сошел?!

Мар.— Да сколько те дали-то, Никанор?

Ник.— Пятиалтынный.

— А, дурак!

Вот, так сказать, образчик того, в каком роде складываются сцены. Этого недоразумения с Никанором никто не предвидел. Имелось в виду только, что Маруся придет с известием, что денег не получила, но само собой зацепили Никанора, и пошло так, как записана эта сцена. Записана она одним учеником, тут же на уроке.

На сегодня прекращаю письмо, завтра напишу дальше, а то надо идти на репетицию.

Твой Л. С.

Вообще преднамеренно не уславливались, какие будут сцены. Все это вышло само собой. А уж после стали распределять их в порядке известном, чтобы друг другу не мешать.

Такие характеристики, как, напр., французское «н» у закройщика, тоже явилось внезапно.



ПУБЛИЦИСТИКА

Л. БЕЗЫМЕНСКИЙ

★

ЕСЛИ БЫ НЕ СОВЕТСКАЯ АРМИЯ...

Фридрих Глатц — пожилой венский делец — был моим собеседником не впервые. Мы познакомились еще в 1951 году на одном из приемов в советском посольстве в Вене, на который были приглашены видные представители австрийского делового мира. Уже не помню, кто нас познакомил. Мы разговорились, нашли какие-то общие темы и после не раз беседовали. Очевидно, я интересовал Глатца как редко раньше ему встречавшийся представитель «таинственного Востока» (для австрийского буржуа Советский Союз, разумеется, Восток). А мне было любопытно говорить с Глатцем как с типичным буржуа, который, однако, не был отравлен антикоммунистическим ядом. Еще в 1951 году Глатц был убежденным сторонником мирного сосуществования и австрийского нейтралитета (тогда это было совсем, совсем не модно).

В последний раз я встретился с Глатцем в Вене в прошлом году.

Стояли горячие июльские дни 1960 года, когда не только Австрия, но и весь мир жил визитом Никиты Сергеевича Хрущева в эту маленькую нейтральную страну, уютно расположившуюся в самом центре спокойной Европы. В эти дни шла чрезвычайно острая схватка великих идей мира и мирного сосуществования со старыми, закислыми идеями сегодняшнего капитализма. Глубокие и необыкновенно точные выступления Н. С. Хрущева, нашедшие горячий отклик у простых людей, взбудоражили застоявшееся болото реакции. В ход были пушены все самые изощренные средства буржуазной пропаганды с одной целью: в какой-то степени «локализовать» воздействие речей главы Советского правительства.

Фридрих Глатц с раздражением отложил в сторону газету — я уже не помню ее названия. Во всяком случае, это была венская газета, принадлежавшая к разряду так называемой «револьверной прессы». В газете на видном месте была помещена статья, в которой Советский Союз обвинялся во всех смертных грехах, вплоть до того, что он, мол, не уважает австрийской независимости и не уважает «духа свободы». Статья была написана развязно, грубо и бездоказательно. Я только было собрался отпустить пару достаточно крепких слов в адрес анонимного сочинителя этой статейки, как Глатц воскликнул:

— Сделайте одолжение!..

— Какое именно?

— Не обращайтесь на это непристойное выступление. Поверьте, честные австрийцы так не думают. Ведь если уж говорить о независимости и свободе, так мы получили ее только из-за того, что есть на свете Советский Союз. Я даже боюсь задуматься над тем, что было бы с нами, если бы не Советская Армия...

В течение беседы мы несколько раз возвращались к этой теме. И так как беседа продолжалась в маленьком «фнате» Глатца, то венский пейзаж как бы включался в наш разговор. То мы проезжали мимо дворца Бельведер, в котором был подписан исторический государственный договор, принесший в 1955 году независимость и нейтралитет Австрии и родившийся благодаря инициативе Советского Союза. То за окном машины высился памятник советским солдатам, освободившим Вену. А то это была простая надпись военных лет, еще не соскобленная за эти годы: «Проверено. Мин нет».

Я вспоминал этот разговор не раз — и не только в Австрии. Как часто буржуазные публицисты и политики упражняются в антисоветских выдумках, забывая, что если бы не великий подвиг Советского Союза, то, может быть, им самим не пришлось бы занимать своих постов, не пришлось бы писать статей! Сейчас на Западе не принято вспоминать, какие слова произносились по адресу Советской Армии весной 1945 года, когда коричневая банда была только-только разгромлена. А тогда в странах Западной Европы и Америки все видели, от какой угрозы они избавились.

Но достаточно ли широко известен истинный размер этой угрозы? В послевоенные годы появилось довольно много материалов, посвященных этому вопросу. Они в первую очередь опирались на огромную работу, проделанную Нюрнбергским международным трибуналом. В 1945—1946 годах в Нюрнберге был весьма подробно раскрыт и освещен характер заговора против мира, который составили нацистские главы. Но, разумеется, судьи и обвинители не могли тогда заниматься всеми подробностями. В столь короткий срок физически невозможно было «освоить» тысячи документов, захваченных после разгрома «третьего рейха». Эти документы постепенно публиковались в последующие годы. И теперь уже можно попытаться свести их воедино.

У ИСТОКОВ

Если можно так выразиться, нам предстоит заняться «патологоанатомией» гитлеровского режима. И так же, как ученые внимательно рассматривают срезы уже давно переставшей жить ткани, так и мы должны пристально приглядеться к тому, из какой «ткани» состоял гитлеровский заговор против мира. Как часто, изучая зараженную ткань, медик находил ключ к загадкам болезни!

Западногерманские историки и мемуаристы (особенно те из них, кто в годы войны занимался отнюдь не составлением исторических хроник, а выполнял у Гитлера, говоря словами великого Лессинга, роль «подручных мясника») рисуют сегодня образ Гитлера как некоей непостижимой личности, которая в своей деятельности не поддавалась ни обузданию, ни оценке. Генерал Гальдер, до сих пор благополучно здравствующий где-то в Баварии и получающий солидную пенсию от западногерманских властей, одним из первых распространил легенду о «демоническом» характере коричневого фюрера. С легкой руки Гальдера это начали повторять все кому не лень. Умысел ясен — Гитлер, мол, оказался «демонической» личностью, и все его сподвижники не могли предполагать, в какие авантюры завлечет их его «демоничность»...

В действительности все было гораздо проще. Отличительной чертой нацизма как военно-политической формы диктатуры наиболее реакционных сил монополистического капитала было то, что нацизм с самого начала не скрывал своих целей. Гитлер еще до прихода к власти откровенно провозглашал, что его задача — война против всех «недо-человеков» во имя создания великой (или, как он любил говорить, «тысячелетней») Германской империи. Выражаясь терминами немецких геополитиков, это должна была быть война за мировое господство.

Впоследствии, 8 мая 1942 года, в своей ставке близ Растенбурга, носившей символическое название «Волчий лог», Гитлер разглагольствовал перед своей свитой:

— Земной шар — это переходящий кубок. А ему свойственно стремиться в руки сильнейшего...

Согласно сей несложной концепции земной шар и должен был перейти в руки Гитлера. Именно об этом он трубил на всех перекрестках. Он прельщал этой перспективой генералов рейхсвера, которые еще в 1924 году пером генерала Штюльпнагеля назначили начало второй мировой войны на сороковые годы нашего столетия. Гитлер прельщал этим и рурских магнатов, которые в его словах слышали звон монет, сыплющихся в сейфы германских банков. Однажды Герман Геринг, беседуя с группой крупнейших промышленников Германии, так им и сказал: «Если Германия выиграет войну, то она станет величайшей державой в мире. Германия разбогатеет. Ради этой цели стоит рисковать!» А Крупп после захвата нацистами власти писал Гитлеру: «Поворот в политических событиях вполне соответствует моим желаниям и желаниям моих директоров».

Сейчас нет никакого сомнения в том, что, приведенный германскими монополиями к власти, Адольф Гитлер с первого дня своего пребывания в имперской канцелярии на Вильгельмштрассе точно знал свою цель: захват мирового господства. И не менее отчетливо он представлял себе, что эта цель может быть достигнута только при одном условии: если ему удастся разгромить Советский Союз. Иными словами, замысел нападения на нашу страну формировался в нацистской верхушке параллельно с замыслом развязывания второй мировой войны.

Когда после поражения гитлеровским главарям пришлось держать ответ за свои злодеяния, они прилагали все усилия для того, чтобы изобразить нападение на Советский Союз очередной «блажью» Гитлера. Автор этих строк имел возможность летом 1945 года слышать уверения генерал-фельдмаршала Кейтеля, что идея войны против СССР возникла чуть ли не за два месяца до ее начала. Напыжившись, неестественно выпрямившись (чему способствовала прусская выучка плюс фурункул на шее), фельдмаршал — он был уже без погон — растерянно поводил белесоватыми глазами, изображая полнейшее неведение.

А вслед за ним на допрос привели заметно похудевшего, но все еще массивного Геринга. Нервно барабанив по колену пальцами, униженными огромными перстнями, рейхсмаршал «тысячелетней империи» хотел убедить сидевших перед ним советских офицеров, что война против Советского Союза была столь неожиданной затеей, что он, главнокомандующий ВВС и второе лицо в государстве, узнал о ней в апреле или даже в мае достопамятного 1941 года...

Лжецов не спасает даже профессионализм. Геринг широко прославился в «третьей рейхе» как неисправимый профессиональный лжец. Но мы-то хорошо знали — а сейчас знаем еще лучше, — как долго и тщательно готовились нацизм и его генералы к войне против первого в мире социалистического государства. Приведу лишь одно свидетельство из десятков. Гитлер стал рейхсканцлером Германии 30 января 1933 года. И уже 3 февраля 1933 года он при встрече с генералитетом заявил, что его цель — «завоевание нового экспортного пространства, а возможно, — и это куда лучше — завоевание нового жизненного пространства на Востоке и его безжалостная германизация».

Именно так записал слова Гитлера в своем дневнике генерал Либман, который присутствовал на этом собрании. Дневник он сохранил до наших дней, передал в Мюнхенский институт современной истории, и в одной из публикаций института эта фраза увидела свет. Смысл ее говорит за себя. Прочитав ее, мы становимся свидетелями рождения стратегического замысла Гитлера и германского генералитета. Мы ощущаем, как идея мирового господства германских монополий («завоевание нового экспортного пространства») неразрывно связывается Гитлером с войной против СССР («завоевание нового жизненного пространства на Востоке»). И последнее для фюрера «куда лучше»!

Таковы были истоки, начальные замыслы. Снабженные миллиардами из сейфов рурских промышленников, Гитлер и его приспешники к 1939 году смогли облечь эти замыслы в реальную серо-стальную униформу вермахта. Тысячи танков и самолетов, сотни тысяч орудий, миллионы солдат, отравленное оружие коричневой пропаганды стали на службу осуществления беспрецедентного в истории человечества заговора против мира. Но вот что важно иметь в виду: все было заранее задумано, проверено, расписано и подсчитано. Ни грама импровизации. Ни доли отклонений от директив ставки. Помните: „Die erste Kolonne marschier!“... „Die zweite Kolonne marschier!“...

КУДА ЖЕ НАПРАВЛЯЛИСЬ КОЛОННЫ?

Сейчас историки подсчитали: всего Гитлером и его ставкой было составлено около тридцати самостоятельных военных оперативных планов. Операции обозначались не номерами, а условными наименованиями. Чаще всего это были имена собственные («Антон», «Атилла», «Барбаросса», «Геркулес», «Феликс», «Изабелла»), цвета («Вейсс», «Блау», «Гельб»). Иногда размах выдумки доходил до «Стражи на Рейне», «Осеннего тумана» или «Орла».

Еще не зная о названии той или иной операции, мир узнавал о ее содержании: аншлюс Австрии («Отто»)… Захват Чехословакии («Грюн»)… Нападение на Польшу («Вейсс»)… Дания и Норвегия («Везерубунг»)… Франция («Гельб»)… Греция («Марита») и, наконец, «Барбаросса» — поход против нашей страны.

Если быть точным, название «Барбаросса» появилось не сразу. Самый предварительный план подготовки к нападению на Советский Союз назывался «Ауфбау Ост»¹ (он включал меры по стратегическому сосредоточению войск). Когда же речь зашла о самом плане, то для него в ставку придумали наименование «Фриц» и «Отто». Название «Отто» отпало, очевидно, из-за того, что однажды уже было использовано. «Фриц»? Слишком бесцветно. Гитлер решил обратиться к более импозантному имени короля Фридриха Барбароссы, который, по преданию, дремал вечным сном в недрах горы Кифхойзер. Напыщенная древнегерманская символика импонировала и мракобесу Гиммлеру.

Термин «Барбаросса» быстро вошел в обиход. Когда 18 декабря 1940 года была издана директива № 21 о подготовке нападения на Советскую страну, то она носила подзаголовок: «Операция Барбаросса». В глазах «подручных мясника» это был обычный документ: на нем стоял текущий номер 33408/40. В действительности «Операция Барбаросса» была своего рода кульминацией гитлеровского военного и политического планирования. В истории не было другого плана, который был бы настолько описан для судеб человечества.

Приступая к осуществлению «Барбароссы», генералы Гитлера понимали, что перед ними сложная задача. Недаром этот план разрабатывался почти целый год. Параллельно военным планам разрабатывались детально продуманные планы экономического «освоения» захваченных территорий, планы оккупационного управления. В войне против Советского Союза ОКВ² прикинуло все, вплоть до организации бесчеловечности. Если в былых войнах зверства и разбой агрессоров были сопутствующими явлениями, то на этот раз Гитлер и Гиммлер с хладнокровием профессиональных палачей спланировали и эту сторону дела. ОКВ издало серию специальных секретных приказов, начинавшуюся пресловутым «приказом о комиссарах» и завершавшуюся директивой о создании «эйнзатц-групп» СС. Колонны должны были не только следовать по точно разработанным маршрутам, но и убивать, грабить и издеваться в соответствии с заранее подготовленными планами.

ЧТО ОНИ ЗАМЫШЛЯЛИ СДЕЛАТЬ С НАМИ

Еще два дня отделяло мир от нападения Гитлера на Советский Союз. Страна наша жила последними спокойными днями. На улицах Бреста играли ребята, в гарнизонных клубах приграничных округов репетировались очередные концерты красноармейской самодеятельности. В своей московской комнате за книгой сидела Зоя Космодемьянская, еще не подозревая, какой будет ее жизнь через два-три месяца. И в беспокойных вестях газет мы жадно искали подтверждения своим желаниям: нет, война еще не скоро...

Но рейхслейтер Альфред Розенберг 20 июня 1941 года был занят иными мыслями. Войдя в зал, где сидело несколько десятков высших чинов нацистской партии, он с удовлетворением оглядел это блестящее собрание, перед которым должен был произнести очередную речь.

Речей Розенберг произнес за последние годы сотни. Но эту речь он вынашивал долгие годы. Он произносил ее не как главный редактор «Фелькшнер беобахтер», не как руководитель внешнеполитического бюро национал-социалистской партии. Нет, на этот раз он выступал как «особоуполномоченный фюрера Великой Германской империи по централизованной разработке проблем восточноевропейского пространства».

«Господа! — начал речь Розенберг. — Я пригласил вас сюда сегодня, чтобы в узком кругу обсудить проблему, решение которой может быть определяющим для судьбы Германии и всей Европы».

¹ «Строительство на Востоке».

² ОКВ (OKW — Oberkommando der Wehrmacht) — Верховное главнокомандование вооруженных сил Германии.

Такова была преамбула речи Розенберга 20 июня 1941 года. Мы знаем точный текст ее, потому что сохранилась стенограмма. Она содержится в архиве Нюрнбергского процесса под шифром «PS-1058». Это длинная речь, полная выпренной декламации, к которой всегда был склонен шеф — идеолог коричневой банды. Но к концу первого часа Розенберг оставил разглагольствования и перешел к делу: он изложил план расчленения Советского Союза под немецким владычеством. Присутствовавшие в зале впервые узнали о плане создания на оккупированных территориях четырех рейхс-комиссариатов — «Балтенланд» (или «Остланд»), «Украина», «Кавказ» и «Россия» (или «Московия»).

Розенберг торжественно заявил собравшимся: «Перед Германской империей отныне открываются небывалые возможности. С Запада нам не угрожает никакая опасность, а на Востоке у нас руки свободны для всего, чего только ни захочет фюрер». Может быть, несколько лет спустя, сидя на скамье подсудимых в Нюрнберге, Розенберг с досадой вспомнил об этих словах. Но 20 июня 1941 года он не сомневался, что колонны вермахта промаршируют по Советскому Союзу и фюрер сможет делать там все, что захочет.

А фюрер точно знал, чего он хочет. По различным документам его ставки, а также по меморандумам созданного в июле 1941 года имперского министерства по делам оккупированных восточных территорий (его возглавил все тот же Розенберг) можно определить картину, которая рисовалась заправилам «третьего рейха», предвкушавшим скорую победу над Советским Союзом. Читатели «Нового мира» знают текст «меморандума Бормана» от 16 июля 1941 года¹, в котором излагались замыслы Гитлера, Геринга и Кейтеля, касавшиеся Советского Союза. Розенберг уточнил эти замыслы и перенес на бумагу.

Согласно общему плану наша страна должна была распаться на четыре немецких «рейхскомиссариата».

1. **Рейхскомиссариат Москва** (рейхскомиссар Зигфрид Каше, Москва).

В его составе генеральные комиссариаты: Москва, Тула, Ленинград, Горький, Вятка, Казань, Уфа, Пермь.

2. **Рейхскомиссариат Остланд** (рейхскомиссар Гинрих Лозе, Рига).

Генеральные комиссариаты: Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия.

3. **Рейхскомиссариат Украина** (рейхскомиссар Эрих Кох, Ровно).

Генеральные комиссариаты: Вольно-Подолля, Житомир, Чернигов, Киев, Харьков, Николаев, Таврия, Днепропетровск, Сталино, Ростов, Сталинград, Саратов и Немцы Поволжья, Воронеж.

4. **Рейхскомиссариат Кавказ** (рейхскомиссар Арно Шинкеданц, Тифлис).

Генеральные комиссариаты: Кубань, Калмыкия, Ставрополь, Грузия, Армения, Азербайджан, Горский комиссариат.

Вся эта система представлялась Розенбергу вполне реальной. Например, уже 25 июня 1941 года он решил, как будет назначать имперских и генеральных комиссаров, отдавая тот или иной пост определенному «ведомству». Так, пост в Москве должен был получить чиновник нацистской партии, в Ленинграде — высший чин СС, в Туле — СА; в Свердловск должен был поехать один из гаулейтеров, в Уфу — кто-либо из лидеров «Гитлер-югенд».

В общем и целом Гитлеру, Розенбергу и уже с ними представлялась такая картина. Вплоть до Урала распространяется область «рейхскомиссариатов», из которых три (Украина, Кавказ, Остланд) представляют непосредственную сферу имперских интересов, а «рейхскомиссариат Москва», кроме того, станет областью ссылки миллионов «нежелательных» из остальных комиссариатов. От Украины, Остланда, Кавказа часть земель отходит к «рейху» (Крым, Баку). О том, что будет «за Уралом», Гитлер великодушно не задумывался, хотя как-то сказал своим сообщникам, что «в случае необходимости мы должны будем возобновить наше наступление, если там (в Сибири.— Л. Б.) возникнет новый центр сопротивления». Во всяком случае, граница между Гер-

¹ См. «Новый мир» № 3 за 1959 год.

манией и «остатками России» должна была проходить «две или три сотни километров восточнее Урала». В Средней Азии должен был возникнуть «рейхскомиссариат Туркестан». Но Гитлер раздумывал, не вызовет ли это подозрений со стороны Японии...

Какой режим предполагалось ввести в «рейхскомиссариатах», можно было догадываться уже в 1941 году. Это были уже не теории Розенберга, а практика Коха, Кубе и Лозе. В течение 1941—1944 годов миллионы советских граждан на Украине, в Белоруссии и Прибалтике испытали на себе нацистское иго. Но как ни были чудовищны мероприятия оккупационных властей, все они были лишь прелюдией к осуществлению планов более дальнего прицела, полная реализация которых была отложена до того момента, когда вермахт должен был одержать окончательную победу.

Так, вся территория СССР до Урала подлежала так называемой германизации (Eindeutschung). С этой целью оккупированная территория разбивалась на районы, в каждом из которых германизация должна была осуществляться в той или иной степени. В Прибалтике подлежало германизации 100 процентов населения. До линии Ладожское озеро — Брянск в живых намечалось оставить лишь 14 миллионов русских и белорусов. Все было расписано с омерзительной точностью. Так, по одному из планов подлежало немедленному уничтожению 100 процентов евреев и цыган, 25 процентов русского населения, 10 процентов украинцев и белорусов, 10 процентов неславянского населения. К депортации за Урал было назначено 10 процентов русских, белорусов и украинцев. На их место должны были прибыть три с половиной миллиона немецких поселенцев.

На территории, подлежавшей германизации, Гиммлер запланировал создать немецкие военные поселения, жители которых должны были стать «господствующей расой». «Мы создадим новую колониальную империю с метрополией в центре Европы», — хвастал Гиммлер. Население Советского Союза должно было быть переведено на положение рабов. По наметкам СС, в оккупированной России всем местным жителям позволялось иметь только четырехклассное образование. Русский язык в качестве государственного подлежал запрещению. «Русские должны будут уметь только считать и писать свое имя. Их первое дело — подчиниться немцам» — вот чего требовал Гиммлер. Но это не все. Он заявил: «Мы должны убивать от трех до четырех миллионов русских в год», — чтобы не допустить прироста коренного населения в нацистской колониальной империи.

В тесном кругу своих приближенных Гитлер давал волю своим мечтаньям, рисуя картину немецко-фашистского господства в Советском Союзе. «Немецкие учреждения и органы власти должны иметь роскошные здания, губернаторы — дворцы, — живописал фюрер. — Все остальное — это другой мир, который мы оставим русским. При одном условии мы будем владычествовать над ними. Мы не должны посылать гуда немецкого школьного учителя — русским, украинцам, киргизам знание грамоты может только повредить. Немецкие врачи должны лечить только немцев...»

Трудно спокойно держать перо в руках, излагая эти небывалые по своему хладнокровному варварству замыслы. Но таков удел историка — он обязан регистрировать факты. Зная планы Гитлера, касавшиеся Советской страны, мы еще выше можем оценить великий подвиг нашей армии, перечеркнувшей планы Гитлера.

А этих планов было много.

«РАЗНАРЯДКА» ГЕЙДРИХА

Даже «первые наброски» деятельности Гитлера и его приспешников могут заставить каждого нормального человека содрогнуться. А ведь это были лишь самые первые наброски.

Летом 1941 года, когда танковые колонны Гудериана и Манштейна ворвались на нашу землю, когда эскадрильи Кессельринга и Каммхубера бомбили беззащитные деревни и поселки, в Берлине с новой энергией закипела работа по составлению планов, касающихся как Советского Союза, так и многих других стран. Ведь в эти месяцы в ОКВ считали, что война уже выиграна. 3 июля 1941 года начальник генштаба Галь-

дер записал в свой дневник: «Не будет преувеличением, если я выдвину утверждение, что русский поход выигран в течение четырнадцати дней». 4 июля Гитлер сказал своим приближенным, что Советский Союз «практически проиграл войну».

Зарвавшимся генералам не было дано постичь глубокий смысл событий, разыгравшихся тогда на полях сражений. Они думали, что это победоносный конец войны. На самом деле это было началом их гибели. В те дни Гитлер и его фельдмаршалы упивались своими победами, а герои брестских подземелий умирали от жажды и голода. Но первые уже тогда были заживо обречены, а последних ждало бесмертие.

В июне 1941 года мертвецы в роскошных залах имперской канцелярии еще сидели за своими столами, отдавали директивы и предвкушали, как они будут властвовать в мире, когда уничтожат Советский Союз. Можно представить себе самодовольную физиономию Гитлера, когда он говорил своим приспешникам: «Мы со ста—двумястами миллионами немцев станем неограниченными властителями континентальной Европы».

Что же собирался Гитлер сделать в континентальной Европе?

Как свидетельствуют документы, была разработана целая серия планов, основанных на главном расистском требовании гитлеризма: уничтожении евреев и славян. Воззрения «расы господ» предусматривали в первую очередь «освобождение» Европы от еврейского населения, а затем — ликвидацию славянства.

Расовая «теория», унаследованная Гитлером от англичанина мракобеса Хаутона Чемберлена и возведенная в ранг государственного вероисповедания, стала одним из самых гнусных орудий фашизма в его борьбе за мировое господство. Теории, собственно, не было никакой. Все пухлые тома, сочиненные в годы нацизма в германских университетах, содержали лишь наукообразные оправдания практики истребления миллионов людей. Согласно политическим целям господствующих классов расизм обращался то против одной, то против другой национальной группы. Когда Гитлеру надо было разжечь антисемитские, погромные настроения внутри страны, чтобы отравить сознание немецкого народа, Розенберг и Штрейхер занялись своим грязным ремеслом. Надо было натравить немцев на французов — последние были объявлены «расово-неполноценными». Предстоял поход на Восток — и все славяне были зачислены в разряд «недочеловеков».

Расовая «бредология» нацизма была лишь средством для достижения цели. Гитлеровские главари считали, что «расово-этнические» принципы писаны лишь для «черни», а не для них самих. Гиммлер, к примеру, прокламировал, что «истинный немец» — это белокурый, светлоглазый гигант атлетического телосложения, а все остальные подлежат истреблению. Неважно, что многие высшие чины «третьего рейха» были отнюдь не блондинами, да и их «арийское» происхождение было весьма сомнительным. Недаром Геринг однажды в припадке ярости закричал на какого-то ревнителя расистских принципов: «Кто у меня еврей — определяю я сам!»

Но чем меньше сами гитлеровцы верили в свои расовые бредни, тем усерднее они их пропагандировали. Ведь при помощи подобной псевдоидеологии так удобно было натравливать народы друг на друга, отравлять душ людей, приучать их к ненависти, подстрекать к взаимному истреблению. Расизм заставлял людей забывать, что они люди. Недаром этим орудием пользуются до сих пор: Генрик Фервурд и сэр Рой Веленский¹ видят в расизме лучшее средство для борьбы с африканцами; американские нацисты типа мистера Линкольна Рокуэлла взяли на свое вооружение антисемитизм. Его же пытались возродить в 1960 году подпольные инициаторы гнусных фашистских демонстраций в тридцати шести западных странах.

Правда, есть на Западе — особенно в Западной Германии — политики и публицисты, которые восклицают: «Антисемитизм? Расизм? Позвольте, это дело прошлое. Это вчерашний день, который не вернется». Но я вспоминаю разговор на эту тему, в ходе которого один западногерманский левый журналист сказал так: «Да, нацизм — труп. Но трупный яд очень опасен...»

¹ Генрик Фервурд — премьер-министр Южно-Африканского Союза, Рой Веленский — премьер-министр Федерации Родезии и Ньясаленда. Оба — оголтелые расисты

Среди приспешников Гитлера было определенное разделение труда. ОКВ вело войну против солдат, Гиммлер — против мирных жителей. В свою очередь у Гиммлера были «специалисты» по самым различным областям деятельности в означенной области. В главном штабе СС существовало ведомство по расовым проблемам (Грейфельт), в гестапо — отдел по «еврейским делам» (Эйхман), в министерстве внутренних дел — такой же отдел (Глобке).

Грейфельт, Эйхман, Глобке приступили к своему черному делу уже в 1933 году. Но самые решительные действия по уничтожению еврейского населения Европы откладывались нацистами на то время, когда, по их расчетам, будет разгромлен Советский Союз.

Двадцатого января 1942 года в ставке решили, что это время настает. В этот день Рейнхард Гейдрих, заместитель Гиммлера, собрал в своей берлинской резиденции близ озера Ваннзее представителей высших органов власти, чтобы обсудить план «окончательного решения еврейского вопроса». Гейдрих сообщил, что отныне расправа с еврейским населением вступает в новую стадию. «Вместо вывоза¹ теперь в качестве возможного решения появляется эвакуация евреев на Восток... Однако и эти акции следует рассматривать как временные, потому что нам предстоит собрать некоторый практический опыт, который будет важен для предстоящего окончательного решения еврейского вопроса».

И далее в так называемом «протоколе Ваннзее» можно прочесть небывалую по своим размахам «разверстку» на уничтожение людей. Гейдрих продолжал:

«Ходом этого окончательного решения будут охвачены около одиннадцати миллионов евреев». В протоколе следует таблица:

Страна	Количество
«А. Германия (в довоенных границах)	131.800
Остмарк ²	43.700
Восточные области ³	420.000
Генерал-губернаторство ⁴	2.284.000
Белостокский район	400.000
Протекторат Богемия и Моравия ⁵	74.200
Эстония — очищена от евреев	—
Латвия	3.500
Литва	34.000
Бельгия	45.600
Дания	5.600
Франция (оккупированные районы)	165.000
(неоккупированные районы)	700.000
Греция	69.600
Голландия	160.800
Норвегия	1.300
В. Болгария	48.000
Англия	333.000
Финляндия	2.300
Ирландия	4.000
Италия (включая Сардинию)	58.000
Албания	200
Хорватия	40.000
Португалия	3.000
Румыния (включая Бессарабию)	342.000
Швеция	8.000
Швейцария	18.000
Сербия	10.000

¹ Очевидно, имелся в виду план вывоза всего еврейского населения Европы на остров Мадагаскар.

² Австрия.

³ Районы Польши, включенные в 1939 году в Германию.

⁴ Польша.

⁵ Чехия.

Страна	Количество
Словакия	88.000
Испания	6.000
Турция	55.500
Венгрия	742.800
СССР	5.000.000
В том числе: Украина	2.994.694
Белоруссия (без Белостокского района)	446.484
Всего	свыше 11.000.000*

Такова была «разнарядка» Гитлера, выполнение которой было поручено Гейдриху, Гейдрих перепоручил ее Эйхману. Как известно из признаний самого Эйхмана, он к 1945 году «не успел» выполнить этот дьявольский план. В порыве откровенности Эйхман в последние дни войны сказал своему коллеге-эсэсовцу, что уничтожил «только» шесть миллионов человек...

Но нам следует обратить внимание на одну особенность плана Гейдриха—Эйхмана. Она состояла в том, что предпосылкой такой расправы была «свобода рук» на востоке Европы. В протоколе значилось: «В ходе окончательного решения надо отправлять евреев под соответствующим руководством на трудовые работы на Восток. Работоспособных евреев направлять большими колоннами, разделив мужчин и женщин, причем большинство из них, разумеется, будет погибать в результате естественной смерти... При практической реализации окончательного решения всю Европу надо прочесать с Запада на Восток... Эвакуируемых евреев размещать в транзитных гетто, а затем транспортировать на Восток».

Таким образом, «окончательное решение» мыслилось Гитлером и Гиммлером лишь в непосредственной связи с предстоящей «победой на Востоке». Что это означает? Это означает, что великий подвиг Советской Армии спас жизнь не менее чем пяти миллионам человек, которых ожидала верная смерть от рук Эйхмана и его подручных.

Не мешало бы помнить об этом некоторым деятелям международного сионистского движения, которые, спасшись от верной смерти, теперь обливают помоями клеветы своих спасителей...

«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ОСТ»

Гитлеровская политика геноцида имела много целей, и «план Ваннзее» был далеко не единственным ее откровением. Тем более, что уничтожением евреев Гитлер не собирался ограничиться. На Востоке германский империализм ставил перед собой такие необозримые задачи, что счет подлежащих уничтожению шел не на сотни тысяч, не на миллионы (как в «разнарядке» Гейдриха—Эйхмана), а на десятки миллионов. Так родился «генеральный план Ост» — план ликвидации славянства в Европе.

Полный текст этого плана еще не найден. Он принадлежит к самым секретным документам «третьего рейха», поскольку разрабатывался в недрах СС и под личным наблюдением Гиммлера. Пока обнаружено лишь несколько писем Гиммлера с изложением основных идей «генерального плана», а также записи чиновников СС и ведомства Розенберга, в которых излагались некоторые разделы плана. Однако достоверно известно, что еще в 1940 году Гиммлер поручил группе эсэсовских чинов разработать планы, предусматривавшие истребление славянских народов и онемечивание той части славян, которую эсэсовцы собирались оставить в живых в качестве своих рабов. Руководителем группы, разрабатывавшей «генеральный план Ост», был назначен штаандартенфюрер СС, профессор Берлинского университета д-р Конрад Майер¹.

Практическое осуществление плана началось в Польше после ее захвата. Еще до нападения на Польшу Гитлер решил, что ликвидирует польское государство. Другим

¹ Сейчас безбедно живет в ФРГ и занимает профессорскую кафедру в Ганновере.

заранее обдуманном намерением Гитлера была ликвидация польской интеллигенции¹. Полякам в так называемом «генерал-губернаторстве» была отведена роль рабов. Как провозгласил Гитлер 2 октября 1940 года, «генерал-губернаторство — это резервация для поляков, это большой трудовой лагерь». Уже в 1940 году началась так называемая «операция А-В». В ходе ее было уничтожено три тысячи пятьсот деятелей польской культуры и науки.

Когда же началась война против Советского Союза, то стали осуществляться еще более далеко идущие мероприятия. Гиммлеровский «генеральный план Ост» предусматривал, что приблизительно двадцать миллионов поляков подлежало депортации на Восток (точно куда — не указывалось, во всяком случае в концлагери за Урал, а затем их ожидало уничтожение). Это означало истребление 85 процентов поляков! Единственное, что сдерживало Гиммлера, — это, как указывалось в одном из документов, трудности «технического осуществления подобного массового переселения». Все остальное для каннибалов в нацистской форме было ясно, даже срок определен: тридцать лет, каждый год — по сто — сто двадцать эшелонов с поляками...

Так Гитлер и Гиммлер определили судьбу Польши и польского народа.

А другое славянское государство в Европе — Чехословакия? План уничтожения Чехословакии был составлен уже давно — в 1938 году. Его автором был руководитель нацистской «пятой колонны» в стране, главарь судето-немецкой партии Конрад Генлейн. В так называемом «основном плане ОА», составленном летом 1938 года, Генлейн провозгласил два основных принципа: первый — Чехословакия не имеет права на самостоятельное существование; второй — чешский народ не должен существовать как самостоятельная этническая группа. В плане предусматривался захват Чехословакии вермахом и ее расчленение, затем германизация Чехии в течение пяти лет.

Этот план начал осуществляться после того, как в Мюнхене западные державы отдал Гитлеру Судеты. В 1939 году вся Чехословакия оказалась под пятой Гитлера. И уже 7 октября 1939 года Гитлер подписал указ о начале «онемечивания» в «протекторате Богемия и Моравия» (так на нацистском жаргоне именовалась оккупированная Чехия). Словакия была выделена в марионеточное государство под германской опекой.

Летом 1940 года гитлеровские планы относительно судьбы чехов и словаков были дополнены. Имперский протектор Карл Франк представил Гитлеру специальный проект ликвидации чешской нации. В своем проекте Франк предлагал «полное включение протектората в Великую Германскую империю и заполнение этого пространства немцами». А что должно было произойти с чехами? Франк без обиняков отвечал: «Самое радикальное и в теоретическом отношении совершенное решение проблемы состояло бы в тотальном выселении всех чехов».

Такова была программа — и она не осталась на бумаге. За годы оккупации в концлагерях было уничтожено более трехсот тысяч чехословацких граждан; на рабский труд в Германии было угнано шестьсот тысяч человек. Более пятисот тысяч гектаров чешской земли было передано германским помещикам, а вся чешская промышленность попала в руки германских монополий. По признанию самого Франка, в последние годы войны каждый месяц оккупационные власти казнили по сто человек.

Таким образом, хотя Чехословакия не упоминалась в «генеральном плане Ост», ее судьба ничем не отличалась от того, что было задумано для Польши.

Наконец, чтобы завершить картину всего плана уничтожения славян, задуманного в имперской канцелярии, приведем выдержку из документа, который касается судьбы крупнейшего из славянских народов — русского. Этот документ принадлежит ведомству Розенберга (исходящий номер 1/214 от 27 апреля 1942 года). Он был составлен в ходе обсуждения и разработки «генерального плана Ост». Розенберга и его клевретов не устроило, что в первоначальном гиммлеровском проекте не рассматривались перспективы биологического истребления русского народа.

И вот что написано в этом поистине каннибальском документе:

«Необходимо коснуться еще одного вопроса, который совсем не упоминается в генеральном плане Ост, но имеет большое значение для решения всей восточной проблемы,

¹ Вот почему Теодор Оберлендер расстрелял во Львове всех поляков профессоров.

а именно — каким образом можно сохранить и можно ли вообще сохранить на длительное время немецкое господство перед лицом огромной биологической силы русского народа? Поэтому надо кратко рассмотреть вопрос об отношении к русским, о чем почти ничего не сказано в генеральном плане. Теперь можно с уверенностью сказать, что наши прежние антропологические сведения о русских, не говоря уже о том, что они были весьма неполными и устаревшими, в значительной степени неверны. Это уже отмечали осенью 1941 года представители управления расовой политики и известные немецкие ученые. Эта точка зрения еще раз была подтверждена профессором доктором Абелем, бывшим первым ассистентом профессора Э. Фишера, который зимой этого года по поручению верховного главнокомандования вооруженных сил проводил подробные антропологические исследования русских...»

Как «научно» и «солидно» все это звучит: «антропологические исследования», «профессора», «ассистенты», «доктора»! Солидно звучит и имя профессора Эугена Фишера, почетного доктора многих университетов, автора толстых томов по генетике и евгенике, знаменитого в Германии ученого. Вместе с Абелем не раз шествовали они в бархатных мантиях по актовым залам. Но стоит прочесть еще одну строчку этого документа, как бархатная мантия слетает и перед нами — мундир эсэсовца и холодный оскал черепа.

«Абель видел,— говорится далее в документе,— только следующие возможности решения проблемы: или полное уничтожение русского народа, или онемечивание той его части, которая имеет явные признаки нордической расы». И затем следуют фразы, в которых дается в сжатом виде целевая установка «генерального плана»: «Эти очень серьезные положения Абеля заслуживают большого внимания. Речь идет не только о разгроме государства с центром в Москве. Достижение этой исторической цели никогда не означало бы полного решения проблемы. Дело заключается скорей всего в том, чтобы разгромить русских как народ, разобшить их».

В документе следуют и конкретные рекомендации: «Нужно идти различными путями, чтобы решить русскую проблему. Эти пути вкратце заключаются в следующем:

а) Прежде всего надо предусмотреть расчленение территории, населенной русскими, на различные политические районы с собственными органами управления, чтобы обеспечить в каждом из них обособленное национальное развитие...

б) Вторым средством, еще более действенным, чем мероприятия, указанные в пункте «а», является ослабление русского народа в расовом отношении».

Так рассуждали псевдопрофессора из ведомства Розенберга. Если задуматься, то вырождение науки в нацистском государстве — одно из самых наглядных свидетельств судьбы науки в условиях буржуазного строя. До поры до времени этот процесс незаметен. Но когда буржуазия очертя голову бросается в черную бездну нацизма, то она тащит за собой и науку. Тогда хозяева заставляют своих слуг отложить в сторону скальпель и взять в руки топор.

Наука из средства служения человечеству превращается в свою противоположность. И ею пользуются, так сказать, с обратным знаком. Например: медицина веками боролась за жизнь и за здоровье матерей, за благо детей и для этого выработала огромный перечень средств. Что же делают эсэсовцы с профессорскими званиями? Они листают этот перечень, изыскивают там рекомендации и приставляют к ним знак «минус». Вот результат, изложенный в документе за номером 1/214:

«Целью немецкой политики по отношению к населению на русской территории будет являться доведение рождаемости русских до более низкого уровня, чем у немцев... В этих областях мы должны сознательно проводить линию на сокращение населения. Средствами пропаганды, особенно через прессу, радио, кино, листовки, краткие брошюры, доклады и так далее, мы должны постоянно внушать населению мысль о том, что вредно иметь много детей... Нужно говорить о большой опасности для здоровья женщины, которой она подвергается, рожая детей, и т. п... Следует всячески способствовать расширению сети абортариев. Можно, например, организовать специальную переподготовку акушерок и фельдшерниц и обучать их производить аборт».

И так — с железной последовательностью. Наука разработала средства борьбы за жизнь ребенка. Эсэсовцы отлично их знают, но впереди они ставят знак «минус»:

«Следует не допускать борьбы за снижение смертности младенцев, не разрешать обучение матерей уходу за грудными детьми и профилактическим мерам против детских болезней. Следует сократить до минимума подготовку русских врачей по этим специальностям, не оказывать никакой поддержки детским садам и другим подобным учреждениям. Наряду с проведением этих мероприятий в области здравоохранения не должно чиниться никаких препятствий разводам. Не должна оказываться помощь внебрачным детям. Не следует допускать каких-либо налоговых привилегий для многодетных, не оказывать им денежной помощи в виде надбавок к заработной плате...»

И вот финальное заключение: «Нужно ослабить русский народ в такой степени, чтобы он не был больше в состоянии помешать нам установить немецкое господство в Европе. Этой цели мы можем добиться вышеуказанными путями...»

Страшные пути, которые вели в Освенцим и Майданек! Их надо помнить: ведь профессор Абель — это символ. Вчера — профессор Абель, сегодня — «отец водородной бомбы» профессор Теллер и те американские ученые, которые готовят полчища невидимых слуг для генерала Кризн, грозящего миру бактериологической войной.

...Роберт Юнг назвал одну из своих на шумевших книг «Будущее уже началось». Но не мешало бы написать книгу под названием «Прошлое еще не кончилось».

НО ЭТО ЕЩЕ ДАЛЕКО НЕ ВСЕ...

Тот, кто исследует планы нацистской агрессии, кажется, должен привыкнуть к тому, что вот уже достигнут предел. Чудовищнее задумать невозможно. Уже обречены на гибель одиннадцать миллионов... нет, еще двадцать миллионов... еще сто миллионов... В нацистское рабство попадает двести пятьдесят миллионов... еще сто миллионов...

Но нет. Это не конец. Конца не видно. Он затерялся где-то за горизонтом, закрытым тяжелыми облаками. И облака сливались с дымом крематориев, работавших с полной нагрузкой по всей Европе.

Гитлер был ненасытен, как ненасытны были и германские монополии, проглатывавшие один за другим все новые заводы, рудники, копи, а затем целые страны. Поэтому не следует удивляться, что, планируя поход против Советского Союза, в гитлеровской ставке думали о том, как улучшатся перспективы захвата мирового господства, ежели падут Москва, Ленинград, Свердловск.

Мы уже могли убедиться в том, какова была бы судьба Польши и Чехословакии, если бы СССР не устоял. Мы заглянули и в гитлеровскую «чертову кухню» планов, касавшихся судьбы русского, украинского, белорусского народов. Но в этой «чертовой кухне» к 1941 году, оказывается, была уготована трагическая судьба и другим странам, в том числе и тем, многие видные политические деятели которых в предвоенные годы шли на сговор с Гитлером, надеясь «каналлизировать» агрессию на Восток.

Этим вопросом мы сейчас и займемся. Для этого мы предложим читателю ознакомиться с одним документом, который до сих пор не публиковался (а лишь упоминался) в советской печати. Это так называемая «Директива № 32», предусматривавшая действия вермахта на период «после разгрома советских вооруженных сил». Или, более кратко, на «период после Барбароссы».

Мы покидаем Восточную Европу — ибо Гитлер считал, что там уже решил все проблемы, — и попадаем в иной мир: Иран, Ирак, Индия, Египет, Гибралтар, Англия. Вот текст:

«Фюрер и верховный главнокомандующий
вооруженных сил

Ставка, 11.6.1941

Верховное главнокомандование вооруженных сил.

Штаб оперативного руководства.

Отдел «Л»

(I оперативное отделение).

№ 44886/41 Сов. секретно. Документ командования.

Отпечатано 9 экз.

Вручить лично. Только через офицера! 2-й экз.

Директива № 32

Подготовка на период после «Барбароссы».

А. После разгрома советских вооруженных сил Германия и Италия в военном отношении будут господствовать на европейском континенте — пока без Пиренейского полуострова. С суши не будет существовать никакой сколько-нибудь серьезной угрозы всему европейскому району. Для его охраны и для возможных наступательных операций будет достаточно гораздо меньшего количества сухопутных сил, чем их было до сих пор.

Центр тяжести вооружений может быть перенесен на военно-морской флот и военно-воздушные силы.

Укрепление германо-французского сотрудничества должно сковать и скует еще более значительные английские силы, устранив угрозу для североафриканского театра военных действий с тыла, еще более ограничит подвижность британского флота в западной части Средиземного моря и обеспечит глубокий юго-западный фланг европейского театра военных действий, в том числе атлантическое побережье Северной и Западной Африки от англосаксонского вмешательства.

В ближайшее время Испания будет поставлена перед вопросом — будет ли она готова принять участие в изгнании англичан из Гибралтара или нет.

Возможность оказать сильное давление на Турцию и Иран улучшит перспективу извлечь из них прямую или косвенную пользу для борьбы против Англии.

Б. Из ситуации, которая сложится после победоносного окончания похода на Восток, перед вермахтом возникнут следующие стратегические задачи на позднюю осень 1941 года и на зиму 1941/42 года:

1. Захваченное на Востоке пространство подлежит организации, охране и экономической эксплуатации с полным участием вермахта. Лишь позже можно будет точно определить, какие силы потребуются для охраны русского пространства. По всем оценкам, для выполнения дальнейших задач на Востоке хватит около 60 дивизий и одного воздушного флота, не считая войск союзных и дружественных стран.

2. Борьба против британских позиций на Средиземном море и в Передней Азии¹, что предусматривается путем концентрической атаки из Ливии через Египет, из Болгарии — через Турцию, а также в зависимости от обстановки из Закавказья — через Иран.

а) В Северной Африке задача состоит в том, чтобы захватить Тобрук и тем самым создать основу для продолжения германо-итальянского наступления на Суэцкий канал. Подготовить его надо примерно к ноябрю, учитывая, что немецкий Африканский корпус следует довести до возможно более полного комплекта личного состава и матчасти, передать ему в собственное распоряжение достаточные резервы всех видов (в том числе преобразовать 5-ю легкую дивизию в полную танковую). Однако в Африку не должны быть дополнительно переброшены другие крупные немецкие соединения.

Подготовка к наступлению требует, чтобы был всемерно увеличен темп переброски транспортов, используя франко-североафриканские гавани и там, где возможно, новые морские пути в южногреческом районе.

Задача военно-морского флота — во взаимодействии с итальянским военно-морским флотом позаботиться о подготовке необходимого количества тоннажа и наиме французских и нейтральных судов.

Изучить вопрос о последующей переброске немецких торпедных катеров в Средиземное море.

Для увеличения разгрузочных мощностей в североафриканских гаванях оказать всемерную поддержку итальянскому военно-морскому флоту.

Главкому ВВС направить для продолжения операций освобождающиеся на Восток

¹ Так в немецкой терминологии тех лет обозначались страны Ближнего Востока.

авиасоединения и части ПВО и усилить итальянское прикрытие конвоев за счет немецких авиасоединений.

В целях единообразного руководства подготовкой переброски создать штаб морских перевозок, который будет действовать по инструкциям ОКВ и во взаимодействии с немецким представителем при итальянской ставке, а также с главнокомандующим немецких войск на Юго-Востоке.

б) В связи с ожидающимся укреплением английских сил на Переднем и Среднем Востоке, имеющих задачу охраны Суэцкого канала, рассмотреть возможность немецких операций из Болгарии через Турцию. Цель — атаковать английские позиции на Суэцком канале, а также и с Востока.

С этой целью как можно раньше (!) предусмотреть концентрацию крупных сил в Болгарии, достаточных для того, чтобы сделать Турцию политически покорной или сломить силой оружия ее сопротивление.

в) Когда для этого создадутся предпосылки вследствие развала Советского Союза, подготовить операции моторизованного экспедиционного корпуса из Закавказья против Ирака, связанные с операциями, указанными в пункте «б».

г) Использование арабского движения. Положение англичан на Среднем Востоке в случае крупных немецких операций будет тем сложнее, чем больше английских сил будет в нужное время сковано беспорядками или восстаниями. В подготовительный период должны быть тщательно скоординированы все военные, политические и пропагандистские мероприятия, служащие этой цели. Центральным органом, которому налагается включиться во все планы и мероприятия в арабском районе, я предписываю быть «специальному штабу Ф». Ему дислоцироваться в районе главнокомандующего войсками на Юго-Востоке. Придать ему лучших экспертов и агентов.

Задачи «специального штаба Ф» определяет начальник ОКВ, действующий, если речь касается политических вопросов, в согласии с имперским министерством иностранных дел.

3. Блокирование западного входа в Средиземное море путем захвата Гибралтара.

Уже в период операций на Востоке в полной мере возобновить подготовку для проведения ранее запланированной операции «Феликс». При этом следует рассчитывать на использование неоккупированной территории Франции — если не для транзита немецких войск, то, во всяком случае, для переброски снабжения. В рамках возможного лежит и участие французских военно-морских и военно-воздушных сил.

После захвата Гибралтара перебросить в Испанское Марокко только такое число соединений сухопутных сил, которое будет необходимо для охраны пролива.

На долю французов выпадает оборона атлантического побережья Северной и Западной Африки, изоляция английских владений в Западной Африке и возврат захваченной де Голлем территории. В ходе предусмотренных операций им будут предоставлены необходимые подкрепления. После захвата пролива военно-морскому флоту и военной авиации будет легче использовать западноафриканские базы, а при определенных обстоятельствах — и захватить острова в Атлантике.

4. Наряду с этими возможными операциями против британских позиций в Средиземном море после окончания Восточной кампании военно-морским и военно-воздушным силам следует в полном объеме возобновить «осаду Англии».

В рамках военного производства первоочередными будут все мероприятия, служащие этой цели. Одновременно следует максимально усилить немецкую ПВО. Подготовка к высадке в Англии будет служить двойной цели: сковать английские силы в метрополисе и спровоцировать и завершить намечающийся развал Англии.

В. Пока еще нельзя предусмотреть время начала операций в Средиземноморье и на Переднем Востоке. Наибольший оперативный эффект может иметь одновременное начало наступления на Гибралтар, Египет и Палестину.

Насколько это будет возможно, зависит — наряду с теми факторами, которые сейчас еще нельзя предусмотреть, — в первую очередь от того, будут ли ВВС в состоянии поддержать нужными силами одновременно все эти три операции.

Г. Господ главнокомандующих после ознакомления с этими предварительными наметками я прошу принять общие и организационные подготовительные мероприятия и доложить мне об их результатах с таким расчетом, чтобы я мог отдать мои окончательные распоряжения еще во время Восточной кампании».

Такова «Директива № 32». Перед нами предстает сразу столько замыслов гитлеровской ставки, что их необходимо разделить и рассмотреть каждый в отдельности. Ведь каждый дает возможность увидеть какую-то особую, а подчас и ранее не известную сторону гитлеровского планирования.

Начнем с планов в Азии и Африке.

КЛЕЩИ СХОДЯТСЯ У СУЭЦА

Создание новой колониальной империи грезились германским промышленным и финансовым королям еще с первой мировой войны. В тридцатые годы они начали очередной экономической штурм колониальных рынков и сразу же натолкнулись на ожесточенное сопротивление тогдашних «великих колониальных держав» — Англии и Франции. Не случайно 5 ноября 1937 года, во время знаменитого совещания в имперской канцелярии, разработавшего основные направления будущей агрессии, Гитлер откровенно признавался, что «едва ли можно» будет заполучить колонии от Англии и Франции. Эти державы, говорил Гитлер, согласятся отдать Германии только те колонии, которые им не принадлежат. Поэтому фюреру не очень хотелось начинать свою агрессию с колоний. Он предпочитал Европу, где уже чувствовал себя хозяином.

Со временем планы менялись. Аппетит приходил с едой. В начале 1941 года в Африке был высажен экспедиционный корпус Эрвина Роммеля, который получил задачу двигаться совместно с итальянцами на Египет. В то же время в Ираке шла подготовка путча, который должен был ослабить английские позиции в этой колониальной стране и создать угрозу для Суэца с северо-востока.

Но эти колониальные планы Гитлера оказалось не так-то легко выполнить. Корпус Роммеля застрял у Тобрука. Путч в Ираке провалился. Итальянцы оказались не помощью, а обузой. Вот откуда и появились параграфы в «Директиве № 32», касающиеся операций против Суэца. Кризис немецкой агрессии в Африке можно было преодолеть быстро и легко при одном условии: если будет покорен Советский Союз. Ведь тогда можно было бы:

- усилить корпус Роммеля за счет танковых дивизий и авиаэскадр, сосредоточенных на Восточном фронте;
- вторгнуться из Закавказья через Турцию в Ирак;
- создать угрозу Британской империи через Иран.

Действительно, как бы быстро могла измениться ситуация в восточной части Средиземноморья, если бы хоть пятьдесят дивизий освободились на Восточном фронте! Ведь Роммель наступал на Египет, располагая лишь тремя дивизиями (плюс восемь итальянских). А против Советского Союза было брошено более двухсот дивизий!

К этому следует добавить, что Суэцкий канал очутился бы не только под ударом двух клиньев, сходящихся из Ливийской пустыни и с Аравийского полуострова. Ключевые позиции Британской империи в Средиземноморье оказались бы в глубоком тылу немецкого экспедиционного корпуса, начавшего марш через Иран. Другая немецкая колонна должна была двинуться через Афганистан. Обе они имели целью выход в Индию.

Правда, сама Индия представляла собой заветный объект для японской агрессии. Однако Гитлер отнюдь не собирался позволить своему союзнику распоряжаться самому. Предполагалось, что германские и японские войска войдут в Индию примерно в одно и то же время. Если учесть, что к этому времени Япония должна была уже утвердиться в Бирме и Малайе, то можно себе представить, какая судьба ожидала бы Британскую империю.

Распад Британской империи предвкусали в Берлине со злорадством. Был составлен и соответствующий план. На этот раз в качестве автора выступил «гаулейтер для особых поручений» фон Корсвант. Фон Корсвант разработал план, согласно которому к Германии должны были отойти:

В Африке: Сенегал, Французское Конго, Гвинея, Гамбия, Сьерра-Леоне, Золотой Берег, Нигерия, Южный Судан, Кения, Уганда, Занзибар, часть Бельгийского Конго.

В Азии: Индонезия, Новая Гвинея, Британское Борнео, острова в Океании, Сингапур, Малайя, французские владения в Индии.

На Арабском Востоке: Палестина, Транспардания, Кувейт, Бахрейн, Ирак, Египет (совместный с Италией контроль над Суэцем).

Так определяли в имперской канцелярии направления, по которым должны были маршировать колонны в Африке и Азии. Все это рисовалось нацистским генералам как вполне вероятная картина — ведь они не видели никаких других сил, которые могли бы прийти на помощь хозяевам Британской империи.

В «Директиве № 32» упоминалась и операция «Феликс» — захват Гибралтара. Она была задумана еще в 1940 году. Но тогда эта операция осталась только в стадии планирования. Почему? Да потому, что нужны были силы для нападения на Советский Союз. Главнокомандующий сухопутными силами фельдмаршал Вальтер фон Браунхич откровенно в этом признавался. 8 февраля 1941 года он объявил, что «в предвидении предстоящих операций («Марита—Барбаросса») войска, которые предполагалось держать в резерве для использования в операции «Феликс», надо будет использовать для новых операций». Об этом же заявил начальник генштаба Гальдер на совещании 3 февраля 1941 года.

Уже после окончания войны один из участников планирования операции «Феликс», генерал Рудольф Бамлер, сообщил, что все приготовления к захвату Гибралтара были закончены к началу февраля 1941 года. Более того, немецкие войска под предлогом операции против Гибралтара были готовы вступить на территорию Испании и промаршировать в Португалию, ежели Франко и Салазар не оказались бы достаточно уступчивыми в глазах Гитлера. Тогда Испания и Португалия превратились бы в «дружественные», но оккупированные страны (типа Румынии). Все эти планы, однако, были в 1941 году отставлены — до «лучших» времен...

Разумеется, если бы в 1941 или 1942 году пал Гибралтар, то у Англии не осталось бы никаких позиций в Средиземноморье. Мальта и Кипр оказались бы тогда безо всякой защиты — и Суэц попал бы в немецкие руки, как спелый плод, падающий с дерева... Но напоминаем: при одном условии, при все том же условии — только при «поражении Советского Союза». Именно на этой предпосылке был построен план Гитлера.

Однажды, вернувшись с совещания у Гитлера, Гальдер записал в свой дневник такое рассуждение своего фюрера: «Надеждой Англии являются Россия и Америка. Если надежда на Россию исчезнет, то Америка также отпадет от Англии... Если Россия будет разбита, то у Англии исчезнет последняя надежда... На основании этих соображений Россия должна быть уничтожена».

Вот с какой стороны Гитлер подбирался к Англии. Расскажем о том, что ей угрожало.

АНГЛИЯ ПОСЛЕ «БАРБАРОССЫ»

Нет, пожалуй, другой такой операции в арсенале гитлеровского генштаба, которая вызвала бы после войны такие споры, как операция «Зеелеве» — вторжение в Англию.

Высказываются самые противоречивые мнения. Одни считают ее гигантским блефом. Другие считают ее реальным планом. Третьи объявляют операцию «Зеелеве» несостоявшейся из-за слабости германского флота. Четвертые приписывают это провалу германской авиации. Пятые придают значение не военным, а политическим факторам. И все вместе удивляются: почему Гитлер не высадился в Англии летом — осенью 1940 года?

На эти «сто тысяч почему» есть один-единственный ответ. Собственно говоря, его дал Гальдер в том рассуждении, которое мы только что привели. Гальдер — а он записывал в дневник мысли Гитлера — рассуждал так: если нанести удар по Англии, то в тылу рейха останется Советский Союз. А если разгромить Советский Союз, то Англия погибнет. Об этом думал и Гитлер. Разъясняя создавшуюся ситуацию в беседе с дуче, он откровенно признавался: «Мы оказались в положении человека, у которого в винтовке один патрон». И, выбирая в 1940—1941 годах между Англией и Советским Союзом, Гитлер решил выпустить этот патрон по Советскому Союзу.

Уже одно это означало, что, еще не вступив в войну, Советская страна спасла Англию: она отвлекла на себя те дивест дивизий, которые могли шутя оккупировать Британские острова...

Но нашей родине было суждено спасти Англию еще раз. Это можно понять, если проанализировать «Директиву № 32». Пункт 4-й этой директивы предписывал в полной мере возобновить подготовку к «осаде Англии». Это означало бы для населения Британских островов необычайную, почти неотвратимую угрозу, о которой можно составить себе представление из следующих цифр. В 1940 году проект операции «Зеелеве» предусматривал высадку в Англии гитлеровских войск в размере до сорока дивизий. Больше Гитлер не мог выделить, так как уже шло сосредоточение войск на Востоке, куда направлялось около ста тридцати дивизий. Теперь же — по «Директиве № 32» — ОКВ могло выделить для «Зеелеве» по меньшей мере пятьдесят — семьдесят дивизий. А авиация? В 1940 году против Англии действовал один воздушный флот. После «Барбароссы» — так надеялись в Берлине — мог освободиться еще один или два из флотов, которые сопровождали вермахт в походе на Восток. Тогда Англия получила бы не одно Ковентри, а сотни таких же разрушительных ударов.

Вдобавок надо учесть, что новый вариант «Зеелеве» не требовал особой подготовки. И вот из-за каких обстоятельств:

Первое. Военная сторона уже была тщательно отработана. Несколько десятков ящиков с аккуратно упакованными папками ждало того, чтобы их вынули из секретного хранилища.

Второе. К оккупации Англии в Берлине уже все было приготовлено с достаточным тщанием. Были, например, составлены прокламации, которые предназначались для расклейки на улицах английских городов. Текст этих прокламаций недавно был найден советским военным историком Л. М. Лещинским. Вот что должны были прочитать англичане, выйдя утром на улицы городов, оккупированных вермахтом:

«На основании полномочий, предоставленных мне главнокомандующим сухопутными войсками, объявляю следующее:

I. Акты насилия и саботажа будут караться самым жестоким образом. Актами саботажа будут также считаться приведение в негодность или сокрытие сельскохозяйственных продуктов, всяких запасов и сооружений военного значения, а также срывание или порча объявлений. Предприятия газо- и водоснабжения, электростанции, железные дороги, склады горючего, шлюзы, а также произведения искусства находятся под особой охраной германских вооруженных сил.

II. Порядок сдачи огнестрельного оружия (включая охотничье оружие) и военного снаряжения определяется особым распоряжением.

III. Следующие действия будут караться судом военного трибунала:

1) Всякое содействие военнослужащим, не принадлежащим к германским вооруженным силам на оккупированной территории.

2) Всякое содействие гражданским лицам, пытающимся бежать на неоккупированную территорию.

3) Всякая передача лицам или властям, находящимся за пределами оккупированной территории, информации во вред германским вооруженным силам и германскому государству.

4) Всякое общение с воснопленными.

5) Всякое нанесение оскорбления германским вооруженным силам и их командованию.

6) Скопление на улицах, распространение листовок, организация публичных собраний и шествий без предварительной санкции германского командующего, а также все другие формы выступлений антигерманского характера...

IV. Принятие в качестве платежных средств германских и местных денежных знаков является обязательным. Для пересчета устанавливается следующее соотношение:

Один английский фунт стерлингов = 9,60 рейхсмарки.

Введение другого курса обмена будет преследоваться...

Точная программа? Она мало чем отличалась от того, что писалось в прокламациях оккупационных властей в Париже, Варшаве, Киеве, Минске. Вермахт не любил импровизаций и не отходил от шаблонов.

Одновременно в Лондоне части СС должны были приступить к аресту всех нежелательных лиц по заранее составленным «черным спискам». Вот лишь одна выдержка из этого списка:

«...47. Хризостон, Сегрю Джон. 7.1.84. Ливерпуль. Журналист. Арестовывается по заявке отдела E4 IV управления Главного управления имперской безопасности СС.

47-а. Кристи, офицер британской разведки. Лондон. По заявке отдела E4 IV Управления.

48. Черч, Арчибалд Джордж. 1886. Лондон. Майор. Рострэвор, Селдон-род. Сэндерстрит. По заявке отдела G1 VI Управления.

49. Черчилль, Уинстон Спенсер, премьер-министр. Уэстерхем/Кент. Чартуэлл-мэнор. По заявке отдела A1 VI Управления...»

Надо ли продолжать?

Третье. Были готовы не только прокламации и проскрипционные списки. Был готов и английский квислинг, имя которого стало известно лишь недавно.

...Когда в послевоенные годы были опубликованы стенографические записи речей Гитлера, произносившихся в узком кругу свиты, то на одной из страниц можно было прочитать следующее неожиданное признание Гитлера, сделанное 13 мая 1942 года:

— Единственным англичанином, который понимал политические факты сегодняшнего дня, был герцог Виндзорский, который хотел пойти навстречу нашим колониальным требованиям...

Вот имя английского квислинга: герцог Виндзорский! Именно с ним в Берлине связывались надежды на создание в Великобритании марионеточного режима, во главе которого стал бы экс-король Эдуард VIII, международный авантюрист и прожигатель жизни, которого из-за его брака с американской миллионершей в 1936 году вежливо попросили отречься от престола. Вместе с фашистами из партии Мосли герцог Виндзорский должен был помочь Гитлеру обуздать английский народ.

Вот что могло случиться с Англией.

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА ПОД ЖЕЛЕЗНОЙ ПЯТОЙ

Об Англии в ставке Гитлера рассуждали в сослагательном наклонении. Она «еще» не была захвачена.

Но иным языком говорили там о странах Западной Европы, которые уже находились в когтях вермахта. Наиболее крупной из них была Франция. Одна ее часть сразу была оккупирована гитлеровскими войсками, в другую вермахт вошел в 1943 году. Однако оба эти мероприятия были лишь начальными.

Уже давно в нацистских канцеляриях задумали уничтожить Францию. Гаулейтер фон Корсвант в упоминавшемся выше меморандуме предлагал следующим образом обойтись с французским государством:

«Нам следовало бы потребовать от Франции, чтобы последняя уступила находящемуся под нашей защитой фламандскому государству (бывшая Бельгия) французскую Фландрию с Дюнкерком и Кале. ...Одно из важнейших требований, которое мы

должны предъявить Франции, заключается в следующем: уступить нам принадлежащий ей до сих пор горнорудный район Лонгви и Брие, а также горный пояс безопасности, выходящий за пределы собственно Эльзас-Лотарингии, то есть примерно до Люксембурга, включая Бельфор».

Когда же в 1940 году Франция была захвачена, то эти требования стали воплощаться в жизнь. Если для «Барбароссы» вехой было совещание у Гитлера 16 июля 1941 года, на котором коричневые главари обсуждали судьбу Советского Союза, то в истории оккупации Франции было аналогичное событие: совещание у Геринга 19 июня 1940 года. Оно состоялось через месяц и девять дней после нападения на Францию и за несколько дней до капитуляции Франции. Разумеется, Геринг мог дать себе волю.

Геринг заявил, что «Люксембург войдет в Германскую империю». Такой же должна была стать судьба Эльзас-Лотарингии. На территории расчлененной Франции должно было возникнуть новое марионеточное государство — Бретонское, а рядом с ним — такое же государство Бургундия.

У этих планов есть живой свидетель. В 1945 году в Нюрнберге состоялся такой диалог:

Вопрос: «Известны ли Вам планы дополнительной аннексии французской территории?.. В частности, планы аннексии Бельфора, Нанси, угольного бассейна Брие, Северного угольного бассейна и районов, прилегающих к бельгийскому генерал-губернаторству?»

Ответ: «Да, такие планы существовали. Они были составлены по специальному указанию фюрера статс-секретарем д-ром Штукартом, и я их видел».

Имя человека, давшего этот ответ, — д-р Ганс Глобке. В 1940 году он был сотрудником статс-секретаря Штукарта. Сейчас он сам статс-секретарь — в ведомстве канцлера Конрада Аденауэра.

Но тогда Ганс Глобке еще не знал, что его ждет такая блестящая карьера. Сидя в имперском министерстве внутренних дел, он, как подобает прилежному чиновнику, регистрировал новые планы, составлял доклады. В них мелькали названия городов и стран: Нанси. Брие. Бургундия.

Бургундия? Это название напоминало о далеком прошлом, о временах Каролингов. Но на этот раз речь шла не о возрождении империи Карла Великого, а о создании эсэсовского заповедника в Европе. Как пояснил однажды Гиммлер своим сообщникам, в состав Бургундии должны были войти французские провинции Артуа, Лотарингия, Франш-Конте, Прованс, Пикардия, Шампань. Сюда же предполагалось включить Люксембург. В бургундской столице (Реймс или Амьен) должен был воссесть имперский наместник. Им предполагалось сделать главаря бельгийских фашистов Леона Дегрелля, а его «советниками» назначить высших чинов СС. Потирая руки, Гиммлер говорил: «Это будет образцовое государство!»

Систематическая подготовка к тому, чтобы обезглавить французский народ и заставить его примириться с новой судьбой, началась заранее. На совещании у Геринга присутствовал генерал Штюльпнагель — военный губернатор Франции. Совместно с начальником своего штаба полковником Гансом Шпейделем он разработал знаменитый «кодекс Штюльпнагеля», предусматривавший истребление лучших сил французской нации самым простым, на взгляд нацистов, путем: путем массового истребления заложников. Из месяца в месяц Шпейдель доносил в Берлин: расстреляно сто человек... Расстреляно сто двадцать человек... Расстреляно двести человек. Так делались шаги на пути к осуществлению планов Геринга — Гиммлера.

По нацистскому замыслу, эсэсовская Бургундия должна была стать составной частью так называемой «Всемирной Германской империи» с главным городом Германия — так хотел Гитлер назвать Берлин. В империю нацистские главари милостиво разрешали войти Англии, Бургундии, Голландии, Норвегии, Дании, балканским странам, Бельгия должна была прекратить самостоятельное существование и распастись на Валлонию и Фландрию. По другим наметкам, Голландия подлежала ликвидации, а голландцы — выселению за Урал или на Волгу.

Гитлер часто менял свои намерения: то он говорил о «единой Европе», а то выражался более определенно: «Норвежцев, шведов, датчан, голландцев мы отошлем на восточные территории». Туда же собирался Гитлер отправить и все население Англии. А когда он однажды (это было 29 июня 1942 года) снова вернулся к «европейским идеям», то произнес такую фразу: «Объединение Европы возможно не в результате стремления дюжины государственных деятелей, а только при помощи вооруженной силы». Так и хочется вывесить эти слова в зале страсбургского «Европейского Совета», где боннские делегаты произносят выпендренные речи об «объединении Европы»!

Теперь остается разобрать еще один вопрос, касающийся гитлеровских планов в Европе. Что Гитлер собирается сделать с нейтральными странами — Швецией и Швейцарией?

Он планировал их захватить.

План захвата Швеции имел свой шифр: «Поларфукс» («Полярная лиса»). И возник он примерно в 1940 году. Одно из первых упоминаний о нем находится в письме Геринга, направленном 21 ноября 1940 года одному из его шведских друзей. Это письмо было переполнено похвальбами по поводу бомбежек Англии («Моя авиация сравняла Ковентри с землей»). Затем Геринг перешел к скандинавским делам: он высказал недовольство тем, что в Швеции недостаточно восторгаются успехами нацистской Германии и кое-кто сочувствует Англии. Геринг грозил: «Пусть Швеция позже не удивится, ежели Германия в один прекрасный день сделает вывод...»

За этими завуалированными угрозами стоял план «Поларфукс». О нем уже после войны сообщил миру бывший генерал-вермахта Рудольф Бамлер. Будучи начальником штаба немецких войск в Норвегии, Бамлер был посвящен в этот архисекретный замысел: совместно с Маннергеймом напасть на Швецию и захватить ее.

В мемуарах личного врача Гимmlера Керстена можно найти отрывочные, но выразительные записи по этому поводу. Так, 30 июля 1942 года Гимmlер рассказал Керстену о своем плане: «Я думаю, что пришло время Германии и Финляндии договориться о Швеции. Финляндия получит северную часть Швеции, районы с финским населением и норвежскую часть Киркенес. Германия присоединит центральную и южную Швецию». А 25 июля 1943 года Гитлер делился с Гимmlером своим неудовольствием по поводу того, что раньше не захватил Швецию.

Но ни в 1940, ни в 1942 году, ни позднее в 1943 году Гитлер не мог выполнить свой план. Почему? Ответ ясен, если вспомнить о том, какие силы приковывал к себе Ленинград и весь северный участок советско-германского фронта.

Швейцария числилась в ОКВ под шифром «Танненбаум». Уже 26 июня 1940 года в дневнике оперативного управления генерального штаба появилась запись о «возможности внезапной оккупации Швейцарии немецкими войсками». Был составлен соответствующий план операции по вторжению в Швейцарию из Германии, Франции и Италии. После захвата страна подлежала разделу между «фюрером» и «дуче».

Сейчас мы знаем имя автора плана «Танненбаум» — это был молодой генштабист полковник Адольф Хойзингер. Именно его имя было обнаружено швейцарскими историками, когда они стали изучать документы немецкого генштаба. От Хойзингера план «Танненбаум» был передан для дальнейшей разработки генерал-фельдмаршалу Риттеру фон Леебу, который должен был возглавить осуществление операции. Тот представил в генштаб новый вариант, который, однако, был отвергнут Хойзингером. Третий вариант составил начальник генштаба Гальдер, но его проект опять же принадлежал Адольфу Хойзингеру, тому самому Хойзингеру, который сейчас управляет в НАТО.

Почему же план Хойзингера не был осуществлен? Известный швейцарский военный историк Ганс Рудольф Курц пишет, что операция «Танненбаум» осталась проектом только потому, что «уже после окончания войны против Франции возникли новые задачи». Какие? Задачи на востоке Европы. «Рядом с этими операциями на востоке, — отмечает Курц, — не было места для такой второстепенной операции, как нападение на Швейцарию». Операция осталась в сейфе, а генерал-фельдмаршал фон Лееб получил другой приказ: возглавить группировку, которая должна была взять Ленинград.

Ленинград не был взят. Фон Лееб сломал себе шею у его стен. Героические защитники города Ленина своим подвигом спасли и близкую Швецию и далекую Швейцарию.

НАКОНЕЦ, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ...

Исследователю человеческой психологии, очевидно, было бы очень интересно познакомиться с теми чувствами, которые испытывал генерал Адольф Хойзингер 1 апреля 1961 года — в тот день, когда он в качестве вновь назначенного председателя постоянного военного комитета НАТО вошел в свой новый кабинет в столице Соединенных Штатов. Бывшему начальнику оперативного управления генерального штаба сухопутных сил гитлеровской империи безусловно было о чем задуматься. Через шестнадцать лет после краха этих сухопутных сил прибыть в Вашингтон, да еще в качестве почетного гостя! Могла ли бы раньше представиться Хойзингеру такая возможность?

Да, он мог очутиться здесь в 1945 году — но в том случае, если бы процесс главных военных преступников происходил не в Нюрнберге, а в Вашингтоне. Тогда бы бледный, отошавший генерал выступал здесь как свидетель и с притворным сокрушением признавался в злодеяниях, совершенных вермахтом.

Но было время, когда Хойзингер мог предвкушать свой возможный визит в Вашингтон в совершенно особом качестве: в качестве генерала вооруженных сил, поставивших Соединенные Штаты на колени.

Бред? Продукт воспаленного воображения? Фантазия, далекая от действительности? Может быть, но не дальше от действительности, чем некоторые другие планы гитлеровской ставки. Там задумывались и о вторжении в США. И хотя этот план не был готов во всех деталях, он существовал.

Первое упоминание о нем можно найти в речи Германа Геринга, произнесенной 8 июля 1938 года перед группой авиапромышленников. Это была та самая знаменитая речь, в которой он обещал своим слушателям, что «Германия разбогатеет». Среди прочего Геринг заговорил о тех целях, которые должны будут поражать его самолеты во время будущей большой войны. Геринг сказал достаточно откровенно:

— Мне очень не хватает бомбардировщика, который мог бы с десятью тоннами бомб слетать до Нью-Йорка и обратно. Я был бы счастлив заполучить такой бомбардировщик, чтобы наконец заткнуть глотку тамошним выскочкам.

Десять тонн бомб на Нью-Йорк? Для 1938 года это была весьма солидная порция, если учесть, что Геринг хотел иметь не один бомбардировщик.

Мы не знаем, что ответили Герингу его слушатели. Однако известно, что всю войну в конструкторских бюро Дорнье, Хейнкеля и Юнкерса работали над созданием бомбардировщиков сверхдальнего действия. Некоторые из них были введены в строй, правда не над США, а над СССР. Во всяком случае известно, что в одном из секретных меморандумов штаба геринговских ВВС от 29 октября 1940 года говорилось: «В связи с предстоящими военными действиями против Америки фюрер рассмотрел вопрос о захвате островов в Атлантическом океане. Со стороны ВВС нужна краткая оценка возможностей захвата авиабаз, их удержания и снабжения».

Этот документ достаточно определен. Он свидетельствует, что осенью 1940 года в берлинских штабах к нападению на США готовились отнюдь не теоретически. Осень 1940 года была временем первых набросков «Барбароссы». Чем ближе было к началу «Барбароссы», тем чаще задумывались в Берлине о том, чтобы исподволь подготовить нападение на США. В июне 1941 года Гитлер писал в одной из своих директив:

«На основании объявленных мною намерений по поводу дальнейшего ведения войны я отдаю следующие указания: военный захват европейского пространства после разгрома России позволит значительно сократить численность сухопутных сил. В рамках сокращенной по своей численности армии будут значительно усилены танковые войска. Вооружение флота следует ограничить только теми мерами, которые будут непосредственно служить военным операциям против Англии и, в случае необходимости, — против Америки».

Вы обратили внимание, с какой железной закономерностью появляется в директивах Гитлера фраза: «после разгрома России!» Без этого даже зарвавшийся фюрер не мыслил себе дальнейших операций. А разгромив Россию... Тут уже ему мерещились и «военные операции против Америки». Той же весной 1941 года Гитлер обещал Мацуоке: «Война Германии... приведет к решительному ослаблению не только Англии,

но и Америки... Ни один американец не сможет высадиться в Европе. Своими подводными лодками и воздушными силами она (Германия.— Л. Б.) будет вести решительную борьбу против Америки.

Разумеется, в комплексе подготовки гитлеровской войны против США были свои сложные и подчас противоречивые элементы. Историки знают, сколько усилий приложила коричневая клика, чтобы удержать США от вступления в войну. Еще сильнее она хотела найти влиятельные группы в США, чтобы сговориться с ними.

Но все это не мешало включить нападение на США в систему гитлеровского планирования. Эта проблема активно обсуждалась Гитлером с его японокими союзниками по оси «Берлин—Токио». На первых порах Гитлер полагал, что может отдать дальневосточный театр на откуп японским милитаристам. Так, в директиве № 24 «О взаимодействии с Японией» Гитлер ограничивался ссылкой на то, что он хочет лишь «держать Америку вне войны». Но когда первые успехи июня — июля 1941 года вскружили ему голову, ситуация изменилась.

10 июля 1941 года из своего спецпоезда «Вестфалия» Риббентроп отправил послу в Токио телеграмму (№ 707), в которой срочно затребовал информацию об отношении Японии к США. В телеграмме он обронил фразу, начинающуюся словами: «В случае начала военных действий между Германией и Америкой...», и просил получить заверения в том, что японцы поддержат военные действия. Как рассказывал в Нюрнберге Розенберг, уже были составлены проекты того, как вермахт должен действовать в США. В частности, расовую проблему собирались решить быстро: всех негров и евреев вывезти на Мадагаскар...

А когда 14 декабря 1941 года японский посол генерал Осима явился на аудиенцию к Гитлеру, стенограмма зафиксировала слова: «Он (фюрер) убежден, что Рузвельта надо разгромить». Но тут же добавил: «первоочередная задача — уничтожение России».

Все та же песня!

* * *

Планы, планы, планы... Один страшнее другого... Планы, которые грозили смертью миллионам и рабством — сотням миллионов людей...

Но планы остались только планами.

Миллионы советских людей в солдатских шинелях, в одежде рабочих, в скромной одежде колхозников своим великим подвигом в годы Великой Отечественной войны спасли не только свою страну, но и все человечество от угрозы истребления и порабощения.

Сегодня — спустя двадцать лет после рокового дня 22 июня 1941 года — мир с благодарностью вспоминает о тех, кто своей жизнью заплатил за жизнь других. Вторая мировая война вошла в историю как потрясающее по своей силе доказательство превосходства социалистического строя — строя, высшего по своему экономическому, а также военному потенциалу. В единоборстве с таким противником, как вермахт, за спиной которого стояли ресурсы почти всей Европы, Советская Армия оказалась на недосягаемой высоте. Социализм победил — и он спас человечество.

Прошло немало лет после окончания второй мировой войны. Но это не дает нам права забывать, что на свете есть силы, которые не хотят оставить человечество в покое. Мы не гарантированы от того, что в неких западных столицах в тяжелых сейфах за сверкающими никелем запорами не лежат новые варианты планов «Барбаросса», «Гельб» или «Грюн». Мы не знаем их названий. Однако, пока на свете существуют зловещие силы империализма и агрессии, могут появиться на свет новые планы, не менее опасные, чем планы на «период после Барбароссы».

Я вспоминаю одну беседу с известным прогрессивным журналистом Уилфредом Бэрчеттом. Оба мы давно интересуемся Германией. И вот однажды я делился с Бэрчеттом результатами очередного «путешествия в прошлое» — работы в архивах «третьего рейха». Я рассказывал ему о меморандуме Бормана, о том, как планировали гитлеровцы расправу с Советским Союзом.

Бэрчетт внезапно прервал мой рассказ.

— Это интересная история,— сказал он.— Но послушайте, какое у нее сегодняшнее продолжение...

Бэрчетт рассказал следующее. В ноябре 1947 года, когда он работал корреспондентом английской газеты «Дейли экспресс» в Берлине, состоялся разговор, в котором, кроме него, участвовали социал-демократический деятель Эрнст Рейтер и начальник политического отдела гражданской администрации США в Германии мистер Ричард Скэммон. Разговор был достаточно откровенным, ибо Рейтер стоял весьма близко к американцам, а «Дейли экспресс», которую представлял Бэрчетт, относится к числу консервативных газет. Скэммон делился со своими собеседниками планами создания западногерманского государства и использования его военного потенциала для будущей войны. Для какой войны? Скэммон разъяснил: это будет война против СССР, в которой немцы примут участие в «общем марше».

— А я,— откровенничал Скэммон,— сейчас как раз занимаюсь разработкой плаха оккупационной политики американских войск после захвата Советского Союза...

Этот разговор состоялся в 1947 году. Мы знаем, что мистеру Скэммону и тем, кто поручал ему разработывать американский вариант «Барбароссы», пришлось скрепя сердце отложить свои планы в долгий ящик. Но отказались ли они от них навсегда? У авторов «Барбароссы» и «Директивы № 32» может найтись немало подражателей. Много ли надо приложить усилий Адольфу Хойзингеру, председателю постоянного военного комитета НАТО, чтобы вспомнить разработки Адольфа Хойзингера — начальника оперативного управления генштаба? Чем отличается образ мышления генерального инспектора бундесвера Фридриха Ферча от образа мышления Фридриха Ферча — начальника штаба 18-й армии, штурмовавшей Ленинград? Ответ на эти вопросы подсказывает нам политика Бонна — единственного правительства в Европе, требующего перекроить послевоенные границы. Резиция границы по Одеру — Нейссе, отторжение Судет — это первые строчки в политической азбуке Бонна. Но не последние! Я хорошо помню холеное лицо видного деятеля партии канцлера Аденауэра, господина Райнера Барцеля, который с холодной улыбкой говорил мне в Бонне: «Одер — Нейссе? Я не могу поручиться, что этим будут ограничиваться наши пожелания...»

Жизнь учит многому. Но тех, кто не хочет у нее учиться, она наказывает. Разумеется, некоторые бонские и американские политики могут делать вид, что не было второй мировой войны, не было краха Гитлера, не было победы Советского Союза, не было тех колоссальных последствий, которые имела советская победа. Эти господа могут создавать себе призрачный мир иллюзий. Они могут утешать себя чтением мемуаров Манштейна и Гудериана, описывающих, как фундаментально генералы планировали войну, но забывающих упомянуть, как фундаментально они войну проиграли. В книге истории буржуазные политики, конечно, могут не заглядывать на страницы, написанные героическим подвигом Советской Армии и всех свободолюбивых народов. Но что от этого меняется?

Сейчас мир живет по совсем иным законам, чем в тридцатые—сороковые годы нашего века, когда разрабатывались план «Барбаросса» и «Директива № 32». Законы нашей эпохи движут мир вперед, к социализму. За этими законами — сила исторической правды, та сила, которая отстояла Москву и Сталинград, взяла Берлин, совершила стремительный взлет послевоенных лет и послала Юрия Гагарина в космос. Та сила, которая сейчас объединяет сотни миллионов мирных граждан социалистического лагеря.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Л. КОПЕЛЕВ

★

НЕПРЕОДОЛЕННОЕ ПРОШЛОЕ

НЕ ТОЛЬКО ЛИТЕРАТУРА И ВОВСЕ
НЕ ИСТОРИЯ

Когда мы открываем книгу современного западнонемецкого писателя, у нас появляется особое настороженное чувство. Кем бы ни был автор, какими достоинствами или недостатками ни отличался бы он как художник и рассказчик, нас прежде всего интересует: «Какие они, эти сегодняшние немцы из ФРГ? Чем живут, о чем думают, чего хотят?» Ведь почти ежедневно газеты и радио всех стран приносят отсюда недобрые новости: «возрождается фашизм, нагнетает военщина. Как далеко зашли эти процессы? Какие именно слои населения и насколько серьезно поражены тлетворным влиянием последней гитлеровщины?»

Мы хотим знать конкретные черты общественной жизни сегодняшней Западной Германии, хотим возможно более ясно представить себе особенности развития сознания, психологии, бытия и быта ее людей. Поэтому внимательно читаем книги самых разных по мировоззрению и по масштабам авторов.

Прошло шестнадцать лет с тех пор, как закончились последние бои второй мировой войны. Дети, рожденные в мирные дни, уже стали подростками. Миллионы юношей и девушек почти ничего не помнят из того, что определяло всю жизнь их родителей и старших братьев и сестер в те суровые, тревожные годы.

Но война еще не стала историей. И особенно в Западной Германии. «Послесвечение» второй мировой войны оказалось куда более устойчивым и ярким, чем первой.

Вспомним, что происходило в Германии через шестнадцать лет после первой мировой войны, то есть в 1934—1935 годах.

Во всей Германии тогда властвовали гитлеровцы. Была восстановлена воинская повинность. Геринг провозгласил: «Пушки вместо масла». В концлагерях пытали, истязали и убивали «при попытке к бегству» коммунистов и социал-демократов, либералов, пацифистов и прогрессивных католиков. Были введены изуверские расистские законы. На площадях немецких городов пылали костры, на которых вместе с книгами Маркса, Ленина, Либкнехта, Люксембург сжигали романы Горького и Барбюса, Гашека и Ремарка, Генриха Манна и Эренбурга...

В те годы правда о первой мировой войне в Германии преследовалась как государственное преступление. Зато широко насаждалась целеустремленная шовинистическая ложь. В школьных учебниках, кинофильмах, массовых изданиях реакционной беллетристики, на уроках казарменной «словесности» упорно вдалбливалась пресловутая легенда об «ударе кинжалом в спину». Так называли официальную версию истории событий 1918 года, утверждавшую, что немецкая армия, дескать, оставалась непобежденной и непобедимой в боях, а война была проиграна вследствие «удара в спину», который нанесли «доблестным армиям» кайзера коммунисты и пацифисты.

Замалчивание или нарочитое искажение истории первой мировой войны стало необходимой предпосылкой для массового растления души, для подготовки нового пушечного мяса.

К началу второй мировой войны подавляющее большинство молодых немцев оказалось оглушенным, ослепленным, оболваненным или развращенным тлетворной пропагандой.

Этому процессу, который начался по

сути еще в 1918—1919 годах и шел, нарастая, в бесчисленных реакционных националистических организациях, в государственных и частных школах, не препятствовали ни социал-демократические, ни иные буржуазные правительства «вэймарской республики», недостаточным было и сопротивление передовых сил противников милитаризма.

Правда, в немецкой литературе появилось в то время несколько значительных антивоенных романов и драм и довольно много стихов, сатирических памфлетов и т. д. Однако их авторы — И. Бехер, Б. Брехт, Л. Ренн, Э. М. Ремарк, А. Шарер, Ф. Вольф, Э. Глезер, О. М. Граф и другие — посвятили темой войны не более одного-двух произведений каждый. Дольше и настойчивее других писал о событиях и людях 1914—1918 годов, пожалуй, только Арнольд Цвейг. Но в общем потоке прогрессивной немецкой литературы двух междувоенных десятилетий все эти книги составляли в общем довольно малую струю. В те годы творчество ведущих немецких литераторов, в том числе и большинства названных выше авторов, было посвящено преимущественно иным общественным, философским, нравственным и эстетическим проблемам. Прошедшая война казалась неактуальной.

Так было сорок — тридцать лет тому назад. После 1945 года развитие литературы в Федеративной Республике Германии пошло иным путем. Уже самые первые стихи, рассказы, повести, появлявшиеся, когда еще не убрали пепелица разрушенных городов, были посвящены войне. Но и в тех книгах, что издаются теперь, в шумной и пестрой рекламно-крикливой суматохе пресловутого «экономического чуда», война и ее непосредственные последствия все еще остаются «темой № 1» для очень многих, едва ли не для подавляющего большинства значительных писателей.

Вольфганг Борхерт, Генрих Бёлль, Ганс Вернер Рихтер, Герт Ледиг, Герд Гайзер, Карл Людвиг Опич, Ганс В. Пумп, Михаэль Хорбах, Вольфганг Шнурре, Гельмут Кирст, Вилли Хайнрих, а из более молодых Манфред Грегор, Гюнтер Вагнер, Клаус Стефан, Эмиль Шустер и другие писали и пишут главным образом — а иногда и только — о войне, о людских судьбах и взаимоотношениях, определенных войной.

В 1947 году впервые появилось в печати имя Вольфганга Борхерта; были опубликованы его короткие рассказы-очерки, вернее своеобразные поэмы в прозе, передана по радио его пьеса «За дверь». В том же году автор умер — ему было двадцать шесть лет. За время войны его, рядового солдата, дважды арестовывало гестапо по обвинению в пораженчестве: военно-полевой суд приговорил его к смерти... Всего два года продолжалась творческая жизнь смертельно больного поэта. Все, что он написал, до предела насыщено страстной ненавистью и отвращением к войне и ко всем, кто ей рад. Мучительные, так и оставшиеся без ответа вопросы звучат во всех рассказах Борхерта. Таким же вопросом-воплем заканчивается его пьеса. Бывший унтер-офицер вернулся на родину душевно опустошенным, страдающим от сознания бессмысленности и преступности всей своей прежней жизни. Он нигде не находит пристанища, не находит ни занятия для себя, ни близких людей, способных его понять. Он не знает, как жить, и, тщетно пытаясь покончить с собой, кричит: «Что же, мне по-прежнему позволять, чтобы меня убивали, и продолжать убивать самому? Куда же мне деваться? Чем жить? С кем? Зачем? Куда нам деваться на этом свете? Нас предали, страшно предали.

Неужели никто не даст ответа?

Никто не даст ответа???

Неужели никто, никто не даст ответа?»

Эти вопросы, заданные в 1947 году, продолжают звучать и сегодня.

Теми же мыслями и чувствами, которые воплощались в творчестве Борхерта, проникнуты книги многих писателей ФРГ. Среди них есть представители очень разных идеологических и эстетических направлений.

В романах Ганса Вернера Рихтера («Разбитые», 1949; «Не убий», 1955) преобладают начивно-нацифистские, идеалистические взгляды на историю, а натуралистические методы изображения действительности сочетаются с прямолинейной символической.

В повестях К. Опича («Солдатчина», 1953; «Мой генерал», 1955), написанных в стиле резкого гротеска, чувствуется более трезвое материалистическое мировосприятие. Герд Ледиг («Шгалиноргель», 1955; «Возмездие», 1956) охотно прибегает к модернистским средствам «кинематографиче-

ского», прерывистого и нарочито разнообразного повествования. У него, как и у Ганса В. Пумпа («Перед великим снегопадом», 1956), неприятие войны определяется в первую очередь непосредственно биологическим ужасом перед лицом человеческих страданий и смерти...

Но при всем разнообразии взглядов на жизнь и творческих особенностей этих писателей им присуще одно общее стремление.

Через десять лет после Борхерта один из героев романа о последних днях войны, романа, написанного Михаэлем Хорбахом («Сыновья, которых предали», 1957), выразил это стремление так:

«Нужно было бы рассказать обо всем этом тем, кто придет после нас... чтоб они знали, что им грозит. Если им не сказать, то через десять лет опять будет такое же дерьмо и наши парни тогда опять не будут знать, что предстоит. Нужно было бы суметь сказать им об этом, и так, чтоб они услышали. Необходимо, чтоб они понимали».

Всех честных и гуманных писателей Западной Германии объединяет настойчивое желание предостеречь новое поколение от гибельных предрассудков, от старой лжи, способной привести к новой войне. Именно антивоенная и антифашистская целеустремленность отличает их всех от более или менее откровенно реакционных литераторов-нацистов типа Двингера, Керна, Айзена и т. п., которые добиваются «реабилитации» гитлеровского вермахта и войск СС, проповедуют расизм и шовинизм, призывают к реваншу и новым войнам.

Тема войны не может иссякнуть в литературе Западной Германии, потому что общественная жизнь страны и личный быт многих немцев определяются не только и даже не столько воспоминаниями о прежней войне, сколько прежде всего нарастающей угрозой новых военных авантур.

Во дворах казарм снова печатают шаг колонны марширующих рекрутов. На слетах бесчисленных солдатских союзов и так называемых «землячеств изгнанников» слышны хриплые раскаты старых песен о том, что «нынче нам принадлежит Германия, завтра нашим будет целый мир...» В боннском правительстве, которое возглавляет канцлер Аденауэр, то и дело клянувшийся в любви к свободе и в неприязни к Гитлеру,

безмятежно заседают бывшие гитлеровские сановники и вояки всех рангов. На прилавках книжных магазинов, на полках библиотек пестрят нарядные обложки генеральских мемуаров, беллетристических и «документальных» славословий вермахту и войскам СС. В школах преподаватели истории объясняют детям, что Гитлер «хотел величия Германии... построил замечательные дороги... создал самую лучшую в мире армию... объединил всех немцев в одной империи, но... проглядел некоторые излишние жестокости, допущенные его подчиненными по отношению к евреям и военнопленным». В западнонемецких судах выносят обвинительные приговоры участникам международного движения сторонников мира, а в западнонемецких банках растут вклады недавно амнистированных военных преступников, успевших стать преуспевающими дельцами, бюрократическими сановниками или на худой конец почтенными пенсионерами.

Поэтому в Западной Германии война и фашизм все еще не стали историей, все еще злободневны и возбуждают живую ненависть у одних и хищные инстинкты у других.

В 1960 году опубликовали новые книги Генрих Бёльль — самый крупный современный писатель Западной Германии — и Гельмут Кирст — автор нескольких нашумевших «бестселлеров»:

Эти писатели очень несхожи между собой: различны их мировоззрения и масштабы дарования, различны сюжеты и стиль их книг. Короче говоря, различны все основные особенности их творчества. Но вместе с тем их новые книги оказываются в чем-то и родственными, ибо они отражают один и тот же общественно-исторический процесс.

ДОБРАЯ СТАРАЯ ЖЕНЩИНА СТРЕЛЯЕТ В МИНИСТРА

В романе Бёльля «Партия в бильярд в половине десятого» в событиях одного дня как бы сконцентрировалась полувекровая история трех поколений семьи Фемелей — династии архитекторов. Своеобразная летопись семьи, развернутая в классицистски строгих пределах единства времени и действия, становится реалистическим символом, художественным обобщением целой эпохи в истории Германии — истории самодовольного соиздания и бессмысленных раз-

рушений, двух истребительных войн и двенадцати лет диктатуры педантичных палачей, романтически болтливых бандитов и сановно-бюрократических убийц.

...Архитектор Фемель задолго до первой мировой войны прославился в своих краях. Лучшим его произведением считался архитектурный комплекс аббатства, в котором воплотились и национальные традиции зодчества и самоуверенное жизнерадостное мировосприятие его поколения, выращенного в годы мира, казавшегося вечным.

В двух сыновьях Фемеля олицетворились противоречия послевоенной немецкой жизни. Старший, Роберт, унаследовал призвание отца и его гуманистические взгляды; младший стал гитлеровцем — смертельным врагом родного брата. Роберт, принадлежавший к группе религиозных антифашистов, вынужден был эмигрировать, скрываясь от преследований. Несколько его друзей погибли в застенках гестапо.

Отец выхлопотал частную амнистию для сына. Роберт вернулся и был призван в армию, стал офицером-сапером. В последние недели войны он взорвал аббатство. Взорвал потому, что ему было отвратительно поклонение мертвой каменной бесплодной красоте в стране, где изувержки уничтожали человеческие жизни.

Внук старого Фемеля, сын Роберта, тоже стал архитектором, и его направляют работать на восстановление все того же аббатства. В летний день 1959 года, в день восьмидесятилетия деда, юноша отказался от этой работы. Он хочет строить другое...

И в тот же день мать Роберта — жена старого Фемеля — выстрелила в министра боннского правительства, бывшего гитлеровского сановника: она сердцем матери чувствует страшную угрозу возрождения фашизма и военщины. Впервые после войны приехал на родину сырок Роберта Фемеля, бывший антифашист Шрелла, и его сразу же арестовала полиция. Но все в тот же день его отпустил на свободу старый знакомый, бывший соученик Роберта, самодовольный циничный гестаповец Неттлингер, ныне опять процветающий...

Это только основные сюжетные линии многопланового и многогранного повествования, очень своеобразного по композиции. то радиально, то концентрически связывающей события одного дня. И писатель осуществляет это необычайно убедительно, не

нарушая жизненного, реалистического правдоподобия...

В этой книге более открыто, чем обычно, выражены религиозные взгляды Бёлля. Его герои делят всех людей на тех, кто вкушает «причастие быка», и тех, кто верен «причастию агнца». Первые — это насильники, себялюбцы, лжецы и лицемеры; вторые — их жертвы. Но вместе с тем возникает и представление о некоей третьей силе, о тех, кто призван «пасти агнцев», то есть бороться против насилия, защищать слабых. Стреляет старая женщина, жена, мать и бабушка архитекторов, то есть создателей, честных, добрых людей, «агнцев» и вместе с тем творцов. Стреляет в бывшего гитлеровца и нынешнего западнонемецкого министра.

Этот выстрел, услышанный всеми действующими лицами романа, не точка, а восклицательный знак, за которым следует еще несколько эпизодов. Старый Фемель сам отрекся от своего творения и символически сокрушил великолепную кондитерскую модель аббатства — горт, предпосвященный ему в день восьмидесятилетия.

Вспышка от выстрела фрау Фемель освещает очень значительную перспективу в развитии творчества Бёлля.

Приведем такое, пусть несколько упрощенное, но, думается, все же не лишенное основания сопоставление эпизодов бёллеровских произведений.

В первой книге писателя, в повести «Поезд прибывает вовремя» (1949), герой — немецкий солдат — погибал, обреченный неотвратимой, непостижимой судьбой.

В романе «Где ты был, Адам?» (1951) герой — немецкий солдат — погибал, убитый снарядом из немецкой пушки, стрелявшей по его родному дому, где был вывешен белый флаг.

В романе «И не сказал ни единого слова...» (1954) герой — бывший солдат — в послевоенные годы живет все еще угнетаемый кошмарами войны, деморализованный послевоенной нищетой. Единственная его поддержка — жена, мать его детей.

В романе «Дом без хозяина» (1955) герои — дети, вся жизнь которых — трудное высвобождение из-под власти страшных губительных сил фашизма, войны, уродующих души людей. На последних страницах этой книги мать одного из мальчиков, друг его погибшего отца и даже его бабушка уже открыто выступили против гитлеровских

последней. Дело дошло даже до рукопашной.

В романе «Партия в бильярд в половине десятого» (1960) раздается выстрел. Пусть его направляет рука старой женщины, которую кое-кто считает безумной. Но очень показательно, что первый выстрел в борьбе за правое дело осуществляет именно женщина, мать. Здесь, как и в предшествующих книгах Бёлля, в образе женщины, матери наиболее последовательно воплощается идея необходимости борьбы с фашизмом и войной.

Неиссякающая в творчестве Бёлля тема войны обретает все более значительное художественное воплощение. Правда, писатель не приходит к революционным выводам. Его религиозно-моралистическое мировоззрение ограничивает возможности объективного познания общественной жизни. Но Бёлль — честный и гуманный художник — видит уже не только прошлые преступления фашистов. Он видит и беспощадно обличает преемственные связи между гитлеровцами и современными хозяевами Западной Германии.

НАПОМИНАНИЕ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

«Непреодоленное прошлое» — словосочетание, которое не исчезает со страниц западнонемецкой печати. Употребляют его по-разному. Одни — возмущенно, гневно, другие — с ухмылочкой, третьи — с отчаянием, четвертые — хвастливо... Непреодоленное прошлое — это нацизм и воинственное пруссачество, это шовинистическое чванство, претензии на немецкие владения «до Вислы», а то и «до Урала», претензии на руководство Европой и миром; это оставшие безнаказанными фашистские военные преступники, это гитлеровские генералы, ставшие «воинами НАТО».

Непреодоленное прошлое остается и сегодня самым значительным источником проблем и сюжетов для западнонемецкой литературы. И хотя современный фронт антифашистского и антивоенного сопротивления в ФРГ пока не слишком устойчив и внутренне противоречив, но он все же очень широк и по-настоящему разнообразен. К нему принадлежат — наряду с Бёллем и другими названными ранее писателями — один из старейшин прогрессивной немецкой литературы Леонгард Франк, ветеран анти-

фашистского подполья Гюнтер Вайзенборн и едва ли не самый популярный и плодотворный из послевоенных беллетристов Гельмут Кирст.

Книги Кирста о быте немецкой казармы и окопов, о нравах солдат и офицеров вермахта проникнуты искренней ненавистью к фашизму. Но вместе с тем они воплощают и очень наивное, внутренне противоречивое мировоззрение, в котором гуманистические принципы сочетаются с предрассудками прусской казармы и мещанским сентиментализмом. Международную известность Кирсту принесла трилогия «08/15¹ (Похождения ефрейтора Аша)» (1954—1955). Она была экранизирована и продолжает числиться в списках «бестселлеров» не только в Германии. Изданный Кирстом в прошлом году роман «Фабрика офицеров» — тринадцатая книга автора за десять лет (его первый роман вышел в 1950 году). Об этом романе автор сказал так: «Все, что я писал раньше, было лишь разведкой. В этой книге я перехожу к фронтальной атаке». Вместо посвящения на первой странице значится: «Поколению, которое предали, в напоминание. Сегодняшней молодежи — в предостережение».

...Действие романа разворачивается в четко определенное время — с 10 января по 31 марта 1944 года — в офицерской школе, расположенной в маленьком западногерманском городке.

Завязкой служит гибель лейтенанта Баркова, руководителя одной из учебных групп. Опытный фронтовик, он погиб во время учебного взрыва при невыясненных обстоятельствах. Обер-лейтенант Крафт, заменивший Баркова, главный герой романа. Он смел, умен и, так сказать, «органически порядочен», но интересуется политикой, но испытывает инстинктивное отвращение к фашизму. Все достоинства Крафта проявляются уже в первые дни его пребывания в школе, в частности, в столкновениях с военно-судебным следователем и агентом гестапо Вирманном. Этот злобный гитлеровец расследовал причины гибели Баркова, но, узнав, что тот был антифашистски настроен, прекратил следствие. Начальник школы Модерзон — идеализированный образ прусского военного старой школы, педантичный, точный, как часовой меха-

¹ 08/15 — марка пистолета, на солдатском жаргоне обозначает вообще армейский быт, муштру, солдатчину.

низм, безусловно выдержанный и самозабвенный службист — поручает Крафту тайно продолжать расследование.

Удается выяснить, что произошло убийство, организованное одним из курсантов — Хохбауэром, сыном эсэсовского генерала, фанатичным нацистом, жестоким и бессовестным негодяем. Крафт сумел изобличить его еще и в ряде других грязных преступлений. Исключенный из школы и перетрусивший Хохбауэр застрелился. Вмешалось гестапо, и тот же Вирманн повел следствие, направленное против Крафта и генерала Модерсона, которых он подозревает в политической неблагонадежности. Они оба подонкихотски признались в своих антифашистских взглядах и были расстреляны...

Короткий эпизод посвящен дальнейшим судьбам всех других персонажей. Друг героя — самый интеллигентный из офицеров школы — капитан Федерс был повешен как участник заговора против Гитлера 20 июля 1944 года. Начальник курса, тупой фашист Ратсхельм, продолжает преуспевать как подполковник бундесвера. Помощник начальника школы, самодовольный дурак и карьерист майор Фрей, занялся политической деятельностью, стал одним из руководителей «либерально-национальной» партии и проповедует реабилитацию гитлеровцев. Командир комендантской роты капитан Катер, прожженный негодяй, осведомитель гестапо, вор и развратник, успешно прислуживался к американцам, нажил состояние, избран бургомистром города. Следователь Вирманн сотрудничал с англо-американскими оккупационными властями и стал председателем коллегии краевого суда...

Кирст правдиво рассказывает о том, как непреодоленное прошлое становится зловещим настоящим его родины. Именно поэтому «Фабрику офицеров» встретила яростная брань всей реакционной печати. Ругательная рецензия в «Дойче зольдатеңцейтунг» была озаглавлена: «Ему обеспечена благодарность Советского Союза».

Западнотемские мракобесы, разумеется, переоценивают значение этого романа. Искренний антифашизм Кирста все еще неотделим от очень наивных, этаких либерально-пруссаческих предрассудков. Именно поэтому лирическими героями в этом романе, как и в трилогии «08/15», оказываются персонажи, которые олицетворяют типичные для многих поколений немецких обывателей иллюзорные представления о

солдатских идеалах, прусских доблестях и т. п. Идеиной непоследовательности Кирста соответствуют противоречивые особенности его литературного стиля. Реалистические зарисовки характеров и быта, правдивые даже в гротескной заостренности, совмещаются у него с натуралистической пошлятиной бульварного пошиба. Живой диалог и увлекательное повествование перемежаются с безвкусным, высокопарным многословием, дешевой сентиментальностью.

Но при всех очевидных идейных и творческих слабостях «Фабрики офицеров» этой книге присущи определенные черты — те же, что и значительно превосходящему ее роману Бёлля: живое чувство тревоги и стремление противодействовать угрозе новой фашизации и новой войны.

НОВЫЕ ПОКОЛЕНИЯ — СТАРАЯ ТЕМА

Бёлль и Кирст — оба родились в 1917 году. Они были уже взрослыми людьми, когда началась война. Их ровесники постепенно и трудно усваивали жестокие уроки истории. Ведь сперва они знали только победы, завоевания целых стран, богатые трофеи. Флаг со свастикой был водружен в Париже и на Акрополе. Исступленное хвастовство гитлеровцев казалось небезосновательным даже некоторым их противникам.

В последние месяцы войны в немецкую армию зачисляли стариков, инвалидов, школьников. Теперь, через много лет, стали все чаще появляться книги о самых юных, пятнадцатилетних солдатах, призванных накануне окончательного крушения вермахта.

Этих подростков растили в гитлеровских школах. Их представления о мире и о войне, о Германии и других странах, о взаимоотношениях народов, о том, что хорошо и что плохо, определялись изошренной нацистской пропагандой.

Но тем более жестоким, сокрушительным и всеобщим было их разочарование. Их гнали на бессмысленную гибель. Вчерашних школьников, вооруженных карабинами и «фаустпатронами», посылали навстречу лавинам огня и стали, навстречу армиям победителей у Сталинграда и Севастополя, неудержимо наступавшим с востока, навстречу американским танкам, катящимся с запада.

Мальчишки, старики и калеки, согнанные в батальоны «фольксштурма», должны были погибать только для того, чтобы ошалевшие от страха и ярости генералы могли хоть на неделю отсрочить неотвратимую катастрофу, чтобы хоть на день продлить кровавое и постыдное существование гитлеровской империи.

Книги обо всем этом выходят в обоих немецких государствах. В ФРГ изданы первые романы молодых авторов Генриха Вагнера «Знамя важнее, чем смерть», Клауса Стефана «И да поможет мне бог», Манфреда Грегора «Мост» («Иностранная литература», №№ 10, 11, 1960).

«Мост» — очень своеобразная и во многих отношениях знаменательная книга. Действие романа разворачивается в течение одних суток, но весь он благодаря естественной новеллистической структуре приобретает многоплановость и глубину эпического повествования.

...Семь вчерашних школьников, шестнадцатилетних юношей, получили приказ оборонять мост через большую реку, задержав наступавших американцев. Генерал, отдавший приказ, надеется выиграть дватри часа для того, чтобы успеть перебросить свои части на Восток, против Советской Армии. Война проиграна, это ясно всем. Но семерых мальчиков посылают на гибель только затем, чтобы чуть-чуть отсрочить неотвратимый конец, чтобы доставить хоть какое-то крохотное, но дополнительное затруднение противнику.

Лейтенант и один из унтер-офицеров — непосредственные начальники мальчиков — хотят, чтобы они разошлись по домам. Но они остаются и принимают неравный бой. Остаются потому, что для них этот первый бой представляется новым видом жестокой и увлекательной мальчишеской игры. Остаются потому, что их связывают своеобразные и противоречивые чувства — товарищество, страх прослыть трусом, страх быть схваченными как дезертиры. Остаются потому, что они воспитаны в немецкой школе в годы всеподавляющего и всеотравляющего фашистского режима. Поэтому для них понятие приказа, да к тому же еще приказа, отданного «самим генералом», выше всякой логики, всякого здравого смысла, страшнее любого страха, сильнее любых привязанностей.

Они сражаются с мальчишеским азартом, не представляя, что происходит на

других участках фронта. Но каждый раз, когда погибает один из них, другие становятся все одержимее. Хотят мстить, начинают воспринимать оборону моста как долг перед убитыми товарищами, как некую ни от чего не зависящую самоцель. Им удалось отразить атаку, подбить «фаустпатронами» два танка, убить нескольких американских солдат, в том числе и добродушного смельчака, который уговаривал их прекратить бессмысленное сопротивление. Их осталось уже только двое. Они готовы наконец уйти домой к родным. Но к мосту подъехала группа немецких саперов. Лейтенант передает им благодарность генерала и готовится взрывать мост. И тогда Эрнст Шольтен, который еще в школе был заводилой и в этом бою за мост оказался фактически командиром (именно по его настоянию все они остались и вели бой), набрасывается на саперов, увлекая за собой своего друга Альберта Мутца. Мальчишки продолжают оборонять мост, теперь уже от «своих», от немецких саперов, так же яростно, как обороняли его от американцев.

Так своеобразная внутренняя логика бессмысленной, отчаянной обороны, бессмысленной гибели пятерых друзей приводит к действиям, казалось бы, еще более бессмысленным. Но для героев и для автора в этом открывается некий новый, неожиданный смысл. «Наш мост», — говорят и думают Шольтен и Мутц. За «наш мост» поднимают они оружие на своих. Шольтен погиб от немецкой пули. Уцелел только один — мечтательный, нервный, набожный, добродушный и увлекающийся мальчик. «Почему все случилось именно так? — думает он в конце — Какой во всем этом смысл?» Ответа он не находил. Но жизнь и смерть ведь должны иметь хоть какой-нибудь смысл? Вот мост стоит, а его давно могли взорвать, и он рухнул бы всей тяжестью в воду. «Может быть, в этом и заключался какой-то скрытый смысл», — думал Мутц. Но мысль эта не принесла облегчения. И все-таки смысл, видимо, есть».

Погибли шесть из семерых мальчиков. Были они очень разными. Каждый из них был в большей или меньшей степени отравлен жестокой и лживой действительностью, в которой они выросли. Самое значительное событие их короткой жизни — их первый бой — стало их концом. Но в этом нелепом бою они, сами того не понимая, одер-

жали свою особую, никем не предусмотренную победу. Ценою своей бессмысленной гибели они спасли творение осмысленного человеческого труда, сохранили мост, нужный людям, нужный их родному городу. Не слишком ли дорогая это цена? Да, слишком. Но суть еще и в том, что отчаянные и отчаявшиеся мальчишки спасли свой мост не столько от противника, которому он ведь нужен был целым, сколько от своих же командиров, от тех, кто беспощадно разрушал чужие мосты, дома и города, от тех, кто обрек на разрушение их родину.

В последнем яростном порыве двух последних защитников моста была неосознанная ими самими искра мятежа.

И еще одна очень определенная мысль заключена в этом романе. Эта мысль звучит в последних словах умирающего Шольтена: «Не забыть... Не забыть...»

Роман Грегора — осуществление этого завета многих тысяч бессмысленно погибших юношей. В нем — напоминание и предостережение.

Драма Борхерта, написанная в 1947 году, заканчивалась вопросом, на который не было ответа. Прошло двенадцать лет. В 1960 году в том же Гамбурге, где родился и прожил свою недолгую трудную жизнь Борхерт, была издана первая книга молодого автора, озаглавленная «Запрос». Ее написал Кристиан Гейслер — сотрудник мюнхенского журнала левой католической молодежи. Сочетая подлинные исторические документы, реалистический художественный вымысел и своеобразные экспрессионистские аллегории, обрамляющие повествование в виде притчи, Гейслер создал книгу, kloкочущую болью и гневом.

Герой этой книги, молодой научный работник Клаус Релер, сын пропавшего без вести штурмовика, одержим одним стремлением — познать до конца всю глубину страшной вины отцов, исследовать природу и причины возникновения фашистского варварства, получить ответ на главный вопрос — как могло произойти то, что происходило в Германии в течение двенадцати лет. Все это нужно ему для того, чтобы разоблачить нераскававшихся гитлеровцев, чтобы предотвратить новые преступления. Вот, например, что он говорит, возражая американскому туристу, который уговаривал его отказаться от мучительных поисков, успокоиться и раловаться жизни:

«Что вы! Пока здесь такой смрад, солнечные ванны неуместны. Пока не наведен порядок в погребе и на чердаке, самые прелестные комнаты на первом этаже все равно, что пороховые бочки. До тех пор, пока в помещениях под нами и над нами тикают бомбы замедленного действия, — нет, благодарю вас! Надо сначала подняться на чердак и спуститься в погреб и написать хотя бы небольшие, но давно необходимые брошюры:

«Как я стал одним из руководителей СА и почему я теперь не занимаю эту должность, а имею министерский пост?»

К последней фразе автор делает следующее примечание: «Вопрос министру внутренних дел Федеративной Республики Шредеру и министру по делам перемещенных лиц Оберлендеру».

Тему для второй брошюры Клаус Релер формулирует так:

«Как я стал комментатором законов, пропагандирующих расовую ненависть, и почему я теперь больше не комментатор, а государственный секретарь?»

И снова авторское примечание:

«Вопрос государственному секретарю в канцелярии федерального канцлера Гансу Глобке». Далее следуют цитаты из подлинных комментариев Глобке к расистским законам 1936 года.

«Эти брошюры для воспитания немецкого народа... — говорит Клаус Релер, — должны быть наконец написаны, должна наконец развеяться вонь... Пора уже! Собираются газы! Взрыв будет похож на фейерверк, и, поверьте, мы, сыновья и внуки, мы будем наблюдать за ним и приговаривать: глядите-ка на красное пламя, как это красиво, как здорово. Мы будем благодарно рукоплескать ему...»

Конечно, никаких книг не достаточно для того, чтобы предотвратить страшную угрозу фашизма и войны. Гейслер и сам говорит устами своего героя: «Только ужас и только возмущение еще ни к чему не приводят».

Разумеется, ни горькие воспоминания, ни тревожные вопросы, ни даже гневные проклятия сами по себе еще не устраняют тех угроз, которыми чреват современное развитие западногерманской действительности. Не устраняют, но все же препятствуют им.

Антифашистские и антивоенные книги писателей разных поколений свидетельствуют о том, что и к западу от Эльбы развиваются здоровые, миролюбивые силы.

Посвященные тем же проблемам книги писателей ГДР — Анны Зегерс, Людвиг Ренна, Эрвина Шриттматтера, Дитера Ноля, Вольфганга Нойхауза, Бруно Апица и других — отличаются от произведений их западнонемецких коллег прежде всего тем, что их авторы ясно сознают исторические предпосылки и исторические перспективы описываемых ими событий и человеческих судеб. Но, несмотря на идеологические различия, и у тех и у других есть общая

цель — предотвратить новые преступления несправимых вояк — и общий адресат — вся современная немецкая молодежь, которой угрожает яд милитаристской и фашистской пропаганды.

Нет еще мира за Эльбой, там где хозяйничают покровители недобитых гитлеровцев. Все наглее становятся деятели из непреодоленного прошлого.

Чем скорее удастся прогрессивным, честным и просто здравомыслящим немцам обезвредить эти зловещие силы, способные обречь на полное уничтожение весь немецкий народ и сотни тысяч людей в других странах, тем лучше будет для Германии и для всего человечества.



Б. ПЛАТОНОВ

★

ПО ПОВОДУ «САМОВЫРАЖЕНИЯ»

На первый взгляд проблема, к обсуждению которой вернулся Б. Рунин в статье «Спор необходимо продолжить» («Новый мир», № 11, 1960), кажется совершенно бесспорной. В самом деле, кто же будет возражать против слов Б. Рунина, выражающих, по-моему, основную идею его выступления: «Все люди — «я», и, быть может, никогда еще это «я» не звучало в искусстве так полноценно, как в советской лирике».

Б. Рунин совершенно прав, когда выступает в защиту «лирического «я» от вульгарного социологизма и всяческих рецидивов пролеткультовщины. Очень уместно приведена в статье «раздраженная реплика Маяковского»:

Пролеткультцы не говорят
ни про «я»,
ни про личность.
«Я»
для пролеткультца
все равно что неприличность.

Однако, отстаивая справедливые общие положения о значении «субъективного начала» в искусстве, Б. Рунин, к сожалению, увлекается и явно отдает дань субъективизму.

Стремясь обосновать концепцию «самовыражения», Б. Рунин неоднократно цитирует классиков марксизма-ленинизма, привлекает их высказывания о личности, о человеческом «я» и т. п. Статья и начинается с ленинской цитаты на эту тему. Думается, однако, что эти высказывания не совсем правильно поняты критиком там, где речь идет о соотношении «субъективного» и «классового», «индивидуального» и «социального».

Статья печатается в дискуссионном порядке.

Критикуя народнический субъективизм, Ленин писал:

«Историю делает — рассуждает г. Михайловский — «живая личность со всеми своими помыслами и чувствами». Совершенно верно. Но чем определяются эти «помыслы и чувства»? Можно ли серьезно защищать то мнение, что они появляются случайно, а не вытекают необходимо из данной общественной среды, которая служит материалом, объектом духовной жизни личности и которая отражается в ее «помыслах и чувствах» с положительной или отрицательной стороны, в представительстве интересов того или другого общественного класса?»

Далее Ленин пишет: «...социолог-материалист, делающий предметом своего изучения определенные общественные отношения людей, тем самым уже изучает и реальных личностей, из действий которых и слагаются эти отношения. Социолог-субъективист, начиная свое рассуждение якобы с «живых личностей», на самом деле начинает с того, что вкладывает в эти личности такие «помыслы и чувства», которые он считает рациональными...»

Как видим, и субъективисты и материалисты исходят из того, что «историю делает живая личность», но по-разному толкуют соотношение «личности» и социальной среды, класса. В полной мере это относится и к искусству.

Защитники концепции «самовыражения», в сущности, продолжают истолковывать общее правильное положение о том, что «историю делает живая личность», примерно так же, как это делали и субъективисты конца прошлого — начала нынешнего века.

Б. Рунин утверждает, что, «выражая свое личное отношение к действительности, поэт

тем самым познает эту действительность. Он для того и воссоздает в поэтических образах свои субъективные переживания, чтобы постигнуть таким путем объективную истину». Совершенно очевидно, что причинно-следственная зависимость в этих рассуждениях поставлена на голову, перевернута.

«Искусство начинается там, где мастер хлопочет не о самовыражении, а о выражении правды и красоты жизни. И тогда-то он только по-настоящему и выражает себя», — говорится в сборнике «Основы марксистско-ленинской эстетики».

Б. Рунин приводит эти слова, но не соглашается с ними и уверяет, будто бы и здесь «потребность самовыражения решительно противопоставляется стремлению художника к объективной истине».

Между тем совершенно ясно, что никакого такого «противопоставления» в цитате из сборника «Основы марксистско-ленинской эстетики» нет. А есть одно: совершенно правильное понимание того, что «выражением себя» творческий процесс не начинается, как это выходит у Б. Рунина, а завершается, что «выражение себя» является следствием познания действительности, ее объективной истины и красоты.

Маркс писал: «Истина всеобща, она не принадлежит мне одному, она принадлежит всем, она владет мною, а не я ею. Мое достояние — это форма, составляющая мою духовную индивидуальность».

«Самовыражение» по существу (хотя бы этого или не хотят его защитники) отдает формалистическим, субъективистским истолкованием взаимодействия, взаимосвязи «формы» и «содержания», «субъекта» и «объекта».

Естественно, что статья Б. Рунина приобретает противоречивый вид. Дело доходит до того, что критик начинает противоречить сам себе. И, что особенно печально, общеправильные тезисы статьи наполняются неверным конкретным содержанием.

Эти противоречия начинаются там, где Б. Рунин, выдвинув положение «Человек выражает себя», пытается связать его с требованиями «самовыражения» — в том смысле и значении, в каком формулировала эти требования Ольга Берггольц.

«Кстати, о термине «самовыражение», — пишет Б. Рунин. — Помню, как на Втором съезде писателей А. Фадеев, коснувшись разгоревшегося незадолго до того в нашей

печати спора, в котором Ольга Берггольц так страстно и убедительно отстаивала права лирики, высказался в том смысле, что самовыражение, конечно, правомерно, но что самый термин не кажется ему удачным. На том спор тогда и угас. И, как это часто бывает, полная ясность внесена не была, а предубеждение осталось. И вот уже слово «самовыражение» грозит превратиться в некое клеймо, которое иные критики поспешно ставят на стихи, почему-либо неугодные им».

Вот и обратимся к стихам. Так, пожалуй, легче всего убедиться, что с позиций «самовыражения» невозможно постигнуть истину, в том числе и истину поэтическую, воплощенную в стихах, в лирике.

Прежде всего Б. Рунин пытается истолковать в духе «самовыражения» стихи Маяковского. Но это ему, по-моему, не удастся. Вернемся к процитированной выше «реплике» поэта насчет пролеткультовцев. Она направлена, как отметил Б. Рунин, против пролеткультовского отрицания «личности». Да, это так. Но Маяковский выступал против вульгарных лозунгов пролеткультовцев отнюдь не с позиций «самовыражения». Его поэзии одинаково чужды и пренебрежение к личности, и культ личности, и пролеткультовский «коллективизм», и декадентский индивидуализм, и философия, растворяющая личность в космосе, и концепция, утверждающая: «Мир — это человек».

Б. Рунин считает, что неверно толкуют Маяковского те, кто формулу «я сам расскажу о времени и о себе» берут «в разобщении». Конечно, можно и нужно возражать против разобщения, против «либо — либо». Но Б. Рунин, на мой взгляд, тоже неверно истолковывает эту замечательную формулу Маяковского.

Сказано четко и недвусмысленно: о времени и о себе. Это отнюдь не значит, что «говорить о себе» — то же самое, что «говорить о времени». Да, поэт, который полным голосом говорит о времени, всегда говорит при этом и о себе. Но когда он говорит «о себе», он может и не сказать о времени! Такова суть дела К сожалению, Б. Рунин не всегда учитывает это.

В равной мере это относится и к другой прекрасной формуле Маяковского: «Это было с бойцами, или страной, или в сердце было в моем». Рассказывая о том, что «было с бойцами или страной», поэт переживает это «в сердце». Но было бы неверным, на

мой взгляд, вывести из этих строк такое заключение: значит, все, что было «в сердце» Маяковского, было «с бойцами», было «со страной». Рассуждая так, в сущности, невозможно объяснить слова поэта о том, что он «себя смирял, становясь на горло собственной песне».

Можно допустить, что в данном случае Маяковский имел в виду, так сказать, индивидуалистические мотивы «самовыражения», которые еще звучали у него в сердце, но которые он уже осудил умом.

Б. Рунин, стремясь уточнить свое понимание «самовыражения», разъясняет, что речь идет о высоко развитой — нравственно и интеллектуально — личности поэта, преодолевшего в себе субъективизм, индивидуализм. «Что делает человека личностью? — пишет Б. Рунин. — Богатство, осознанность и действенность его отношений. К миру, к человечеству, к людям... Личность — это индивидуальность, сознающая себя таковой только в соотношении с коллективом и его требованиями».

Б. Рунин подчеркивает, что «мы за расцвет творческой личности, но мы отдаем себе отчет в том, что социалистический коллективизм — необходимое условие такого расцвета. Голько в коллективе и сообразуясь с интересами коллектива творческая индивидуальность получает возможность для полноценного выявления своих задатков, для духовного роста и совершенствования мастерства».

Но... при этом Б. Рунин, по сути дела, впадает в противоречие сам с собой, и от исходных требований «самовыражения» мало что остается. Он за то, чтобы личность сообразовалась с интересами коллектива. Но он же против того, что подлинный «мастер хлопочет... о выражении правды и красоты жизни. И тогда-то он только по-настоящему и выражает себя». Но ведь «выражение правды и красоты жизни», при котором поэт выражает и самого себя, — это и есть выражение интересов, требований, достижений коллектива — нашего народа, строящего коммунизм. В сущности, об этом и писал Маяковский хотя бы в цитированных Б. Руниним стихах: «Я себя советским чувствую заводом, вырабатывающим счастье». Почувствовав себя «заводом, вырабатывающим счастье», поэт и выразил себя по-настоящему. Таков же смысл его слов: «Радуюсь я — это мой труд вливается в труд моей республики».

Нужно сказать, что эстетические принципы Маяковского получают порой одно-стороннее истолкование не только в теории, но и в поэтической практике.

Вот Б. Рунин полемизирует с В. Панковым о таких стихах М. Алигер:

Изучать положено от века
ремесло, науки, языки.
Но живые чувства человека,
жар любви и холодок тоски,
негасимый свет, огонь горячий,
тот, который злу не потушить...
Это называется иначе...

В. Панков утверждает, что М. Алигер отделяет в этих стихах «любовь к жизни от изучения жизни». Б. Рунин считает, что В. Панков «словно проскочил мимо» идейного смысла стихотворения, «прочитав его букву».

Бывают, конечно, расхождения между «буквой» и «смыслом» сказанного, но в данном случае, думается, В. Панков прочитал те самые «буквы», в которых содержится смысл стихотворения. В самом деле, сказано ясно и отчетливо: изучать ремесло, науки, языки — это одно дело, а вот «живые чувства человека» — это называется иначе.

Вопреки уверениям Б. Рунина в том, что при самовыражении достигается неразрывная связь «разума» и «сердца», «изучения жизни» и «живых чувств», М. Алигер, на наш взгляд, заявляет нечто прямо противоположное. Собственно, она как бы повторила известную формулу: «от сердца к сердцу — только этот путь».

Думается, что слова Маяковского «это было с бойцами, или страной, или в сердце было в моем», имеют иной смысл: в них нет разрыва между «разумом» и «сердцем».

Б. Рунин уверяет, что М. Алигер «отстаивает здесь более глубокие и более прочные формы связи с действительностью, чем эпизодические выезды «на натуру». Но критик попросту «проскочил мимо» совершенно определенного смысла строк: «Изучать положено от века ремесло, науки, языки». О каких же «эпизодических выездах «на натуру» идет речь, если поэт толкует об изучении, проводящемся «от века», и не об «изучении» в кавычках, а в прямом и самом глубоком смысле этого слова? Б. Рунин восклицает, что «одним «изучением» не обойдешься». Конечно, одним «изучением» (да еще в кавычках) не обойдешься. Ну а без изучения — обойдешься?!

Думается, что Б. Рунин и в стихах М. Алигер пытается увидеть то, чего в них нет, и «не увидеть» того, что в них есть, что составляет самый смысл стихотворения.

Можно допустить, что М. Алигер неточно, нечетко «выразила себя», что она не хотела противопоставить «изучение» «живым чувствам». Но объективный смысл стихотворения от этого не меняется.

Показателем для внутренней противоречивости защиты самовыражения отклик на статью Б. Рунина, прозвучавший на страницах «Нового мира». Я имею в виду статью А. Меньшутина и А. Синявского «За поэтическую агивность» («Новый мир», № 1, 1961). Авторы правильно отмечают, что в современной поэзии наступило значительное оживление. Нельзя не согласиться также с тем, что это оживление «сопровождается и более активным, энергичным выражением личного, субъективного начала в современной лирике».

Но любопытно, что у названных критиков, так же как у Б. Рунина, защита «личной» творческой активности в поэзии с позиций «самовыражения» приводит к оправданию художественного субъективизма. Так получается у авторов при анализе стихов Андрея Вознесенского.

Исследователи делают ряд резонных критических замечаний поэту, который зачастую оказывается «в плену своего темперамента, своей кипучей натуры, способной по любому поводу вдохновляться, неистовствовать, впадать в состояние очень сильной и крайне ненадежной возбудимости».

Однако здесь же А. Меньшутин и А. Синявский принимают и одобряют, пожалуй, наиболее субъективистские поэтические проявления этой «кипучей натуры».

Критики, например, очень благосклонно относятся к тому, как А. Вознесенский изображает Петра Первого, «связав его» с Рубенсом и нашей современностью. «При этом,— пишут А. Меньшутин и А. Синявский,— крайняя модернизация в изображении царя-работника —

А он только кричал,
Упруг и упрямя,
Расставивши краги,
Как башенный кран,—

не вызывает недоумения, поскольку речь идет о самой страсти к труду, одинаково сильно владеющей многими людьми».

И вот, вдумавшись в поэтический образ

царя-работника и в оценку этого образа, улавливаешь нечто общее в самом эстетическом подходе к изображению «живых чувств человека» у Маргариты Алигер и «страсти к труду, одинаково сильно владеющей многими людьми», в стихах А. Вознесенского. Принцип этот, в сущности, основан на одном и том же: разделении «вечной страсти», которую движима личность (Рубенса, Петра Первого, наших современников — новаторов производства), и конкретно исторического содержания, объективных условий этой «страсти». Можно сказать, что, изображая эту «вечную страсть», А. Вознесенский так же пренебрегал задачей «изучения ремесла», как это декларировала и М. Алигер. Поэтому и возникла возможность изображения Петра посредством крайне модернизированного сравнения: «расставивши краги, как башенный кран».

В подобном образе царя-работника проявляется по существу присущий «самовыражению» субъективизм поэта, считающего себя свободным от необходимости «изучать, как алгебру, людей». И Петр Первый, изображенный так, как это сделано А. Вознесенским, по сути дела, уже не живой, реальный человек, не личность, делающая историю, а эстетическая «кукла», которую поэт начинил своими идеями о «страсти к труду», придав ей внеисторическое содержание.

Несомненно, Петр Первый в стихах А. Вознесенского сродни своему создателю — автору этой «баллады». Как творческая личность оба они — и поэт и созданный им герой — занимаются «самовыражением», при котором внешний мир лишь поприще для проявления внутренней активности «субъекта».

Между тем А. Меньшутин и А. Синявский не выразили недоумения не только при оценке смысла стихов А. Вознесенского, но и по поводу образной структуры его поэтического «самовыражения». А ведь Петр, обутий в краги и сравниваемый с башенным краном,— безусловно плохой образ!

Так обстоит дело с «самовыражением» в поэзии. Не лучших результатов достигает Б. Рунин, защищая его в искусстве вообще. Наоборот, пытаюсь определить принципы изображения человека вне зависимости от особенностей лирики, критик впадает в еще большие противоречия с истиной.

В разделе «Личность поэта» Б. Рунин пишет: «Предмет искусства — человек. Это мы все знаем со школьной скамьи. Но вот мы рассматриваем пейзаж, допустим, Сарьяна.

Чем он нас привлек? Той маленькой человеческой фигуркой, вон тем едва намеченным силуэтом на фоне огромных гор? Нет, духовным обликом автора, который так видит эти горы и обогащает наше представление о мире соотношением объемов и красок, света и тени, воздуха и земли, той гранью действительности, которую дано подсмотреть только ему».

Все пока звучит хорошо. Но читаем дальше. «Да,— восклицает критик,— искусство всегда рассказывает о человеке. Искусство выражает его даже тогда, когда прямо не изображает. Пейзажи того же Сарьяна не становятся менее «человечными» оттого, что на многих из них не найдешь даже и силуэтов людей. Зато они содержат в себе человеческий характер художника, богатейший строй его чувств, неповторимые особенности постижения им родной природы».

Разумеется, любой пейзаж, нарисованный человеком, «человечен», и искусство имеет дело с «очеловеченной природой». Разумеется, «пейзажная лирика» не может быть занесена по ведомству «чистого искусства», как это иногда делали вульгаризаторы.

Воюя против вульгарного социологизма в понимании «человечности», Б. Рунин прав. Но он идет дальше истины, когда заявляет, что произведения искусства равноценны с точки зрения «человечности», независимо от того, нарисованы на них люди или только природа, увиденная, но не измененная ими.

Доведем умозаключение Б. Рунина до логического конца. Предположим, что все советские художники, поверив Б. Рунину, стали писать только «безлюдные пейзажи» (поскольку они не являются якобы менее «человечными»). Галереи, выставки заполнятся прекрасными картинами хороших и разных художников. Но где же все-таки нашли бы мы на таких выставках, на этих картинах образы работников и воинов, колхозников и ученых, строителей Братска и творцов межпланетных кораблей? Посетитель, который захотел бы полюбоваться не только пейзажами, но и картинами творческого труда своих современников, не получил бы на таких выставках полного удовлетворения своих запросов.

Постановка вопроса о человечности того или иного жанра в искусстве не терпит механического, прямолинейного «отрицания» или «утверждения». Нельзя ставить вопрос так, что картина о Василии Теркине — это реализм, а натюрморт с букетом ва-

сильков на столе — всегда «чистое искусство». Социалистический реализм, развивая лучшие эстетические принципы прошлого, стремится к наиболее полному (и об этом справедливо пишет Б. Рунин) удовлетворению эстетических запросов наших современников. Но при разговоре о большей или меньшей социальной ценности и человечности того или иного произведения искусства необходим конкретно-исторический подход, учитывающий обстоятельства времени и места.

Васильки в вазе на столе — красивы и, несомненно, не только украшают комнату, но и способствуют эстетическому воспитанию ее обитателей. В принципе то же самое можно сказать и о любом произведении пейзажной лирики. Они воспитывают в человеке ценнейшие свойства эстетического характера: любовь к природе, чувство красоты родной земли.

Однако для выполнения задач идеологического воспитания такие картины, разумеется, ничего или почти ничего не дадут. И если зритель, восхищенный картинами, где изображены леса, реки или долины, задаст себе вопрос: а кому принадлежит этот прекрасный край? — то на этот вопрос ответа он не получит.

Следовательно, нельзя рассматривать «человечность» произведений искусства с точки зрения человечности вообще. В искусстве эпохи борьбы различных идеологических направлений критерий человечности органически обусловлен партийностью, пониманием того, насколько полезны для эстетического воспитания человека нового типа и изображение васильков на столе, и картины о борьбе советского народа против фашизма, и картины трудовых подвигов наших современников. Отсюда и определение наиболее значимых, наиболее сложных, трудных задач искусства и эстетического воспитания в духе гуманизма.

Рассуждения Б. Рунина о том, что человека на пейзажах заменяет «самовыражение» самого художника, весьма неубедительны. Мол, хотя человек на картине не изображен, зато в ней запечатлен «духовный облик» автора.

Крайне нелогично звучит это «зато». И выявляется это простейшим способом — путем сопоставления картин, нарисованных одним и тем же художником. Допустим, что перед нами две картины художника: на одной — пейзаж «без людей», на другой —

люди, скажем, колхозники, на работе. Разве этот художник перестает быть самим собой, когда он изображает тружеников колхоза, а не пейзаж? Конечно, нет. И в той и в другой картине сказалось «самовыражение» художника.

Но художник — субъект искусства — огнюдь не способен заменить «собой», «выражением самого себя» еще и человека — объект искусства! Вот в этом, думается, и заключена общая несостоятельность концепции «самовыражения» — в том виде, как она истолковывается в статье Б. Рунина, в отличие от определения того, как выражает себя художник, данного хотя бы в сборнике «Основы марксистско-ленинской эстетики».

Опять-таки мы сталкиваемся при этом с необходимостью правильно понять специфику конкретных художественных задач, поставленных перед собой живописцем, поэтом. Когда он хочет нарисовать букет васильков на столе или картину бушующего моря, он может и не «пририсовывать» (в зависимости от своего замысла) в данном случае человека. Но когда он хочет отобразить подвиг советского народа в Отечественной войне, он должен, кроме «самовыражения», нарисовать еще и Василия Теркина или других героев великой битвы.

Любопытно, что здесь перед нами возникает уже потребность говорить о своеобразии выражения себя художником в зависимости от решаемых им эстетических задач. Б. Рунин заботится о специфике и полноте художественного познания жизни, но в то же время уклоняется от вопроса о том, равноценно ли «самовыражение» личности творца в различных творениях, имеющих различную социальную ценность. Пейзажи, по словам Б. Рунина, привлекают нас «духовным обликом автора». Очень хорошо! Но ведь в самом духовном облике автора есть качества с общественной точки зрения более ценные и менее ценные. В пейзажах, как пишет критик, художник обогащает наше представление о мире «соотношением объемов и красок, света и тени, воздуха и земли, той гранью действительности, которую дано подсмотреть голько ему». Очень хорошо! Но эти очень нужные, ценные для воспитания гармонически развитого человека качества все же имеют весьма отдаленное отношение к таким важнейшим требованиям эстетического воспитания, как понимание борьбы двух идеологий в искусстве

и эстетическое утверждение социального идеала.

Здесь уместно упомянуть о тех различиях, которые в принципе правильно устанавливает Б. Рунин между личностью и индивидуальностью. Он пишет: «Понятие индивидуальности не покрывает понятия личности. Оно уже, ограниченнее, беднее содержанием. Оно не включает в себя самого главного, определяющего для лирики качества — гражданских устремлений поэта...»

Оставим в стороне вопрос о том, какое понятие «шире». Обратим внимание на очень тонко и верно подмеченное Б. Руниним качество личности — ее интеллектуальность, социальность, гражданственность.

Критик В. Назаренко, полемизируя с Б. Руниним в пространной и путаной статье «Я» и «мы» («Звезда», №№ 3 и 4, 1961), считает неверной формулировку о том, что «личность — это индивидуальность, сознающая себя таковой только в соотношении с коллективом и его требованиями». Но ведь при всей непоследовательности Б. Рунина в данном случае по существу речь идет у него не о том, что «всякий есть «я» — это ясно и бесспорно! — а о противопоставлении «я» коллективиста, общественного человека и «я» эгоцентрика, носителя «зоологического индивидуализма». Индивидуализм, инстинкты собственника, как известно, разрушают личность. Этот процесс глубоко и всесторонне прослеживал, в частности, М. Горький. С этой точки зрения явно догматически звучит заявление В. Назаренко, что «каждый человек есть личность» и что не следует «разделять человечество на личности и не-личности». Человечество, оставаясь человечеством, все-таки «разделяется» — и все глубже! — на «нелюдей», живущих по принципу «человек человеку — волк», и на людей, все полнее, шире осознающих свою личную жизнь как социальную и социальные интересы — как свои, личные, как главную суть «личности».

Так вот, с этой точки зрения равноценны ли проявления личности художника, когда он обогащает наше представление о мире «соотношением объемов и красок» или когда он обогащает наше представление о мире изображением соотношения двух мировых лагерей, борющихся на исторической арене? Вульгарные социологи полностью отрицают социальное значение «чистой лирики». В этом их ошибка. Б. Рунин ставит знак

равенства между прекрасными пейзажами и социально-проблемными — в непосредственном, массовому зрителю очевидном значении — картинами. Но и это ошибка!

К этому остается только добавить, что «соотношением объемов и красок, света и тени» обогащают наше представление не только картины «без людей». В любом жанре необходима красота линий, красок, звуков, пропорций и т. п. Однако, обратившись к образу социального, конкретно-исторического человека, художник, поэт, скульптор как бы держат самый трудный экзамен для своего таланта.

Характеризуя личность поэта, Б. Рунин приводит не лишнюю интереса историческую справку. «В глубокой древности слово «личность» (persona), по свидетельству ученых, означало сперва маску, которую надевал актер, а затем стало означать его самого и его роль. Да простят мне поэты такую метафору, — поясняет Б. Рунин, — лирик — это актер, играющий самого себя».

Лирик играет себя! Прекрасное доказательство... субъективизма «самовыражения», так как, «играя самого себя», поэт даже свою собственную индивидуальность не сможет ни понять, ни выразить полностью. Ведь давно известно, что о человеке нельзя судить по тому, что он сам о себе думает, как он сам себя «представляет», изображает, выражает.

Тем более, по-моему, нельзя игру поэта в «самого себя» представить равнозначной познанию и отображению времени. Возражая против «разобщения» «внутренней и внешней жизни» при толковании формулы Маяковского «я сам расскажу о времени и о себе», Б. Рунин пишет: «О чем бы ни рассказывал поэт, он обязательно рассказывает о своей эпохе, он рассказывает собой, духовным содержанием своей личности».

Но, например, пейзаж «без людей», думается, весьма мало связан с привычными человеку мерами времени, тем более с конкретно-исторически увиденным временем общественной жизни. На пейзаже как таковом зритель увидит прекрасную картину природы. Но разве сможет он установить, что это природа, скажем, возраста 1961 года? Наоборот, на него повеет духом веч-

ности, картина вызовет вопрос: «Какое, милые, у нас тысячелетие на дворе?..»

Нужно ли задавать зрителю такие вопросы? Разумеется, нужно! Взор современного передового человека видит очень далеко. Но и с этой точки зрения, нужны такие произведения искусства, чтобы зритель и читатель ощущали свой труд, труд современников огромным, работающим на вечность.

Не ясно ли, что для полного развития конкретного историзма в искусстве необходимо органическое взаимодействие картин «вечной» природы и таких поэтических картин, как, например, укрощение Ангары строителями одной из самых мощных в мире гидроэлектростанций?

Думается, Б. Рунину не удалось доказать правомерность «самовыражения» и как термина и как определенной эстетической концепции. Надо, видимо, признать, что термин «самовыражение» подлинно «не кажется удачным». В этой концепции общее правильное положение о том, что все наши представления есть «субъективные образы объективного мира», приобретает субъективистский оттенок.

Художник выражает себя в искусстве — это закон социалистического реализма. Но выше всего для него право народа на выражение себя в искусстве. Быть исполнителем этого права народа — вот высокий долг подлинного художника. Не о том ли напоминал Горький, сказав: «Зевса создал народ, Фидий воплотил его в мрамор»?

Лучшую поэму о времени и о себе создаст он, советский труженик, советский народ. А одной из форм этой великой поэмы жизни и истории является наше искусство. И художник-гражданин, который понимает, что «истина.. принадлежит всем», что «мое достояние — это форма...», стремится выразить себя, найти свой стиль в познании великого подвига народа, творящего новый мир по законам красоты. Поэтическое «самовыражение» не осеняет его как некий «дар небес». Сперва он становится гражданином, а потом настоящим поэтом, одним из тех, кто в мрамор, в звуки, в краски, в живое слово воплощает творимую народом красоту.



К 75-летию со дня смерти А. Н. Островского

А. ШТЕЙН

★

ПЕРЕЧИТЫВАЯ СТАРУЮ ПЬЕСУ...

«Лес» — очень старая пьеса. Она написана девяносто лет тому назад и появилась задолго до «Трех сестер» и «На дне», задолго до сатирических комедий Маяковского и «Любови Яровой» Тренева.

«Лес» отделен от нас несколькими эпохами развития русского театра и драмы и выглядит сейчас памятником старого, давно уже ставшего классическим и хрестоматийным искусства.

Попробуем перечитать эту пьесу Островского. Мы выбрали для этой цели «Лес» не только потому, что это одна из его лучших пьес (сам Островский считал ее «сильной пьесой»), но и потому, что в этой комедии Островский касается вопросов искусства, точнее — отношения искусства и жизни, того самого вопроса, который живо занимает сейчас и нас.

Пьесы перечитывают редко. Диалогическая форма, необходимая для театра, мешает многим читателям получать удовольствие от чтения. Перечитывают стихи и романы. Старую любимую пьесу хочется еще раз посмотреть на сцене. Однако в данном случае сделать это невозможно. «Леса» давно уже нет в репертуаре московских театров, как, впрочем, нет в нем и остальных пьес Островского. Мало и редко идут они и на сценах других городов.

Режиссеры и художественные руководители говорят, что зрители не принимают Островского. Его драмы не делают сборов.

Нечто аналогичное слышим мы и от «музейщиков». Они ссылаются на то, что некоторые круги нашей молодежи (и прежде всего студенческой молодежи) критически настроены к картинам «передвижников».

Таким образом, существует мнение, что форма и содержание русского демокра-

тического реализма XIX века устарели и не отвечают запросам современного читателя и зрителя.

Отголоски этой мысли изредка проникают и в печать.

Но обычно она звучит в кулуарных разговорах, с которыми в той или иной форме сталкивается каждый, кто имеет дело с молодежью, преимущественно студенческой.

Равнодушие и даже отрицательное отношение к русскому демократическому реализму — результат порой просто топорной работы по пропаганде классиков, за которую отвечает отчасти наша печать, а прежде всего школа.

Произведения искусства часто рассматриваются на уроках просто как иллюстрация к социально-экономическим процессам, происходившим в стране.

Тончайшая и сложнейшая художественная форма грубо и неумело разнимается на части. Ведутся подсчеты эпитетов и сравнений. Составляются списки положительных и отрицательных героев с их анкетными данными. Под рукой словесника-бюрократа произведение вянет и сохнет.

Только живое и непосредственное общение с самим памятником искусства открывает к нему прямую дорогу.

Итак, снимем с полки томик Островского и посмотрим, что говорит людям 1961 года одна из его пьес.

Уроки, которые может вынести читатель и зритель из знакомства с содержанием и формой «Леса», — уроки реализма. Пьеса Островского — образец отражения жизни, обладающего глубиной, объемностью, жизненной естественностью.

«Лес» занимает по отношению к произведениям так называемого «левого», условно-

го театра XX века какое же положение, какое старая станковая картина русского демократического реализма занимает по отношению к модернистской живописи нового столетия. Не плоскостное, графическое, условное воспроизведение действительности, а раскрытие ее с разных сторон, разных точек зрения, создающее иллюзию жизни.

Предубеждение против этого реализма базируется обычно на том, что его считают «приземленным», социально-локальным и не отвечающим сложным духовным запросам современности. Полагают, что подобный реалист целиком зависит от окружающей его действительности, его творческая личность подавлена фактами жизни, а творческая активность сведена почти к нулю.

Мы нарочно собрали все ходовые предубеждения против старого реализма. Самый беглый анализ «Леса» убеждает нас в огромной и активной творческой деятельности писателя, создающего внутренне завершенную картину, соперничающую в яркости и жизненном богатстве с самой действительностью, говорящего о вещах важных и не потерявших своего значения и сегодня.

«МАСТЕРСКАЯ ПОСТРОЙКА В ЛИТЕРАТУРЕ»

Островский не только создал особый мир, в котором живут дворяне, купцы, стряпчие, приказчики, артисты, он создал свою географию, в которой есть города и усадьбы. Одним из таких городов был Калинов. Усадьба «Пеньки» помещицы госпожи Гурмыжской расположена в пяти верстах от этого города. «Пеньки» — также же создание творческого гения Островского, как и Калинов. Само название усадьбы типично для помещичьего имения, расположенного в лесистой местности, оно само образ.

Таково место действия.

Обратимся к действующим лицам. А. И. Южин отметил необычайную социальную емкость комедии. Одинадцать действующих лиц ее представляют различные социальные типы старой России. Помещики: стареющая барыня Гурмыжская и гимназист Буланов, либерал Милонов и ретроград Бодаев. Слуги: Карп и Улита. Купцы: Восмибратов и его сын Петр. Девушка из трудовых низов — Аксюша. Служители искусства: артисты Несчастливцев и Счастливцев. Перед нами русское общество в ми-

ниюре. Могут возразить — нет народа. Да, это комедия из жизни господствующих классов. Но, как увидим, косвенно здесь отразилась и жизнь народа. Вместили всех этих персонажей в одну пьесу, связать их единым действием — такая задача требовала исключительного композиционного искусства. Действительно, именно в «Лесе» Островский обнаруживает непревзойденное мастерство композиции. Предпочитавший простые композиционные формы, он здесь построил композицию чрезвычайно сложную. Анисимов назвал эту пьесу «мастерской постройкой в литературе».

«Лес» построен на нескольких сюжетных линиях. В основе его отдельные самостоятельные коллизии.

1) Гурмыжская хочет сделать гимназиста своим любовником, а пока держит его при себе под видом жениха Аксюши.

2) Аксюша и Петр любят друг друга. Их счастью мешает прижимистость Восмибратова и намерение Гурмыжской выдать Аксюшу за Буланова.

3) «Пешие путешественники» Несчастливцев и Счастливцев ищут трагическую актрису.

Мастерство Островского проявилось в том, что он органически сочетал эти три коллизии, включил одну в другую. Все три коллизии необычайно естественно вяжутся в один узел, дополняют и подкрепляют друг друга, создавая широкую картину русской действительности, основанную на противопоставлении свободных артистов «темному лесу». Взаимодействие этих коллизий в пьесе может быть охарактеризовано словами великой русской актрисы О. Садовской: «Я тебе петельку, а ты мне крючок».

Проследим, как это происходит.

Для того чтобы отвести подозрение в том, для чего она привезла Буланова в имение, Гурмыжская представляет его всем как жениха Аксюши и поэтому отказывает Восмибратову, сватающему Аксюшу за Петра. Восмибратов обижен, что погнушались его семейством, и решает отплатить Гурмыжской — недодать ей денег. Его поступок дает возможность Несчастливцеву проявить свое благородство, он добивается того, что Восмибратов отдает деньги Гурмыжской. Аркашка видит, что деньги, которые Несчастливцев вернул Гурмыжской, попадают к Буланову, и сообщает об этом Несчастливцеву. Несчастливцев воспринимает это как клевету на святую, добродетельную

тетушку и грозитя прибить Аркашку. Раздраженный этими угрозами, Аркашка сообщает Улите, что они актеры.

Как видим, получается непрерывная цепь развития действия, основанная на чрезвычайно естественном взаимодействии характеров и обстоятельств. Композиция пьесы гибко отражает разные возможности, разные направления, в которых может развиваться действие. Несчастливцев ищет девушку, которая хочет утопиться от несчастной любви. Он сделает из нее трагическую актрису. Безвыходность положения, в котором находится Аксюша, рождает у нее мысль о самоубийстве. Так осуществляется мечта Несчастливцева.

Но Островский незаметно для зрителя подготавливает другую развязку. В ходе действия одно за другим отпадают препятствия к соединению Аксюши и Петра. Гурмыжская объявляет, что сама выходит замуж за Буланова. Этим она освобождает Аксюшу. Прижимистый тятенька вынужден все время снижать сумму требуемого приданого. Во время первого разговора фигурировали четыре тысячи. Во втором разговоре, во время свидания ночью, говорят о трех. Наконец перед отъездом Аксюши Петр говорит о тысяче. Великодушный Несчастливцев дает ей эту тысячу.

Так смыкаются звенья цепи и осуществляется та развязка, которая наиболее соответствует характерам персонажей, их жизненным устремлениям.

В комедии есть чрезвычайно тонкие детали, раскрывающие социальные отношения действующих лиц. Несчастливцев отобрал у Восмибрата тысячу рублей и отдал ее Гурмыжской. Побывав в руках Гурмыжской и Несчастливцева, тысяча рублей попадает к Аксюше, которая передает ее Петру, вручающему ее Восмибратову. У Гурмыжской и Несчастливцева деньги не держатся. Наоборот, они весьма замысловатыми путями возвращаются к Восмибратову. Через игру случайностей Островский показывает переход денег к новому хозяину, Несчастливцев уходит таким же нищим, каким и пришел.

При всей сложности сюжетных линий каждое из действующих лиц оказывается или втянутым в действие или абсолютно необходимым для раскрытия идеи пьесы. В первом акте Улита признается Гурмыжской, что при виде красивого молодого человека на нее находит «мечта», «вроде как

облако». Естественно, что она не может противиться мужским чарам Аркашки. Через него она и узнает правду о профессии Геннадия Гурмыжского. Так Улита оказывается действующим лицом, важным для сюжетной линии комедии.

Формально говоря, в развитии сюжета не участвуют только Карп, Милонов и Бодаев. Но не будучи втянутыми в действие формально, они необходимы для раскрытия концепции пьесы. Карп — слуга старой патриархальной эпохи, обязательный персонаж для обрисовки помещичьего уклада жизни. Милонов и Бодаев — два ярких помещичьих типа, распространенных в дворянском кругу того времени. Они нужны для создания картины «леса».

ОБИТАТЕЛИ «ЛЕСА»

Да и то сказать — образованье; а здесь что? одно слово: лес.

А. Островский.

Слово «лес», стоящее в заглавии пьесы, имеет, как известно, двоякий смысл. Оно обозначает не только тот лес, который помещица Гурмыжская столь неудачно продает купцу Восмибратову. Оно символизирует и ту темную, непролазную глушь, в которой живут герои комедии, и те темные дела, которые они творят в этой глуши.

Поистине пешие путешественники, забредшие сюда, спугнули сов и филинов.

Метод Островского не имеет ничего общего с той слепой зависимостью от фактов повседневной жизни, в которой обвиняют его противники социального реализма XIX века. Не только композиция комедии, но и ее характеры рождены большой обобщающей мыслью художника.

Исследовательница «Леса» Е. В. Измайлова в своей диссертации «Комедия А. Н. Островского «Лес» справедливо писала о парном расположении действующих лиц. Вот первая пара: старуха и гимназист.

Интересно, что в центре комедий Островского, посвященных помещичьему быту, всегда не помещик, а женщина-помещица: Уланбекова, Мурзавецкая, Гурмыжская. Это наблюдение можно расширить. В центре «Недоросля» Фонвизина тоже образ помещицы Простаковой. Помещица — существо более взбалмошное, непрактичное, живущее чувствами. В ее поведении меньше

логики, сильнее элемент комического. Бодаев говорит об этом: «...у нас много дворянских имений вконец разорено бабами. Если мужчина мотает, все-таки в его мотовстве какой-нибудь смысл есть; а бабьей глупости меры не положено. Нужно любовнику халат подарить, она хлеб продает не вовремя за бесценок; нужно любовнику ермолку с кисточкой,— она лес продает, строевой, бережный, первому плуту». Желая показать непрактичность и безалаберность представителей помещичьего класса, Островский и изобразил помещицу, а не помещика.

Типы помещиков, представленные в комедии, обычно сближают с сатирическими типами Салтыкова-Щедрина. Эту близость подметили уже современники Островского.

Так, после выхода в свет «Леса» критик Страхов с неудовольствием писал в своей рецензии:

«Этот комизм самого низкого рода, который вернее всего назвать щедринским...»

Столь же щедринским назовем мы и отношение к земству, мелькающее в конце комедии, где Буланов прочитывается в земские деятели».

Близость к Щедрину бесспорна. Проницательный Островский относился и к господам помещикам и к либеральному словоблудию столь же презрительно и иронически, как и Щедрин.

Но Щедрин как сатирик прибегал к сознательной сатирической условности, гротескной экзотичности образа. Это особый тип искусства.

Созданные Островским сатирические типы помещиков и по своему внешнему облику и по своей психологической сущности абсолютно естественны и правдоподобны. Они обладают не только «самодвижением», но и своим особым психологическим складом, своей манерой реагировать на происходящее и оценивать его, обладают, если можно так выразиться, трехмерностью.

Очень любопытно проследить, как намеченные в сатирическом ключе образы обретают жизненность и естественность живых людей. Старуха (по самому дамскому счёту Гурмыжской давно уже за пятьдесят) выходит замуж за гимназиста. Это почти гротеск. Но внутренний психологический мир Гурмыжской, ее поведение раскрыты с безошибочной логикой и убедительно. «На все есть форма, мой друг»,— говорит она Буланову. Эта «форма» — об-

лик безутешной вдовы, делающей добро. Благовоспитанность Гурмыжской и ее лицемерная набожность прикрывают ее страсти.

Гимназист. Первоначально этот умеющий подличать молодой человек ассоциировался у Островского с Молчалиным, но постепенно он вырос в характер несколько иного типа.

Буланов — персонифицированное и ожившее ходовое понятие «недоучившийся гимназист». Гимназист глуп, боится начальства, боится курить при Рансе Павловне.

Звучащее слово — главный способ характеристики в драматургии. Одним словом Островский мог исчерпывающе определить персонаж. Дело не только в том, что сам Буланов — жеребчик. Восмибратов, купец из мужиков, сохранивший меткость народной речи, бросает по поводу Буланова замечательное по смыслу и звучанию слово «малоумие».

Презрение Островского к «благородным господам помещикам» выразилось в том, что он представил хранителя помещичьих «устоев» в образе «недоучившегося гимназиста», самой характерной чертой которого было «малоумие».

Но в характеристике Буланова есть и другая тонкая деталь. Он противопоставляет себя растрепанным. «Растрепанные», «волосатые» — нигилисты, от которых недоучившийся гимназист Буланов всячески открешивается.

Очень любопытны причины, по которым Островский группирует персонажей «Леса» парами. Их характеры подобраны так, что два действующих лица дают выражение идеи, полноту обрисовки того или иного жизненного явления.

Старуха и гимназист — вот персонажи дворянского романа. Улита и Карп — вот слуги старой эпохи.

Мировая драматургия и до Островского знала такие парные образы. Два лизоблуда и предателя — Розенкранц и Гильденстерн в «Гамлете», два хлопотуна и сплетника — Бобчинский и Добчинский в «Ревизоре». В их парности заключался намек на их безликость, они как бы повторяли и дополняли друг друга.

Пара в комедии «Лес» состоит из персонажей контрастных и одновременно связанных друг с другом, также друг друга дополняющих. Здесь принцип несколько иной и более сложный.

Как и мастера реалистического романа XIX века, Островский всегда показывает за спиной персонажа воспитавший его социальный уклад. Так, Улита как общественный тип сформирована уродливыми крепостническими отношениями, извратившими ее психологию и ее жизнь. «И вспоминать-то смерть, так жизнь-то, не живя, и коротали. Замуж тебя не пускают, любить тоже никого не приказывают... у нас насчет любви большой запрет был. Ну, одно средство: к барыне подделяешься. Ползаешь, ползаешь перед барыней-то, то есть, хуже, кажется, всякой твари последней, ну, и выползаешь себе льготу маленькую; сердцу-то своему отвагу и дашь. Потому ведь оно живое, тоже своего требует. Уж и как эта крепость (то есть крепостное право.— А. Ш.) людей уродует!» В этой реплике — биография Улиты и одновременно ключ к ее психологии.

Иное дело Карп. В комедии, где изображены персонажи, наделенные всевозможными причудами, он резонер и сторонник порядка. Карп многое перевидал на своем веку, все понимает и не очень одобряет. Но он выполняет свои обязанности и не показывает барыне своего отношения к происходящему.

Вот вам два типа слуг, дающих исчерпывающее представление о слугах старой, помещичьей эпохи.

Фамилии Милонова и Бодаева имеют смысловое значение. «Милон» — имя благородного любовника в русской либеральной комедии XVIII века. Но как выродился помещичий либерализм, представленный теперь в облике сладкого и лицемерного Милонова.

Имя Бодаева заключает в себе нечто быковидное. Перед нами отставной вояка, ретроград, бестактный и грубый бурбон-помещик.

Создавая выразительные образы представителей противоположных взглядов, распространенных в кругу господствующих классов, Островский так укрупняет и типизирует их речь, что возводит их высказывания в законченные формулы.

«Все высокое и все прекрасное», — говорит Милонов. В этих словах вся либерально-романтическая эстетика, все любимые идеи прекраснодушных помещиков, ставшие в семидесятых годах XIX века сплош-

ным лицемерием, вся квинтэссенция помещичьего либерализма.

Таковы дворяне в изображении Островского.

Ну а купцы?

В подсознании у некоторых наших читателей — представление, что купцы Островского «все на одно лицо». А между тем купцы Островского чрезвычайно разнообразны и по своему положению внутри купеческого сословия, и по характерам, и по психологическому облику. Говоря суммарно, купец Восмибратов и его сын Петр — это еще один кусочек «темного царства», еще один пример тирании родителей, угнетающих и притесняющих детей. Но только говоря суммарно.

Восмибратов отличается от нелепого, но отходчивого и доброго Тит Титыча, от упрямого и грубого, но пришедшего в упадок и растерявшегося Большова. К тому же Брусков и Большов уже нажили состояние, Восмибратов еще наживает деньги, покупает и перепродает лес, ведет коммерческие операции.

Он умен и проникателен, ядовит и знает цену благородным дворянам Островский и здесь безукоризненно точен в своих социальных характеристиках. Восмибратов со-знает, что теперь «не по временам» кричать на кушча. Он держится уверенно и с сознанием своих прав. И все-таки Восмибратов лучше таких дворян, как Гурмыжская. Восмибратов, конечно, плуг, но, вчерашний мужик, он не порвал еще пуповину, связывающую его с народом. У Восмибратова есть понятие о чести, и когда его вводят в задор, он бросает бумажник Несчастлицеву и возвращает ему тысячу рублей.

В европейской комедии испокон веков существовали образы влюбленных. Самый сюжет комедии строился на стремлении молодых людей преодолеть все препятствия и соединиться. Свадьба завершала комедию. Это было торжество молодости и любви над препятствиями, которые ставила ей жизнь.

Русские комедиографы с самого начала стремились реформировать эту традиционную интригу. «Горе от ума» завершается не свадьбой, а трагическим диссонансом, разрывом Чацкого с Софьей и тем миром, который она представляет. «Ревизор» вообще обходится без любовной интриги.

В «Лесе» есть чета молодых влюбленных, которые стремятся соединиться и преодо-

леть препятствия, стоящие на их пути. В финале комедии они торжествуют. Но Островский не отступил от принципов русской драмы. Аксюша и Петр занимают в композиции комедии сравнительно второстепенное место, лишь оттеняют идейную концепцию пьесы.

Петр — личность попросту заурадная, и только любовь к Аксюше возвышает его и делает на какое-то время интересным персонажем. Аксюша — обыкновенная женщина. У нее есть гордость, гордость трудового человека, есть характер. Но она не героиня, не подвижница, не романтическая натура. Ее жизненный идеал — идеал обыкновенной женщины: муж, дети. Аксюша не посягает на существующий порядок, но в рамках этого порядка имеет намерения чистые, справедливые, естественные.

Аксюша знает два пути — или подчиниться грубой стихии жизни или броситься в омут, утопиться от несчастной любви.

В этом поступке тоже протест, в нем тоже проявляется сила характера. Но сила, выражаясь не в борьбе с этой жизнью, а в уклонении от нее.

Можно сказать, что Островский создал в «Лесе» целую галерею портретов, социально рельефных и психологически точных. И одновременно настолько богатых содержанием, что они раскрывают возможности для весьма разнообразных и многозначных трактовок.

ПЕШИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ

А ведь артисты народ не обесчеченный, по-европейски сказать, пролетариц, а по-нашему, по-русски, птицы небесные...

А. Островский.

Геннадий Несчастливцев и Аркадий Счастливцев тоже составляют пару — пару, в полном смысле этого слова, классическую, фамилии их тоже смысловые. Счастливцев — потому что неприятятелен и доволен немногим. Фамилия Несчастливцева связана с его трагическим амбула и трагической судьбой. Трагическая судьба порождена его благородством. «Несчастлив тот, кто угодать и подличать не умеет», — так раскрывает сам Несчастливцев смысл своей фамилии.

Принцип парности проявляется и в том, что один идет из Керчи в Вологду, дру-

гой — из Вологды в Керчь. Но трупы нет ни в Керчи, ни в Вологде. Положение обоих одинаково скверно.

Конечно, Несчастливцев и Счастливцев — реальные типы русской жизни. Но от кристаллизовались они в характеры, близкие к традиционным типам старой классической комедии.

На вопрос Карпа, как его зовут, Аркашка отвечает: «Сганарель». Действительно, в комедии Островского Аркашка занимает место слуги, мешанско-буржуазного персонажа, обозначаемого у Мольера именем Сганарель. В этом смысле он противопоставлен дворянину Несчастливцеву, который готовился в военную службу, а на сцене, в отличие от комика Аркашки, выступает как трагик. Два этих типа, как и полагается в классическом искусстве, противопоставлены друг другу и внутренне связаны между собой.

Оба они воплощают стихию актерства, лицедейства, скоморошества. «Скоморох попу не товарищ», — говорит Несчастливцев Аркашке, объясняя ему невозможность представить его богомольной тетушке. В течение всей пьесы Островский тонко сопоставляет своих «пеших путешественников» с «солидными» представителями оседлого патриархального уклада.

В этом противопоставлении очень существенно то, что обитатели «Леса» живут неподвижной, устойчивой жизнью, сидя на месте в своем захолустье, в то время как Геннадий и Аркашка, «пешие путешественники», как цыгане, бродят из театра в театр по необъятной Руси. То, что они перебираются с места на место со своим довольно причудливым скарбом, характеризует их как людей, вольных духом, «перелетных птиц».

Патриархальная жизнь — жизнь сытая, спокойная, богомольная. Богу молятся и мешанка, жена Аркашкиного дяди-лавочника, и тетка Геннадия — помещица Гурмыжская.

В сравнении с ними актеры, вольный и гуляющий народ, бродяги, скитающиеся по Руси, выглядят еретиками.

«А ведь мы с тобой почти черти, немного лучше», — говорит Несчастливцев Аркашке. Сравнение Аркашки с чертом несколько раз возникает в комедии. Происхождение этого сравнения объяснить очень легко. С точки зрения людей старой, патриархальной эпохи, актеры, скоморохи, потеш-

ники — народ беспутный и безбожный, сродни черту. Но за таким пониманием актеров скрывается целая концепция, которую в свое время раскрыл старый исследователь Островского С. К. Шамбинаго. Островский видел в актерах, служителей благородного искусства, глашатаев красоты и гуманности. Но освободившиеся от патриархальных норм и патриархальной морали лицедеи могут воплощать и циничное отношение к жизни.

Обе эти стороны актерства представлены в «пеших путешественниках», случайно встретившихся у усадьбы «Пеньки» и оказавшихся в доме госпожи Гурмыжской.

КОМИК

Мы не знаем, хороший ли актер Аркашка. Его актерская карьера шла по нисходящей. Он играл любовников, потом перешел на роли комиков, кончил тем, что стал суфлером. Такое нисхождение было обычным. «Все там будем», — говорил Несчастливцев.

Но именно амплу комика наложило отпечаток на личность Аркашки, на его внешний и внутренний облик. Водевиль составлял основу той библиотечки, которую «стяжал» Аркашка. Водевиль преимущественно и играл он. Его речи — речи присяжно-го водевильного каламбуриста. Остроты Аркашки насчет Карпа Савельича, Окуня Савельича, Сазана Савельича, приводящие в изумление и даже восхищение простодушного Карпа, свидетельствуют о бойкой бесцеремонности, которую вырабатывает актерская профессия.

Своей низменностью и мелочностью Аркашка противостоит Несчастливцеву. Он не может без ссоры и драки, он и на руку нечист. Но Аркашка — вольная душа, артист до мозга костей, скоморох, шут и потешник. Дело не только в том, что мешанская сытая жизнь в доме дяди-лавочника ему ненавистна и он озлоблен против нее. И даже не в том, что необходимость изображать лакея его раздражает. В веселости Аркашки, его удалы и бесшабашности, в его способности разыгрывать, пугать и лицедействовать — истинная суть его натуры, призвание и место в жизни.

Чуткие читатели уже давно замечали, что, создавая вполне реальную фигуру комика XIX века, Островский захватил какие-

то более широкие пласты жизни, затронул стихию национального и общечеловеческого.

Так, один из исследователей, А. А. Фомин, видел в Аркашке черты древнерусского скомороха, веселого, грубоватого, неунывающего. Больше того, Фомин делал и более смелое уподобление. В связи с характером Аркашки он вспоминает простак черта из русских народных сказок и даже Иванушку-дурачка, доброго и неунывающего малого.

Отведем эти чересчур отдаленные ассоциации, хотя, конечно, кое-что общее с простодушным и недалеким пакостником чертом у Аркашки есть. Как известно, в народных сказках черт остается в дураках. В дураках остается и Аркашка.

Возьмем более прямую аналогию — близость Аркашки к скоморохам. Черты русской народной веселости, русского национального юмора воплотились в Аркашке.

Пугая обывателей старой Руси, скоморохи охотно изображали чертей. Пугая Улиту, Аркашка говорит ей: «А я так все чертей играл, прыгал вот так на сцене. (*Прыгает и кричит.*) У! У!»

А на вопрос Бодаева, что он делает в театре, отвечает: «Скворцом свищу, сорокой прыгаю».

Черты этой народной веселости не подавлены в Аркашке тяготами жизни, но только замутнены необходимостью применяться к обстоятельствам.

В ярком образе Аркашки Островский выразил протест против духоты, скуки и расчетливости сытой мешанской жизни.

ТРАГИК

Несчастливцев — тоже артист, но артист иного типа. Он не лишен наигрыша и позерства, этих пятен его ремесла, но это человек, любящий искусство и ненавидящий копейчников.

По происхождению он дворянин. «У них барственность настоящая, врожденная», — говорит Улита. Но это не просто барственность. Осанка и манеры Несчастливцева порождены его профессией, в них сказывается артистизм, свобода, непринужденность и пластичность художника.

Его психологический облик сложен. Несчастливцеву свойственно и наивное умиление при виде родных мест, при возвраще-

нии в дом добродетельной тетушки. Он может полунасмешливо, полупрезрительно разговаривать с угодничающим гимназистом. У него есть высокое чувство собственного достоинства, достоинства художника, артиста.

И вместе с тем, несмотря на свое дворянское происхождение, Несчастливцев — труженик и разночинец. Он пьет, пьет от неустойчивости русской жизни, от ее нескладности и несправедливости.

Простонародная русская интонация звучит в его словах, обращенных к Аксюше: «Не тебе у меня денег просить! А ты мне не откажи в пяточке медном, когда я постучусь под твоим окном и попрошу опохмелиться. Мне пяточок, пяточок! Вот кто я!»

Образ Несчастливцева сближается здесь с образом купеческого сына Любима Торцова. Та роль, которую сыграл в пьесе Несчастливцев, сродни роли Любима Торцова. Он тоже помог устроить судьбу двух молодых людей. Но помог случайно, ибо первоначально имел совсем иной замысел. Геннадий Несчастливцев прежде всего артист. Он жрец высокого искусства и его сознательный адепт. Из его речей вырастает определенное представление о театре, театре романтическом.

Зерно этого театра составляет «правда», но «правда», понятая и истолкованная особым образом. Для того чтобы быть актером, надо иметь душу, самому многое пережить и перечувствовать.

Ведь искусство это отражает именно возвышенные, переломные моменты жизни человеческой, когда человек мучится и страдает, а потому отрывается от обыденной прозы существования, и душа его выплескивается наружу. «Ты знаешь бури, знаешь страсти — и довольно», — говорит Несчастливцев Аксюше. Женщина, пережившая большую душевную трагедию и способная чувствовать сильно, — вот человеческий тип, из которого рождаются трагические актрисы.

Это не просто блажь Несчастливцева. Известно, что Писемский говорил великой русской актрисе Стрепетовой: «Вот ежели бы ты, понимаешь, имела любовника, да он бы тебя, значит, бросил, и ты бы пошла топиться, да тебя бы хорошие люди из воды вытащили, и стала бы ты после этого побираться Христовым именем из деревни в де-

ревню, верст, этак, примерно, полтора ста или двести, до какого-нибудь, скажем, родственного пристанища, — вот тогда бы из тебя драматическая актриса вышла...»

Только большой душевный подъем и большие душевные страдания делают актрису. В жизни эти страдания могут не находить отклика. На сцене на страдания актера откликаются своими чувствами тысячи зрителей: «Здесь на твои рыдания, на твои стоны нет ответа; а там за одну слезу твою заплачет тысяча глаз».

Театр не просто отражение жизни. Грешная прозаическая жизнь преобразуется в театре в нечто возвышенное. Театр — это место прекрасной иллюзии.

Перед нами философия романтического театра.

Душа, порыв, огонь — вот основа актерского искусства. На сцене все должно было быть не просто, как в жизни, а лучше, чем в жизни. И рост должен быть у актера высокий, и фигура статная, и голос красивый и сильный, и складываться должны голоса по музыкальному, мелодическому принципу.

Устами Несчастливцева Островский дает удивительно точную и красивую формулу, определяющую героиню романтического театра: «Ты молода, прекрасна, у тебя огонь в глазах, музыка в разговоре, красота в движениях».

Такому искусству служит Несчастливцев. На его личности, манере держаться, жизненных принципах отразились те возвышенные роли, которые он играл.

Но Несчастливцев — персонаж комедии. В его личности есть и нечто смешное. Порой его собственная романтическая риторика и романтическая чувствительность оказываются просто привычной позой.

После монолога, произнесенного со слезами на глазах, он может сказать своему собеседнику совершенно равнодушно: «У тебя табак есть?»

К тому же Несчастливцев сопоставлен в комедии не только с Аркашкой, но и с Аксюшей. Это сопоставление уточняет и обогащает концепцию пьесы. Через него Островский показывает некоторую условность и искусственность тех театральных страданий, того театрального пафоса, который прокламирует Несчастливцев и который звучит в его речах: «Мы пьем, шумим, представляем пошлые, фальшивые страсти,

хвастаем своим кабачным геройством; а тут бедная сестра стоит между жизнью и смертью. Плачь, пьяница, плачь!»

Страдания Аксюши — не бумажные, не театральные, это подлинные человеческие страдания.

Художник жизни, Островский видит, что идеальные порывы Несчастливцева не могут удовлетворить обыкновенную, земную женщину, такую, как Аксюша.

«Полюби бедного артиста», — говорит Несчастливцев Аксюше. Но Аксюша в последний момент отказывается от романтических скитаний с Несчастливцевым ради замужества. «А что ж в актрисы-то, дитя мое? С твоим-то чувством...» — «Братец... чувство... оно мне дома нужно».

Жизнь сильнее романтики. Реальная страсть сильнее выдуманной, театральной. В финале комедии Несчастливцев выглядит Чацким. Он громыхает своим монологом и громит сов и филинов темного леса. Но Островский оттеняет комизм и беспочвенность позиции Несчастливцева. Для него Несчастливцев милый чудак, чудак благородный и обаятельный, но все-таки чудак.

Образ Несчастливцева был глубоким художественным проникновением Островского в душу русского трагика, изумительным синтезом его наблюдений над людьми русского театра.

КОМЕДИАНТЫ И АРТИСТЫ

Нет, мы артисты, благородные артисты, а комедианты — вы.

А. Островский.

Тема отношения искусства и жизни, театра и жизни постоянно возникает в «Лесе». Гурмыжская сама говорит о себе: «Играешь-играешь роль, ну и заиграешься». В конце пьесы Несчастливцев называет Гурмыжскую и все ее общество «комедиантами». Это не случайность, как не случайность и то, что Островский изобразил жизнь господствующего класса в форме комедии. Лицемерие Гурмыжской, те смешные и уродливые формы, в которые отливаются отношения представителей господствующих классов, требовали комедии.

Сравнение жизни с театром еще раз подчеркивает реалистическую природу театрального искусства, отражающего жизнь. Мы издавна встречаем его. Достаточно

вспомнить знаменитую формулу Шекспира: «Мир — театр, в нем женщины, мужчины — все актеры». У Островского это имеет несколько иной смысл. Слово «комедия» воспринимается в устах действующих лиц «Леса» как обозначение смешной и фальшивой игры, искажающей естественные человеческие отношения.

Комедиантам противопоставлены артисты, служители искусства. Несчастливцев и сопровождающий его Аркашка противопоставлены обитателям леса, миру помещичьего чванства и купеческой прижимистости. Водораздел проходит между «вольными птицами» — артистами и устойчивым миром собственности и привилегий. В образе Несчастливцева запечатлелся не только характер русского трагика начала века, но и какие-то более значительные национальные и общечеловеческие черты.

В свое время Герцен писал, что Мочалов принадлежит «к тем намекам на сокровенные силы и возможности русской природы, которые делают незыблемой нашу веру в будущность России». Толкуя мысль Герцена расширительно, можно сказать, что наши большие и малые трагики все также принадлежат к намекам на силы и возможности русской природы. На первый взгляд это кажется странным, но это так. В грубых, полубалаганных формах, в которых существовало тогда искусство, на фоне нелепых задников и грязных кулис, используя бутафорские картонные аксессуары, играли эти трагики. Но в них горел огонь вдохновения, их одушевляла преданность великим идеям и гениальным художественным созданиям человечества. Где, в какой стране Европы бродили в XIX веке по театрам подобные трагики, так бескорыстно преданные искусству, так самозабвенно влюбленные в Шиллера и Шекспира, так без оглядки отдававшие им свою душу? Где было распространено такое высокое и вдохновенное служение театру?

Образ Несчастливцева, созданный Островским, включен в логику пьесы, связан с ее идеей. Какова же идея «Леса»?

Над «Лесом» думал В. И. Немирович-Данченко. До нас дошли в косвенной передаче мысли знаменитого режиссера. Так, в одном месте он говорит: «В чем зерно пьесы? Как обычно у меня, я ишу его в названии. «Лес» — дубри, звериный быт, невежество... Сюда Островский приводит актера...» И в другом случае замечает: «Ак-

тер привык играть Гамлета, Лира, Фердинанда, он чувствует себя на сцене — в жизни, а в жизни — на сцене. Он умеет верить, что существует прекрасное, фантазия захватывает его нервы. Он настоящий, вдохновенный поэт. Дебри, невежество, освещенное поэтом, — вот основная идейная линия. И тогда быт будет «поглощен идейностью, быт будет пронизан благородством идеи».

Лес старого помещичьего существования, тема невежества и разврата — это в изображении А. Островского уходящее прошлое России. В мире Гурмыжских, Милоновых и Бодаевых красота не нужна, поэтому и художник здесь смешон. Он изгнанник и бродяга.

Но художника не поняла и такая женщина, как Аксюша. Ее стремление — свить прочное гнездо, иметь свой дом, детей и мужа. Островский симпатизирует молодым влюбленным — Аксюше и Петру. Но и этим людям, воплощающим уже новую, буржуазную Россию, идущую на смену России старой, также не нужна красота.

Свадьба Аксюши и Петра, которая венчает комедию, отнюдь не вносит в финал «Леса» ноту успокоения и гармонии. Совсем напротив. Комедию завершает уход «пеших путешественников», покидающих мир застойного, гнетущего и устойчивого существования и снова отправляющихся странствовать.

Люди искусства непримиримы к миру собственности и дворянских привилегий. В образе Несчастливцева — свободного духом бродяги актера — выразился антибуржуазный дух русской культуры. И в этом смысле он был намеком на наше будущее.

Искусство Островского — мажорное искусство. Эта мажорность рождена общественной позицией художника, его близостью к народной жизни. Изображая в «Лесе» нечисть старого, собственнического мира, он противопоставляет ей людей, не подчиненных законам этого мира и даже выражающих протест против него.

Мы имеем в виду не только Несчастливцева, но и Аркашку. Ведь и он не подчинился мещанскому существованию в доме дяди-лавочника, убежал от него и снова вернулся к вольной жизни.

В отличие от таких своих западноевропейских современников, как Мопассан, Островский не смотрел на борьбу с миром собственности как на нечто трагически

безысходное, не считал этот мир вечным и необоримым. В его смехе были бодрые, победоносные ноты, ибо он чувствовал неизмеримость сил народа, а могучее демократическое движение, зреющее в России, давало этому чувству историческую перспективу.

«Лес» Островского, как и другие его пьесы, стал достоянием русского театра. На многих подмостках, начиная с Малого театра и великолепной россиёвской Александринки и кончая похожими на сараи театрами старой русской провинции, звучали монологи Несчастливцева, гаерствовал и острил Счастливец, возникали образы обитателей «Леса». Тысячи зрителей отвечали смехом на победоносную комическую стихию пьесы.

ПРАВДА И УСЛОВНОСТЬ

Уточним вопрос о соотношении реализма Островского и так называемого «модернистского искусства XX века». Для этого мы имеем очень наглядный пример — работу Мейерхольда над «Лесом». Пример наглядный и поучительный, хотя нашим сопоставлением мы отнюдь не преследуем цель дать характеристику всего сложного обличья этого выдающегося режиссера.

При всей своей оригинальности Островский представлял тот тип реализма, который получил развитие в русской литературе, театре, живописи в эпоху демократического подъема. Что нужно теперь, чтоб двинуть искусство вперед? — спрашивал один из теоретиков этого реализма, художник Крамской.

«...Чтобы не повторять задов... мало того, чтобы голова была рельефна; нет, она должна быть незаметно рельефна». У великих портретистов прошлого Веласкеса, Рембрандта, Тициана голова персонажа, изображенного на портрете, была вылеплена выразительно и рельефно. Крамской давал незаметный рельеф, при котором форма становилась абсолютно естественной. Это замечание можно отнести не только к портретам самого Крамского, но и к тем портретам, которые создал Островский в «Лесе».

Конечно, это было великим завоеванием реализма, которое Островский разделяет с Тургеневым, Толстым, Гончаровым, Чеховым.

Та доля условности, которая была у старых европейских комедиографов, таких, как

Гольдони, Мольер, Лопе де Вега, уже невозможна у Островского.

У Мольера достаточно было Туанетте в «Мнимом больном» надеть на себя костюм доктора, как все ее за доктора и принимали. Факт переодевания был самым неоспоримым доказательством того, что перед героями появляется другой человек.

У Островского Несчастливцев и Счастливец выдают себя за барина и лакея, и это обставлено множеством убедительных бытовых и психологических деталей. Правда в искусстве Островского выступает в абсолютно правдивой форме, драма — в соответствии с его собственным высказыванием — оказывается не чем иным, как просто «драматизированной жизнью».

Именно как жизнь и как абсолютную правду воспринимали пьесу Островского те художники, которые исполняли ее на сцене. По своим творческим стремлениям они были интерпретаторами, ставили перед собой задачу выразить Островского, подчиняли ему себя. В своих творческих осуществлениях они были свободны. Но эта свобода выражалась формулой «познанная необходимость». Этой «необходимостью» был Островский, созданные им образы, логика развития его пьесы, ее стиль. Свобода заключалась в том, что артист по собственной воле прилагал все свои усилия, чтобы выразить Островского наиболее точно и адекватно.

Мейерхольд назвал себя «автором спектакля» и таким образом взял на себя больше, чем только интерпретацию. Он вторгался в текст, становился соавтором, накладывал на все печать своей оригинальной личности.

Главное отличие подхода Мейерхольда от подхода старого театра заключалось в отношении к слову. Для Островского и близких к нему актеров «слово» было главным способом художественной характеристики, через «слово» раскрывался внутренний мир человека, его психология и социальная позиция. Именно «слово» давало глубину и объемность изображения.

То, что делал Мейерхольд в «Лесе», шло помимо текста и игнорировало «слово». Мы имеем в виду не только то, что в спектакле появились эпизоды и целые сцены, принадлежащие не автору пьесы, а автору спектакля. Главным средством выразительности было у Мейерхольда биомеханическое движение, потерявшее психологическое содер-

жание и ставшее только внешней имитацией его. Аркашка ловил рыбку и бросал ее в ведро. Эта сцена, которую блистательно проводил Ильинский, выростала в самостоятельный эпизод борьбы Аркашки с рыбой. Однако текст Островского, мелодия речи, речевая характеристика персонажа стирались и пропадали.

Несчастливцев, похожий на Дон-Кихота, и Аркашка, похожий на испанского шута — *gracioso*, — уходили по прихотливо изогнутой дороге; Аксюша и Петр разбегались и качались на гигантских шагах — все эти жесты и движения, порой довольно экспрессивно выражающие мысль режиссера, заменяли «слово».

На наших глазах образы Островского смешались, теряли объем, глубину и психологический смысл, приобретали внешнюю графическую выразительность. Так за цирковыми трюками, чаплиниадой и шутками *gracioso* пропала душа Аркашки, его внутренний мир. За эффектной внешностью Дон-Кихота и его испанским плащом пропала и душа русского трагика.

Мейерхольд хотел приблизить пьесу к старому народному балагану и лубку, вскрыть в ней приемы классического испанского театра. Но за этим возвращением к примитиву скрывался изощренный художник, иронически, скептически и даже с некоторым высокомерием относящийся к старой пьесе.

Мейерхольд не брал всего происходящего всерьез. Он рассматривал содержание спектакля как условную игру. Поэтому он надел на исполнителей парики, которые отчетливо видны были зрителю. Этим он хотел разрушить иллюзию, показать, что все происходящее на сцене — игра, обнажить условный прием.

Для того чтобы разрушить иллюзию, что перед нами изображение определенной эпохи, Буланов, одетый в зеленый парик, пел современный романс и совершал акробатические упражнения, Улита качалась на качелях, в спектакль были введены балет и аттракционы.

Подчеркивая условность всего происходящего, Мейерхольд не приближал свой спектакль к старым, условным формам народного театра. Условность старого народного искусства не была результатом сознательного стремления к условности. Оно стремилось к отражению жизни, а условность

была лишь особой формой ее отражения, порожденной особым мировоззрением и восприятием жизни.

· Ставя «Лес» в условных формах, Мейерхольд создавал тонкую и сложную игру. Оценить изощренность этой игры мог только зритель, столь же изощренный, как сам Мейерхольд.

· Конечно, искусство всегда не просто копирует жизнь. Оно ее обобщает, преподносит под определенным углом зрения. Но цель его — заставить зрителя поверить в то, что изображено, а не просто обнажать прием изображения жизни и демонстрировать оригинальность личности художника.

Реальная, выпуклая и объемная картина, которую дает Островский в «Лесе», социальная и психологическая правда пьесы, «незаметный рельеф», превращающий изображение в подлинную жизнь и составляющий силу и чудо искусства Островского, пропадали в трактовке Мейерхольда. Пьеса Островского как бы распалась под его руками, становилась поводом для демонстрации блестящих и остроумных приемов внешней выразительности.

СНОВА О НЕСЧАСТЛИВЦЕВЕ

Представьте себе этого старомодного трагика. В своей широкополой шляпе, эффектно сдвинутой набок, парусиновом пальто, накинутом, как романтический плащ, с суковатой палкой в руке и чемоданом за плечами, в котором хранится костюм Гамлета, он выглядит чрезвычайно забавно в век кибернетики и космических полетов, героев неореализма и эстетики экзистенциализма.

Неореализм — это самое значительное явление, выдвинутое искусством западных стран в послевоенный период. Многие наши читатели и зрители находятся под его обаянием.

Поэтому интересно поставить рядом персонажей этого искусства и нашего старомодного трагика.

Сразу сделаем оговорку. Неореализм — явление сложное, и мы коснемся здесь только одного вопроса.

Эстетика неореализма направлена против «ложной красоты», фальшивого эстетизма и культа исключительного героя. Неореализм стремится к изображению обыкновенных людей, прозаической и обычной жизни. В этом заключена прогрес-

сивная тенденция демократизации искусства. Но в своем стремлении к правде художники этого типа переходят порой необходимую грань, подходят к натурализму.

Стремясь преодолеть условность искусства, художники неореализма избирают в качестве героев людей, нарочито лишенных всего исключительного. В основе их искусства — обнажение обыденной и безыскусственной стихии повседневного существования.

Искусство неореализма — трезвое искусство. И эта трезвость нужна людям. Но при всем демократизме этой позиции в ней заключена известная односторонность.

Вернемся к «Лесу» и к Несчастливцеву. Он беспредельно предан искусству. Почему же он так горячо любит его? Потому что искусство проповедует благородные идеалы и противопоставляет низменной и пошлой, своекорыстной и грязной жизни образ прекрасного человека, его высокие чувства и благородные стремления. «Ты выйдешь на сцену королевой и сойдешь со сцены королевой», — говорит Несчастливцев Аксюше.

Именно поэтому искусство требует пластики движения, красоты голоса, высокой патетики и прямого героического пафоса. Гуманистический идеал, идеал прекрасного человека получил в условиях той действительности романтическое выражение.

Основатели Художественного театра Станиславский и Немирович-Данченко выдвинули в свое время другой тип искусства. В нем большие человеческие чувства передаются просто, как в жизни, порой передаются косвенно, скрываясь за обыденными поступками и банальными речами. Искусство Художественного театра было огромным завоеванием, новой ступенью в развитии реализма.

По этому пути пошло самое влиятельное реалистическое направление театрального искусства XX века и в нашей стране и на Западе. Однако в Западной Европе оно в ряде случаев приобрело иной оттенок. В Италии переплелось с национальным течением натурализма, так называемым «веризмом», в других странах также в существенных моментах уклонилось от большого гуманизма и большой поэзии Художественного театра. Человек в этом западноевропейском искусстве часто изображен прозаически, а его положительные возможности сво-

дятся к проявлению гуманности в неофициальной сфере — в любви, дружбе, повседневных отношениях. Искусство это чуждается пафоса, приподнятых, поэтических, патетических речей, считает их чем-то фальшивым и нежизненным.

Но ведь и в жизни человек не всегда выражает свои чувства прозаическим косвенным путем. В дни великих революционных потрясений, напряженной борьбы, в столкновении воли и стремлений люди говорят красочно, страстно, патетически. Героически-взволнованная речь существует в жизни, она имеет право и на существование на сцене. В этом оправдание эстетики высокого искусства, отзвуки которой мы слышим в речах Несчастливцева.

Конечно, во всех монологах Несчастливцева, во всех порывах его романтизма много идеалистического, бесплотного, «шиллеровского», но есть и нечто имеющее жизненно важное значение.

Прежде всего — отношение к искусству, отношение жертвенное и благоговейное. Речь идет не только о том, что Несчастливцев — художник, который не променяет искусство ни на какую «чечевичную похлебку» хорошей жизни. В противопоставлении художника, преданного своему искусству, людям своекорыстным и привилегированным заключена мысль общечеловеческого значения. В этом противопоставлении отразилось столкновение бескорыстной творческой энергии и мира ограниченности и себялюбия.

Речь идет и о зрителях. В театр можно ходить по-разному. Можно считать театр послеобеденным отдыхом и развлечением, видеть в нем возможность раскинуться на удобных местах и посмотреть нечто не очень глубокое, но довольно занимательное. Но есть и другое отношение к театру, отношение влюбленное, фанатическое, когда человек не может существовать без театра, когда он готов смотреть спектакль даже стоя, короче говоря, когда театр становится душевной потребностью.

О таком отношении к театру писал Берлинский: «Можете ли вы не любить театра больше всего на свете, кроме блага и истины?»

Нам нужны пьесы, ставящие сложные нравственные вопросы, пьесы большой философии и большой идеи. К ним относятся не только произведения, написанные в чеховском ключе, пьесы тонкой поэзии и углубленного психологизма, но и драмы высокого, патетического склада. Они дают силы и крылья артистам, они вселяют огонь и благородные порывы в нашу молодежь.

И нам кажется, что «Лес» не устарел. Не устарел глубокий реализм Островского, искусство создания объемной картины. Не устарела гуманная идея воспитательной роли искусства, искусства высокого, преобразующего жизнь, облагораживающего людей.

Вот те мысли, которые приходят в голову, когда перечитываешь старую пьесу.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Л. Лазарев. Пути, которые мы выбираем.— **И. Питляр.** Война вошла в твой дом.— **О. Костылев.** Удручающий символ.— **В. Березина.** Об изучении наследия Белинского.— **М. Злобина.** Свидетельство обвинения.

ПОЛИТИКА И НАУКА

С. Марлинский, Я. Штернштейн, кандидаты исторических наук. История уральского гиганта.— **И. Иноземцев.** Портреты наших ученых.— **М. Восленский,** кандидат исторических наук. Суд народов.— **А. Иглицкий.** Жесткие цифры.

Литература и искусство

ПУТИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ

Ю х а н С м у у л. Ледовая книга. Антарктический путевой дневник. Перевод с эстонского **Л. Тоома.** Редактор **Н. Бузикошвили.** «Советский писатель». М. 1959. 299 стр.

Что говорить, нелегко в наш век тому, кто берется за писание путевых очерков. Если не подведет погода, за один день вы проделаете путь, на который Чехову понадобилось почти три месяца. С каким трудом он проехал «сибирский тракт — самую большую и, кажется, самую безобразную дорогу во всем свете», телега его не раз застревала в грязи, переворачивалась, он едва не утонул, переправляясь через Томь. Но зато он познакомился с «оригинальной, величавой и прекрасной» природой этого края настолько, что даже утверждал, что она «со временем будет служить неисчерпаемым золотым прииском для сибирских поэтов». Он восхищается «могучим, неистовым богатырем» Енисеем («в своей жизни я не видел реки великолепнее»), его поразили «сила и очарование тайги» — слова то какие необычные, нечеховские. Если нет облачности, с высоты восьми километров тоже увидишь Енисей — это длинная сверкающая лента — и тайгу, напоминающую темно-зеленый плюш.

Нет, гысячу раз прав Виктор Некрасов,

когда пишет: «Великолепная машина самолет, ничего не скажешь. Быстрая, удобная. В дальних полетах к тому же и кормят, причем бесплатно — это входит в стоимость билета. И все же по чужой стране куда интереснее ехать поездом. А может быть, даже и в дилижансе. Вышел, потоптался, поглазель, зашел в буфет — интересно, чем кормят... А тут за какой-нибудь час отмахал всю Западную Германию. И ничего не увидел. Внизу вата».

Вот и норовят — что поделаешь — в век реактивных скоростей путешествовать если не в дилижансе, то на велосипеде, в лодке или даже на плоту, наконец, самым старинным способом — пешком...

Юхану Смуулу явно повезло. Корабль, на котором он отправился в Ангарктиду, был далеко не первой молодости — на воду спущен в 1929 году. Когда на «Кооперации» один из дизелей «барахлил», скорость пять — семь узлов была для корабля предельной. Каравеллы Колумба делали по четырнадцать узлов, рекордсмены парусного флота — специальные суда, перевозившие чай,—

и все восемнадцать. Так что эстонский поэт мог себя в море чувствовать почти так же, как Владимир Солоухин, дедовским способом меривший владимирские проселки. Как доставалось бедной «Кооперации» от нетерпеливых участников экспедиции, как ее честили! Когда она появилась на экране во время демонстрации кинохроники, обозленные пассажиры освистали ее. Сколько язвительных замечаний о морском «тихоходе» отпускает автор «Ледовой книги»! Но он делает это зря: как много бы писатель потерял, если бы скорость «Кооперации» выросла втрое. Разве были бы так богаты и разнообразны его впечатления от океана, разве удалось бы ему пробыть почти полтора месяца в Антарктиде, разве сошелся бы он так близко с участниками экспедиции? Ведь он сам пишет: «Море связывает людей — хотят они того или нет — в десять раз крепче, чем земля, а полярная жизнь, особенно на маленьких станциях, связывает их еще крепче, чем море».

Принято думать, что писать путевой очерк проще простого. Записывай более или менее подробно то, что увидишь и услышишь, и дело с концом. Немало появляется очерков, сочиненных по этому нехитрому рецепту. Они очень напоминают путеводители (ведь пишутся, как правило, со слов гидов), с той только разницей, что им недостает точности и знания предмета, обязательных для путеводителя. На самом деле путевой очерк — один из самых трудных жанров. Ведь географический маршрут поездки автора здесь только внешне служит сюжетом. Подлинная основа произведения — развивающаяся авторская мысль, путь, которым писатель ведет читателя к какому-либо обобщению. Маршрут же путешествия необходимо «свместить» с этой мыслью. Вот почему путь, которым двигалась «Кооперация», — в дневниках Смуула это путь постижения весьма существенных черт советского характера и нашей современности, углубленного анализа природы, романтического и героического в наши дни, размышлений о писательском труде. Не только богатство познавательного материала, а интеллектуальный уровень, если можно так выразиться, определили успех дневников Смуула. М. Кузнецов в статье «О путях развития современного романа» совершенно справедливо писал, что в «Ледовой книге» «присутствует один характер, необычный, привлекательный, очень и очень современный. Этот харак-

тер — страстный, партийный, влюбленный в нашу советскую действительность — сам автор».

«Ледовая книга» голько по жанру относится к журналистике, все остальное в ней безусловно от художественной литературы. Впрочем, резкой границы между писательством и журналистикой не существует, журналистика высокого класса всегда художественна. Можно было бы указать на различия, но сейчас хочется подчеркнуть общее: роль личности автора. Ведь, быть может, даже с большим, чем обычно, интересом мы берем в руки книгу, в которой рассказывается о людях, событиях или местах, нам хорошо известных, — мы хотим сопоставить собственные впечатления с рассказом человека, чье зрение острее, пронзительнее, чем наше, чей духовный опыт богаче и разностороннее. И сила дневников Смуула не просто в писательской живописи, в мастерском владении словом, а в том, что автор все время заставляет читателя вместе с ним идти от впечатления к осмыслению, что он вводит его в духовную лабораторию. Творческая лаборатория писателя интересует далеко не всех: у широкого читателя, специально не занимающегося литературой, она в лучшем случае способна вызвать любопытство. Другое дело духовная лаборатория — это рассказ не о том, как создаются романы или делаются стихи, а об уроках жизни, и здесь каждый отыщет для себя поучительное. Именно в этой сфере находится и то в высшей степени содержательное определение характера писательского дарования, которое дает Смуул. Мы приводим его — хотя об этом уже писал М. Кузнецов в своей статье о романе, — потому что оно служит ключом к «Ледовой книге», открывает глубинный смысл многих ее эпизодов.

Есть такой медицинский термин, рассказывает Смуул, — болевой порог. «Он служит для обозначения восприимчивости людей к боли. Чем выше наш болевой порог — тем менее мы восприимчивы к боли, чем ниже — тем более восприимчивы...

Я считаю, что у писателя может быть тысяча всевозможных недостатков и это еще не помешает ему быть писателем. Но если ему недостает таланта и если у него высокий болевой порог, то дела его безнадежны...

У нас, писателей, болевой порог должен быть невысоким по отношению ко всему

вокруг, что болит и вызывает боль. Хорошо, если людские горести мучают нас, прорываются к нам беспрепятственно, становятся частью нас самих, скребут по нашим сердцам. Тогда мы, правда, скорее изнашиваемся, раньше седеем, тогда в нашей жизни нет подлинного покоя, но жить иначе нет смысла. В конце концов та ноша, которую взваливают на себя люди с низким болевым порогом, которая и наш крест и наше богатство, эта ноша, в силу своей серьезности, жизненности, сложности, а порой и неразрешимости, никогда не позволяет опускаться до приторной жалостливости, до слезливого сочувствия, вызывающего подозрение, что писатель рассчитывает получить лавры (и порой не напрасно) не за то, что он разобрался в причинах явления, а за то, что он пережевывал его следствия, высосав из них все сентиментальные соки и поднеся их в переработанном виде читателю».

Это презрение к сентиментальности — рождена ли она нарочито безудержным восторгом или растравляемой жалостью — определяет отношение писателя к людям. Он не утаит, что среди участников экспедиции попадают и такие, которых привела сюда страсть к длинному рублю, «патриотизм персонального оклада», они «подсчитывают свои суточные и удивляются тому, что они в силу жестокости жизни должны были ехать за ними в Мирный, хотя почтальон мог бы принести им те же несколько тысяч прямо в постель». А когда писатель рассказывает о людях, что сродни старому полярному летчику Каминскому, который «является одним из самых чистых, самых деятельных героев, не боящихся риска» и при этом «его жизнь, прошлая и настоящая, кажется ему такой же естественной, как хлеб на столе, как воздух вокруг него и под его крыльями», — и тогда Смуул меньше всего склонен умиляться. «Если бы на «Кооперации» плыли ангелы и боги, мне бы не было никакого смысла торчать здесь, несмотря на такое синее море и такое теплое солнце». Герои «Ледовой книги» не одержимые чудачки, не ангелы без плоти и страстей, а обыкновенные люди, которые тоскуют по женам и детям, устают и раздражаются, не прочь выпить и позубоскалить, — в конце концов, как пишет Смуул, «где бы мы ни находились, куда бы ни плыли, всюду человек возит за собой основные свойства своего характера». Но «основные свойства», самое главное в характере героев Смуула, —

это самозабвенная увлеченность своим делом, благородная одержимость, готовность, когда требует долг, к любым трудностям и испытаниям. А в тех обстоятельствах, в которых эти люди оказались, эти свойства и проявлялись лучше, чище, и крепи, мужали.

Разве можно забыть, как участники экспедиции сгружали ящик с автоматической станцией! Он весил свыше двух тонн, и его нельзя было наклонять больше чем на 15 градусов. Молодой ученый Коломиец, который должен был стать «хозяйном» станции и поэтому руководил разгрузкой, забыв от волнения о крепком морозе, не застегнул тулупа и не надел рукавиц: он ругался и упрасивал, настаивал и льстил. Когда все обошлось благополучно, «Коломиец крепко пожал всем руку, что вообще не принято в Ангарктике, но в данном случае было вполне уместно. Такое рукопожатие долго помнишь, оно долго будет согревать твою душу». Этот весьма характерный эпизод Смуул заключает следующей фразой: «Как эту машину погрузят на самолет и доставят на Восток, ни разу не накрыв ее больше чем на 15 градусов, остается для меня совершенно непонятным, — ну, да уж Коломиец позаботится».

Вот четверо ребят с Комсомольской, где условия жизни невыносимы — постоянное кислородное голодание, мороз, достигающий по временам восьмидесяти градусов, одиночество. Но эти парни относятся к антарктической пустыне так, словно это обычное рабочее место, они не подавлены, не ожесточены, не утратили интереса к жизни — здесь горячо спорят о технике и литературе, ценят юмор и искренне горюют над судьбой итальянской девушки Анны Заккео. Именно здесь писателю пришлось услышать, что «антарктическая тема — хорошая и веселая тема». Когда Смуул рассказал о зимовщиках с Комсомольской австралийскому писателю Ламберсу, тот посоветовал ему: «...Напишите книгу о том, как четверо людей остаются одни среди вечных льдов, как им приходится зимовать, как постепенно в их душе зарождается тяжелая злоба и взаимная ненависть, как они превращают собственную жизнь в ад». А Смуул решил об одном из героев Комсомольской «написать новеллу «Бравый солдат Швейк в Антарктике», придав Швейку черты Сорокина, его теплогу, его добродушную хитрецу, его внутреннюю силу». Нет, здесь не разница индивидуального художнического

видения, а различное восприятие основных свойств человеческого характера, рожденное противоположностью социальных систем.

Смуулу претит «дистиллированная», чистенькая, гладко отутюженная романтика. «Без малейшего намека на святость» рисует он своих героев. Этот принцип проникает глубоко в художественную ткань повествования. Он скажет: «Настроение торжественное...» И не забудет прибавить: «...но в то же время и деловое». Он напишет: «На чистом морозном воздухе звучно раздаются приветствия...» И не скроет: «...сопровождаемые порой крепким словом...» И может быть, наиболее полно его представление о романтике подлинной и показной выражено в таком эпизоде:

«Один радист рассказал мне следующую историю. Принимая участие в какой-то геологической экспедиции, он со своим передатчиком однажды остался один-одинешенек в сибирской тайге, в четырехстах километрах от ближайшего селения. В передатчике что-то портится, и он перестает работать. Радист кладет в рюкзак еду, надевает лыжи и отправляется за четыреста километров чинить отказавшую деталь. Он прошел по снегу через тайгу, отморозил себе пальцы и нос, провалился по дороге в реку и был на волосок от того, чтоб утонуть или замерзнуть. Наконец он прибыл на место и отдал деталь в починку.

— И, знаешь, там у ребят был спирт... И горячая печка. Уж и доволен же я был!

— Отдохнул как следует?

— Отдохнул, как же! Там оказался один корреспондент из областной газеты. Ну и взялся же он за меня! Кто я, да что я, да откуда. И очень крепко его занимало, что я чувствовал, когда под лед провалился. Говорю: «Холодно было». А он мне: «Нет, я не о том!» Я и говорю: «Зверски было холодно». А уж после, как я прочел его статью, так сразу понял, чего он от меня хотел. Таким героем меня расписал, что только держись. А про то, как я под лед провалился, так у него красиво вышло, хоть плачь. А меня тогда больше всего зло взяло, что табак намок.

— А дальше?

— Дальше? Смотрел на меня этот газетчик, словно на икону. Самолета не было, вот он и застрял. Всю музыку мне испортил. Сам понимаешь, спирт есть, печка топится, ребята свои. А гут пей ночью втихую, прячься от этого журналиста. Днем спишь

на печке и трясешься — а вдруг он назад вернется. Всю музыку мне испортил.

— А дальше?

— Дальше? Ну, починили мне деталь, и пошел я обратно.

И здесь следует сказать еще об одной характерной черте «Ледовой книги», поступающей в этом эпизоде. Даже интересная беседа с умным человеком может быстро наскучить, если он постоянно серьезен, ни на минуту не забывает о собственном достоинстве, шутку считает неуместной. Смуул собеседник другого рода — легкий, веселый, остроумный. Он не боится с юмором говорить о предметах значительных и заслуживающих самой высокой меры уважения, и этот тон никогда не корбит, потому что автор неизменно ироничен и по отношению к собственной персоне. Он весьма невзыскского мнения о собственном трудолюбии и настойчивости, еще более скептически судит он о себе, когда ему приходится браться за элементарные хозяйственные дела, — он явно не выдерживает единоборства с утюгом и киноаппаратом «Киев». Такой человек не станет читать окружающим благонаправных и посто-унылых проповедей. В общем, юмор — это тоже выражение низкого болевого порога художника, его чувствительности к жизни во всех ее проявлениях, его жизнеутверждающей силы.

Есть в дневниках Смуула один герой, о котором вспоминают редко, а он, в сущности, одно из главных действующих лиц произведения. В «Ледовой книге» он занимает такое же большое место, как искусство в «Поездке в Брюссель» Б. Агапова и «Первом знакомстве» В. Некрасова, средне-русская природа в «Капле росы» В. Солоухина, научный подвиг в очерках А. Аграновского. Герой этот — море. Давно уже не приходилось читать столь проникновенных и поэтических страниц о море, «броня стертого поэтического словаря» разбита автором, и мы тоже оказываемся в стихии удивительных красок, могучего рокота, острого соленого ветра. Так пишет о море Паустовский. Только море в его книгах более праздничное, более дружелюбное. Смуул вырос среди рыбаков, которым море — кормилец, а нередко и коварный враг, в его картинах больше суровости.

Нравственная атмосфера наших дней, облик героя, покоряющего сегодня пространство и время, ярко запечатлены в «Ледовой

книге». Но есть одна важная грань современности, которая не находит должного отражения в дневниках Смуула. Часто говорят, что писателя не следует упрекать за то, чего нет в его книге. Это не всегда верно. Иной раз художник упускает материал, который, как говорится, сам шел ему в руки. И тогда не грех поговорить о том, что не вошло в произведение. Тем более, что в данном случае речь идет о недостатке, который ощущает сам автор и который дает себя знать не только в его книге: «Сегодня я побывал в домах геофизиков, где Гончаров и Сафронов старались терпеливо и как можно проще и понятнее объяснить мне устройство приборов, предназначенных для исследования космического излучения, определения земного магнетизма, сейсмических измерений и т. д. Ушел от них с ощущением того, что я темный человек, который еще может разобрать цифры на шкале, но смысла этих цифр постичь не в силах. После этого полчаса просидел у собак. Ибо сколь ни поэтична твоя душа, в каких бы высоких слоях атмосферы ни парили твои чувства, но без технического образования и без подлинного понимания техники в Антарктике ты будешь годен только на то, чтоб таскать сани».

Наука и техника становятся воздухом времени. Романтика географических первооткрытий доживает свой век, ей на смену идет романтика научного исследования, умной и покорной человеку техники, которой вооружаются многие и многие профессии. Очень часто эта романтика лишена каких-либо особых внешних аксессуаров, она выражается в необычайном упорстве, сосредоточенности, мужестве и смелости мысли. Мы, к сожалению, часто и довольно рьяно включаемся в эффектные, но по сути бесплодные споры типа: наука или искусство

(даже Смуул отдает дань этому противопоставлению, соглашаясь со своим соседом, утверждающим, что сейчас только в науке есть настоящая поэзия, а Альберт Эйнштейн — величайший поэт двадцатого столетия), но как непростительно мало размышляем мы о действительно насущной проблеме — искусство о науке. Насущной, потому что, не решая ее, мы упускаем из поля зрения какие-то истинно современные черты героя наших дней. Мы говорим не об очерках, посвященных открытиям и изобретениям, людям науки и создателям диковинных машин. Пусть их немного, но у нас есть писатели, талантливые работающие в этой области, — Б. Агапоз, Д. Данин, А. Шаров и другие. Беспокойство вызывает иное: отражение тех научных интересов, которые стали духовной повседневностью для миллионов людей. Ведь о покорении космоса, об атомной энергии и кибернетике люди говорят и спорят во всяком случае не реже, чем о футбольных и шахматных матчах. Но все это уже не имеет непосредственного отношения к «Ледовой книге», разговор о которой хотелось бы кончить совсем другой мыслью.

«Айсберги любой формы и любой величины — тут и плоскости и возвышенности, тут и башни, и горы, и купола... — описывает Смуул прощание с Антарктидой. — Весь день я разглядываю их, как разглядывают добрых знакомых, прежде чем расстаться с ними навсегда. Хочу навеки запомнить их яркую холодную чистоту, их мощь, их белоснежные головы. Чтобы с годами все это превратилось в строки и строфы». Нет, уже в «Ледовой книге» многое из увиденного Юханом Смуулом «отстоялось словом», превратилось в настоящую литературу.

Л. ЛАЗАРЕВ.

★

ВОЙНА ВОШЛА В ТВОЙ ДОМ

Александр Адамович. Война под крышами. Роман.

«Дружба народов», №№ 8 и 9, 1960.

Александр Адамович. Война под крышами. Роман. Редактор В. Никифорович. Госиздат БССР. Минск. 1960. 288 стр.

«...Кэнчится война, живые останутся жить. И будут говорить и писать о мере пережитого и сделанного, что-то осудят, что-то назовут героизмом. А по-моему, самое тяжелое в теперешней войне вот это: мать и дети.. Даже солдату на фронте лег-

че, чем им. Каково было бы тому же солдату, если бы ему в окоп посадили еще его детишек! Мина, падающая в окоп, падает и на них, ползут танки, а снизу на солдата смотрят дочуркины глазенки. Я бы боялся смотреть на этого солдата. А сколько хат

в немецком тылу — такие же страшные окопы! И в них не мужчина, в них мать и ее дети...» Так говорит накануне своей гибели партизан Виктор Петреня, один из героев романа Александра Адамовича «Война под крышами».

В послевоенной белорусской литературе партизанская тема стала одной из ведущих. Недаром Белоруссия в годы войны была сплошным партизанским краем.

Но в отличие от своих предшественников, молодой белорусский писатель Александр Адамович («Война под крышами» — его первый роман, до этого он был известен только как литературный критик) сумел найти внутри этой необъятной темы свой «участок фронта», свою, еще не тронутую пером художника область изображения, — слова Виктора Петрени, которыми мы начали рецензию, очень точно ее определяют.

Автор не показывает нам в своем романе жизни лесных партизан, объединенных в отряды. Мы, читатели романа, знаем и чувствуем, что лесные партизаны здесь, рядом, что с ними все время поддерживается связь. Самый же роман о другом, о той незатаившей и упорной, бесконечно опасной и тяжелой войне с врагом, которая ведется под крышами домов небольшого белорусского поселка Лесная Селиба. И еще не известно, кому было труднее в ту пору — тем ли, кто жил в лесу, или тем, кто оставался под своей крышей с детьми под боком.

Герой романа — подросток Толя Корзун. В его образе угадываются автобиографические черты, ибо Александр Адамович шестнадцатилетним юношей ушел в партизанский отряд, сам испытал многое из того, что теперь стало предметом его повествования. Роман написан не от первого лица, но в то же время многое в нем дано «через Толю», увидено глазами Толи, проведено через его воображение.

Эта особенность романа — то, что он написан не «от лица Толи», а как бы «от имени Толи», — уже была замечена критикой. Выводы, впрочем, из этого обстоятельства были сделаны довольно разноречивые. Так, Т. Трифонова в своей во многом справедливой статье «Человек и подвиг» («Литературная газета» от 29 декабря 1960 года) сочла нужным, однако, обратиться к А. Адамовичу со следующим упреком: «Думается, что в некоторых случаях писатель напрасно ограничивает себя кругозором Толи — милого, хорошего мальчика, но все-

таки мальчика. Такое ограничение не вызвано избранной формой повествования: оно ведется не от лица героя и предоставляет писателю возможность более свободного проникновения в психологию каждого персонажа. Этой возможностью он, к сожалению, не всегда пользуется».

Иное и, думается, более верное мнение по этому поводу высказал белорусский критик Д. Бугаев в своей обстоятельной и интересной статье о романе Адамовича. «Принципиально важное значение для романа «Война под крышами», — пишет он, — имеет образ Толи. Он дает возможность автору очень свежо, непосредственно, как бы изнутри показать события войны. Именно глазами Толи глядит Александр Адамович на многое из того, что изображено в книге. Однако Толя — это не просто своеобразная призма, через которую писатель улавливает свет. Это и не персонифицированный автор под другим именем. Толя — один из героев романа, конкретный участник войны, с которым рассказчик не сливается полностью даже тогда, когда через его восприятие подает тот или иной эпизод. Это позволяет писателю «объективизировать» Толино видение событий, показать его неполноту, наивность и известную упрощенность. Автор все время как бы «корректирует», уточняет и дополняет то, что однобоко и узко воспринимается горячим, великодушным и очень непосредственным, но во многом по-детски наивным подростком. По этому в романе ощутимо проявляется заметная ироничность по отношению к Толе, к его наивной горячности и прямолинейности в оценке людей и явлений». («Литература и мастацтва» от 3 января 1961 года.)

Это наблюдение во многом помогает понять своеобразную структуру романа, в котором все изображаемое «просматривается» как бы двойным зрением: глазами подростка Толи, рядом с которым, однако, все время стоит «повзрослевший Толя» — автор, который, отойдя от пережитого на известное расстояние, сейчас может многое понять гораздо глубже и серьезней, чем это было доступно восторженному и наивному подростку. И ко многому этот повзрослевший Толя склонен сейчас отнестись слегка юмористически — с тем теплым и сердечным юмором, с которым смотрит взрослый человек на неопытную юность. Отсюда в романе его ненавязчивые и сердечные иронические ноты.

Толя — поэт. И хотя стихи его, которые он тщательно прячет от окружающих, пока не слишком хороши, но истинно поэтическая Толина сущность сквозит во всем и прежде всего в его способности поэтически окрашивать все, с чем он соприкасается. Именно с этим Толиным свойством связана непосредственность, поэтичность романа.

«В лесу хорошо,— читаем мы в одной из первых глав романа.— Особенно любит Толя, когда набегают короткий и щедрый августовский дождь. Вздрогнут вдруг вершины, точно они первые увидели что-то вдаль. Старые ели сразу нахмурятся, как-то приспустят тяжелые лапы... Под смирной, домовитой елью... так сухо, что повернешься — обязательно сучок треснет. По иглам скатываются тяжелые светлые капли и оставляют за собой прозрачный гребешок. Проведешь по холодной цепочке капелек губами — горьковатый вкус хвои.

Но вот дождевые потоки начинают пробивать хвойный шалаш. Натягиваешь на голову немецкую накидку. По бумаге звучно ударило. Раз и еще раз. Снизу сквозь прощущенную бумагу видишь, как упруго отскакивают от нее водяные шарики, оставляя значки. Капель все больше, ты уже начинаешь звучать, как барабан. Просто невозможно не выскочить на открытое место. На тебя льет, ты уже целый оркестр. Что-то заставляет человека горланить, подбрасывать ноги как можно выше... В таком лесу и про немцев забудешь».

Так увидеть лес под дождем мог, конечно, только подросток Толя. Несмотря на напряженность и суровость описываемых в романе Адамовича событий, весь он пронизан той радостью бытия, которую ничто не в силах пересилить, которая, напротив, сама способна пересилить мрак окружающего и действительно побеждает его. Жизнь не замерла. Люди не покорились, не изверились. Здесь, под крышами, тоже идет борьба с врагом. И потому можно жить, можно дышать, добиваться желаемого, работать на победу.

Писатель посвятил свой роман «матерям-партизанкам». Образ Толиной матери, бесспорно, лучший в романе. На нем, как и на других образах романа, также скрестилось «двойное зрение» писателя. Для Толи и в глазах Толи мать — самая умная, самая прекрасная женщина на свете. Ее решения и поступки всегда единственно нужные и верные, она все знает, все умеет, может

преодолеть любое препятствие. (Если и есть у нее, с точки зрения ее сына, единственная слабость, это только то, что она до сих пор считает Толю маленьким, до сих пор дрожит над ним, как над ребенком.) Отсюда в романе тот поэтический ореол, та атмосфера любви и восхищения, которые окружают этот образ. Но «повзрослевший Толя», тот, кто сейчас пишет этот роман, видит в матери и многое другое, видит сложность ее характера, видит ее колебания и сомнения, видит ту борьбу, которая идет в ее душе. Отсюда то стремление к глубокому психологическому постижению образа, которое, конечно же, недоступно «Толе-маленькому», но которое есть у автора романа.

Анна Михайловна Корзун — жена врача — не сумела вывезти на восток свою большую семью: немцы ворвались в Лесную Селибу слишком внезапно. И вот на руках у женщины оказываются два сына, племянница, старые дед и бабка. Казалось бы, все силы матери должны быть направлены на то, чтобы как-то накормить, обогреть и защитить от постоянной опасности этих беззащитных, самых дорогих ей людей. И действительно, в первые дни и месяцы войны заботы о семье поглощают все помыслы женщины. Но вот проходит первое оцепенение, и появляется мысль о других, о том, чем она, Анна Михайловна, может помочь общему делу. «Докторка» — так называют ее в поселке — добивается открытия аптеки и лечебного пункта и начинает, прикрываясь этой деятельностью, подкармливать военнопленных, которых еженедельно вводят к ней на прием (продукты сюда тайком сносят жители поселка). Дальше — больше. Устанавливается постоянная связь с партизанами, аптека становится явочной квартирой; отсюда в лес идут медикаменты, которые Анна Михайловна выменивает и покупает у немцев. Сначала она все делает сама. Любой риск, любую опасность она готова вынести, только бы не впутывать в дело детей, только бы с ними ничего не случилось. Но постепенно деятельность Анны Михайловны приобретает такой размах, что ей одной не справиться. И вот уже и дети — сначала, как водится, старший, Алексей, а потом и Толя — посвящаются в тайну материнских дел, начинают понемногу помогать ей...

Но разве может Толя понять, какая страшная борьба идет в душе его матери —

борьба между огромной любовью к ним, к детям, и необходимостью жертвовать этой любовью ради того общего дела, которое она сама себе избрала. Но рассказчик (тот, что все время идет рядом с Толей) раскрывает нам душу своей героини, смену решимости и отчаяния, смелости и страха в этой светлой и страдающей душе.

Психологически точно и убедительно раскрыт и другой сложный образ романа — образ соседа Корзунов, Казика Жигоцкого. Поначалу мы смотрим на Казика глазами Толи, и он представляется нам вроде бы и неплохим парнем. Правда, он любит порисоваться, любит цветистую, громкую фразу... Но ведь он «наш», конечно же, «наш». А потом мы вместе с Толей постепенно начинаем понимать, что Казик трус и что он смертельно завидует тем, кто почему-то не трусит, не теряет бодрости, надежды. А отсюда уже один шаг до предательства. И Казик совершает его. Но и предав Корзунов (хорошо, что и в полиции были свои люди, сумели предупредить, ослабить удар), он продолжает ежедневно ходить к ним. А ведь Казика известно, что Корзуны знают о его предательстве... Все сплелось в этой мелкой и подлой душе: зависть, мстительность, страх перед немцами, страх перед будущим, желание как-то оправдать свою трусость.

С горечью и недоумением размышляет Анна Михайловна о Жигоцком (и здесь, конечно, мы уже не слышим «Толиных» интонаций):

«Тут был человек, который как будто бы все понимает и чувствует так же, как ты, твоими словами говорит о фронте, о немцах и который тем не менее опасен, подобно собственной ноге, налитой гангренозным ядом. Этот человек не просто предает. Он еще старается остаться более правым, чем тот, кого он предает. Он давно приготовился к тому, чтобы снова начать жить «почеловечески», когда немцы будут изгнаны. Вот только переждать войну. Свою готовность опять войти в ту жизнь, ради которой другие идут на смерть, он считает заслугой, поднимающей его над многими. Как же, он ни на миг не усомнился, что немцев разобьют, никакой ставки на немцев никогда не делал! Любой ценой, но война надо пережить. Потом все встанет на свои места. Вернутся и довоенные оценки всему и каждому...»

Нет, казика жестоко ошибались! Не вернулись «довоенные оценки всему и каждому». Война явилась проверкой истинной ценности человека — стойкости его принципов, глубины его убеждений. Человеку, который мечтал только о том, чтобы «любой ценой» пережить, переждать войну, нечего ждать от будущего. Войну нельзя «переждать», на войне надо воевать с врагом. где бы ты ни был — на фронте или под собственной крышей. Таков тот нравственный итог, который несет в себе образ Казика Жигоцкого, образ человека, переставшего быть человеком.

Можно было бы назвать и другие удачные писателя, например, образы Виктора и Павла — мужественных борцов-подпольщиков, каждый из которых обладает своим оригинальным характером.

Ну а недостатки? Недостатки (или, как выразительно говорят белорусы, «недохопы») в романе, конечно, есть. Укажем, к примеру, на то, что не всегда удаются писателю массовые сцены. Они какие-то нечеткие, смазанные: не поймешь порой, кому какая реплика принадлежит (сцены на строительстве дороги и некоторые другие). Ощущается в романе и некая «мозаичность», излишняя «дробность» зарисовок, каждая из которых по-своему, может быть, и неплоха, а все вместе не всегда складывается в цельную картину. Иногда — особенно в первой части романа — действие развивается несколько замедленно. Авторская манера письма кажется порой чересчур подробной, слишком перегруженной деталями, немного «старомодной», что ли...

Все это, впрочем, болезни, которые излечиваются временем, работой, опытом. Важно только, чтобы вместе с ними не исчезло то, что сейчас привлекает в первом романе писателя: молодая яркость наблюдений, светлое мироощущение. В романе А. Адамовича проявились многие плодотворные черты, характерные для современной военной прозы: ее непоказной героизм, отсутствие какой бы то ни было «парадности», пристальное внимание к душевному миру простого человека, безбоязненное обращение к сложным жизненным явлениям и сложным душевным движениям — все то, что позволило молодому писателю правдиво нарисовать картину народного сопротивления врагу.

И. ПИТЛЯР.

УДРУЧАЮЩИЙ СИМВОЛ

Горький в школе. Сборник статей под общей редакцией проф. В. В. Голубкова. Издательство Академии педагогических наук РСФСР. М. 1960. 592 стр.

«Горький в школе»... От книги с таким названием ждешь многого, ибо она — уже по замыслу — из тех, что перерастают «учпедгизовскую» площадку. Такие книги, естественно, вызывают интерес широкой общественности.

Попытаемся разобраться, в какой мере сборник помогает воспитывать вкус к литературе, насколько он обогащает учителя, расширяет его кругозор.

Книга распадается на два разновеликих во всех отношениях раздела: теоретический и методический. В первом слово предоставлено таким известным исследователям Горького, как Б. Бялик, Б. Михайловский, Е. Тагер, Б. Бурсов, С. Касторский, Е. Наумов, Н. Пиксанов, Л. Плоткин. Работы этих и других горьковедов, как правило, представляют собой дополненные варианты ранее публиковавшихся статей либо фрагменты из монографий; лишь немногие из них написаны специально для сборника. Отмечаем это без укора; напротив, составители со вкусом отобрали из обширной литературы о Горьком ценные исследования, тематически связанные с новой школьной программой по литературе.

Разумеется, не все восемнадцать вошедших сюда статей безупречны; в ряде случаев с историками литературы возможна и желательна полемика. Например, несостоятельной кажется попытка А. Волкова в статье «М. Горький и писатели-современники» отождествить мировоззрение Чехова и Горького. Утверждение, будто «Чехов, так же как и Горький, высоко ценил традиции революционно-демократической литературы» (разрядка здесь и далее моя.— О. К.), слишком категорично.

Неисторичен, по-моему, взгляд Б. Неймана на предшественников Горького, обращавшихся к теме «дна». Критик называет имена Помяловского, Решетникова, Левитова, Каронина (уместно было вспомнить Короленко, Мамина-Сибиряка, Чехова, Ясинского) и заявляет, будто все они «подчеркивали, что условия тягостной жизни вытравивали у людей, брошенных на «дно», какие-либо положительные качества». Это далеко от истины. Достаточно привести строки из очерка Каронина «В лесу»: «Нельзя вытравить из челове-

ческого сердца чувство свободы... У русского человека подавленное чувство проявилось в форме неутолимой жажды передвигаться по бесконечным русским расстояниям; это можно наблюдать на переселенцах, отыскивающих приволье, но в особенности на бродягах». Эти очень «по-горьковски» звучащие слова противостоят концепции Б. Неймана. Впрочем, это не только слова, а и программное положение, реализацию которого нетрудно найти в творчестве ряда демократических писателей 60-х—90-х годов.

Можно указать на отдельные неточности в формулировках, можно спорить с некоторыми авторами по существу. Но, повторяем, за исключением высказанных возражений, это были бы разногласия по вопросам заведомо спорным, допускающим двоякое истолкование, иные касались бы деталей, частности. К тому же, если, скажем, А. Волков «забывает» в числе первых литературных наставников Горького назвать Каронина, то этот пробел восполняется в хорошей статье З. Удоновой, а указанный изъян концепции Б. Неймана компенсируется обилием красноречивых фактов, приводимых Н. Пиксановым.

Взаимодополняющие (но не повторяющие друг друга) исследования образуют вместе то, что принято называть настольной книгой учителя.

На этом можно было бы поставить точку, но...

В книге есть второй раздел — методический — девять статей, занимающих примерно пятую часть книги. Этот раздел производит впечатление, скажем откровенно, обескураживающее. Из сферы серьезных раздумий и широких обобщений читатель переносится на иссохшую почву докучливого эмпиризма.

Статья В. Голубкова «Первые встречи школьников с М. Горьким» построена так, словно не пятиклассникам, а преподавателям предстоит впервые встретиться с творчеством писателя.

В ней встречаются, например, заявления такого рода: «Есть немало преподавателей, которые, надеясь на свои, обычно смутные воспоминания об этих повестях (речь идет о «Детстве» и «В людях»). — О. К.), прочитан-

ных когда-то раньше, перечитывают при подготовке к урокам исключительно тот материал, который помещен в хрестоматии для V—VI классов, и только на нем строят весь анализ». Возможно, такие преподаватели и есть, но, во-первых, сомнительно, чтобы их было «немало», а во-вторых, почему это частное замечание обязаны читать все словесники? Далее, В. Голубков дает такие советы: преподаватель «должен рассказать о том, что Горький родился 90 лет тому назад, в 1868 году»; «если на первом уроке учащиеся не успеют ответить на все вопросы, то оставшиеся невыясненными вопросы разбираются на следующем занятии» и т. д. Быть может, иные из этих советов помогут студенту-практиканту либо учителю, готовящемуся впервые переступить порог класса. Однако позволительно спросить: при чем здесь Горький? Почему эти наставления надо было печатать непременно в горьковском сборнике?

Изучение литературы в школе ныне вызывает общую тревогу. Учителю, озабоченному падением престижа своего предмета, самокритично пересматривает методы работы, пылливо ищет новые, более совершенные формы преподавания. В решении этой насущной проблемы важная роль принадлежит методистам. Между тем в статьях рецензируемого сборника узакониваются дидактические средства, отвергнутые самой жизнью.

Обращает на себя внимание подгонка под анализируемые художественные образы их социологического эквивалента. Авторы настоятельно подчеркивают, что при изучении автобиографической трилогии Горького необходимо «рассказать ученикам об экономических причинах разорения мелких ремесленников в 70—80-х годах XIX в.», «сказать учащимся о 70-х годах XIX в., когда уже начался процесс уничтожения мелкого производства промышленностью и обреченные на неизбежное разорение мелкие собственники в борьбе за существование с безудержной жестокостью цеплялись за свою собственность». Эти «установки», извлеченные нами из статей разных авторов, проходят через весь второй раздел книги.

Именно в игнорировании специфики художественной литературы — коренной методологической изъясн работ. Выхолащивание поэтической сущности творений, подмена литературного анализа вульгарно-социоло-

гической догматикой — это ли не губительный путь? Где уж тут приходить школьников к чтению!

Упрощенная трактовка художественных образов, суженность понятий о типичном в искусстве влекут за собой прямолинейные, поверхностные, часто ошибочные заключения. Один автор видит в героях «Детства» фотокопию семьи Горького. Другой, говоря о персонажах пьесы «На дне», прикрепляет к ним такие этикетки: Клещ — «индивидуалист... всегда настроен пессимистически», «Сатин — скептик и индивидуалист», «Блинок Бубнову Барон». Перестановка «слагаемых» вряд ли поможет учащимся понять разницу между Сатиным и Клещом, Бароном и Бубновым, почувствовать их индивидуальную неповторимость.

Попытки подсказать учителю приемы художественного анализа в сборнике немногочисленны, но они тоже не радуют. Наставления эти построены по единому образцу: цитаты из Горького прославляются немудреными комментариями методистов. Быть может, в этом и есть какой-то резон: разительный контраст между прозой мастера и вялым, протокольным языком его комментаторов и впрямь весьма эффектно иллюстрирует величие Горького. Вот как, например, мотивируется жест бабушки, приготовившейся плясать («оправила юбку»): оказывается, она «оправила юбку, как бы желая, чтобы внутреннему взлету сил как можно больше соответствовал и ее внешний облик».

Скрупулезное препарирование художественной ткани произведений в ряде работ становится едва ли не самоцелью. Предлагая членить изучаемые тексты на части, разделы, подразделы, абзацы, методисты заведомо обескровливают произведение. Они отнимают у юных читателей право на эстетическое наслаждение и эмоции, какие способны вызвать голько целостное восприятие образа, текста. Н. Семенова предлагает, например, такое задание учащимся: «Выписать из речи Павла на суде: а) революционные термины; б) научные и экономические термины; в) развернутые в синтаксическом отношении предложения; г) ораторские приемы — параллелизмы». Кому нужна подобная работа? Что она даст школьникам взамен потраченного времени? Разложенные по полочкам слова героя утратят пламенность, дети не ощутят ни силы речи Павла, ни мастерства писателя.

Кому не памятна запечатленная в «Детстве» сцена спасения малыша, упавшего в колодец! Она разыгралась так стремительно, что сучок, с которого Алеша соскочил во двор, еще качался, сбрасывая желтый лист, когда мальчик был уже вытаснен. Хорошо, если внимание учеников будет обращено на эту чудесную деталь. Однако вместо этого В. Голубков предлагает учителю нечто вроде замедления кинокадра: он членит эпизод на пять(!) частей и к каждой ставит вопрос для школьников. Поэтическая картинка, увлекательная и электризирующая маленьких слушателей и читателей, перестраивается в арифметическую задачу из пяти вопросов.

В методических статьях заранее распланировано все: каждое слово учителя, «правильные» ответы учеников, даже вероятные вопросы детей. И учитель и учащиеся в этих «сценариях» изображены как существа косноязычные, мыслящие рубриками. Конечно же, тут и схема «исключительной одаренности» Алешы, и диаграмма «разносторонней талантливости бабушки», и рассеченные по главам и эпизодам обрезки эволюции героев повести «Мать». Серией таблиц, вопросов, предумотренных ответов методисты, вероятно не замечая того, подменяют подлинную радость общения с Горьким, живое дело преподавания литературы.

Тщательность, с какой составлены методические разработки, свидетельствует о добрых намерениях авторов, о стремлении их помочь учителю и ученику. Однако эти благие порывы не опираются на передовой опыт мастеров педагогического труда. Как это ни странно, ни в одной статье даже не поставлены остролюбодневные, неотделимые от реформы школы вопросы сближения

преподавания с жизнью, эстетического воспитания, развития инициативы учащихся. Ничего не говорится о формах самостоятельной работы детей, о необходимости поисков новых, прогрессивных методов преподавания, о воспитании культурного читателя. Напротив, словно сговорившись, методисты создают видимость полного благополучия в постановке обучения литературе, продолжают по старинке планировать скучные, неинтересные, заглушающие любовь к художественному слову уроки.

Уроки литературы, как известно, в большой мере способствуют развитию выразительной речи школьников, обостряют чуткость к живому слову. Поэтому речь учителя — своеобразный эталон для воспитанников; все формулировки, исходящие от него, должны быть лаконичны, прозрачны, четки и уж разумеется безупречны с точки зрения грамматики. Как же скомпрометирует себя педагог, если он отважится вслед за своими наставниками-методистами повторить на уроке, что «образ бабушки противопоставлен звериным нравам остальных членов семьи», или обнаружит, что «у деда были положительные задатки»; какую скуку навеет он на слушателей, если, говоря о мешанах, скажет, что «в социальном самочувствии этой общественной группы можно различить три стороны, важные для понимания отрывков, помещенных в хрестоматии».

Объединенные общими переплетом, два раздела книги своеобразно символизируют разрыв, отделяющий методическую литературу от достижений нашей литературной науки. И символ этот пусть послужит укором всем, кто в силах сдвинуть методику преподавания литературы с мертвой точки.

О. КОСТЫЛЕВ.

★

ОБ ИЗУЧЕНИИ НАСЛЕДИЯ БЕЛИНСКОГО

Ю. Оксман. *Летопись жизни и творчества В. Г. Белинского*. Редактор М. Кургинян. Гослитиздат. М. 1958. 644 стр.

А. Даврецкий. *Эстетика Белинского*. Редакторы У. Гуральник и И. Сергиевский. Издательство Академии наук СССР. М. 1959. 372 стр.

В. Кулешов. *«Отечественные записки» и литература 40-х годов XIX века*.

Редактор П. Пустовойт. Издательство Московского университета. М. 1958. 402 стр.

М. Поляков. *Виссарион Белинский. Личность — идеи — эпоха*. Редактор Ф. Иванова. Гослитиздат. М. 1960. 600 стр.

В последние годы литература о Белинском обогатилась ценными научными трудами. Среди них первое место, безусловно, принадлежит «Летописи жизни и творчества

В. Г. Белинского», составленной Ю. Оксманом.

В «Летописи» свыше пяти тысяч справок. Еще никогда в одной книге о Белинском

не было собрано такого богатого материала (в том числе материала, добытого ученым в результате собственных многолетних разысканий и впервые вводимого в научный обиход). Но не только обилием и разнообразием материала привлекает к себе указанная работа; она привлекает строго научным подходом к сообщаемым фактам и явлениям. Перед нами справочно-библиографическая работа и в то же время оригинальный научный труд, написанный с учетом как всего фактического материала, известного исследователю к моменту выхода его книги, так и научной литературы вопроса.

За пятью тысячами справок, приведенных в «Летописи», стоит не просто собиратель и библиограф-регистратор, а серьезный, вдумчивый исследователь Белинского и его эпохи, ученый со своим оригинальным, самостоятельным «углом зрения» на рассматриваемые вопросы. Защищая свое понимание того или иного вопроса, Ю. Оксман зачастую не соглашается с предшественниками, но полемизирует он (и это нужно всячески подчеркнуть!) строго объективно, не искажая позиции своего «противника».

«Летопись» является образцовой книгой и с точки зрения научной добросовестности ее автора в обращении с первоисточниками: цитаты (как равно и ссылки на источники цитат) всегда абсолютно точны; если фраза цитируется не полностью, то сокращение никогда не нарушает смысла, поскольку сокращения применяются Ю. Оксманом исключительно в целях удобства, а не из каких-либо других соображений.

Научная общественность широко откликнулась на выход книги Ю. Оксмана; в многочисленных отзывах и рецензиях были подчеркнуты бесспорные высокие научные достоинства «Летописи», а также отмечены некоторые отдельные недостатки, причем скорее частного, чем общего порядка¹.

На наш взгляд, исследование Ю. Оксмана значительно выиграло бы, если бы ему было предпослано историографическое введение с объективно-критической оценкой изданий сочинений Белинского, принятых в советскую пору, и с подробным освещением, что сделано советскими учеными в области изучения личной и общественной биографии Белинского и его творчества.

Далеко не всеми читателями «Летописи» признается удачным цитирование больших отрывков из статей Белинского. Полного представления о статье подобные цитаты, естественно, никогда дать не могут, поэтому с большей пользой для дела они могли быть заменены переложениями-рефератами самого Ю. Оксмана, успешно применившего такой метод во многих других местах книги.

Как бы то ни было, но появление в 1958 году «Летописи жизни и творчества В. Г. Белинского» было настоящим событием в нашем литературоведении.

Прошло меньше года, и интересующиеся творчеством Белинского и его эпохой получили еще два серьезных исследования. Это «Отечественные записки» и литература 40-х годов XIX века В. Кулешова и «Эстетика Белинского» А. Лаврецкого.

Книги эти очень разные по материалу, задачам и методу; написаны они представителями двух поколений ученых: одна — известнейшим исследователем творчества Белинского, автором целого ряда работ по эстетике и критике Белинского, ученым сложившейся творческой индивидуальности, и другая — автором ряда журнальных статей о Белинском и пока еще первой книги.

Мы не ставим перед собой цели рецензировать названные книги. Всестороннее глубокое рассмотрение монографии А. Лаврецкого (а книга заслуживает именно так его разбора) должно быть предметом специальной рецензии; что касается исследования В. Кулешова, то мы позволим себе присоединиться к выводу В. Нечаевой: «Книга В. И. Кулешова, насыщенная обильным фактическим материалом, ставящая многие сложные проблемы, если и вызывает в некоторых отношениях споры и возражения, тем не менее является все же ценным вкладом в изучение нашей журналистики и литературы 1840-х годов»¹.

Исследования А. Лаврецкого и В. Кулешова действительно очень разные по типу, но им свойственно то, что и «Летописи» Ю. Оксмана: серьезный теоретический уровень и научная добросовестность — качества, абсолютно необходимые для каждого подлинно научного труда. Все три

¹ См. «Русская литература», № 4, 1959; «Вопросы литературы», № 1, 1960; «Советская Украина», № 3, 1960 и другие.

¹ Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка. Том XIX, выпуск 4. М. 1960, стр. 356.

книги показывают заметный рост научного уровня литературоведческих работ вообще и работ, посвященных Белинскому и его эпохе, в частности.

Об успехах в изучении Белинского свидетельствует и научное исследование М. Полякова «Виссарий Белинский. Личность — идеи — эпоха».

Остановимся на исследовании М. Полякова как на самом последнем, тем более, что оно дает возможность затронуть попутно вопрос о типе и профиле научных работ, посвященных Белинскому.

Книга М. Полякова — солидная монография, причем не только по объему (в книге 600 стр.), но и по охвату времени (в четырнадцать глав книги рассказать обо всем жизненном пути критика, от рождения до смерти) и по намеченным аспектам («личность», «идеи», «эпоха»).

Самый тип работы — научное исследование огромного числа проблем и вопросов, различных по характеру и значению, — поставил автора книги в трудное положение: ему нужно было рассказать обо всем, и рассказать не популярно, а как ученому, имеющему «свое суждение».

Наибольший интерес представляют, на наш взгляд, те части работы, в которых выясняются политическая биография Белинского, его общественно-литературные связи и характеризуется эпоха 1830—1840-х годов. Таковы прежде всего главы об университетских годах, о кружке Станкевича, о петербургском кружке Белинского, об отношениях Белинского с петрашевцами. М. Поляков не только привлек свежий материал (как печатный, так и рукописный, собранный им в различных архивах страны), но и дал новую убедительную трактовку ряда вопросов, которые до сих пор либо вообще не вставали перед исследователями Белинского, либо решались ими неверно. Зато меньшего успеха добился автор в своем стремлении «воссоздать историю идейного развития Белинского и становления его эстетического учения».

В новой книге М. Полякова много спорного, в ряде случаев важнейшие положения доказываются недостаточно убедительно. На спорных моментах книги М. Полякова хотелось бы остановиться более подробно.

Истоки мировоззрения Белинского в студенческие годы и в период деятельности в «Телескопе» и «Молве» М. Поляков видит в декабризме; доказательство этой мысли

потребовало от исследователя «нового освещения вопроса о связях Белинского с декабристским движением». Советскими учеными (В. Нечаевой, Ю. Оксманом и др.) давно доказано, что Белинский был превосходно осведомлен о деятельности декабристов, хорошо знал их поэзию и критику. М. Поляков идет значительно дальше: он настаивает на том, что уже в первой половине 1830-х годов Белинский испытывал на себе непосредственное влияние политических и эстетических идей декабристов.

Как исследователь аргументирует свою мысль? Прежде всего утверждается, что с сочинениями декабристов, в которых «вставал образ «истинного сына отечества», Белинский «знакомился еще в юности» (стр. 161); далее приводятся соответствующие цитаты из произведений (в том числе рукописных) Ф. Н. Глинки, Н. И. Тургенева, Кюхельбекера, Рыльева, причем без попыток выяснить, читал ли Белинский вообще эти тексты (можно не сомневаться, что, например, «Мысли о составлении общества» Н. И. Тургенева Белинский никак не мог знать, так как этот документ находился в личном архиве Н. И. Тургенева, жившего тогда за границей, и был опубликован только в XX веке). На последующих страницах исследования М. Полякова уже просто констатируется как факт доказанное знание Белинским важнейших политических сочинений декабристов. С этой целью даже «уточняются» свидетельства самого критика. Так, на странице 270 читаем: «Произведения Шиллера, так же как и сочинения декабристов — наложили на меня, — признавался Белинский, — дикую вражду с общественным порядком». Источник цитаты не указан; это письмо к Станкевичу от 29 сентября — 8 октября 1839 года, и в нем на сочинения декабристов и намек нет: речь идет только о драмах Шиллера (см. Полное собрание сочинений, Издательство АН СССР, т. XI, стр. 385).

Страницы книги, посвященные установлению идейных связей молодого Белинского с декабристами, противоречивы. С одной стороны — правильное положение: «Необходимость осмысления традиций декабристов в условиях последекабристской реакции привела Белинского к поискам нового решения политических и эстетических проблем, поставленных декабристами»; а с другой — настоятельные попытки доказать, что Белинский в «Литературных мечтаниях» и в дру-

гих статьях периода «Телескопа» и «Мол-ля», «следуя за декабристами», «открыто повторял основные лозунги декабризма», развивал идеи «программных документов» декабристов (стр. 163, 165, 166, 171 и др.).

М. Поляков, на наш взгляд, очень расширительно трактует самое понятие «декабризм». В его представлении всякая борьба со злом и угнетением, за свободу человека — это декабризм; требование бескорыстного «служения отечеству и человечеству», «служения родине», подчинение личных интересов «для блага ближнего» — это тоже декабризм (см. стр. 118, 161, 163, 165, 166, 171 и др.). При таком понимании декабризма из него вынимается самое существенное — его революционность. Борясь за свободу человеческой личности, декабристы боролись не только против крепостного права, но и против самодержавия, причем свою политическую борьбу они ввели в определенные организационные формы, призванные подготовить дворянскую революцию. «В 1825 году Россия впервые видела революционное движение против царизма, и это движение было представлено почти исключительно дворянами» (В. И. Ленин. Сочинения, т. 23, стр. 234). Что бы ни писали декабристы о гражданском долге «сынов отечества», о значении литературы в развитии передовых идей времени, они не сыграли бы такой роли в дворянском периоде русского освободительного движения, если бы не были революционерами, не только теоретически, но и практически борющимися против самодержавия.

Говоря об эстетической позиции декабристов и их «последователей», М. Поляков также допускает ряд бездоказательных утверждений. Так, Надеждин будто бы «во многом продолжал традиции декабристской критики»; Полевой якобы «ввел, вслед за Бестужевым, исторический метод в подходе к явлениям литературы»; стихотворение Красова «Куликово поле», мол, свидетельствует, что в него «органически входят» «политические лозунги декабристов» и т. д.

Далеко не бесспорной представляется нам и предложенная М. Поляковым трактовка периода «примирения с действительностью»: так, истоки «примирения» Белинского исследователь увидел в пессимизме и мистицизме мировоззрения Чаадаева, однако веских доказательств в защиту этого положения он не привел.

Вообще же период «примирения» М. Поляков рассматривает довольно односторонне: он подчеркивает только положительное значение этого периода для общего развития философской мысли Белинского (что, заметим кстати, уже выяснено в работах советских исследователей), сглаживает противоречия в мировоззрении критика этой поры, ничего не говорит о его временных политических заблуждениях. Показательно, что исследователь даже не упомянул о таких «примирительных» статьях Белинского, как «Бородинская годовщина» и «Очерки Бородинского сражения».

Неверно, на наш взгляд, представлены и хронологические рамки этого периода. Если верить М. Полякову, переписка Белинского уже с «конца 1839 года» «являет яркую картину решительной переоценки ценностей, бесстрашного разрыва со старыми заблуждениями, энергичной выработки нового мирозерцания» (стр. 315). Из приведенных далее цитат аргументом в пользу мысли исследователя является только цитата на страницах 315—316 («Проснулся я — и страшно вспомнить мне о моем сне...»), но ведь так писал Белинский не в конце 1839 года, а через год — в письме к В. П. Боткину от 10—11 декабря 1840 года. Через несколько страниц М. Поляков уже категорически заявляет: «Но мы знаем, что уже с октября 1839 года Белинский отошел от идей «примирения» (стр. 391). Кто это «мы»? Всем до сих пор хорошо было известно, что переезд в Петербург в конце октября 1839 года обострил кризис в мировоззрении Белинского, ускорил процесс отхода Белинского от «примирительных» умонастроений, но отход от примирения произошел только осенью 1840 года. В письме к Боткину от 4 октября 1840 года Белинский впервые решительно заявил: «Проклинаю мое гнусное стремление к примирению с гнусной действительностью!»

Как уже было сказано выше, в монографии М. Полякова наиболее удачны главы, посвященные характеристике эпохи 1840-х годов и политическим связям Белинского этой поры. Опираясь на известное положение В. И. Ленина, что «либерал сочувствовал демократии, пока демократия не приводила в движение настоящих масс» (Сочинения, т. 16, стр. 109), используя свидетельства современников (и прежде всего Анненкова), М. Поляков делает правильный вывод, что «летом 1846 года были оконча-

тельно сформулированы основные принципы либерального и революционно-демократического лагерей». Но вряд ли имеются достаточные основания утверждать, что расхождения Белинского с либералами-западниками в 1846 году переросли в окончательный разрыв и что «реальным выражением раскола и явился уход Белинского из «Отечественных записок» (стр. 445; ср. стр. 446, 458 и др.). Во-первых, у Белинского уже в конце 1845 года созрело решение покинуть «Отечественные записки» (см. его письмо к Герцену от 2 января 1846 года). Во-вторых, уходя из «Отечественных записок», Белинский порывал с Краевским, а не со своими «московскими друзьями»: стоит только вспомнить, сколько сил приложил Белинский, чтобы привлечь к сотрудничеству в обновленном «Современнике» Боткина, Грановского, Кавелина, Кудрявцева, Галахова.

Объективность, научная добросовестность, бережное отношение к факту — все это стало необходимым правилом научного исследования, и отклонения от этого правила встречаются, к счастью, все реже и реже. Всем уже ясно, что нельзя строить концепции и подгонять под них материал, брать то, что поддерживает мысль исследователя, и умалчивать о том, что противоречит ей. Ясно все это и М. Полякову. И в лучших частях своей книги он бережно относится к историческому материалу и дает ему объективное толкование. Но, к сожалению, в книге встречаются и отступления от этих позиций.

Вот пример, свидетельствующий о стремлении исследователя как-то «поднять» Белинского в глазах современного читателя (этот пример, кстати сказать, не единственный). Сказав, что «цепи и тюрьма» грозили Белинскому «в течение всей его короткой жизни» (стр. 235—236; разрядка наша.— В. Б.), М. Поляков ссылается на собственное «свидетельство» Белинского: «перебирая в письме к Бакунину всевозможные беды, которые могут случиться с ним, он называет среди них «ссылку, заточение, пытку». Он готов ко всему». В письме Белинского к Бакунину от 16 августа 1837 года действительно содержатся слова «ссылка», «заточение», «пытка» (XI, 164), но они употреблены совсем не в том смысле, в каком хочет представить исследователь. Белинский имеет в виду не свои убеждения и возможную кару за них, а свое отношение к поведению Станке-

вича. Белинский оправдывает Станкевича, который, поняв, что не любит Л. А. Бакунину, но не желая огорчать девушку, под предлогом болезни уехал за границу. По мнению Белинского, лучше разрыв, чем жизнь с нелюбимым человеком: такая жизнь была бы хуже «пытки, заточения» и т. д.

На страницах 308—310 книги говорится о взаимоотношениях Герцена и Белинского в период с конца 1839 года до осени 1840-го. Эти страницы содержат ряд фактических ошибок и неточностей. «Герцен... пробыл здесь (то есть в Петербурге.— В. Б.) до 22 декабря»,— пишет М. Поляков (стр. 308) и ссылается на слова Герцена «...я завтра еду отсюда» в его письме к жене от 21 декабря 1839 года. Но эти слова находятся не в самом письме, а в приписке к нему, датированной самим Герценом 23 декабря. Следовательно, Герцен выехал из Петербурга не 22, а 24 декабря. Здесь же «цитируется» несуществующая «защита» Огаревым Белинского в письме к Герцену от конца 1839 года. М. Поляков сообщает: «Еще раньше Огарев предупредил Герцена, что хотя тот и прав в отношении Белинского, «...но ты нехорошо приступаешь к нему»,— добавлял он». Но Огарев-то упрекает Герцена в плохом «приступе» не к Белинскому, а... к философии Гегеля! К своим словам: «Около 12 мая (1840 года.— В. Б.) Герцен переехал с семьей на службу в Петербург»— М. Поляков дает следующее примечание: «Ю. Г. Оксман ошибочно сообщает, что переезд состоялся в январе («Летопись», стр. 219)». Ничего подобного Ю. Оксман не «сообщает»: на отмеченной странице «Летописи» говорится о первом приезде Герцена в Петербург в декабре 1839 года (причем дату выезда из Петербурга, в отличие от М. Полякова, Ю. Оксман указал абсолютно точно— 24 декабря 1839 года). Переезд Герцена с семьей в Петербург учтен в «Летописи» на странице 252, и там приезд датирован серединой мая. Комментируя приписку Кетчера в письме Огарева к Герцену от 24—27 августа 1840 года, М. Поляков замечает: «Речь здесь шла о драке между Бакуниным и Катковым, которая произошла тогда же, в августе». Как мог Бакунин драться с Катковым в августе 1840 года, если он 29 июня выехал из Петербурга? Драка произошла на квартире Белинского 26 июня: М. Полякова, очевидно, ввело в заблуждение то, что эта драка подробно описана

Белинским (задним числом) в письме к Боткину от 12 августа 1840 года.

Иногда исследователь довольно свободно обращается с цитатами: он их обрывает там, где ему выгодно. Приведем несколько примеров «усеченных» цитат из пятой главы монографии. На странице 132 приведены слова Надеждина (без указания на источник цитаты): «Пусть поэзия изображает нам верно то, что видит и слышит в природе», — которые служат исследователю основанием заявить, что Надеждин будто бы «делает попытку определить природу реалистического искусства». Приведенные слова взяты из рецензии Надеждина на седьмую главу «Евгения Онегина», написанной в форме разговора между Надоумкой (Надеждиным), Тленским и «мудрым корректором» Пахомом Силычем; их произносит Пахом Силыч, который затем, после возражения Надоумки, дает такое пояснение, что ни о каком реализме и думать нечего. М. Поляков цитирует отзыв Белинского о рецензии Надеждина (Надоумки) на «Бориса Годунова» Пушкина: «В одном только «Телескопе» «Борис Годунов» был оценен по достоинству». Этот отзыв используется исследователем как существенный аргумент для доказательства тезиса, что в это время произошел «перелом в отношении Белинского к Надеждину» (стр. 142). Но после процитированных М. Поляковым слов в отзыве Белинского идет следующее: «Известный г. Надоумко, который, вероятно, издателю этого журнала не чужой и который некогда советовал Пушкину сжечь «Годунова», теперь сие же самое творение взял под свое покровительство. Но это сделано им, кажется, только для того, что он, г. Надоумко, как сам признается, любит плавать против воды, идти наперекор общему голосу и вызывать на бой общее мнение». Исследователю надо было привести слова Белинского полностью и дать к ним нужный комментарий. С очень ответственным пропуском дана и цитата из статьи Надеждина «Обозрение русской словесности за 1833 г.» (см. стр. 152), что также привело

М. Полякова к не совсем правильной характеристике литературно-эстетической позиции Надеждина в конце 1833 года.

Книга М. Полякова позволяет поставить вопрос: при современном состоянии науки о Белинском оправдывает ли себя тип широкого научного исследования, в котором ученый обязан сказать все и обо всем?

Целесообразно ли создавать универсальные, так сказать, «энциклопедические» научные монографии, охватывающие всю жизнь и деятельность Белинского, если такая книга все равно не сможет претендовать на привлечение всего материала и на абсолютную новизну в трактовке всех вопросов?

На очереди стоят исследования, посвященные отдельным периодам в жизни и деятельности Белинского, отдельным проблемам и аспектам. Тогда идеи, взгляды, суждения Белинского, думается, можно будет изучить во всей их сложности (а иногда в противоречивости).

Это не значит, конечно, что обзорные, универсальные книги не нужны; они нужны — но это уже скорее тип научно-популярной монографии, отличной от научного исследования. И, пожалуй, настало время создать такую книгу, в которой был бы представлен подкрепленный материалом и проверенный временем объективный взгляд на Белинского и его эпоху, с подробной библиографией в приложении. Такая книга очень нужна если не специалистам-исследователям, то широкому читателю, интересующему Белинским, преподавателям школ и студентам гуманитарных вузов.

Научная общественность также в праве ждать от исследователей Белинского его научной биографии и капитального исследования, посвященного истории издания и изучения произведений критика в советское время.

Можно надеяться, что юбилейный 1961 год значительно продвинет изучение Белинского и его эпохи.

В. БЕРЕЗИНА.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБВИНЕНИЯ

Жорж Сименон. Желтый пес. Цена головы. Негритянский квартал. Президент. Переводы с французского Е. Загорянского и Т. Лещенко-Сухомлиной. Издательство иностранной литературы. М. 1960. 480 стр.

Четыре романа Жоржа Сименона, известного французского писателя, впервые переведенного на русский язык, не похожи друг на друга и неравноценны. Впрочем, то же самое можно сказать и о его творчестве в целом. Сименон дебютировал в начале 30-х годов как автор детективов, объединенных образом главного героя — грубоватого, проникательного и прямодушного полицейского комиссара Мегрэ, но затем расстается с персонажем и жанром, принесшим ему популярность, и пишет серию серьезных психологических романов. При очевидном различии художественного уровня, задач, манеры романы Сименона только на первый взгляд несопоставимы. Их связывает нечто более существенное, чем стилистика, — авторское видение мира, концепция человека, на редкость устойчивая в своей безнадежности. Жизнь общества, которую вот уже тридцать лет описывает Сименон, разворачивается как пошлый, порой страшный и всегда безрадостный фарс, и каждый его роман — еще один акт этого фарса, еще одно доказательство безвыходности положения.

Даже самые ранние, полицейские, романы Сименона, при всей их поверхностности, не назовешь развлекательным чтением, и в этом смысле они нарушают каноны жанра. «Классический» детектив соприкасался с действительностью весьма условно. Да он и не стремился к ее изображению, напротив, «романтика» необычного (пусть опошленная) противопоставлялась серой прозе жизни. Можно сказать — приключения Шерлока Холмса или Арсена Люпена, но нельзя сказать — приключения Мегрэ. История преступления или его раскрытия для Сименона никогда не становится приключением, для этого ему недостает легковесности или, быть может, оптимизма. У Сименона преступление неотделимо от быта, вытекает из него. Действие обычно разворачивается в захолустных городишках, где на всем словно лежит печать убожества и безнадежности — низкое серенькое небо, грязные немощные улицы, нудный дождь, мрачные заплеванные кафе, в которых уныло развлекаются завсегдатаи... (Один из поздних романов Сименона называется «Снег был грязный» — прозрач-

ный символ жизни, где нет места чистоте.)

Загадочные убийства, потрясшие тихий город Конкарно («Желтый пес»), совершает не какой-либо маньяк или профессиональный преступник и не тот звероподобный бродяга, бывший каторжник, которого подозревают насмерть перепуганные жители, а доктор Мишу, почтенный и вполне благопристойный обыватель, принадлежащий к «лучшему» обществу, трус и тихоня. Причины преступления тривиальны и элементарны, как и круг интересов доктора Мишу. Кстати, у Жоржа Сименона не встретишь «романтических» преступлений, совершаемых из любви и ревности, да и вообще любви, которую обычно заменяет, пользуясь его собственным выражением, «зоология». Корысть, деньги — вот движущая пружина всех преступлений. Сименон неисчерпаемо разнообразен и находчив в изобретении интриги, великолепно владеет искусством сюжетного построения, но разгадка самых сложных и странных обстоятельств, на которых держится интерес действия, оказывается на редкость обыденной и банальной и разочаровывает любителей таинственного.

В наследнике убитой американки, блестящем светском баловне Кросби («Цена головы»), угадываются те же «родовые» черты, что и в жалком дегенерате Мишу. Оба они — счастливец и неудачник — ничтожества и подонки, готовые на все ради денег и сохранения своего положения в обществе. Правда, сам убийца — человек незаурядный и даже... бескорыстный, его преступление — своего рода бунт, попытка подняться над обществом. Этот несвойственный Сименону образ носит откровенно заимствованный характер, заставляя вспомнить «Преступление и наказание». Нищий студент Рудек (кстати, он чех по национальности и, стало быть, наделен «загадочной славянской душой»), уверенный в своей гениальности и совершающий преступление «просто так», чтобы «осмелиться», — почти цитата из Достоевского. Но герой Сименона далек от мучительного и все же человеческого мира нравственных потрясений и исканий Раскольников. И не потому, что в детективе Сименона линия Рудека — лишь эффектный сюжетный ход. Рудеку

не остается ничего иного, как умереть на гильотине, — ни страдание, ни раскаяние не доступны ему, у него нет, как у Раскольникова, надежды на нравственное обновление. Он смертельно болен, как и то общество, которое ненавидит, он несет на себе то же проклятие бездуховности.

Герои Сименона — и те, что живут, приспособившись к обстоятельствам, и те, что отвергают законы общества, — остаются его рабами. Их участь predetermined раз и навсегда — для них нет достойного выхода, нет освобождения. Порой кажется, что писатель на примере своих персонажей (действующих скорее инстинктивно, чем сознательно) проверяет возможные варианты спасения — и каждый раз слышится сухой треск захлопнувшегося капкана. У Сименона можно обнаружить те же мотивы, что и в творчестве французских интеллектуалистов. С одной обязательной поправкой: Сименон упрощает их, снижает до уровня, доступного пониманию обывателя.

О герое «Негритянского квартала», молодом инженере Дюпюше, нельзя сказать, что он находится в конфликте с обществом. Или, во всяком случае, это конфликт, не осознанный самим героем, смутная догадка, что он «не на месте». Он чувствовал себя чужим не только среди богатых студентов университета, своих случайных товарищей, но и в родном доме, где отец и мать жили под вечным страхом бедности. Безработица заставила его покинуть Францию, но фирма, заключившая с ним контракт, обанкротилась прежде, чем он прибыл на место назначения. Так Дюпюш оказался с молодой женой в Южной Америке, в незнакомом городе, без гроша за душой. Они поженились совсем недавно, искренне считали, что любят друг друга, и, возможно, верили бы в это «до гробовой доски», не случись этой неприятной истории. Все дальнейшее совершается неотвратно, как в ночном кошмаре. Дюпюш не успевает даже понять, что с ним происходит: какие-то люди привозят его в негритянский квартал, рядом с ним — молоденькая негритяночка Вероника, а жена остается в гостинице, словно так и нужно, он торгует сосисками, он спит с Вероникой, Вероника клянется не изменять ему, он разгружает пароходы, он пьет тайком водку, он застаёт Веронику с каким-то мальчишкой, он принимает все как есть — Веронику, мальчишек, ложь, — и пьет водку, и уже не меч-

тает о возвращении... Очнувшись в грязи и мерзости, свободный от норм и обязательств цивилизованного человека, он испытывает странное, почти радостное чувство облегчения. Только пароходы — нарядные видения иной жизни, смутное напоминание о несбывшемся — еще тревожат Дюпюша. Нестерпимо белые и красивые, они уплывают по синему морю в прекрасные далекие страны. На борту сияющего огнями «Амьена», плывущего на Таити, видят счастливые сны пассажиры, а Дюпюш вспоминает, как завидовали ему в родном Амьене — он ехал в Южную Америку, — и твердит: «Таити такой же мираж»...

Сименон последователен до конца, и не случайно упоминается в «Негритянском квартале» Таити, неразрывный с именем Гогена. Ни один другой художник не выразил с такой могучей силой тоску дисгармоничного человека XX столетия по потерянным раю первобытных ценностей, радость благотворного слияния с природой и миром простых гармонических чувств. История падения Дюпюша, написанная скупо и точно, — сименоновский вариант гогеновской темы. Несмотря на подчеркнутую объективность изложения, роман по существу полемичен. «Счастливый» финал жестоко пародирует. Дюпюшу удалось осуществить свою мечту, он кончает свои дни «в хижине у моря, среди буйных трав и отбросов». У него было шестеро детей (первенец носит гордое имя Наполеон) и жена-негритянка, которую его прежние приятели, люди общества, не без оснований считали шлюхой. Впрочем, это слово здесь просто неуместно: Веронику даже нельзя назвать аморальной, это добродушный чувственный зверек, существо первобытное и наивное, свободно следующее своим инстинктам (как и Дюпюш). Сименон не осуждает своего героя и не сочувствует ему, он просто констатирует — человек, вернувшийся к «естественному» состоянию, перестает быть человеком; возможно, он будет при этом по-своему счастлив, как «счастливы» животные, но искать на этом пути обновления и красоты по меньшей мере смешно...

Как, впрочем, и в том обществе, из которого бежал герой. Это тоже мир мнимых ценностей, здесь все ненастоящее и обманное, как любовь Дюпюша и Жермен. Но реальны те двадцать долларов, которые зарабатывает за ночь проститутка француженка, каждый год уезжающая с мужем

отдыхать в Европу, и миллионы Че-Че, нажитые относительно честным путем, и практичность Жермен, умевшей приспособиться, сохраняя достойный вид. Только деньги были настоящими, деньги, ради которых ежедневно совершались тысячи мелких компромиссов и больших подлостей. Жермен — красивая, порядочная, чистая, лучшее, что оставил Дююш на том берегу, — «находит себя», сев за кассу. Какой иронически-точный образ! Сименон умеет безошибочно найти детали, казалось бы, незначительные, которые безнадежно компрометируют героиню. Пустяки, конечно, — Жермен не забыла поторговаться с кюре, венчавшим их, и в первую брачную ночь она была озабочена лишь тем, чтобы соблюсти достоинство, и любви она стыдилась, как чего-то низменного, и, вступая в брак, предусмотрительно решила не обзаводиться детьми, — но из этих мелких подробностей складывается антипоэтический образ современной буржуазки, расчетливой, холодной и бесплодной.

Сименон не берется судить, кто прав — Жермен или Дююш. Более того, он отрицает самую правомерность подобной постановки вопроса. Оба правы или никто, все относительно и все одинаково неприглядно — вот урок романа.

Д'Астье де ля Вижери в предисловии к русскому изданию Сименона заметил, что писатель изучает своих героев, как биолог. Добавлю, что для исследования он выбирает материал «второго сорта»: его герои — безвольные неудачники с обязательным комплексом неполноценности, пошляки, преступники, а то и дегенераты. При таком отборе результат «опыта» неизбежно совпадает с заранее заданным ответом. Но, стремясь обобщить свои многолетние наблюдения над жизнью Франции, Сименон в романе «Президент» обращается к образу «великого» государственного деятеля (неважно какого), в котором воплощено то лучшее, что еще способно создать буржуазное общество. Эта книга, написанная без обычных для Сименона натуралистических подробностей, в тонах почти элегических, прозрачно и мягко, пожалуй, самая безнадежная и горькая. Президент — человек твердых принципов, умный и суровый, ни разу на протяжении своей жизни не изменивший долгу. Но и этого человека, ставшего хозяином своей судьбы и судьбы страны, ожи-

дает такой же жалкий финал, что и других героев Сименона, неудачников и подонков, всю жизнь бессильно метавшихся во тьме и грязи. (Победитель не получает ничего — этот мотив давно уже стал ведущим в современной литературе Запада.)

Сименон не оставляет президенту никаких утешений, даже сознания разумно прожитой жизни: он «не верил теперь в полезность того дела, которое совершил». И не потому, что понял ложность идей, которым следовал. Вопрос ставится Сименонем в иной плоскости, его не интересуют конкретно-политические проблемы, он даже не уточняет, к какой партии принадлежит президент. Важно иное — президент всю жизнь укреплял устои буржуазного общества и ради сохранения «порядка» готов был жертвовать собой и другими. Сименон настойчиво подчеркивает искренность, принципиальность и бескорыстие президента, недаром же после тридцати лет власти он так же беден, как и в начале пути, и теперь живет, словно мелкий служащий, на пенсию. Но на пороге смерти президенту открывается очевидная истина, что устои, которые он охранял, давно уже не существуют; благородство, честность, принципиальность — не больше чем наивный анахронизм (как и сам президент). Они не нужны этому обществу: спасти его можно (да и можно ли?) только бесчестным путем.

Премьер-министром становится бывший секретарь президента, оборотистый и беспринципный Шаламон, который в свое время нажил миллионы, продав государственную тайну. В кабинете старого президента до сих пор хранится исповедь, которую он вырвал у пойманного с поличным Шаламона. Долгие годы этот пожелтевший лист бумаги преграждал Шаламону дорогу к власти. Еще и теперь президент мог бы сделать попытку устранить Шаламона, но он бросает его исповедь в камин. Ради чего бороться? Идеалы мертвы, принцип не существует. Шаламон не исключение, а норма, убогий символ новой эпохи. Настало время шкурников, приспособленцев, демагогов.

Но — у Сименона всегда в запасе какое-нибудь «но» — внутренний конфликт, на котором строится роман, по мере прозрения героя обнаруживает свою эфемерность. Контраст между неподкупным президентом и продажным Шаламоном, отчетливо обо-

значенный вначале, постепенно сводится на нет. В конце концов Сименон ставит между ними знак равенства, он отказывается видеть какое-либо различие не только между президентом и Шаламоном, но и вообще между моральным и аморальным, хорошим и дурным.

В финале президента ожидает еще одно открытие, лишнее раз демонстрирующее относительность добра и зла, растяжимость (или скорее непрочность) нравственных основ: президент узнает, что живет в окружении доносчиков. Его медсестра Бланш, суровая и прямая, его секретарша Миллеран, преданная и робкая, его шофер Эмиль, сильный, добродушный, сохранивший на всю жизнь неотесанность и независимость простолюдина,— все были доносчиками... Они верно служили президенту, они даже были искренне привязаны к нему, но это ровным счетом ничего не значило и не меняло. Их преданность президенту мирно уживалась с доносами на него, и сам президент, простивший Шаламона, готов оправдать и их, согласившись с Миллеран, что «ей ничего другого не оставалось»...

★

Политика и наука

ИСТОРИЯ УРАЛЬСКОГО ГИГАНТА

Е. М. Макаров. Отец заводов. Очерки из истории Уралмашзавода. «Советская Россия». Редактор П. И. Коробов. М. 1960. 152 стр.

Создание истории фабрик и заводов, начатое по инициативе М. Горького в тридцатых годах, было прервано войной и возобновилось лишь в последнее время. Появился ряд книг, рисующих путь, пройденный предприятиями Ленинграда, Москвы, Днепропетровска, Донбасса, Сталинграда, Урала.

К числу новых книг этой серии относится работа журналиста Е. Макарова «Отец заводов», в которой использован обширный архивный материал и многочисленные воспоминания старых рабочих.

Подробно описывая историю становления и развития Уральского завода тяжелого машиностроения имени Серго Орджоникидзе, одного из крупнейших предприятий социалистической индустрии, автор показывает и его людей — искусных новаторов, творцов чудесных машин, передовых рабочих и инженеров.

«Если вы возьмете какого угодно человека, — писал Сименон, — станете присматриваться к нему, заинтересуетесь им, то неизбежно кончите тем, что полюбите его». Сименон уточняет: «каким бы отвратительным ни казался он на первый взгляд». Способность понять, полюбить подлеца, встать на его точку зрения — одна из отталкивающих особенностей творчества Сименона. Тем более, что Сименон умеет не только увидеть в любом подлеце человека, но и в любом человеке — подлеца. Настойчиво компрометируя мнимые ценности буржуазного общества, писатель словно стремится закрыть перед человеком одну за другой все лазейки для самообмана. Он лишает его не только иллюзий — надежды.

Что же дальше? Сименон откровенно признает, что не знает пути к спасению: «Мои книги — только свидетельство». Свидетельство человека, словно замурованного в темнице своего общества, — в этом он разделяет судьбу своих героев. Тем не менее — свидетельство обвинения.

М. ЗЛОБИНА.

Биография уральского гиганта разбита на ряд этапов. С первых страниц читателя заинтересовывает рассказ о том, как на отвоеванной у тайги обширной поляне в июле 1928 года началось строительство завода, которому суждено было, говоря словами одной из передовых статей «Правды», стать «жемчужиной социалистического машиностроения». Автор показывает, как коммунисты сплывали, вели за собой большой и пестрый коллектив строителей, большинство которых пришло из деревни, только что оставив свою соху. И мы видим, как в ожесточенной борьбе с косностью, отсталостью, мелкобуржуазными устремлениями коммунисты выковали единый и организованный отряд создателей Уралмашзавода.

День рождения «отца заводов», как назвал машиностроительный гигант М. Горький, — 15 июля 1933 года. Вступление его в строй было выдающимся успехом политики

индустриализации страны. В приветствии ЦК партии подчеркивалось, что пуск завода — важная победа в развертывании второй угольно-металлургической базы на Востоке, в строительстве Урало-Кузнецкого комбината, в создании новой базы для завоевания Советским Союзом экономической независимости. «Пролетариат... создал еще одну могучую крепость...» — писал М. Горький.

Автор показывает, как пафос строительства переключался на пафос освоения. Шаг за шагом машиностроители овладевали сложной техникой и все шире оснащали первоклассным оборудованием советские заводы, помогая промышленному подъему многих районов СССР.

Десятки страстных борцов за дело партии, за индустриальный подъем и преобразование Урала встречаем мы на страницах книги. Автор рассказывает о людях, смело ломающих привычную технологию и старые нормы, творчески воплощающих в жизнь замыслы конструкторов. Год за годом все выше восходит слава марки «УЗТМ».

В суровую пору Великой Отечественной войны Уралмашзавод стал подлинной крепостью обороны, одним из ведущих предприятий страны по выпуску боевой техники. Стремясь помочь скорейшему разгрому врага, уралмашевцы выступили инициаторами создания Уральского добровольческого танкового корпуса. Корпус получил боевое крещение в битве под Курском, совершил немало подвигов на полях ожесточенных сражений с гитлеровцами. Множество питомцев завода отличилось в боях, прославилось своим мужеством и доблестью. Заводской коллектив гордится тем, что в его рядах вырос Герой Советского Союза Николай Кузнецов, поразительные подвиги которого в тылу врага описаны в известной книге Д. Медведева «Это было под Ровно».

Подробно повествует Е. Макаров о послевоенном этапе истории Уралмашзавода, периоде его бурного развития. Наряду с экскаваторами (в том числе и знаменитыми шагающими) коллектив предприятия наладил серийный выпуск нефтебуровых установок, снискавших мировую славу. Крупным событием явилось создание первого стана по прокатке рельсов и балок. Производство такого рельсо-балочного стана — высшее свидетельство технической зрелости завода. Стан состоит из двухсот с лишним машин и весит свыше семнадцати тысяч

тонн. Общая протяженность его энерго-, водо- и маслопроводов составляет десятки километров. Заметим, что изготовленный крупнейшей американской фирмой «Юнайтед Дэви» рельсо-балочный стан по ряду технических показателей уступает уралмашскому. Советский стан не только на триста тонн легче, но и обладает более высоким уровнем механизации и автоматизации, дает значительно больше проката.

Во все концы страны идет оборудование, изготовленное в цехах Уралмашзавода. «Завод заводов» — так любовно назвал его наш народ. Свыше шестидесяти с лишним доменных печей, оборудованных Уралмашзаводом, выплавляют большую часть чугуна в стране. Более полусотни прокатных станов и многие десятки сложных прессов Уралмашзавода действуют в разных районах СССР. Из каждых десяти буровых установок, работающих на нефтяных промыслах страны, девять изготовлены уралмашевцами. Что касается железной руды, то почти вся она обогащается на агломерационных машинах с маркой «УЗТМ».

Продукция Уралмашзавода перешагнула границы СССР и все чаще стала появляться в братских социалистических государствах, а также в странах Востока, освободившихся от колониального рабства. Активно участвует Уралмашзавод, в частности, в строительстве металлургического завода в Бхилан. А вот что сказал президент Индонезии доктор Сукарно, выступая перед уралмашевцами:

«Те машины, которые я здесь видел, не предназначаются для угнетения других народов. Наоборот, они предназначаются для построения в нашей стране процветающего общества».

Уралмашзавод — не только передовое современное предприятие, но и научно-исследовательский центр. По своему масштабу и значению он не уступает иному специализированному институту. Более двадцати инженеров завода являются кандидатами технических наук. С интересом знакомимся мы с плеядой ученых, выросших в стенах «завода заводов».

К достоинствам книги, и это справедливо отмечает автор предисловия профессор С. Самойлов, кстати, тоже питомец Уралмашзавода, относится то, что в ней не обойдены противоречия и трудности развития этого предприятия. Читатель ощущает, что коллектив растет и завоевывает новые

высоты в борьбе, в исканиях, в творческом напряжении.

«Отец заводов» — удачная книга. Документальная достоверность сочетается в ней с живостью и ясностью изложения. Однако, подробно обрисовав путь Уралмашзавода, автор как будто забыл, что предприятие это — лишь один из бастионов социалистической промышленности и что на широком фоне индустриального роста страны рассказ об уральском машиностроительном гиганте выиграл бы больше.

Издание книг по истории фабрик и заводов надо, конечно, продолжать, обобщая в них исторический опыт людей труда, творцов материальных ценностей, подлинных героев нашего времени. «Весьма важно...—

говорил в докладе на XXI съезде партии Н. С. Хрушев,— чтобы наше молодое поколение знало историю страны, борьбы трудящихся за свое освобождение, героическую историю Коммунистической партии, воспитывалось на революционных традициях нашей партии, нашего рабочего класса».

Важному делу воспитания трудящихся — и особенно молодежи — служат книги, подобные «Отцу заводов». Каждая из них должна быть живой страницей героической летописи нашего народа-творца.

**С. МАРЛИНСКИЙ,
Я. ШТЕРНШТЕЙН,**

кандидаты исторических наук.

★

ПОРТРЕТЫ НАШИХ УЧЕНЫХ

Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Главный редактор академик А. Н. Несмеянов. Зам. главного редактора академик А. В. Топчиев. Ответственные редакторы О. В. Исакова, Е. С. Лихтенштейн и В. И. Шунков. Издательство Академии наук СССР. М. 1940—1961.

В первые месяцы Великой Отечественной войны я еще работал некоторое время в «Пионерской правде». Корреспондентская судьба занесла меня в Казань, куда в то время была эвакуирована Академия наук СССР.

Я помню стеклянную доску «Академия наук» на здании университета, в котором учился Ленин. Видел, как по длинным гулким коридорам перетаскивали ящики с приборами: из Москвы прибыло имущество института П. Л. Капицы.

Академики трудились. В доме на одной из центральных улиц города жил Е. В. Тарле. Он перевез сюда часть своей библиотеки. Верстка новой книги лежала на его столе. Звонил телефон, и «Красная звезда» из Москвы заказывала ученому статью — историки тоже помогали воевать.

А. Н. Крылов жил в переулочке в отдаленной, возвышенной части города, где и в эту дождливую пору было сухо и стояла невозмутимая провинциальная тишина. Он взглянул на меня темными, блестящими, как чернослив, очень пронизательными глазами, отложил в сторону работу, которой был занят. Достал из сундучка тетрадку, испианную от руки, и прочитал мне несколько страниц о своем детстве. Позднее я нашел эти страницы в его изданных в конце войны замечательных мемуарах.

В каждой комнате громадного университетского здания шла работа. Чтобы попасть к А. Ф. Иоффе, пришлось постоять в длинной очереди посетителей, прибывших сюда по срочным делам. Г. М. Кржижановский беседовал со мной в пальто с поднятым воротником: в бывшей аудитории порядком таки дуло. Под его глазами нависли мешочки, лицо было желтоватое, усталое, но он внимательно выслушал меня и очень быстро набросал на листке бумаги то, о чем я его просил. Это было обращение к советским школьникам по-боевому встретить новый учебный год — первый учебный год военного времени.

Передовая русская наука всегда связывала свою судьбу с тем, что было важно сегодня, и не забывала в то же время готовить будущее и заботиться о смене. Именно этой заботой были продиктованы не так давно сказанные ворчливые, но верные слова академика М. А. Лаврентьева по адресу тех школьных учителей, которые равняются на средних и мало думают о лучших своих учениках.

История науки не может быть написана только по материалам биографий ее творцов — ведь науку творит, поддерживает, вдохновляет весь народ, его могучая трудовая энергия. Но личный вклад и индивиду-

альные судьбы ученых поучительны и всегда полны интереса и значения.

Скромные книжечки (их вышло уже сто шестьдесят) под серийным заголовком «Материалы к биобиблиографии ученых СССР» — хорошее и полезное дело.

Наша наука богата славными именами. Есть в серии выпуски, посвященные людям, давно умершим (В. В. Докучаев, Н. Е. Введенский), большинство же книжек рассказывает о наших современниках, многие из которых успешно продолжают работать.

О том, что биобиблиографии нужны, свидетельствует хотя бы то, что некоторые выпуски выходят повторными, дополненными изданиями. Так, в этом году вышло второе издание книги «Сергей Иванович Вавилов».

Без этих кратких справочников, составленных коллективами ученых и опытных библиографов, теперь уже невозможно было бы написать сколько-нибудь серьезную работу по изучению истории отечественной науки за последние десятилетия. В этом ценность серии, делающая ее интересным явлением советской культуры.

Культура многогранна, и участие науки в ее строительстве с большой точностью и ясностью характеризуется в принятом партией и правительством решении «О мерах по улучшению координации научно-исследовательских работ в стране и деятельности Академии наук СССР». В решении сказано, что деятельность Академии наук должна быть сосредоточена «на разработке наиболее перспективных и быстро развивающихся направлений науки, способствующих подъему народного хозяйства и культуры страны».

Не только знаний и опыта, но и высокого чувства гражданского долга требуют такие задачи от ученых. Ученый-гражданин — это особенно гордо звучит в наши дни, когда свершилась историческая победа разума и труда: первый полет человека в космос.

Именно эти качества ученого-гражданина бросаются в глаза каждому, кто знакомится с жизнеописаниями наших ученых в скромных книжечках биобиблиографической серии. Отсюда идут и поражающая смелость в постановке научных проблем, и настойчивость, непреклонная воля к претворению добытых знаний в практику, в жизнь.

Работы покойного президента Академии наук СССР С. И. Вавилова охватывают не только исследования в области люминесценции, приведшие к открытию нового вида излучения, но и широкий круг проблем, свя-

занных с философией и историей естествознания. Тончайшие исследования Г. С. Ландсберга, открывшего комбинационное рассеяние света, сочетались в его творчестве с широким применением спектрального анализа к промышленному контролю состава минералов.

В материалах серии — широкая картина труда советских химиков, умело сочетающих глубину теоретических исследований с решением практических задач. Многогранная деятельность Н. Д. Зелинского охватывала явления катализа, исследования аминокислот и белков, химию нефти. Ярким и самобытным образ талантливого химика А. Е. Арбузова, собственными руками создававшего сложнейшие приборы для своих экспериментов, открывших новые пути в химическом использовании лесных богатств. А. Н. Несмеянову принадлежит честь установления закономерности связи между положением элемента в периодической системе и его способностью к образованию органических соединений. Трудами А. Н. Фрумкина и его сотрудников создана советская школа электрохимии, разработаны современные представления о флотации минералов и руд, химических источниках тока, явлениях адсорбции и катализа. Мировой известностью пользуются работы Н. Н. Семенова в области химии горения.

Широко представлены в серии геолого-географические науки. Каждый выпуск — рассказ об ученом, чьи работы глубоки и оригинальны. Последний из славной плеяды классических исследователей Сибири и Центральной Азии, В. А. Обручев предстает перед нами не только как геолог, географ и организатор науки, но и как талантливый писатель и неутомимый библиограф, создавший выдающийся, единственный в своем роде труд по библиографии Сибири. В выпусках, посвященных А. Е. Ферсману, И. М. Губкину, Д. В. Наливкину, воссозданы черты облика смелых исследователей, давших в руки советским геологам надежные прогнозы для поисков полезных ископаемых — кладов нашей земли.

Биобиблиография — особый вид справочного издания, в нем сочетается краткое жизнеописание деятеля с полной библиографией его трудов, а также трудов о нем. Биобиблиография точна, она даже несколько академична, что тоже можно понять. В ней нет места для случайных бликов, для небрежно положенных штрихов. Научная

достоверность и точность — ее обязательные качества.

Схема, принятая в серии, удовлетворяет этим требованиям, она ясна: основные даты жизни, краткая характеристика научной, производственной и общественной деятельности, библиография. Правда, в пределах схемы допускаются варианты. В некоторых случаях общая характеристика дополняется еще одной статьей с более обстоятельным изложением научных взглядов, теорий, разработанных ученым. Иногда в качестве авторов статьи выступает коллектив товарищей ученого, его сотрудников. Это вполне разумно, в особенности когда речь идет о таком многостороннем деятеле, как Г. М. Кржижановский, а мыслями о нем делятся такие люди, как С. И. Вавилов, А. В. Винтер, С. Г. Струмилин, А. В. Топчиев.

Сравнивая выпуски, посвященные отдельным отраслям знаний, видишь, что в выпусках о деятелях биологии, медицины, сельского хозяйства, общественных наук, отчасти и техники, составители стремились к большей ясности, доступности изложения, речь в них более живая, естественная, научные понятия выражены более простым, популярным языком.

И это, несомненно, идет на пользу, расширяет круг возможных читателей серии, не снижая при этом ее научной ценности.

Ясность, сжатость изложения отличают, например, статьи С. С. Соболева и Л. А. Чеботаревой о В. В. Докучаеве, Н. А. Максимова и В. Ф. Верзилова о Д. Н. Прянишникове. Читатели этих статей получают очень выпуклое, рельефное представление о выдающихся людях, чьи труды необходимы и дороги их законным наследникам — мастерам социалистического земледелия.

Жизнь подлинного ученого всегда подвиг, но черты подвига выступают с особенной ясностью, когда знакомишься с настойчивой, трудолюбивой и полной опасностей жизнью людей, отдавших себя изучению возбудителей заболеваний животных и человека. Образы академиков К. И. Скрябина и Е. Н. Павловского настолько красочны по самой своей природе, что даже суховатость сведений, сообщаемых в биобиблиографиях, не скрадывает, не затушевывает ярких и сильных черт их человеческого характера. Да и самые эти сведения — как они выразительны! Не достойно ли удивления, что одно только перечисление гельминтов, открытых

К. И. Скрябиным, занимает десять страниц? А какая замечательная жизнь за плечами Е. Н. Павловского, врача-паразитолога, зоолога, участника многочисленных экспедиций, президента Географического общества СССР!

Выразительные черты людей нашей науки видны во всех статьях, справках, материалах, описывающих их жизнь и труд. Эти черты ясно проступают даже там, где их невольно сглаживает принятая в академических изданиях сдержанность изложения.

Прежде всего это широта кругозора, смелость в выдвигании узловых, важных проблем, умение видеть глубочайшие связи наук и отдельных учений между собой, так же как и связи между наукой и жизнью, теорией и практикой. Замечательно сказано А. А. Ухтомским о творчестве двух корифеев физиологии — Н. Е. Введенского и И. П. Павлова: «Из шахты, в которой шли разработки школы И. П. Павлова, с годами стали слышны через породу отзвуки того, что делалось во встречной шахте работников Н. Е. Введенского».

Высокое чувство гражданственности, понимание общественной роли науки, ее значения в жизни народа — другая существенная черта, отличающая ученых страны социализма. Примеров этому много почти в любом издании, вошедшем в серию.

Разнообразна и широка общественная деятельность советских ученых, их участие в работе государственных и общественных органов, в движении за мир и содружество народов.

С этим связана и еще одна очень характерная черта — горячая заинтересованность советских ученых в пропаганде своей науки, в привлечении к научному творчеству молодых, свежих сил. Эта сторона деятельности наших ученых сравнительно мало отражена в биографических очерках, вошедших в серию, но она полно отразилась в библиографических ее материалах. Редкий из людей нашей науки не выступал со статьями и беседами в печати, многие являются авторами общедоступных, популярных книг.

В результате кропотливой, любовно выполненной работы составителей и библиографов советский читатель получил своеобразную летопись отечественной науки, ныне поражающей своими успехами мир.

Читатели ждут новых выпусков серии. Ведь в ней еще недостаточно полно пред-

ставлены такие отрасли науки, как математика, астрономия, физика. Слабо отражены еще и успехи общественных наук. Хотелось бы видеть новые выпуски библиографии о выдающихся ученых Украины, Армении, Казахстана и других союзных

республик. Растущие международные связи советской науки могут вызвать потребность в таких же справочниках о зарубежных ученых — иностранных членах Академии наук СССР.

И. ИНОЗЕМЦЕВ.

★

СУД НАРОДОВ

Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сборник материалов в семи томах. Под общей редакцией Р. А. Руденко. Госюриздат. М. 1957—1961.

Так уж случилось, что Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками стал для меня не только историческим событием, но и личным воспоминанием. Раскрываю один за другим семь томов нового издания «Нюрнбергский процесс» — и оживают в памяти давно прошедшие дни.

...Зал суда в Нюрнбергском дворце юстиции. Искусственный дневной свет. Стены облицованы резным дубом, во весь пол — зеленоватый, заглушающий звуки шагов ковер. На возвышении, под флагами четырех союзных держав, — судьи и их заместители, члены Международного военного трибунала. Перед ними — секретари, стенографистки. Напротив, в два ряда, — адвокаты в черных и лиловых мантиях. Переводчики за стеклянной перегородкой. Заполнены ложа прессы и галерея для посетителей. Неподвижно стоят, заложив руки за спину, американские военные полицейские в белых касках. А за барьером, на двух длинных скамьях, — они, те, кто совершил чудовищные злодеяния, развязал вторую мировую войну, пролил море крови. Геринг, Гесс. Розенберг, Риббентроп, Кальтенбруннер... — двадцать один преступник.

С 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года, около одиннадцати месяцев, день за днем продолжалось судебное разбирательство. Статистика Нюрнбергского процесса сообщает, что состоялось четыреста три открытых судебных заседания; были допрошены сто шестнадцать свидетелей; еще сто сорок три свидетеля дали письменные показания. Всего по делу различных преступных организаций было получено около двухсот тысяч письменных показаний. Полный русский текст стенограммы процесса составляет тридцать девять томов.

Значение Нюрнбергского процесса не только в том, что впервые была осуждена

агрессия как уголовное преступление, что заслуженную кару понесла группа гитлеровских главарей, уличенных в кровавых преступлениях. Процесс разоблачил агрессивную сущность германского милитаризма, показал его безудержные экспансионистские планы и готовность не останавливаться для их выполнения ни перед какими злодеяниями.

То, что происходит сейчас в Западной Германии, придает особо актуальное значение разоблачениям Нюрнбергского суда народов. Издание семитомника материалов процесса, выпущенное под общей редакцией главного советского обвинителя на процессе, а ныне Генерального прокурора СССР Р. А. Руденко, — очень своевременное и полезное дело.

В семитомнике помещены документы, относящиеся к организации Международного военного трибунала в Нюрнберге, его устав и регламент, обвинительный акт, речи обвинителей и защитников. Здесь даются наиболее интересные выдержки из стенограммы судебных заседаний и из предъявленных трибуналу документов. Опубликованы последние слова подсудимых, приговор и особое мнение члена трибунала от СССР, решения трибунала по процедурным вопросам и много других важных материалов. В последнем томе помещена большая статья М. Ю. Рагинского «Значение Нюрнбергского процесса». Издание снабжено иллюстрациями и аннотированным указателем имен.

Можно, разумеется, спорить о том, во всех ли случаях составители сборника отобрали наиболее существенные документы. Можно, скажем, пожалеть, что нет предметного указателя, который был бы очень полезен. Но в целом следует поблагодарить составителей и редакторов за проделанную ими работу. То обстоятельство, что все они сами были участниками Нюрнбергского про-

цесса¹, весьма благоприятно отразилось на качестве издания.

К числу преступлений против мира Устав Международного военного трибунала относил вторжение в другие страны и ведение агрессивных войн; планирование и подготовку войны, развязывание или ведение агрессивной войны с нарушением международных договоров, участие в общем плане или заговоре для выполнения какого-либо из подобных действий.

Нюрнбергский процесс показал во всех деталях, как создавались нацистские планы завоевания мира и как гитлеровская клика проводила их в жизнь.

Времена гитлеровского рейха безвозвратно прошли. Но вот термин «новый порядок в Восточной Европе» опять фигурирует в лексиконе руководящих деятелей германского империализма.

С проектами этого «порядка» знакомят предложения редактора близкой к Аденауэру газеты «Рейнишер меркур» Венгера, сделанные в 1958 году. Они предусматривают, что ФРГ станет центром Западноевропейского союза; в фактической зависимости от нее будет находиться «дунайская федерация», а на территориях, принадлежащих ныне ГДР, Польше и частично Советскому Союзу, должна быть создана так называемая «пруско-польская федерация». Этот план совершенно сходен с тем планом, о котором договаривался в 1943 году Аллен Даллес с гитлеровскими эмиссарами в Швейцарии, когда речь шла о создании «Федеративной великой Германии с примыкающей к ней Дунайской конфедерацией».

В кругах германских милитаристов вновь начались разговоры о распространении «нового порядка» до Урала. Бывший руководитель аденауэровского дипломатического ведомства, а ныне глава организации «общего рынка» Хальштейн прямо заявил на пресс-конференции в США о желательности «интегрировать» Европу вплоть до Уральских гор.

Появились в боннских сейфах и планы агрессии против других государств. План нападения на ГДР стал не так давно достоянием гласности. Штраус прямо говорил, что у боннской военщины имеется

«красный план» — на случай войны против социалистических государств. Можно не сомневаться, что имеются в руководящем штабе бундесвера и другие агрессивные планы. Недаром в течение нескольких лет во главе бундесвера стоял гитлеровец Хойзингер, который в 1940 году, как выяснилось на Нюрнбергском процессе, подготовил окончательный вариант плана «Барбаросса». Сейчас Хойзингер получил новое назначение и сделался председателем ведущего органа военного планирования НАТО.

То, что во времена Мюнхена делалось западными державами тайно, теперь делается явно и без тени стыда. Боннские реваншисты являются союзниками правительств США, Англии и Франции, причем союзниками весьма близкими. Западные державы делают в своей европейской политике ставку именно на германский милитаризм, открыто вооружают его, откровенно солидаризируются с его агрессивными устремлениями на Востоке.

Несколько лет назад мне довелось посетить бывший гитлеровский лагерь смерти Маутхаузен. Расположенный в живописной местности, в нескольких километрах от Дуная, этот кусочек гитлеровского ада служит страшным напоминанием о том, какие преступления против человечности совершал германский империализм. Сегодня в Западной Германии нет лагерей уничтожения. Но уже снова, как и при Гитлере, преследуются все прогрессивные организации, вводится чрезвычайное законодательство. Антисемитские выступления гитлеровских последышей в ФРГ вызвали негодование во всем мире. В этом году предстал наконец перед судом неоднократно упоминавшийся в Нюрнберге Адольф Эйхман, и откровенно встревоженный Бонн направил в Иерусалим не обвинительные материалы из архивов, а щедро оплаченного адвоката Серватиуса — того самого, который на Нюрнбергском процессе был защитником руководящего состава нацистской партии. И в самой Западной Германии и за границей не перестают писать о ближайшем помощнике Аденауэра — боннском статс-секретаре Глобе. Этот человек, занимая ответственный пост в гитлеровском министерстве внутренних дел, сыграл значительную роль в преследовании и истреблении евреев. В судебных органах Западной Германии насчитывается сейчас тысяча сто судей и прокуроров, которые работали в

¹ И. Т. Никитченко и А. Ф. Волчков — в качестве судей, Г. Н. Александров, Д. С. Карев и М. Ю. Рагинский — в качестве обвинителей. А. И. Полторак — как секретарь советской части трибунала.

судебно-карательной системе гитлеровского государства и вынесли в свое время тысячи смертных приговоров.

Даже о газовых камерах для «низшей расы» вновь стали погсзривать наиболее наглые представители германского империализма: Петер Шмид, автор разрекламированной боннским посольством в Дели книги «Индия чудес и без чудес», заявил, что было бы лучше построить для Индии не домны, а газовые камеры для истребления «лишнего» населения...

На Нюрнбергском процессе неопровержимо были установлены чудовищные преступления гитлеровского вермахта против народов Франции, Бельгии, Голландии и других стран оккупированной Европы, массовые и преднамеренные убийства английских летчиков в Сагане и сдавшихся в плен американских и канадских солдат в Арденнах.

Особенно зверскими были преступления фашистов на Востоке. Советские люди хорошо помнят злодеяния нацистских оккупантов. Нюрнбергский процесс неопровержимо доказал, что эти преступления представляли собой продуманную систему террора и истребления военнопленных и гражданского населения. Эта бесчеловечная система была установлена специальными приказами гитлеровского командования. Начальник верховного командования вермахта Кейтель на документе относительно чудовищного обращения с советскими военнопленными написал: «Я одобряю и поддерживаю эти меры». Все нацистские военачальники запятали себя участием в кровавых военных преступлениях.

Теперь многие из этих господ вновь занимают командные посты в армии германского империализма. Все без исключения генералы бундесвера были генералами или старшими офицерами нацистского вермахта. Среди них немало людей, совершивших тяжкие преступления.

Символичной является фигура нынешнего руководителя бундесвера генерала Ферча. Этот матерый гитлеровский военный преступник, повинный в кровавых злодеяниях на советской земле, был приговорен советским военным трибуналом к двадцати пяти годам тюремного заключения. Он был репатрирован в Западную Германию в 1955 году как преступник, находящийся под стражей, неамнистированный и подлежащий дальнейшему содержанию в тюрьме.

То, что именно Ферч стал теперь руководителем западногерманских вооруженных сил, является не только провокацией, но и показателем того, как открыто выдвигаются в ФРГ на руководящие посты военные преступники.

Западногерманская военщина стремится к тому, чтобы получить в свои руки средства массового уничтожения и разрушения — ракетно-ядерное оружие. Гитлеровские генералы, подвигающиеся ныне в руководящем штабе бундесвера, объявили об этом в своем наглом меморандуме в августе 1960 года. Люди, совершившие тяжкие преступления, хотят получить в свое распоряжение такие средства, которые они могли бы использовать для истребления миллионов людей.

Нюрнбергский трибунал рассматривал не только дела главарей гитлеровского государства, но и вопрос о преступных организациях нацизма. Трибунал объявил преступными руководящий состав нацистской партии, гестапо, гитлеровскую службу безопасности (СД) и СС. Все эти организации, как неопровержимо показали материалы процесса, были повинны в страшных злодеяниях фашистского режима.

Не так уж много лет прошло со времени вынесения приговора. А что делается сейчас в Западной Германии?

Союзнический закон № 5 о запрещении нацистской партии был торжественно отмечен в Бонне. В то же время наиболее последовательная противница гитлеризма — коммунистическая партия — находится в Западной Германии под запретом. Недавно Комитет борьбы за германское единство опубликовал подробную документацию, в которой поименно перечислил двести пятьдесят ответственных чинов гестапо и СС, занимающих ныне руководящие посты в полиции боннского государства. Гитлеровские разведчики и контрразведчики из СД нашли неплохое пристанище в Федеральном ведомстве разведки (оно именовалось ранее организацией Гелена); сам руководитель ведомства — генерал Гелен — был видной фигурой в СД.

Что касается эсэсовцев, то они объединены в Западной Германии в так называемые «традиционные союзы». Таких организаций, официально ставящих перед собой задачу сохранить традиции кровавых эсэсовских палачей, насчитывается в ФРГ в 1961 году, по данным «Немецкого солдатского кален-

даря», более сорока. Союзы эсэсовцев изда-ют собственный журнал «Викинг-руф» — прямой наследник гиммлеровской газеты «Дас шварце кор», которая предьявлялась в качестве документального доказательства в Нюрнберге. Командные чины СС с 1956 года допущены на офицерские должности в бундесвере.

На Нюрнбергском процессе с полным основанием ставился вопрос о признании гитлеровского генштаба и верховного командования вермахта преступными организациями. Трибунал голосами представителей США, Англии и Франции отклонил это требование обвинения, и советский судья записал свое особое мнение по этому вопросу.

Все те, кому довелось 30 сентября 1946 года, в первый день чтения Нюрнбергского приговора, присутствовать в зале суда, могли заметить, как воспрянул Кейтель, услышав это решение трибунала. Гитлеровскому генерал-фельдмаршалу, возможно, казалось, что благодаря такому решению он сможет спасти свою шкуру. Он просчитался. Но неоспоримо, что сегодня бывшие гитлеровские генералы, командующие бундесвером, могут вспоминать с удовлетворением об этом решении трибунала,

как об одном из первых признаков курса западных держав на возрождение германского милитаризма — того опасного и авантюристического курса, который определяет ныне всю политику США и других стран Запада в германском вопросе.

В целом нюрнбергский приговор отразил волю народов, и поэтому он ненавистен всем врагам мира. В первый же день процесса Эйхмана в Иерусалиме его защитник Серватиус выступил против приговора Нюрнбергского трибунала. Это далеко не единственное выступление против итогов суда народов. Реакционные силы в разных странах, и в первую очередь в Западной Германии, давно уже ведут атаку на нюрнбергский приговор и на те высокие принципы международного уголовного права, которые были утверждены в Нюрнберге.

Тем более полезно и своевременно издание документов этого исторического процесса. Оно разоблачает совершенные германским империализмом злодеяния. Оно призывает к бдительности по отношению к любым попыткам новой германской империалистической агрессии.

М. ВОСЛЕНСКИЙ,
кандидат исторических наук.

★

ЖЕСТОКИЕ ЦИФРЫ

Б. Ц. Урлани с. Войны и народонаселение Европы. Людские потери вооруженных сил европейских стран в войнах XVII—XX вв. (Историко-статистическое исследование). Редактор О. Арав. Соцэнгиз. М. 1960. 568 стр.

Рисунок на переплете этой необычной по теме книги напоминает температурную кривую. Сперва — против точек, обозначающих «XVII век», «XVIII век», «XIX век», — она держится примерно на одном уровне, а затем резким скачком поднимается вверх — к точке «XX век», когда разразились обе мировые войны.

Автор книги, доктор экономических наук Б. Урланис, попытался нарисовать картину неисчислимых бед, которые принесли человечеству войны на протяжении последних трех с половиной столетий. Тщательному статистическому анализу — а что может быть убедительнее цифр! — подвергнуты людские потери на территории Европы, которая пострадала от войн значительно больше, чем все остальные континенты, даже вместе взятые. Особенно уместно вспомнить об этом сейчас, накануне двадцатой

годовщины начала Великой Отечественной войны.

Автору пришлось обработать огромное количество данных, накопившихся за несколько столетий и разбросанных по самым различным изданиям — повременным и периодическим, русским и иностранным (в библиографии, имеющейся в книге, упомянуто свыше шестисот названий). Нужно учесть и значительные расхождения в ряде источников при описании одного и того же сражения, а также и то, что в ряде случаев воюющими сторонами намеренно сообщались неверные сведения о потерях. Недаром Наполеон как-то сказал: «Ложь, как в военном бюллетене».

Нередко автору приходилось прибегать, особенно когда дело касалось далекой старины, к приближенным подсчетам потерь.

Дело в конце концов не в абсолютно точ-

ных цифрах (да и вряд ли их можно получить), а в той общей впечатляющей картине, которую удалось нарисовать Б. Урланису. В книге нет ни одной фотографии, написана она деловым, подчас даже слишком деловым языком. И все же эмоциональное воздействие ее на читателя огромно, хотя она, как и полагается фундаментальному статистическому труду, изобилует аналитическими таблицами, диаграммами, схемами. Они касаются как войн в целом, так и отдельных битв, отражают не только общие потери вооруженных сил, но и различные виды этих потерь. Когда вникаешь в смысл этих цифр, невольно хочется назвать их «жестокими». Ведь это миллионы и миллионы погибших на кровавой ниве войны.

Основатель советского здравоохранения Н. А. Семашко свыше тридцати лет назад написал строки, удивительно соответствующие содержанию труда Б. Урланиса: «Достаточно перелистать эти страницы (речь шла о книге «Народное питание и народное здравие». — *А. И.*), где перечисляются десятки миллионов убитых, искалеченных, пропавших без вести; где описываются катастрофические потрясения самых основ социально-биологической жизни народов, чтобы почувствовать, что за сухими статистическими цифрами скрывается море крови и человеческих страданий, и чтобы каждая фибра души затрепетала ненавистью к мировой бойне и ее виновникам. Такое изучение должно еще сильнее толкать вперед к разрушению того строя, который непрерывно грозит еще более опасными международными столкновениями».

Даже первое знакомство с книгой позволяет без особого труда уловить одну печальную закономерность в истории войн. Это неизменное увеличение людских потерь — следствие роста военного потенциала государств. Особенно заметным этот рост становится после того, как капитализм вступил в новую, империалистическую стадию развития и когда начались войны между крупнейшими капиталистическими державами.

Войны вовлекали в свою орбиту все больше стран и, словно пожар, охватывали один континент за другим. В условиях высокоразвитой военной техники и все совершенствовавшихся средств уничтожения обе мировые войны привели к небывалым в истории человечества потерям не

только в вооруженных силах, но и среди мирного населения.

Одна из таблиц книги показывает число жертв в наиболее крупных войнах за последние три с половиной столетия. Бесстрастные по своей природе цифры приобретают здесь энергию взрывчатки и воздействуют не только на ум, но и на сердце читателя. Вот некоторые из этих цифр.

За всю Тридцатилетнюю войну (1618—1648) людские потери составили шестьсот тысяч солдат и офицеров.

Семилетняя война (1756—1763) принесла гибель пятистам пятидесяти тысячам человек.

Наполеоновские войны, охватившие два десятилетия, унесли три миллиона сто пять тысяч человеческих жизней.

На полях сражений первой мировой войны всего лишь за четыре с лишним года погибло почти девять с половиной миллионов человек.

Вторая мировая война, продолжавшаяся шесть лет, стоила народам более чем тридцати миллионов убитых, включая гражданское население.

Поучительно следующее приведенное автором сопоставление. За три последних столетия население Европы увеличилось в четыре с небольшим раза, а число убитых на войне возросло в двадцать раз.

Вот еще один убедительный подсчет. В XVII—XIX веках из всех мужчин, участвовавших в войнах, погибло в среднем три процента, а во время империалистических войн эта цифра возросла почти до десяти процентов. И это не считая массы мужчин, умерших в тылу от различных причин, вызванных войнами. Истребление мужчин, пишет автор, приобрело такие размеры, что угрожает самому существованию человечества!

Лакеи империализма изобретают различные способы, чтобы оправдать в глазах народов войны, «доказать», что они неизбежны и даже... полезны. Часто для подобного «доказательства» вытаскивается пресловутая теория «перенаселенности» нашей планеты. Вот что пишут современные мальтузианцы.

Некий Аргур Чью на страницах американского еженедельника «Нью Рипаблик» одобряет не только захватнические колониальные войны, но и первую мировую войну, унесшую миллионы человеческих жизней.

Французский социолог Бутуль прибегает к следующему «сельскохозяйственному» сравнению. Не будь войн, вещает он, «человечеству грозила бы опасность погибнуть подобно яблоне, переобремененной плодами. Корни войны таятся в демографических почвах, откуда их бесполезно выкорчевывать, ибо существует вечный воинственный импульс (подобный позыву к сну и пище), импульс, кочующий от народа к народу. Удаленный от почвы одного народа, он перекидывается на другой».

Бутулю вторит американец Бэрч. Он высказывается еще более определенно. По его мнению, в связи с ростом населения «существует постоянная угроза третьей мировой войны».

Сходные мотивы звучали и в пропагандистских выступлениях гитлеровцев, ссылавшихся на необходимость завоевания «жизненного пространства» для немцев. О методах, какими они стремились этого добиться, красноречиво говорится в недавно опубликованном меморандуме Гимmlера, где предусматривалось «полное биологическое истребление русских». А вот что пишет издающийся в ФРГ «теоретический» журнал «Геополитика»: «Единственное, что может дать Западной Европе Советский Союз... это жизненное пространство. Так как в настоящее время Европа терпит нужду из-за перенаселения... то Европа должна силой захватить жизненное пространство».

В ногу с совершенствованием оружия массового уничтожения, «совершенствуются» человеконенавистнические «теории» разных философов и социологов — верных прислужников господствующих классов.

Кроме, так сказать, магистральной линии аргументации апологетов войны — перенаселенности, — они прибегают к ряду других ухищрений, пытаясь, например, обосновать

«закон уменьшающихся потерь». Автор рецензируемой книги приводит множество примеров недобросовестного жонглирования цифрами, с помощью чего «доказывалось», что, скажем, изобретение огнестрельного оружия ликвидировало рукопашный бой, при котором потерь было гораздо больше...

В книге обстоятельно рассматривается огромное влияние войны на население. Наиболее важен здесь количественный момент, то есть определение потерь, которые понесло население. Изменение его численности связано с изменением в составе — в области половой, возрастной и семейной структуры. Огромна роль войны в физическом развитии населения, от чего зависит уровень его трудоспособности (рост инвалидности). С войной часто связано и распространение эпидемий. Во время войн снижается культурный уровень населения (уменьшение посещаемости школ и т. д.).

Политике империалистических держав, направленной на развязывание все новых и новых войн, в книге убедительно противопоставлена ясная, настойчиво проводимая Советским Союзом политика дружбы между народами.

«На долю нашего поколения, — сказал Н. С. Хрущев, — выпала великая историческая задача — вывести человечество из мрачного тупика кровопролитных войн, в который завел его империализм. Перед человечеством открывается светлая перспектива мирной жизни. Однако было бы опасно недооценивать угрозу войны. Народы должны проявлять высокую бдительность по отношению к проидам агрессивных империалистических сил. Мира не ждут — мир отстаивают в борьбе».

Свой вклад в эту благородную борьбу внес и автор рецензируемой книги.

А. ИГЛИЦКИЙ.



МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

ВОСПОМИНАНИЯ ВНУКА БЕЛИНСКОГО

Обращаясь мыслями к будущему России, к судьбе грядущих поколений, Белинский видел в них своих потомков, для которых он работал и которым предстояло познать плоды его трудов. «Мы должны страдать,— писал он Боткину,— чтобы нашим внукам было легче жить». «Завидуем внукам и правнукам нашим»,— говорил он, предсказывая блестящие успехи, которых достигнет Россия через сто лет. Но случилось так, что его собственные внуки оказались вне России и не разделили с нею великого будущего, предвиденного их дедом, положившим для его достижения все силы своего гениального ума и великого сердца.

У Белинского было трое детей. Двое из них умерли в самом раннем возрасте. Осталась в живых лишь дочь Ольга (род. в 1845 г.) — слабая, болезненная девочка, детство и юность которой прошли в самых тяжелых материальных условиях. Пока имя Белинского находилось под запретом, его вдова и дочь испытывали постоянную нужду и страх перед завтрашним днем.

Только с изменением общего политического курса в стране, после смерти Николая I, изменилась и жизнь жены и дочери Белинского. Основанный в 1859 году Литературный фонд первую пенсию назначил им. Издание в 1859—1862 годах собрания сочинений Белинского до некоторой степени обеспечило их.

В конце 1860-х годов Ольга Белинская из-за слабого здоровья выехала с матерью в Германию, а затем по совету врачей переехала на юг, в Италию. На острове Корфу, где она в конце концов поселилась «в старой Керкире, среди кипарисов, апельсинных и лимонных садов, на берегах темносиней Адриатики, Ольга Белинская познакомилась с молодым заместителем прокурора Георгием Бензисом, греком из Эпира, которого полюбила и с которым повенчалась в 1873 году. От этого брака родились три сына...» (статья Д. Шишманова, о которой см. далее).

Сведения о двух из внуков Белинского появлялись в русской печати. В статье Гр. Джаншицева «В семье Белинского» (сборник «Лепта Белинского». М. 1892) автор рассказал о своем посещении в декабре 1890 года города Корфу и описал его набережную, заполненную детьми и подростками. «Отрадно видеть среди этих смысленных, здоровых, бойких, ловких и

красивых юношей двух из корфиотов, чуждых сердцу русского туриста. Познакомимся с ними ближе. Это дети, или, точнее, внуки нашего великого Белинского — Евгений и Владимир, сыновья прокурора здешней судебной палаты г. Бензиса, женатого на Ольге Виссарионовне Белинской. Старшему уже 14 лет, младшему 12. Оба они учатся в гимназии, говорят по-русски, хотя и с заметным акцентом. При жизни бабушки они успели побывать в Москве, о которой у них сохранилось самое приятное воспоминание. Они передавали мне разные подробности о том, как ласкала и баловала их московская бабушка, как она для поощрения учеников в русском языке назначала плату за известное число слов...»

Другие сведения о внуках Белинского в русской печати находим в статье Е. Семенова «Беседа с дочерью В. Г. Белинского» («Новости и Биржевая газета» от 21 апреля 1898 года). Встретив О. В. Бензис-Белинскую в Париже, в мастерской, где создавалось скульптурное изображение В. Г. Белинского, Е. Семенов задал ей ряд вопросов о ее отце и о детстве. «На мой вопрос, находили ли близкие сходство у нее с отцом, она ответила, что находили общее фамильное сходство, но не больше. Зато один из ее сыновей (их у нее двое: Владимир — студент-медик и Евгений — студент-инженер), говорят, чрезвычайно похож на Виссариона Григорьевича».

В 1940 году в болгарской газете «Литературен глас» от 30 января появилась статья Димитра Шишманова, рассказывающая о младшем внуке Белинского, Владимире Бензисе, и сопровождаемая его портретом. Д. Шишманов познакомился с ним в Афинах в 1933 году, а заняв в 1935 году дипломатический пост в столице Греции, сблизился с ним и часто встречался как дома, так и на собраниях греко-болгарского общества, активным членом которого был В. Бензис. Внук Белинского являлся в это время крупнейшим терапевтом, профессором, руководителем кафедры внутренних болезней при Афинском университете, членом-корреспондентом Французской медицинской академии.

Д. Шишманов так описал свое первое впечатление от встречи с В. Бензисом: «Я увидел высокого, немного сутулого человека, с продолговатым, живым и выразительным лицом, с выпуклым лбом и очень мягкой и сердечной улыбкой на тонких губах. К большому моему удивлению, он заговорил со мной на чистом русском языке.

— Моя мать была русская,— объяснил он, заметив мое удивление, и, немного помолчав, добавил с едва заметным оттенком гордости: — Я — внук Белинского!»

Уступая настойчивой просьбе Д. Шишманова, В. Бензис написал свои воспоминания о посещениях в детские годы Москвы, где

жили М. В. Белинская и ее сестра А. В. Орлова. Он живо охарактеризовал свою бабушку, постарался передать ее рассказы о муже, запечатлев ряд деталей, которые с той или иной стороны могут представить интерес для воссоздания образа Белинского.

Воспоминания В. Бензиса в переводе на болгарский язык были напечатаны в том же номере газеты «Литературен глас», что и статья Д. Шишманова.

Публикуя ниже полный перевод воспоминаний В. Бензиса по тексту болгарской газеты, приведем здесь интересный для характеристики автора воспоминаний отрывок из его письма, дающий представление о его взгляде на Белинского, а также о его отношении к России. Это письмо от 10 февраля 1940 года написано Атанасу Ламбреву, которому мы обязаны сведениями о публикации воспоминаний В. Бензиса и приносим благодарность за сообщение письма. Профессор В. Бензис писал:

«Я счастлив, что мои скромные записки заинтересовали болгарских читателей, которые, к счастью, еще помнят о моем деде с материнской стороны. Я был удивлен, встретив многих ваших соотечественников, которые знают и интересуются русской литературой.

Когда-то в Германии сравнивали Белинского с Лессингом, а во Франции с Сент-Бёвом. Однако мне кажется, что это сравнение скорее воображаемое, чем действительное. Литературная критика не может стоять в стороне от общих идей. Не стремясь к тому, а иногда и не сознавая, литературная

критика исследует общество, чьи прозаики, драматурги, поэты являются не только художниками, но и его анатомами. Литератор, который остается лишь живописцем, только забавляет... Большой романист анализирует общество, выявляет его качества и недостатки и тем самым обнаруживает скрытое значение невидимого зла. Таким образом, он служит идейному развитию своей страны и общества.

...Интеллектуальное и общественное состояние Германии при Лессинге и Франции при Сент-Бёве не имело ничего общего с Россией Белинского. Вот почему мне кажется, что роль Белинского была совсем другой.

Россия — великая страна, чье будущее мне представляется великим и прекрасным. И для счастья всех и равновесия в мире нужна великая Россия, великая не по своим географическим границам, но и по духовным и моральным достижениям. И она этого, несомненно, достигнет...»

Говоря далее о том, что противоречия в идейном развитии Белинского были связаны с особенностями русской истории, В. Бензис видел в пути Белинского с 1838 по 1848 год не ежегодную «ревизию» предыдущего, а «быструю эволюцию», не знающую промежуточных остановок.

В. Бензис заканчивал письмо обещаниями собрать «еще кое-какие воспоминания». О результатах этого намерения нам ничего не известно. Пять лет тому назад профессор В. Бензис умер.

В. Нечаева.

ЛИЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ О В. Г. БЕЛИНСКОМ И ЕГО ЖЕНЕ

Представитель Болгарии в Афинах г. Шишманов попросил меня написать несколько страниц о моем деде с материнской стороны — Виссарионе Григорьевиче Белинском. Не в первый раз ко мне обращаются с подобной просьбой как со стороны русских ученых, так и со стороны иностранцев, интересующихся Россией и ее духовной жизнью. Я мало знаю о деде, да и то, что я знаю, носит личный характер. Другие, более знающие люди уже нарисовали моральный и интеллектуальный облик Белинского.

И все же на этот раз по просьбе г-на Шишманова я решил отказаться от обычной своей сдержанности. Важная причина заставляет меня не уклоняться от чести, которую мне оказывают и которая позволит мне увидеть скромные мои записки опубликованными в одном из болгарских периодических изданий. Этой причиной является истинная симпатия, которую я

всегда испытывал к болгарскому народу, даже в самые трудные моменты отношений двух наших стран. Я счастлив, что в известные нам всем времена принадлежал к немногим грекам, чьи убеждения и привязанности не изменили события¹. Взаимопонимание между народом — горожан, торговцев и моряков с одной стороны и земледельцев с другой — дело нелегкое, особенно если помнить, что они разноплеменные. Однако для меня, полуславянина, этой разницы не существует. Я люблю поле и его печаль, лес и его тайны, степь и ее поэзию. Я люблю и огрубевшего крестьянина, который борется, склонившись над сохой, чтобы

¹ В 1919 г. по Нейскому мирному договору Греция лишила Болгарию доступа к Эгейскому морю. Напряженные болгаро-греческие отношения продолжались и позднее под воздействием империалистических держав, стремившихся к захвату влияния в обеих странах. (Примечания здесь и далее В. Нечаевой.)

вырвать из земли, которую он пашет, плод своих трудов и свое право на жизнь. Вот почему так же, как я люблю русских, я понимаю и люблю болгар, этих людей с цельным, смелым и сильным характером, этих упорных тружеников, этих сынов земли, подвластных ее капризам. Неотступающий, упрямый и терпеливый болгарин отражает в своих мыслях чернозем и строгое небо, [ощущения часто победителя]¹, но иногда и жертвы.

Не следует ожидать, что я произведу критический разбор творчества того, кто столько потрудился, чтобы придать новый смысл критике. Французы справедливо говорят, что человек может стать поваром, но мастером вертела надо родиться. Критиком человек рождается! Все, кто занимался творчеством деда в России или за границей, единодушно признают, что его дарование было природным. Я позволю себе употребить слово, сказанное о Белинском Тургеневым, который хорошо его знал, так как [провел часть своей жизни рядом с великим критиком], что у него был дар «диагностика»². Этот дар, как и в медицине, нельзя приобрести с помощью большой эрудиции. Он состоит в том, чтобы просеять подсознательные догадки сквозь сито знания, освободиться от различных побочных явлений и поспешных заключений и таким образом постичь истину. Процесс сложный, особенно необходимый для критика и объясняющий, почему истинные критики такое редкое явление. Но, как я уже говорил, задача моя заключается не в том, чтобы написать литературную статью о моем деде. Задача моя уже и состоит в том, чтобы передать болгарским читателям то, что я запомнил о Белинском из рассказов Марии Васильевны Белинской, урожденной Орловой.

Когда в ранние детские годы брат мой и я познакомились с бабкой и ее сестрой Агриппиной (это было в 1884 году, мне тогда было 6, а брату 7 лет), то между нами и этими столь близкими нам родственниками, которым было уже около 70 лет, родились привязанность и близость, не ис-

чезнувшие и впоследствии. Пока была жива моя мать (до 1902 г.), мы виделись каждое лето. В первую же неделю летних каникул мама отвозила нас в Москву. Месяцы, проведенные в течение ряда лет в разных местах под Москвой, среди лесов и полей, среди колышущейся пшеницы, чьи золотистые, колеблющиеся стебли напоминали море, навсегда запечатлелись в моей душе. Бабка моя и ее сестра снимали на лето дачу то в Петровском парке, то в Новом Коптеве. Бабка моя, которую я помню до мельчайших морщинок на лице, хотя и была стара, но сохранила следы былой своей красоты. Высокая, с величественной осанкой, несколько согнувшаяся под бременем своих 75 лет, с немного дрожащими руками из-за «паркинсонизма», наследственного в ее семье, она сохраняла в своем лице строгое, но любезное выражение. Мне кажется, что я словно вижу ее с маленькой серебряной табакеркой в руке, вижу, как она достает оттуда табак и подносит к носу этот «возбуждающий нектар», в котором, может быть, содержатся убийственные для бактерий вещества. В то время всякая пожилая дама обязательно нюхала табак. Тетка моя Агриппина тоже злоупотребляла этой привычкой.

Каждое утро мы собираемся к завтраку, длительному и основательному, не зря же мы находимся на даче под Москвой. Кофе со сливками, чудесными московскими сливками, которые приносили к кофе вместе с маслом из погреба в саду, наполненного еще зимой огромными кусками льда. Не удивительно, что масло попадало к завтраку твердым, как камень, так что приходилось его ломать, чтобы намазать на хлеб. А какой хлеб был тогда! Его привозили от Филиппова, знаменитого московского булочника, в трех видах: французская булка, калачи и слоеные пирожки. Часто во время завтрака из Москвы приходили пешком разные продавцы пирожных и других подобных продуктов, которые покупались и съедались. Добавьте к этому всевозможные фрукты, от которых благоухала вся дача: пять видов клубники начиная с лесной и кончая огромными «викториями», малина, черника, крымские дыни, черешни, которые назывались «полуспанками». И все это мы съедали так, что и сегодня мне — врачу — удивительно, как мы каждое утро умудрялись не заболеть! Окончив завтрак, бабка ухо-

¹ Тексты, заключенные в прямые скобки, приходится на сгибы газеты, попорчены и плохо читаются.

² См. И. С. Тургенев «Воспоминания о Белинском», где автор выражает удивление «перед критической диагнозой» Белинского, говоря о признании последним поэтического гения Лермонтова, Гоголя, Гончарова.

дила в свою комнату, где расчесывала свои длинные и еще густые волосы, в то время, как брат мой и я читали вслух. Это были часы наших занятий. В то время мы говорили по-русски, как настоящие москвичи, в которых, впрочем, мы и превращались летом. Бабка наша справедливо считала, что сочинения мужа ее не доступны еще нашему детскому уму. Вот почему она давала нам читать «Записки охотника» Тургенева или басни Крылова. И сейчас я мысленно вижу ее густые пепельно-русые волосы, по которым она проводила щеткой в то время, пока я с трепетом в сердце читал или рассказывал страницы из Тургенева или Крылова или декламировал «Молитву» Лермонтова¹. Трепет мой объяснялся следующим: каждую субботу утром бабка моя и тетка отправлялись в Москву делать покупки. Нас, детей, они брали с собой только в том случае, если мы в течение недели хорошо учили уроки. К счастью, я помню, что мне лишь однажды случилось быть наказанным и оставленным на даче и, таким образом, лишенным разных соблазнов, сопровождающих поездку в Москву: посещения кондитерских и обеда в ресторане «Славянский базар» или «Эрмитаж».

Я бы остановился, чтобы описать этот ресторан с его огромным залом, с его «органом», как в католической церкви, с одетыми в белое слугами-татарами и с его бесконечным меню: икра, блины, расстеган и пр. и пр., но я боюсь увлечься излишними подробностями, которые в наше время кажутся фантастическим фильмом!

После уроков мы отправлялись пешком до леса в Коптеве, откуда через два-три часа возвращались с корзинами, полными земляники, малины, черники или грибов. Эти утренние прогулки — одно из тех воспоминаний, которые до сих пор благоухают в моей душе. По крайней мере два-три раза в неделю вместо матери нас сопровождала бабка. Тогда мы шли медлен-

нее, но увереннее и меньше плутали по лесу. Во время этих прогулок бабушка обыкновенно рассказывала о Белинском. Бабка моя испытывала ко мне особую нежность, может быть, связанную с моим именем. Я назван Владимиром по имени ее сына, умершего еще в детские годы.

Не раз бабушка мне рассказывала о страданиях Белинского и об его особой неврастности, наступившей после смерти его единственного сына. Но особенно ясно я помню, как она однажды утром начала рассказывать с возмущением о непорядочном поведении Достоевского по отношению к Белинскому. Она говорила о неблагодарности того, кто несколько лет тому назад не находил слов, чтобы выразить восхищение откровенным критиком. Потому что, как известно, Белинский первый почувствовал, какой большой писатель родился в лице Достоевского, и он рекомендовал его русской публике. Позднее Достоевский, как видно, не мог простить Белинскому тех сарказмов, которыми тот его осыпал за реакционные тенденции¹.

В другой раз бабка с восхищением рассказала нам о долгих часах, которые она часто проводила после обеда у самовара вместе с Тургеневым, известным как неутомимый рассказчик. Бабка моя в особенности вспоминала об анекдотах, которые он рассказывал о своей собаке (известно, что Тургенев был страстный охотник) и которые еще тогда заставили ее почувствовать, что он, как многие друзья ее мужа, будет гордостью русской литературы. От бабки мы узнали и о большой привязанности Тургенева к Белинскому и высказанном им желании, чтобы его похоронили рядом с могилой великого критика.

К сожалению, и в этом случае поздние

¹ Для характеристики М. В. Белинской интересно отметить это стремление ее не только обучить русскому языку своих внуков, но и дать им первое знакомство с русской литературой, выбирая произведения, которые связывались с памятью о В. Г. Белинском. Известно из воспоминаний Е. Фридрихс, что при воспитании дочери М. В. Белинская ввела систематические ежедневные чтения вслух сочинений Белинского («Русская старина», 1913, № 1, стр. 160).

¹ После высокой оценки «Бедных людей» Достоевского Белинский значительно холоднее отозвался о «Двойнике» и особенно о «Хозяйке», отмечая измену Достоевского принципам критического реализма, отход от «натуральной школы». Возмущение М. В. Белинской могло быть вызвано отзывами Достоевского о Белинском в «Дневнике писателя», напечатанными в «Гражданине» (1873, № 1, гл. II «Старые люди»). В 1880-х годах «Дневник писателя» 1873 г. четыре раза перепечатывался как отдельным изданием (1883), так и в составе собраний сочинений Достоевского (1883, 1885—1886 и 1888—1889 гг.).

разногласия разделили двух великих сынов России¹.

Тургенев представлял собой тип дворянина-помещика, богатого и удовлетворенного. Этот скептический любитель жизни, чья прозрачная и изящная проза, тонкая мысль и кажущаяся отдаленность от острых проблем времени так нас восхищает, сильно отличался от своего друга Белинского, человека порывистого и горячего, человека, который огромными шагами проходил этапы жизни и мышления, человека, жаждущего правды, пред алтарем которой он часто сжигал свои самые дорогие верования. Тургенева и Белинского влекло друг к другу как раз потому, что они дополняли друг друга, хотя между ними не было полного единодушия.

У них была одна и та же цель, но они хотели достичь ее различными и часто совершенно противоположными путями. Из-за неспособности Белинского спокойно, как Тургенев, относиться к вещам за несколько месяцев до смерти великого критика между друзьями наступил разрыв. Этот разрыв был вызван чувствами, волновавшими Белинского, когда он считал себя обязанным написать свое знаменитое письмо Гоголю, к которому до этого питал самое глубокое восхищение и уважение. В этом письме, в этом пламенном протесте он истратил последние остатки своей жизненной энергии. Белинский — умирающий туберкулезной больной, охваченный горячкой, стоящий на краю гроба, — собирает последним усилием воли всю оставшуюся энергию и концентрирует на четырех страницах всю свою ясную и пламенную мысль, изливает на своего идола все свое отвращение и возмущение². Это знаменитое письмо, в кото-

ром проявилась вся неистовость его натуры, не только создало деду тысячу неприятностей, но и было причиной отхода от него ряда друзей. Оно было его лебединой песней, в письмо он вложил не только весь свой ум, но и все свое сердце.

Много раз моя бабка в лесу, в Коптеве, рассказывала нам об этом письме к Гоголю, пафос и значение которого я смог оценить, конечно, лишь много лет спустя. Известно, что, кроме того, оно было причиной осуждения и заточения Достоевского, у которого был найден переписанный экземпляр его. Этого позднее великий романист, кажется, также не мог простить Белинскому¹.

Наши слабые детские умы были полны всеми этими событиями, о которых нам рассказывала наша бабка. Однажды она нарисовала перед нами удивительно живыми красками портрет своего знаменитого супруга. У нас было уже представление о нашем деду по многочисленным портретам и гравюрам, которые мы давно знали, так же как и по карикатурам, которые, подчеркивая некоторые известные, характерные черты, помогают представить не только внешний вид изображенного, но и проникнуть в его душу. Все же то, что бабушка нам рассказала о Белинском, придало завершенность уже созданному нами образу.

Многие художники той эпохи рисовали знаменитого критика. Он жил так мало, что по одним портретам можно судить, как его истощала неумолимая болезнь в союзе с его беспокойной и измученной душой. Портреты писались — один в этом году, другой — в следующем, а когда смотришь на изображенного, то словно десять лет прошло от одного портрета до другого.

По знаменитой картине Горбунова, изображающей Белинского на смертном одре и написанной с натуры, никто бы не поверил, что дед наш умер 37 лет².

Еще до того, как мы услышали рассказ бабушки, мы уже знали, что Белинский был

¹ О погребении Тургенева, по желанию последнего, «возле Белинского» и резком протесте М. В. Белинской против намерения в связи с этим перенести прах Белинского на новое место см. «Литературное наследство», т. 57, стр. 322—324.

² Знаменитое письмо Белинского к Гоголю содержало не четыре, а много более страниц (свыше восьми печатных). Тургенев приехавший в Зальцбрунн вместе с Белинским, не присутствовал при его писании так как вскоре уехал в Лондон, но, вернувшись в конце июля в Париж, был одним из первых слушателей письма, которое Белинский читал друзьям. Никакого «разрыва» Тургенева с Белинским из-за письма к Гоголю не было: наоборот, именно в это время Тургенев находился под сильным влиянием антикрепостнических идей Белинского.

¹ Достоевский был приговорен к смертной казни за чтение в кружке Петрашевского письма Белинского к Гоголю. Утверждение мемуариста, что этот факт отразился на позднейших отношениях Достоевского к Белинскому, не имеет никаких оснований.

² Оригинал этой картины находился в семье Белинского сперва в Москве, потом в Греции. У нас известно лишь ее воспроизведение в фототипии и гравюре («Литературное наследство», № 57; сборник «Лепта Белинского». М. 1892).

маленького роста и худой человек. Он худел все больше по мере развития его болезни. Но бабка нам рассказывала, каким было его лицо. У него был настоящий славянский тип лица с выпуклым красивым лбом в рамке русых, мягких волос, которые под влиянием болезни мало-помалу редели. Глаза его были также славянские: голубые, глубокие и изменчивые, глаза неисправимого мечтателя. Нос — прямой, немножко тупой к концу, острая русая борода и тонкие, почти [бесцветные] губы.

— Какое подвижное было это лицо, — говорила нам бабушка почти со страхом. — Через мгновение я его уже не могла бы узнать. Унылый, почти угасший, бледный, как мертвец, с апатичным выражением лица, он вдруг выпрямлялся, страшный, красно-речивый, непоколебимый, как только его охватывала какая-нибудь идея. И его гшедушная, истощенная, согнутая — хотя ему было едва 35 лет. — фигура выпрямлялась, озарялась непреодолимым огнем, которому никто не мог противостоять. Он представлял собой тип человека экспансивного, вдохновенного, способного на все, человека, богато одаренного природой.

Этот неисправимый «западник» был русским человеком, который задыхался без России, как рыба без воды (по определению Тургенева)¹. Никто из его противников-славянофилов не чувствовал Россию так глубоко, как он. Но хотя он и любил свое отечество, он видел в нечто более широкое: человечество, и притом человечество лучшее, чем сейчас. И к созданию этого человечества стремился он в последние пять лет своей жизни.

В борьбе он всегда был глубоко убежден в своей правоте, всегда искал истину, не боясь при этом отказаться от той или иной, даже особенно дорогой ему еще несколько месяцев назад идеи. Он постоянно стремился подвергнуть новой проверке свои убеждения, которые не однажды решительно разрушал, чтобы построить заново. В этом не было ни следа непоследовательности или изменчивости. Все это было продиктовано ненасытной жадной истины, жадной, которую он стремился всеми возможными способами утолить. Бабка наша не раз вспоминала о любви Белинского к Пушки-

ну. К концу своей жизни, не отрицая его совершенно, Белинский охладел к великому поэту, он стал казаться ему недостаточно современным¹. Привязанность к Гоголю и восхищение им длились дольше. Но автор «Мертвых душ» начал писать смешные истории в то время, когда Белинскому все вокруг представлялось в черном свете... И идол рухнул!

Бабка нам часто рассказывала и о том, как легко сердился Белинский и как легко возбуждался. В такие мгновения его речь, обычно довольно невыразительная и даже запинаящаяся, становилась блестящей и занимательной. Когда его преследовала какая-либо идея, он не мог есть, вставал из-за стола и, увлеченный стихией мысли, отказывался вновь сесть за стол.

Он умер 37 лет, когда другие только начинают жить. О нем можно сказать, что он сгорел в пламени своих идей. К концу его голос стал срываться, затем почти пропал, поскольку болезнь затронула и его горло. Самыми верными его друзьями, которые присутствовали и в последние его минуты, были Панаев и Некрасов. Тело его было похоронено на Волковом кладбище в Петербурге, где во время последнего посещения России в 1925 году я мог видеть его могилу. Она возле могилы Добролюбова.

Бабке моей досталось в наследство большое количество рукописей ее мужа вместе с его перепиской с Боткинским, с множеством писем от Тургенева, Достоевского, Станкевича. Весь этот архив после смерти Белинского был единственным источником доходов его семьи. Нет ничего удивительного в том, что он был целиком распродан. Некоторые письма и документы находятся в музеях Ленинграда и Москвы².

¹ Мысль о том, что современность «обогнала» Пушкина в области постановки общественных проблем, высказывалась Белинским в конце его пятой статьи о Пушкине и в разборе «Евгения Онегина». Однако никоим образом нельзя принять утверждения мемуариста, что Белинский «охладил к Пушкину в последние годы жизни». Его статьи о Пушкине (1843—1846) доказывают и любовь, и преклонение его перед Пушкиным как художником, и признание огромного значения Пушкина для русского национального самосознания.

² О продаже вдовой Белинского архива мужа нет сведений. Но существует ее письмо к В. П. Гаевскому от 22 сентября 1883 г., в котором она пишет: «Все письма к Виссариону Григорьевичу от его знакомых и родных и все оставшиеся после смерти его бу-

¹ Тургенев, вспоминая о пребывании с Белинским в 1847 г. в Париже, писал: «Уж очень он был русский человек и вне России замирал, как рыба на воздухе».

Мария Васильевна Белинская умерла в 1895 году¹. Вместе с нею исчез целый мир воспоминаний о людях и событиях, которыми гордится Россия. Вскоре умерла и сестра ее Агриппина. А за ними и мать моя, единственное оставшееся в живых дитя Белинского, скончалась от тяжелой болезни. Путешествия наши прекратились, но я вспоминаю все увиденное и пережитое в России с неизменной ясностью.

Случилось так, что спустя 35 лет, уже при другом строе, в 1925 году, через два года после смерти Ленина, мне удалось освежить свои старые впечатления. Это было во время торжеств, которыми отмечалось 200-летие основания Петербургской Академии наук².

Советское правительство предложило всем государствам, которые поддерживают с ним дипломатические отношения, послать на эти торжества своих представителей. Принимая во внимание мои связи с Россией, греческое правительство послало меня

маги во время издания его сочинений я передала Николаю Христофоровичу Кетчеру, а он и до сих пор не возвратил мне их, несмотря на мои неоднократные напоминания об этом...» («Литературное наследство», № 57, стр. 325). О передаче рукописного наследия во временное пользование Н. Х. Кетчеру говорит в своих воспоминаниях и А. В. Орлова («Белинский в воспоминаниях современников», 1948, стр. 408, 410). Тургеневым была куплена библиотека Белинского, и денежные расчеты за нее с М. В. Белинской затянулись до 1858 г. («Литературное наследство», № 55, стр. 431).

¹ М. В. Белинская умерла не в 1895, а в 1890 г. (см. Гр. Джаншиев. «В семье Белинского». Сборник «Лепта Белинского». М. 1892, стр. 4).

² Празднование двухсотлетия Академии наук СССР происходило в сентябре 1925 г. (то есть через полтора года после смерти В. И. Ленина) в Ленинграде и в Москве. На нем присутствовало 130 иностранных делегатов (см. «Академия наук СССР за десять лет. 1917—1927». Л. 1927).

делегатом. Таким образом, я мог участвовать во всех празднествах и увидеть Россию в новом свете, в замечательной фазе ее развития. Одновременно я посетил все уголки, знакомые с детства.


Целый потоп воспоминаний нахлынул на меня. Я нашел все места, где ходил со своей матерью и бабушкой, но, увы, главных актеров не было! Мне приходилось слышать, что воспоминания детства недостоверны и те вещи, которые человек видел в детстве, позднее кажутся ему совсем иными. Я позволю себе утверждать, что это неправильно. Я пойду дальше и скажу, что воспоминания детства даже более верны. У них есть преимущества и недостатки моментальных фотографий; они так же точны.

Эти страницы, написанные без претензий, имеют своей целью только одно: передать несколько эпизодов и впечатлений прошлого точно так, как я их воспринял в детские годы. В то время не могло быть ничего иного, кроме впечатлений. Мне они интересны, но я спрашиваю себя: интересны ли они для других? Поэтому я прошу снисхождения у болгарской публики, делающей мне честь чтением этих строк, в которых я позволил себе воспроизвести перед нею образ Белинского. Он был столь большим идеалистом, столь сильной нравственной личностью, что, может быть, и не грех говорить о нем и так безыскусно, как это сделал я.

Мне остается только выразить благодарность в большей степени писателю, чем дипломату, Д. Шишманову за то, что он дал мне возможность вступить в общение с болгарскими читателями и рассказать им о старых воспоминаниях, которые казались мне навсегда скрытыми в глубине моей души.

Проф. д-р Вл. БЕНЗИС.

Афины, декабрь 1939 г.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

И. Т. НОВИКОВ. Электрификация СССР — важнейший фактор создания материально-технической базы коммунизма. Госэнергоиздат. М.—Л. 1960. 69 стр. Цена 19 к.

Автор — министр строительства электростанций СССР — сжато и ясно рисует вчерашний, сегодняшний и завтрашний день советской электроэнергетики, перспективы полного осуществления гениальной ленинской идеи электрификации всей страны.

В Советском Союзе производится теперь за три дня значительно больше электричества, чем в дореволюционной России за целый год. Автор подчеркивает решающее значение тепловой энергетики, создания мощных электростанций близ топливных баз, оснащения их мощными экономичными турбинами. Наши ГЭС, пишет он, находятся на вершине достижений мировой науки.

В книге приведена таблица строящихся и проектируемых крупных советских гидроэлектростанций. Их производительность можно сравнить с выработкой электроэнергии целыми странами. Братская ГЭС, например, вступающая в строй в нынешнем году, способна производить столько же электричества, сколько Австрия, а две сибирские станции — Красноярская и Усть-Илимская — будут вырабатывать почти столько же энергии, сколько вся Италия.

Читатель получает представление об эффективности наших методов сооружения плотин, монтажа гидроагрегатов. На одной из новейших американских гидростанций Мак Нэри ввод четырнадцати агрегатов занял около трех лет, а ввод двадцати значительно более мощных турбин на Волжской ГЭС имени Ленина был произведен за двадцать месяцев.

Автор кратко характеризует перспективы бурного подъема энергетических сил страны, сооружения сверхдальних линий электропередачи, создания Единой энергетической системы Советского Союза.

М. М. КАРПОВ. Наука и развитие общества. Госполитиздат. М. 1961. 120 стр. Цена 14 к.

Книга знакомит с возникновением научного мышления, с закономерностями развития науки, влиянием на нее того или иного общественного строя. Обрисовав взгляды идеалистов и метафизических материалистов, отрывающих историю науки от

экономического развития, автор подробно останавливается на воззрениях основоположников марксизма. Одна из глав носит название «Общественная практика — основа возникновения и развития науки».

В книге рассматривается взаимосвязь науки и философии, а также противоположность науки и религии как двух различных мировоззрений, пропасть между которыми по мере проникновения науки в тайны природы все углубляется.

Широко освещен вопрос о роли науки в жизни общества. «Наука — обоюдоострое всемогущее оружие, — отмечал академик С. И. Вавилов, — которое, в зависимости от того, в чьих руках оно находится, может послужить либо к счастью и благу людей, либо к их гибели». Множество примеров, приведенных в книге, дает наглядное представление о пагубном влиянии новых машин на положение рабочих в капиталистических странах. В этой связи интересно высказывание основоположника кибернетики Н. Винера. «Совершенно очевидно, — пишет он, — что внедрение автоматических машин вызовет безработицу, по сравнению с которой современный спад производства и даже кризис 30-х годов покажутся приятной шуткой».

В заключительной части своей работы автор рассматривает особенности развития и использования науки при социализме и коммунизме.

ПАВЕЛ ПОДЛЯШУК. Жизнь Ивана Русакова. Наброски к биографии большевика. Калининское книжное издательство. 1961. 68 стр. Цена 10 к.

Если подниматься на Красную площадь со стороны Манежа, то первое, что увидишь у Кремлевской стены, — елочки и внизу под ними мраморный прямоугольник, окаймляющий небольшой участок земли. На мраморе высечено:

Арманд Е. Ф. (Инесса) 1875—1920

Джон Рид 1887—1920

Русаков И. В. 1877—1921

Три коммуниста. Три славных имени. Одному из них — Ивану Васильевичу Русакову — посвятил свою взволнованно написанную книжечку Павел Подляшук.

Имя Русакова знают многие, особенно москвичи. Этим именем в Москве названы улица, больница, трамвайный парк, клуб. Но, к сожалению, не так уж многие знают жизнь этого замечательного человека.

А жизнь его была поистине удивительна. Крестьянский сын, он с большим трудом и упорством пробился к знаниям, стал студентом Московского университета, учился у основоположника русской педиатрии Филатова, получил диплом детского врача. И уже в те годы он навсегда связал свою жизнь с Коммунистической партией. Он сражался на баррикадах Красной Пресни и вскоре после подавления декабрьского восстания был арестован. Затем тобольская ссылка и снова революционная деятельность. Русаков активно участвовал в подготовке Великого Октября в Москве, был членом исполкома Московского Совета. Сразу же после победы революции он возвращается к своему любимому делу, но ему приходится быть не столько врачом, сколько организатором. И. В. Русаков — один из тех, кто закладывал основы советского здравоохранения и образования.

Он погиб при подавлении Кронштадтского мятежа. Его расстреляли мятежники. За несколько мгновений до смерти он сказал: «Что ж, стреляйте. Меня вы расстреляете, а коммунизм — никогда».

Книга П. Подляшука невелика из-за своей лаконичности. Автор приводит факты, лишь изредка комментируя их.

МОЛОДОСТЬ ПРИХОДИТ С ГОДАМИ (Очерк истории Ждановского коксохимического завода). Книжное издательство Сталино — Донбасс. 1961. 115 стр. Цена 18 к.

Главный инженер Ждановского коксохимического завода Сергей Котельников, находящийся на строительстве Бхнлайского металлургического комбината в Индии, рассказал в одном из писем друзьям о том, что он встретил в Калькутте одного из немецких специалистов. В годы первых пятилеток этот специалист консультировал сооружение коксохимических предприятий в Донбассе. «Времена меняются, господин Котельников, — сказал иностранец, — когда-то вы не могли обойтись без нашей помощи, а теперь мы должны многому, очень многому учиться у вас...»

Это письмо приводится в аннотируемой книге.

Да, времена меняются! Об этом и рассказывает книга, посвященная истории одного из крупных коксохимических предприятий нашей страны. Вступив в строй в годы первой пятилетки, Ждановский завод достиг выдающихся успехов. Сначала наши металлурги учились у зарубежных консультантов из фирм «Отто» и «Копперс», а ныне, превзойдя своих учителей, они оказывают щедрую бескорыстную помощь друзьям из Китая, Индии и других стран.

Ясно и живо написанный очерк рассказывает о становлении Ждановского завода, о том, как коллектив поднимал из пепла и руин взорванные фашистами цеха, как превратил родной завод в первоклассное современное предприятие. «Мы уносим после визита впечатление о прекрасной тех-

нике», — свидетельствовали французские промышленники.

Книга, вышедшая в серии «История фабрик и заводов», повествует о судьбах многих рабочих и инженеров Ждановского завода и через их биографии, показывает историю самого предприятия.

В создании книги участвовали сами металлурги — слесарь коксового цеха А. Сотник, машинист В. Дворский, аппаратчик И. Коробченко, начальник цеха Е. Косьюк, секретарь парторганизации В. Скарбун, начальник цеха Л. Федорченко и другие.

ЕВА ПРИСТЕР. Алжир в борьбе. Перевод с немецкого. Издательство иностранной литературы. М. 1961. 288 стр. Цена 45 к.

Многострадальный героический народ Алжира давно уже снискал глубокое уважение и сочувствие передового человечества. С большим интересом встречают советские люди каждую статью, каждую правдивую книгу об этой стране, где торжествует человеческое достоинство, где из земли, обильно политой кровью, уже начинают пробиваться ростки светлого будущего».

Прогрессивная австрийская журналистка Ева Пристер, проведшая несколько месяцев в Алжире, передала написанную под свежими впечатлениями рукопись Издательству иностранной литературы для опубликования на русском языке. В предисловии к русскому изданию она оговаривает, что книга не может дать полного описания борьбы, которую ведет алжирский народ. «Когда-нибудь это сделают сами алжирцы — вероятно, после того, как их историки и писатели смогут отложить в сторону винтовку и взяться за перо».

В волнующем репортаже, каким является эта книга, даны многие яркие зарисовки алжирских патриотов, которых не смог сломить террор колонизаторов. Одной из характерных особенностей войны в Алжире, пишет автор, является то, что это война хижин против дворцов. Который уже раз обнаруживается, что хижины сильнее дворцов!

Читатель найдет в книге ряд боевых эпизодов, где в полной мере проявились героизм бойцов освободительной армии, их уверенность в окончательной победе правого дела. Огромную моральную поддержку им оказывают простые люди Франции, недавно сумевшие парализовать путч «ультра» и считающие войну в Алжире «грязной войной».

ХОСЕ ПАРДО ЛЬЯДА. В горах Сьерра-Маэстра. Записки журналиста. Перевод с испанского. Издательство иностранной литературы. М. 1960. 120 стр. Цена 19 к.

Эта книга одной из первых поведала миру правду о революционной борьбе кубинцев против реакционного режима Батисты. Автор, известный кубинский журналист, сумел, несмотря на запрет батистских властей, пробраться в горы Сьерра-Маэстра, где размещалась тогда Главная штаб-квартира Фиделя Кастро. Там он и остался, примкнув к движению патриотов.

Подробно рассказывает автор об образе жизни повстанцев, системе организации их отрядов. Он знакомит нас со многими людьми, с которыми встречался на Свободной территории Кубы. Много и интересно пишет он о Фиделе Кастро.

В книге обстоятельно рассказано о боевых действиях повстанцев. Полторы тысячи бойцов Фиделя Кастро благодаря исключительному героизму сумели победить армию, насчитывающую более сорока тысяч солдат морской пехоты и полицейских. Все тридцать два отряда повстанцев, говорит автор, в основном обеспечили себя боевым оружием. Свое повествование Льяда доводит до момента падения диктатуры Батисты.

С интересом читаются приведенные автором письма Фиделя Кастро. Книга дает читателю много новых деталей, дополняющих наше представление об этом замечательном человеке и умелом организаторе масс.

НИКОЛАЙ ФОМИЧЕВ. Забыть нельзя. Стихи. «Советский писатель». М. 1960. 63 стр. Цена 7 к.

Название у этой книги точное — то, о чем пишет Николай Фомичев, действительно нельзя забыть, и не только забыть — это и простить нельзя! Почти под каждым стихотворением обозначено место, где оно написано: «Лазарет штрафного лагеря», «Людешайд, штрафной лагерь», «г. Зоест, распределительный лагерь», «Бохумская тюрьма, камера «Голубятник», «Лагерь Карбанит»..

Как непримиримый протест, как великая вера в торжество разума и советского знамени, звучат даже самые заголовки стихов, написанных в лагерях: «Оружие», «Луга России», «Побежденная ночь», «Выплаканный смех»...

Эти стихи, иногда несовершенные поэтически, сильны тем, что поэт пишет их от имени тысяч и тысяч наших людей, которые не сдались, которые сквозь все ужасы прнесли веру в победу нашей Родины.

Первую книгу стихов Николая Фомичева советскому читателю представил С. С. Смирнов: «Это — неоспоримое по своей убедительности свидетельство очевидца, это — одно из тех показаний, которое тоже входит в грозный обвинительный акт человечества против фашизма. «Так это было, я видел это, я прошел через все круги этого ада», — веско и просто говорит своими стихами поэт, сразу же завоевывая полное, безраздельное доверие читателя..

В добрый путь, товарищ по войне и по перу!»

С. ЗАЛЫГИН. О ненаписанных рассказах. Литературно-критические статьи. Новосибирское книжное издательство. 1961. 92 стр. Цена 14 к.

В этой книжке писатель С. Залыгин делится с читателями своими мыслями, воз-

никшими у него при чтении некоторых книг, обсуждении тех или иных творческих проблем.

«Это неизбежно, что временами писатель становится критиком, а отчасти даже и литературоведом, — пишет автор, — причем его работа в этом направлении, очевидно, носит менее строгий и научный характер, чем работа профессионального критика».

В данном случае книжка и не претендует на «научность». Это оживленный, доверительный разговор с читателем о роли писателя, о жанре рассказа, очерка, об опыте и мастерстве, обо всем том, что связано непосредственно с процессом творчества.

В книге семь статей. Они были опубликованы в разное время в периодической печати, но, собранные вместе, статьи производят более цельное впечатление, чем в разрозненном виде, интересны своей разносторонностью, своей логической последовательностью.

Основная мысль статьи «О ненаписанных рассказах» — необходимость глубокой связи писателя с жизнью, с народом. Только в этом случае, пишет автор, обыкновенные жизненные случаи обретают в руках писателя огромное, уже не только литературное, а и философское, обобщенное значение.

Одну из причин популярности очерков В. Овечкина С. Залыгин видит опять же в кровной связи писателя с жизнью, в его естественной потребности как можно активнее вмешиваться в жизнь, быть на переднем ее крае (статья «Деревенская тема»). Интересны в этой связи сопоставления, которые делает автор в этой же статье, рассматривая очерки В. Овечкина и «Повесть о директоре МТС и главном агрономе» Г. Николаевой, и наблюдения над образом героя рассказа Г. Троепольского «Митрич». Рассказывая об особенностях этого жанра, о фактах и событиях, «которые как бы самой природой предназначены для очерка», о людях — героях очерка, автор особо подчеркивает, что героя очерка «нужно тонко наблюдать... раскрыть его и сделать это тактично, чтобы очерк не мешал нашему герою жить и работать».

Три другие статьи сборника — «О товарище, который старше меня», «Прочитана книга...» (о творчестве Чжао Шу-ли), «Книги одной области» — объединены общей позицией: бережным, внимательным отношением к товарищу по перу.

В заключительной статье сборника — «Литературно-критическая тема» — С. Залыгин высказывает ряд соображений о работе критика, о качестве рецензий, ратует за творческую связь между писателем и критиком, которая послужит на благо советской литературе.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТЗДАТ

Н. С. Хрущев. Повышение благосостояния народа и задачи дальнейшего увеличения производства сельскохозяйственных продуктов. Сборник речей. 516 стр. Цена 85 к.

Н. С. Хрущев. К новым успехам литературы и искусства (Сокращенное изложение выступлений на встрече с представителями советской интеллигенции 17 июля 1960 года, на приемах в честь писателей и композиторов РСФСР). 32 стр. Цена 2 к.

Ленинские идеи живут и побеждают. Сборник статей. 368 стр. Цена 65 к.

Борис Агапов. Ты не один на свете! (Записки публициста). 72 стр. Цена 9 к.

Алжирская коммунистическая партия в войне за национальную независимость. 48 стр. Цена 5 к.

Вопросы идеологической работы. Сборник важнейших решений КПСС (1954—1961 годы). 328 стр. Цена 65 к.

Г. Х. Гендлер. Заработная плата и технический прогресс. 116 стр. Цена 14 к.

М. Зиновьев, А. Плешанова. Как был выполнен ленинский декрет. 128 стр. Цена 15 к.

Идущие вперед. 440 стр. Цена 69 к.

В. Крившич. Основоположники марксизма-ленинизма о коллективности партийного руководства. 96 стр. Цена 11 к.

Ю. Кулышев, Л. Рогачевская. Первые ударные. 136 стр. Цена 15 к.

Карл Либнехт. Избранные речи, письма и статьи. Перевод с немецкого. 512 стр. Цена 75 к.

Минувя капитализм. (О переходе к социализму республик Средней Азии и Казахстана). 248 стр. Цена 45 к.

О святых мощах. Сборник материалов. 116 стр. Цена 13 к.

СОЦЭКГИЗ

Д. А. Аллавердян. Финансы социалистического государства. 296 стр. Цена 73 к.

А. А. Балмашнов. Развернутое строительство коммунизма в СССР и международное рабочее движение. 188 стр. Цена 22 к.

Ф. М. Волков. Расширенное воспроизводство квалифицированной рабочей силы в СССР. 206 стр. Цена 43 к.

Вторая конференция солидарности народов Азии и Африки. Конакри, 11—15 апреля 1960 г. 352 стр. Цена 49 к.

Л. И. Гурвич. Роль природных богатств в развитии производительных сил. 354 стр. Цена 63 к.

Из истории экономической мысли народов СССР (Сборник статей). 251 стр. Цена 77 к.

Краткий очерк истории философии. 814 стр. Цена 1 р. 20 к.

Развитие экономики стран народной демократии (Обзор за 1959 г.). 306 стр. Цена 57 к.

П. П. Чернашин. Гносеологические корни идеализма. 239 стр. Цена 51 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Анисимова. На короткой волне. Записки радистки. 216 стр. Цена 21 к.

В. Ардов. С подлинным верно. Сатирические и юмористические рассказы. 401 стр. Цена 39 к.

С. Арутюнян. Тропую сердца. Стихи. Перевод с армянского. 88 стр. Цена 10 к.

Н. Асеев. Зачем и кому нужна поэзия. 316 стр. Цена 75 к.

Д. Атнилов. Верная звезда. Стихи. Перевод с татского. 100 стр. Цена 12 к.

Я. Белинский. Звездный час. Книга новых стихов. 144 стр. Цена 20 к.

С. Викулов. Хорошая будет погода. Стихи и поэмы. 148 стр. Цена 30 к.

Вс. Вишневецкий. Статьи, дневники, письма о литературе и искусстве. 704 стр. Цена 1 р. 52 к.

Б. Галанов. И. Ильф и Е. Петров. Жизнь. Творчество. 312 стр. Цена 55 к.

И. Друцэ. Падуриянка. Рассказы. Перевод с молдавского. 172 стр. Цена 15 к.

В. Панов. Раздолье. Повесть, рассказы, очерки. 376 стр. Цена 66 к.

Л. Промет. Акварели одного лета. Повести и рассказы. Перевод с эстонского. 476 стр. Цена 57 к.

И. Рабин. У Немана. Повести. Перевод с еврейского. 424 стр. Цена 72 к.

Е. Ржевская. Весна в шинели. Повесть. Рассказы. Записки. 256 стр. Цена 45 к.

К. Рудницкий. Портреты драматургов. 400 стр. Цена 91 к.

Г. Рыклин. Простите, читатель... Фельетоны и рассказы. 166 стр. Цена 30 к.

Н. Соколова. Нас четверо. Повесть и рассказы. 292 стр. Цена 50 к.

М. Упеник. Огонь не гаснет. Стихи и поэмы. Перевод с украинского. 104 стр. Цена 14 к.

О. Черный. Пути жизни. Роман. 557 стр. Цена 91 к.

ГОСЛИТЗДАТ

Анна Ахматова. Стихотворения. 319 стр. Цена 42 к.

Эмиль Верхарн. Стихи. Переводы с французского. 326 стр. Цена 34 к.

Сергей Воронин. Повести. 456 стр. Цена 87 к.

Семен Гудзенко. Стихи. 287 стр. Цена 49 к.

Муса Джалиль. Стихотворения. Перевод с татарского. 270 стр. Цена 41 к.

А. Дыгасинский. Маргеля и Маргелька. Повести и рассказы. Перевод с польского. 503 стр. Цена 81 к.

А. Кадыри. Минувшие дни. Роман. Перевод с узбекского. 359 стр. Цена 71 к.

С. Машинский. С. Т. Аксаков. Жизнь и творчество. 543 стр. Цена 1 р. 41 к.

Л. Пинский. Реализм эпохи Возрождения. 367 стр. Цена 93 к.

Жан-Жак Руссо. Избранные сочинения. В трех томах. Перевод с французского. Том I. 851 стр. Цена 1 р. 43 к. Том II. 768 стр. Цена 1 р. 38 к. Том III. 727 стр. Цена 1 р. 35 к.

Рабиндранат Тагор. Лирика. Переводы с бенгальского. 191 стр. Цена 36 к.

Николай Тихонов. Стихи. 271 стр. Цена 44 к.

Георге Топырчану. Стихи. Перевод с румынского. 163 стр. Цена 24 к.

Абдуль Фарадж. Книга занимательных историй. Перевод с сирийского. 294 стр. Цена 20 к.

Омар Хайям. Рубаи. Перевод с таджикского (фарси). 99 стр. Цена 7 к.

М. Чарный. Путь Алексея Толстого. Очерк творчества. 359 стр. Цена 99 к.

Симон Чиновани. Под сенью гор. Избранное. Перевод с грузинского. 414 стр. Цена 75 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Анатолий Алексин. Человек приходит к человеку. Повести, рассказы, письма. 208 стр. Цена 45 к.

Альгимантас Балтанис. Чертов мост. Стихи. Перевод с литовского. 144 стр. Цена 32 к.

Г. Волчен, В. Войнов. Виктор Курнатовский. 224 стр. Цена 51 к.

Всегда впереди. Очерки об ударниках и коллективах коммунистического труда. 136 стр. Цена 19 к.

Граница не знает покоя. Рассказы и очерки о пограничниках. 271 стр. Цена 71 к.

Леонид Жариков. Шахтерское сердце. Рассказы, очерки, записные книжки. 320 стр. Цена 66 к.

Ник. Лупсяков. На Днепре мосм. Повесть и рассказы. Перевод с белорусского. 224 стр. Цена 48 к.

Н. Лысоголов, В. Тонгур. Полимеры—клетка—жизнь. 192 стр. Цена 27 к.

Анатолий Медников. Случилось в Сосновске. Повесть. 207 стр. Цена 46 к.

Л. Новиков, А. Тараданнин. Сказание о «Сибирякове». Документальная повесть. 192 стр. Цена 46 к.

Евгений Носов. Тридцать зерен. Рассказы. 224 стр. Цена 45 к.

Антти Тимонен. Родными тропами. Роман. Перевод с финского. 288 стр. Цена 58 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

Великая Октябрьская социалистическая революция. Документы и материалы. Революционное движение в России в сентябре 1917 г. Общациональный кризис. 632 стр. Цена 2 р. 36 к.

Вопросы изучения эпоса народов СССР. Киргизский героический эпос «Манас». 379 стр. Цена 1 р. 60 к.

Б. Г. Кузнецов. Эволюция картины мира. 352 стр. Цена 1 р. 30 к.

Академик В. П. Никитин. Избранные труды. 431 стр. Цена 2 р. 53 к.

А. А. Ничипорович, Л. Е. Строгонова, С. Н. Чмора, М. П. Власова. Фотосинтетическая деятельность растений в посевах. 134 стр. Цена 55 к.

Н. И. Новиков и его современники. Избранные сочинения. 535 стр. Цена 2 р. 25 к.

З. М. Потапова. Неореализм в итальянской литературе. 228 стр. Цена 50 к.

Проблема взаимодействия различных видов транспорта. 348 стр. Цена 1 р. 24 к.

ВОЕНИЗДАТ

А. Г. Базанов. Педагогика. Очерки по теории обучения и воспитания советских воинов. 215 стр. Цена 64 к.

М. Гончаренко. Кибернетика в военном деле. 174 стр. Цена 40 к.

К. Комаров. Вековая дружба. 107 стр. Цена 34 к.

А. И. Черепанов. Первые бои Красной Армии. 87 стр. Цена 9 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

З. Баттулга. За черным занавесом. Повесть. Перевод с монгольского. 178 стр. Цена 49 к.

Костас Варналис. Эстетика—критика. Сборник статей. Перевод с греческого. 258 стр. Цена 91 к.

Сомерсет Моэм. Дождь. Рассказы. Перевод с английского. 432 стр. Цена 1 р. 32 к.

Танаши Шивасанкара Пиллэ. Креветки. Роман. Перевод с малайлам. 207 стр. Цена 57 к.

Ингвалл Свинсос. Пять лет. Роман. Перевод с норвежского. 167 стр. Цена 45 к.

Хан Сер Я. Тэдонган. Роман. Перевод с корейского. 312 стр. Цена 99 к.

Морис Шури. Париж был предан. Истоки Парижской коммуны. Перевод с французского. 213 стр. Цена 39 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Г. Ф. Власов. Поэзия жизни. 344 стр. Цена 1 р. 7 к.

К. С. Волков. Марс пробуждается. Научно-фантастический роман. 356 стр. Цена 76 к.

Василий Журавлев. Весна на Енисее. Стихи. 144 стр. Цена 41 к.

Л. Иванов. Русская повесть. 112 стр. Цена 12 к.

Евгений Карпов. Сдвинутые берега. 206 стр. Цена 55 к.

М. Мамаев. Дуб над Ассой. Стихи. 128 стр. Цена 39 к.

Я. Ф. Мельников. Полвека в спорте. 256 стр. Цена 63 к.

Р. Г. Окулов. Корейские очерки. 136 стр. Цена 15 к.

Передовики сельского хозяйства о своем опыте. Материалы совещания передовиков сельского хозяйства Сибири. 164 стр. Цена 19 к.

Передовики сельского хозяйства о своем опыте. Материалы совещания передовиков сельского хозяйства Урала. 180 стр. Цена 20 к.

Н. Почивалин. Чистый тон. Повесть. 216 стр. Цена 33 к.

Юрий Разумовский. Радуга. (По земле Сибирской). Стихи. 112 стр. Цена 23 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, С. Н. Голубов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76 97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 24/IV 1961 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 27/V 1961 г.
А 04873 Формат бумаги 70×108^{1/8}. 9 бум. л.— 24,66 печ. л. Тираж 86600.
Зак. 797.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

В Издательстве Академии наук СССР вышла из печати книга:

АНТОН ЧЕХОВ
**(«Литературное наследство»,
том 68)**

Настоящий том «Литературного наследства» подготовлен в связи со столетием со дня рождения А. П. Чехова. Том содержит новые материалы и исследования о жизни и творчестве писателя. Среди них — новооткрытые рукописи и письма, ранее не известные юмористические произведения, а также сообщения об отысканных автографах «Юбилея» и «Попрыгуньи», о неизвестных фрагментах рукописей «Дамы с собачкой» и «Вишневого сада». Помещено 147 писем А. П. Чехова, не вошедших в Полное собрание его сочинений и писем.

В томе опубликован ряд писем, являющихся ценным источником для исследования биографии и творчества Чехова, а также литературной и художественной жизни конца XIX — начала XX в. Впервые публикуются 36 писем А. И. Плещеева, напечатаны письма к Чехову А. И. Куприна, И. А. Бунина, В. Э. Мейерхольда.

В томе помещены отрывки из дневников современников А. П. Чехова: записи из неопубликованных дневников В. Г. Короленко и отрывки из дневника В. А. Теляковского. В книге большое место занимают воспоминания, отражающие различные этапы жизни Чехова — от детства до последних лет жизни. В томе помещены отрывки из незавершенной книги о Чехове И. А. Бунина, опубликованной посмертно его вдовой.

В разделе «Чехов за рубежом» приведены различные оценки творчества Чехова зарубежными критиками.

Заканчивается том рядом документальных сообщений о Чехове и аннотированной библиографией воспоминаний о писателе.

В томе помещено свыше двухсот иллюстраций, большая часть которых до сих пор в печати не воспроизводилась.

Объем тома — 974 стр. Цена 5 руб.

Книга продается в магазинах книготоргов и «Академкнига».

Для получения книги почтой заказ направляйте по адресу:

Москва, Центр, Б. Черкасский пер., 2/10.

**Контора «Академкнига», отдел «Книга — почтой»
или в ближайший магазин «Академкнига».**

Адреса магазинов «Академкнига»:

Москва, ул. Горького, 6 (магазин № 1); Москва, 1-й Академический проезд, 55/5 (магазин № 2); Ленинград, Литейный проспект, 57; Свердловск, ул. Ветлинского, 71-в; Киев, ул. Ленина, 42; Харьков, Горяиновский пер., 4/6; Алма-Ата, ул. Фурманова, 129; Ташкент, ул. Карла Маркса, 29; Бану, ул. Джапаридзе, 13.

«АКАДЕМКНИГА»